ISSN 0130–6545

2.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ
Начало,
или Прекрасная пани Зайденман

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ
Стихи разных лет

АЛЬБЕР КАМЮ
Счастливая смерть

Т. ПАРКЕР
Жизнь после жизни.
Интервью с двенадцатью убийцами

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь,
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы,
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА, В. П. ГОЛЫШЕВ,
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ,
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА,
А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 февраль 1992

СОДЕРЖАНИЕ

АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ — Начало, или Прекрасная пани Зайденман *(Роман. Перевод с польского Л. Бухова)* 5

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ — Стихи разных лет *(Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой)* 105

АЛЬБЕР КАМЮ — Счастливая смерть *(Роман. Перевод с французского Ю. Стефанова. Послесловие В. Лакшина)* 113

Записные книжки. Март 1951 — декабрь 1959 *(Перевод с французского Ярослава Богданова)* 171

Критика

ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА, ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН — Неизвестный Оруэлл *(Диалог)* 215

Публицистика

Правовое государство

В. САВИЦКИЙ — Такая ускользающая справедливость 226

Т. ПАРКЕР — Жизнь после жизни. Интервью с двенадцатью убийцами. Фрагменты *(Перевод с английского О. Алякринского)* 236

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1992

На обложке: работа никарагуанского художника ЛУИСА АЛЬВАРАДО «Крики»

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

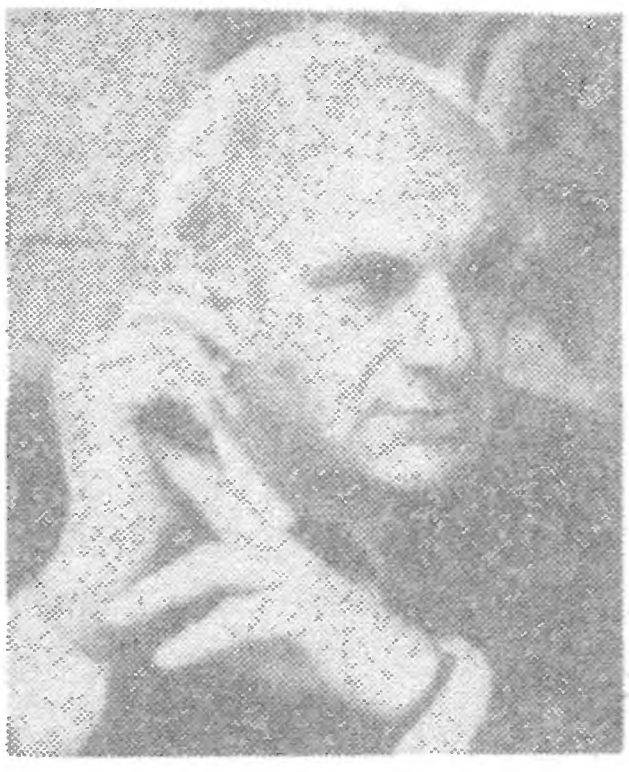
При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.12.91. Подписано в печать 09.01.92. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.- изд. л. 25,27.

Тираж 157 000 экз. Цена: по подписке 3 р. 75 к.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика» Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16. Зак. 2436.



АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ

Начало,
или
Прекрасная пани Зайденман

РОМАН

Перевод с польского Л. БУХОВА

I

В комнате царил полумрак, поскольку судья был любителем полумрака. Его мысли, обычно незавершенные и расплывчатые, неохотно оказывались в ловушке света. Все в мире темно и неясно, а судья любил проникать в тайны мира и потому сиживал обычно в углу огромной гостиной, в кресле-качалке, откинув голову назад так, чтобы мысли мягко покачивались в такт креслу, приводимому в движение легким прикосновением ступни, то левой, то правой. На ногах у него были фетровые домашние туфли, достигающие щиколотки, которые застегивались на металлические пряжки. Пряжки голубовато поблескивали на фоне ковра, когда на них падал свет лампы, затененной абажуром.

Портной Куявский посматривал на пряжки фетровых туфель и про себя подсчитывал убыток, который понесет, приобретая у судьи висевшую на стене картину в золоченой раме. На картине был представлен обнаженный мужчина с рогами, сидящий на бочонке с вином. Портной Куявский был убежден, что это дьявол, один из тех веселых, охочих до кружки вина и проделок с женщинами дьяволов, которых любили рисовать старые художники, чаще всего на довольно мрачном и не слишком отчетливом фоне, где портному с некоторым трудом удавалось распознать водяную мельницу или руины старинного замка. Картины эти были, правда, не слишком красивы, зато имели большую ценность, а портной вкладывал деньги в произведения искусства, потому что был патриотом и человеком культурным.

— Стало быть, вы говорите, дорогой друг,— произнес судья Ромницкий,— что для вас уже хватит всей этой войны. Хватит войны! Что ни говори, мир — это естественное состояние людей. Все мы жаждем мира,— вы так выразились...

— Я так выразился,— сказал портной, присматриваясь к дьяволу на бочке. Он вдруг вспомнил, что у дьявола есть имя — Фавн, и на него снизошел приятный, умиротворяющий покой.

— Что ж, согласен. Итак, пусть война закончится,— сказал судья.— Немедленно. Сию же минуту... Вам бы так хотелось, дорогой друг?

— А кому бы не хотелось, пан судья.

— Прошу вас хорошенько подумать. Я говорю совершенно серьезно. Мир важнее всего, не так ли? Значит — заканчиваем эту войну. Сразу же, без минуты промедления. А теперь будьте очень внимательны, дорогой пан

© Diogenes Verlag, Zürich, 1988.

В польском оригинале роман озаглавлен «Начало», во многих странах вышел под названием «Прекрасная пани Зайденман».

Куявский. Где сейчас Советы? Допустим, что на линии Дона. Англосаксы? Северная Африка. Великолепно. Стало быть, наш дорогой Адольф Гитлер господствует над Европой. И мы сегодня оканчиваем войну, пан Куявский. Поскольку, как вы любезно заметили, мир важнее всего, не так ли...

— Пан судья,— воскликнул Куявский.— Как же это? С немцами на шее?

— На что-то необходимо решиться, уважаемый друг. Впрочем, они на следующий же день станут иными. Наступит мир, наступит мир! Сначала предварительные переговоры, как водится, затем мирная конференция, какие-нибудь там взаимные уступки. Советы — одно, Гитлер — другое, англосаксы еще что-нибудь, но ведь ваша позиция такова, что мир важнее всего, так что им придется как-то уж договариваться, на то и существуют на свете дипломаты, государственные деятели, различные канцелярии явные и тайные, обмен грамотами, цилиндры, лимузины, шампанское, мир людям доброй воли, пан Куявский.

— Пан судья,— пробормотал портной.

— «Ты этого хотел, Жорж Данден!» [1] — воскликнул судья решительным голосом.— И прошу теперь без уверток. Есть на свете другие, кто на них специализируется. Но, дорогой друг, выше голову... Ведь у нас теперь мир! А если мир наступил, то оккупанты долее не могут вести себя столь чудовищно. Ну что ж, да, мы в неволе. Но ведь мы к этому привыкли, дорогой мой пан Куявский. В конце концов, оба мы родились в неволе, в неволе и умрем. Ну что ж... Не сомневаюсь, что поначалу будут они нас жестоко эксплуатировать. По четырнадцать часов рабского труда в сутки. Кнуты, побои... Но со временем это прекратится. Ведь воцарился мир, так что у них нет больше шансов на захват новых рабов. Придется позаботиться о тех, кто на них трудится. Выше голову, дорогой пан Куявский. Пройдет всего лишь несколько лет, а мы уже будем работать по восемь часов, нам дадут карточки на деликатесы, даже кофе будет, и чаек, а как же иначе, если воцарился всеобщий мир, если следует торговать друг с другом... Разве англичане выпьют сами весь индийский чай? А Советы, неужели не поставят нефть, пшеницу, картошечку, еще что-нибудь там?! Так и будем поживать, пан Куявский, дорогой мой, правда, под чужим сапогом, что уж тут скрывать, но зато в мире, ибо с сегодняшнего вечера воцарится мир во всем мире, высшая ценность для каждого человека и для всего человечества, о которой столь благочестиво вздыхают измученные наши души, глупые душонки, пан Куявский, осквернённые неволей, привычные к покорности, униженности, лакейству, и не сегодня, ясное дело, еще не сегодня, но со временем, через несколько лет, когда уже дадут нам собственные школы, а как же иначе, с нашим родным языком на всех без исключения уроках, когда будем есть хлебушек с салом и, может, иной раз даже бутылочка коньяку французского подвернется, может, шведская селедочка, может, сигара гаванская! Вы только представьте, дорогой друг, сколько добродетельных и достойных восхищения деяний принесут свои плоды под солнцем европейского мира... Сколь радостной будет жизнь наших маленьких рабов, всех этих мальчиков и девочек, которые даже конфетку получат от своих властителей, даже пеструю игрушечку, ибо те, конечно, будут заботиться о детворе, даже витамины станут выдавать в детских садиках, чтобы дети росли здоровыми, сильными, дабы потом смогли добросовестно работать, получая скромное, но достойное вознаграждение, отпуска для укрепления здоровья и отдыха, в соответствии с принципом «Kraft durch Freude», то есть сила через радость, иными словами, необходимо отдыхать, лечиться, пломбировать зубы, рационально питаться и вести здоровый образ жизни, поскольку все это непременное условие производительного и организованного труда, а как вам известно, дорогой пан Куявский, «Arbeit macht frei», то есть работа освобождает, в особенности же освобождает она под золотым солнцем европейского мира. И только одного у нас не будет. Только

[1] Слова главного героя пьесы Ж. Б. Мольера «Жорж Данден». *(Здесь и далее прим. перев.)*

одного! Права сопротивляться. Права громко сказать, что нам нужна Польша свободная и независимая, что мы хотим по-своему чистить зубы и отдыхать, по-своему рожать детей и работать, по-своему думать, жить и умирать. Только одного этого не будет у нас под тем самым солнцем европейского мира, который вы, друг мой, считаете наивысшей ценностью.

Портной Куявский облизал губы кончиком языка. Пряжки на туфлях судьи, которые еще минутой раньше вызывали в нем ассоциации с маленькими, сверкающими звездочками, казались ему теперь глазами дикого зверя.

— Да что вы такое говорите, пан судья,— пробормотал он.— Я хочу мира, само собой, но на других условиях. Пусть сначала этот самый Гитлер под землю ляжет...

— Чтобы он лег под землю, необходима долгая война, пан Куявский,— сказал судья.

— Тогда пусть будет долгая война, но главное, чтобы он сдох!

— Ну, так как же мы решим, друг мой? Для вас уже не годится мир с сегодняшнего вечера? Захотелось снова повоевать? Может, хватит всех этих ужасов? Неужели сидит в вашем нутре такой кровавый палач? Не ожидал от вас, пан Куявский! Мало вам жертв, пожаров, крови польской и непольской, пролитой в этом мире?

Судья звучно рассмеялся. Остановил кресло-качалку. Глаза дикого зверя погасли.

— Ладно, друг мой,— произнес он.— Вот и договорились в конце концов. Запомните, пан Куявский! Для нас всегда главной заботой должна быть Польша, наша польская суть, наша свобода. Не какой-то там европейский мир, вздор, чепуха для идиотов, а Польша. Разве я не прав?

— Конечно, правы, пан судья,— ответил Куявский.— Но я ведь недомерок не только ростом, но и разумом.

— Никогда не говорите этого вслух! У стен есть уши. А вдруг там какие-нибудь демиурги доморощенные сидят, которые только того и ждут, чтобы люди утратили доверие к собственному разуму, чтобы начали внутренне колебаться и самих себя растравлять сомнениями, а вдруг у них и в самом деле такой, как вы были любезны выразиться, недомерочный разум.

— Демиурги? — повторил Куявский.— Не слышал. Это что-то вроде водопроводчика?

— Это, дорогой мой, такие мастера по спасению человечества. Не успеете оглянуться, как вылезет один да другой из какой-нибудь дыры. В карманах у каждого философский камень. У всех камни разные, и они бросаются ими друг в друга, но обычно попадают по лбу людям порядочным, таким, как вы или я... Хотят устроить для нас будущее на свой манер. И на свой манер хотят причесать наше прошлое. Вы таких еще не встречали, пан Куявский?

— Может, и встречал,— примирительно ответил портной и снова с вожделением посмотрел на фавна в золоченой раме.

— А кстати говоря,— продолжал судья,— упоминание о водопроводчиках представляется мне чрезвычайно интересным. Дай Бог, чтобы вы не оказались пророком, дорогой пан Куявский. Потому что может наступить день, когда они всех нас спустят в канализацию. Хороши мы будем тогда.

— А что до картины, пан судья,— робко подхватил Куявский,— то этого фавна я бы забрал еще сегодня. За раму прошу посчитать отдельно. Парень приедет на рикше [2], завернет в бумагу, шнурочком перевяжет, и можно спокойно ехать.

— Ехать-то можно, но я был бы рад услышать, каково ваше предложение.

— Вы, пан судья, упоминали в разговоре с паном Павелком, что частично может быть натурой.

[2] Двухместная коляска, приводимая в движение велосипедом. Распространенный вид транспорта в период нацистской оккупации Польши.

— А как же. Было бы весьма желательно. Я имею в виду главным образом жиры и мясо.

Куявский игриво погрозил судье пальцем и сказал:

— Вы, пан судья, человек весьма интеллигентный, а в торговых делах, я вижу, тоже соображаете.

Слова эти он произнес тоном веселым, правда, не без внутреннего беспокойства, так как не был уверен, уместно ли говорить с судьей в подобной форме. Портной Куявский имел при себе денег больше, чем судье приходилось видеть в течение целого года, и все же чувствовал себя скованно перед лицом старого человека в кресле-качалке, и не только потому, что судья был некогда его благодетелем, но по совершенно банальной причине — просто он знал свое место на этой земле. Не наступили еще времена, когда положение человека определяли деньги и власть. Портной принадлежал к эпохе, когда все основывалось на надежном духовном порядке, тонком, как фарфор, но зато прочном, как римский акведук. Господствовала иерархия человеческих душ, и все знали, что на земле существует благородство не по происхождению, а возникающее из глубин человеческой личности. И потому Куявский слегка смутился и взглянул на судью. Тот сердечно рассмеялся.

— Я бы хотел этого, дорогой пан Куявский, хотел бы, не стану скрывать,— произнес он спокойно. Чуткий, как сейсмограф, он обладал той особой впечатлительностью, которую поэты называют разумом сердца, и потому добавил: — Но судьба подарила мне знакомство с вами, а вашей сообразительности хватит на нас двоих. Я целиком полагаюсь на ваше предложение.

И тут же добавил решительным тоном, чтобы не задеть Куявского и не омрачить удовольствия от сделки:

— Но торговаться буду упорно, дорогой пан Куявский.

— Это уж как водится,— ответил портной. Он подумал, что переплатит, лишь бы снова сидеть на вытертой кушетке в этой гостиной, где пахнет старыми вещами и пылью от множества книг.

II

Павелек Крыньский открыл глаза и посмотрел на свои руки. Просыпаясь, он всегда разглядывал свои руки. Стали они уже синие и мертвые, с потемневшими ногтями, источающими трупный яд, или все еще оставались его собственными, живыми? Павелек, так его все называли с детства, вскоре собирался отметить свое девятнадцатилетие. В этом возрасте с человеком того времени происходили необыкновенные вещи. Он уже хорошо понимал различие полов и утрачивал веру в бессмертие. Лишь позднее сумел обрести ее вновь, однако ранняя возмужалость, подобно глубокой старости, примиряла его со смертью. Таким образом, Павелек Крыньский вступал в тот период, когда любовь и смерть становятся неразлучными подругами мужчины. Мысль о них не отступает от него ни на шаг.

Спустя совсем немного лет восемнадцатилетний мужчина, испытывающий подобные страдания и страх, был бы уже просто смешон. Но Павелек принадлежал к эпохе, когда молодые люди хотели быть взрослыми. С пятнадцатилетнего возраста носили мужские костюмы и добивались для себя обязанностей и ответственности. Бежали от детства, поскольку оно и так тянулось слишком долго. У детей нет чести, а они стремились иметь честь любой ценой.

Он открыл глаза и посмотрел на руки. Они еще принадлежали ему. Успокоенный, он вновь прильнул к подушке. Ночью у него был Генек. Но черты лица Генека казались неясными, а голос был такой тихий, что Павелек не понимал слов. Только жест Генека достиг его. Как всегда, во сне Генек подал знак. Павелек сказал: «Где ты, Генек?» — но ответа не получил. Он не любил этот сон, который уже какое-то время регулярно повторялся, но когда просыпался с ощущением, что Генек ночью не приходил, бывал разочарован. Куда этот урод подевался? — думал Павелек.

Он открыл глаза, рассматривал руки. Подумал, что перестает заботиться о своей связи с Богом. Не верил в Бога так сильно, как верил прежде и позднее, ему мешали скептицизм, бунтарство, насмешка и сомнение, но он боялся гнева небес. Надеялся на их терпеливость, но гнева боялся.

Кисти рук были гибкие, сильные. Он с облегчением вздохнул. Вскочил с постели. В тот день ему предстояло совершить много важных дел, требующих мужества и достоинства. У изголовья тахты стояли две женщины. Пани Ирма, золотая, фиалковая и красивая, с которой он расставался. Моника, серебряная и сумрачная, как русские иконы, которую начинал страстно любить.

Пани Ирма была первой, мальчишеской любовью Павелка. В довоенные времена она жила за стеной, на том же этаже их дома. Когда Павелек полюбил пани Ирму, ему было тринадцать лет. Она была женой врача, доктора Игнация Зайденмана, рентгенолога и ученого. Доктору нравился Павелек. Встречая его на лестнице, он расспрашивал о школе, угощал конфетами, а однажды даже пригласил мальчика в свой кабинет, где находился рентгеновский аппарат. Пани Ирма была золотоволосая красавица с голубыми глазами и стройной фигурой. Уже перед войной она снилась Павелку по ночам. Он просыпался тогда встревоженный, не узнавал собственного тела, оно было горячим, напряженным, разбитым. В пани Ирме было что-то от болезни, она причиняла только страдания. Когда пани Ирма угощала его конфеткой или шоколадом, он испытывал чувство унижения. Ради нее хотел завоевывать экзотические страны, сокрушать крепости, побеждать вражеские орды. Они не находили общего языка и пути друг к другу. Он плыл к пани Ирме на корабле, на стопушечном галеоне, в индейской пироге, а она шла навстречу ему с шоколадкой в руке. Потом он уже не размахивал веслом в каноэ, с убором из перьев на голове. Пани Ирма кружила по Варшаве. Еврейская вдова с нордическим лицом, исполненная решимости. Шла война. Павелек учился на подпольных курсах, старался подработать, чтобы помочь матери. Отец был в немецком плену, за колючей проволокой офицерского лагеря. Отношение Павелка к пани Ирме стало заботливым и ещё более болезненным.

Доктор Зайденман умер перед самой войной, пани Ирма жила в одиночестве, сменяя квартиры в арийской части города. Для нее Павелек всегда находил время. Она могла рассчитывать на его помощь. Ей хотелось сохранить научный архив мужа, чтобы после войны, благодаря открытиям и наблюдениям доктора Игнация Зайденмана, рентгенология могла развиваться. Павелек помогал пани Ирме. Она становилась все красивее. Он страшился за ее судьбу. Мучился ревностью. Пани Ирме было тридцать лет с небольшим, вокруг нее крутились всякие мужчины.

Павелек сдал экзамены на подпольных курсах на аттестат зрелости. Он немного зарабатывал, посредничая в торговле произведениями искусства. Культурные и состоятельные в прошлом люди во время оккупации продавали картины, мебель, книги. Им нужно было на что-то жить. Возникали новые состояния, порой огромные, источники которых не всегда были чистыми, поскольку частично брали свое начало из экономического подполья, без которого страна, став безжалостно эксплуатируемым тылом гитлеровской военной машины, не могла бы существовать, а частично от разграбления еврейского имущества, и хотя большую часть добычи забирали немцы, немало ценных крупиц попадало и в руки поляков. Павелек крутился на своеобразном рубеже между разорившимися коллекционерами предвоенного времени, распродающими мебель и фамильные драгоценности, некогда богатыми обладателями гравюр, картин и столового серебра, и небольшой, но бдительной и оборотистой кучкой нуворишей, всегда жадных и ненасытных, жестких, хладнокровных и чванливых, среди которых попадались порой знатоки и любители красивых вещей, может быть униженные судьбой в довоенные времена, те, что брели прежде окольными путями, но смогли наконец выйти на главную дорогу и взять реванш у некогда более удачливых соперников. Были

это, в общем-то, дела достаточно темные, но среди дельцов попадались и люди вроде портного Куявского, богача и коллекционера, который, к изумлению своих клиентов, зачастую проявлял себя как человек с добрым сердцем и широкой натурой. Павелек старался держаться возле портного, а портному Павелек нравился. Некоторое время они составляли неразлучную пару, потом их связь несколько ослабла, не по причине деловых разногласий, а из-за занятий Павелка в подпольном университете и любовных драм.

Он познакомился с Моникой. Ей было восемнадцать лет, волосы черные как смоль, серебристая кожа, обаяние ленивого хищника. Поздней осенью 1942 года Павел поцеловал Монику. Губы ее были холодны, стиснуты, глаза враждебны.

— Никогда больше! — сказала она.— Никогда больше.

Однако спустя несколько дней он снова поцеловал губы Моники. Она возвратила поцелуй. Он был близок к смерти. Любил Монику. Она была красива, умна, добра. Рядом с ней он был ничто. Камень придорожный. Осенний лист. Призрак, обреченный на вечные муки. Однажды, когда они ехали на рикше, он положил ладонь на ее колено. Она застыла. Отдернул руку. Ощутил крыло смерти над головой. В другой раз, идя по Маршалковской, они наткнулись на Куявского. Тот приподнял шляпу. Будучи человеком весьма деликатным, старался следовать светским манерам. Моника сказала:

— Какой смешной человечек.

Павелек признал, что Куявский человечек смешной. Но спустя неделю, когда их свело совместное дело, портной вспомнил о Монике.

— Вам, пан Павелек, привалило истинное счастье.

— Что вы имеете в виду, пан Куявский?

— Та барышня на Маршалковской, что была с вами. Какая совершенная, законченная красота...

На какое-то мгновение он заколебался, потом покачал головой и добавил:

— Законченная? Да что я говорю. Она красива бесконечно...

Павелек признал, что Куявский человек умный, ценитель искусства, серьезный знаток.

Он любил Монику, но любил также пани Ирму. Это были два различных чувства. С Моникой он хотел прожить всю жизнь, с пани Ирмой — несколько часов. Вместе с Моникой хотел стареть, возле пани Ирмы достигнуть зрелости. Но жил он в жестокое время. Мечты не осуществились. Первое признание в любви он сделал пани Ирме, лишь когда та была уже очень старой женщиной, на террасе кафе возле авеню Клебер в Париже. Было то спустя тридцать лет после смерти прекрасной Моники. Ни одна из этих женщин не успела повлиять на внутреннее формирование Павелка. Женщинам, которые оставили след и знак в его жизни, предстояло появиться позднее. Но пани Ирма и Моника помогли ему свыкнуться со смертью. Он сохранил благодарность.

Однако в то утро, рассматривая свои руки и вставая с постели, он не испытывал благодарности. Был бодр и исполнен самых серьезных намерений. Он решил, что сегодня раз и навсегда покончит с любовью к пани Ирме и все свое сердце отдаст Монике. Все еще верил, что является хозяином совершаемого им выбора. Верил в свободу. Следует извинить его. Ему еще не было девятнадцати лет.

Он мылся холодной водой, фыркал, был почти счастлив. Правда, не до конца, поскольку снова вспомнился ему Генек Фихтельбаум. Друг со школьной скамьи. Ученик вероисповедания Моисеева, Генек Фихтельбаум. Лучший друг детства, юношеских лет и ранней зрелости. Генек Фихтельбаум, который помогал Павелку в решении заданий по математике. Капризный, красивый, темноволосый, сосредоточенный.

Были минуты, когда они ненавидели друг друга. Генек надувал губы.

— Наплевать мне на тебя, Павелек! — говорил он и уходил между

деревьями Саксонского сада [3], невысокий, противный, с ранцем на спине. Павелек пинал ногой каштаны в бессильной ярости. Они ненавидели друг друга. Случалось, что жестокий Генек возвращался. Надув губы, он смотрел под ноги, тоже пинал каштаны.

— Так и быть,— говорил он,— можем вместе дойти до Крулевской.

Но случалось, что Павелек бросался вдогонку за Генеком.

— Стой! Погоди! Я иду с тобой...

Они были индейцами. Были абиссинцами. Генек набрасывал на плечи клетчатый плед и говорил Павелку:

— Я Хайле Селассие! [4] Ты командующий моими войсками.

Иногда Павелек отнимал плед и сам становился императором. Они издавали военные кличи. Итальянцы бежали. Генек стрелял из пушек, Павелек — из пистолетов. Целились из луков, метали копья.

Генек Фихтельбаум любил сладости, Павелек — фильмы. Они препирались. Генек хотел съесть шоколад, Павелек — пойти в кино. Они спорили, ибо расставание было бы невыносимым. Шоколад — приторным, фильм — скучным. Они были друзьями, каких люди взрослые не встречают никогда. Умирали друг за друга в игре, но были бы готовы умереть по-настоящему, поскольку не понимали еще, что такое смерть, и потому не боялись ее, для смерти им не хватало воображения.

Потом воображения уже хватало. В 1940 году Генек Фихтельбаум отправился в гетто. Спустя два года бежал и появился у Павелка. Павелек устроил его в прекрасном укрытии у одного часовщика. Генек Фихтельбаум поселился на чердаке. Павелек доставлял ему туда книги и вести. Генек бунтовал, капризничал. Испытания, перенесенные в гетто, бледнели в его памяти. Сидение на чердаке было для него мучительно.

— Это тюрьма! — говорил Генек Фихтельбаум.

— Ради Бога, Генек, образумься. Где тебе будет лучше? Ты должен набраться терпения.

— Я хочу выйти на улицу, Павелек.

— Исключено!

— А я выйду!

— Кретин, идиот, болван! — кричал Павелек.

Генек подчинялся. Потом уже не мог вынести жизни взаперти. Павелек устраивал скандалы.

— Вот видишь, все в порядке,— невозмутимо говорил Генек Фихтельбаум.— Я был в городе и жив. Ничего не случилось.

— У тебя нет совести! — кричал Павелек.

Они были друзьями. Генек вновь уступал. Не из страха за жизнь, но из любви к Павелку. Однако спустя два месяца он бесследно исчез. Павелек страстно молился. Проходили недели, известий не было. Прошла вся зима. Генек уже не существовал. Только поздней ночью, в темноте, Генек появлялся и подавал знак. Это знак жизни, думал Павелек и засыпал. Наутро его будили женщины. Пани Ирма и Моника. Все трое возникали из снов Павелка. Генека Фихтельбаума все не было. По-прежнему пребывал в пугающем отсутствии. Умер, думал Павелек в течение дня. Однако ночью Генек приходил снова и подавал знак.

Потом он также приходил, долгие годы. Не существовал уже тот мир, в котором остался Генек, а он все появлялся ночью и подавал Павелку знак. Теперь Павел думал, что это знак смерти, не жизни. Не призывай меня, говорил он тени Генека Фихтельбаума, не тебе принадлежит право призывать. Засыпал без страха, так как сознавал, что Генек Фихтельбаум не посланец Бога, а всего лишь добрая память. А может быть, это одно и то же, думал он порой.

Но верил, что Бог — это еще и любовь.

Коли на то пошло, можно утверждать, что Павел — избранник судьбы. Он пережил войну и познал любовь. Просто поразительно. Чуть ли не

---

[3] Парк в центре Варшавы.

[4] Хайле Селассие I (1892—1975) — император Эфиопии в 1930—1974 гг. Возглавлял борьбу с итальянскими захватчиками в итало-эфиопской войне 1935—1936 гг.

баловень фортуны! Когда он был немногим старше двадцати лет, ему казалось, что сгорело все без остатка. Этот город был целым миром, которым он обладал. Даже не весь город, а его сердцевина, с полтора десятка улиц между Бельведером [5] и Замком [6], берегом Вислы и кладбищем на Воле [7]. Тут был другой воздух, небо, земля. Дома охватывали горизонт. Ребенком он истоптал каждый уголок этого клочка земли, до самого горизонта. Другой родины у него не было. В ее центре располагался Саксонский сад, прилегающие к нему улицы, с одной стороны красивые, светлые и изысканные, с другой — отмеченные шумным беспокойством, полные уродства и нищеты. И не было границы, разделяющей эти два мира. В тени каштанов Саксонского сада дамы в костюмах для прогулок, шляпках с вуалью, туфельках на высоком каблуке, господа в плащах, котелках, пальто с меховыми воротниками задевали порой мрачных прохожих в порыжелых лапсердаках и сапогах, крикливых торговок с париками на головах, пейсатых мальчишек в ермолках и флегматичных старцев, бредущих с тростью, в куртках с позументом, с фуражками на седых головах и в поношенной обуви бедных, изможденных работой людей. Вокруг фонтана сиживали на лавочках повстанцы 1863 года [8], революционеры 1905-го, ветераны 1914-го, кавалеристы 1920-го [9], близорукие учительницы, которые в молодости приседали перед Ожешко, заговорщики и сибирские ссыльные, узники Моабита и крепости в Оломоуце, торговцы мануфактурой с Новолипок, скобяные оптовики с Генсей, антиквары со Свентокшиской, молодые дипломаты из дворца Брюля [10], кокотки и святоши, безработные и богачи, евреи, немцы, украинцы, французские гувернеры из давних поместий, белогвардейцы — беженцы, барышни на выданье, студенты с мужицкими лицами и пустыми карманами, воры и сплетницы. Здесь Павелек спорил с жестоким Генеком Фихтельбаумом, кто из них выиграл больше каштанов в ножички. Тут они наголову разбивали большевиков и принуждали к отступлению отборные полки дуче, сбивали самолеты генерала Франко, которые осмелились бомбить укрепления Испанской республики.

Сделав несколько шагов, можно было оказаться среди дворцов, правительственных зданий, лимузинов, ароматов кофе и духов. И можно было пройти в противоположном направлении, к Граничной, Жабьей, Рымарской, чтобы попасть в самое средоточие еврейской диаспоры, между лавчонками со скобяными товарами, шумной хасидской толпой, огромными грузчиками из торговых рядов в клеенчатых шапках и рабочих блузах, купеческим гвалтом, конским ржанием, запыленными витринами бедных шляпных мастерских с надписью «Modes» [11] или «Dernier cri» [12], фруктовыми лавками, крохотными кондитерскими, парикмахерскими, сапожными и галантерейными мастерскими, уличными торговцами диагоналевыми брюками и баранками.

И еще можно было пойти в другую сторону света, к башням старых костелов, промозглым домикам и монастырям, к пролетарским мукам и бунтарским мечтам простого народа. Именно там Королевский замок касался кафедрального собора, собор касался Рынка, а Рынок касался Вислы и Иордана.

То был весь мир Павла, который проваливался под землю в течение нескольких лет, на его глазах, в его присутствии, бессильном и остолбенелом. Проваливался в буквальном смысле слова, рассыпался в щебень, погребая под руинами людей и польскую концепцию бытия.

Павел пережил войну. Мог ли он потом рассчитывать, что судьба улыбнется ему? И все же он познал любовь. Просто поразительно. Да, этого не скроешь — Павелек был баловнем фортуны.

---

[5] Дворец в Варшаве, резиденция президента Польши.
[6] Королевский замок. Взорван нацистами в 1944 г., ныне восстановлен.
[7] Западный район Варшавы.
[8] Участники восстания 1863—1864 гг. против царизма в Королевстве Польском.
[9] Участники польско-советской войны 1920 г.
[10] Особняк, где перед второй мировой войной располагалось министерство иностранных дел Польши.
[11] «Моды» *(франц.)*
[12] «Последний крик» *(франц.)*

III

Камера представляла собой узкую клетку. В ней стоял один стул. С трех сторон стены. Только на коридор выходила решетка, простирающаяся от потолка до каменного пола. Под потолком горела сильная лампа без абажура.

Ирма Зайденман села на стул, как ей приказали. Охранник запер решетку на замок и ушел, тяжело ступая.

Она была здесь не одна. Доносилось дыхание других людей, запертых в клетках, которые располагались вдоль коридора. Но только дыхание.

Ирма Зайденман опустила голову, охватила ее ладонями, оперлась локтями о колени и, ссутулившись, сосредоточенно замерла в тишине. В ней жило некое любопытство, стремление во всех подробностях пережить каждое уходящее мгновение, тишину и сосредоточенность, собственное дыхание, удары сердца.

Итак, с Ирмой Зайденман случилось то, чего она ожидала. Чуть ли не каждый день за последние два года была готова именно к такому завершению. В городе рассказывали легенды о коридоре из узких клеток. Она представляла себе этот коридор. Он, правда, оказался несколько иным, поменьше, может, чуть более уютным, не таким ужасающим, как в рассказах, которые она выслушивала со сжатым сердцем. Теперь сама была в этом коридоре. Ей уже не надо было бояться, что попадет сюда. Стена, решетка, лампочка, приглушенное дыхание, удивительно размеренное и тихое. Ее организм осваивался с коридором, приспосабливался к нему. Теперь это был весь мир Ирмы Зайденман. В нем нужно было жить.

Она вдруг подумала, что жизнь — это лишь то, что уже прошло. Нет иной жизни, кроме воспоминаний. Будущего не существует, и не только здесь, за решеткой, но повсюду, также и на улице, в лесу, на море, в объятиях любимого мужчины. Жизнь — это то, что свершилось, о чем мы помним, что случилось и прошло, чтобы остаться как воспоминание. Будущее не может быть жизнью, думала Ирма Зайденман, потому что в будущем нет меня, я не ощущаю там ни голода, ни жажды, ни холода, ни жары. То, что случится где-то и когда-то, существует пока вне меня, скрыто за стеной и решеткой, вне моего пространства и восприятия, пребывает еще в далеких звездах, в космическом предопределении. Моя жизнь здесь, поскольку здесь нахожусь я, мое тело, прежде всего — моя память. Только то, что уже случилось, и есть моя жизнь — и ничто, кроме этого! И потому думать о жизни, значит, думать о сохраненном в памяти прошлом, а прошлое — это каждое мгновение, то запирание решетки — прошлое, вот я склонила голову, оперлась головой на руки, все это прошлое. Я это пережила, Боже мой! И не пережила ничего больше, кроме того, что запомнила. Ничто не существует вне памяти.

Ей вспомнился муж, доктор Игнаций Зайденман, высокий стройный мужчина, которого она очень любила, хотя у них не могло быть детей. В начале супружества они переживали из-за этого, но вскоре смирились, найдя счастье друг в друге. Доктор Игнаций Зайденман умер от рака в 1938 году. После его смерти Ирма Зайденман думала, что не сможет дольше жить, ее отчаяние казалось невыносимым. Но спустя какое-то время работа по приведению в порядок научного наследия мужа, его трудов в области рентгенологии, настолько ее увлекла, что боль утраты становилась все менее мучительной. Позднее, как-то вдруг и не без удивления, она заметила, что рентгенология захватила ее сильнее, чем мысли об ушедшем муже. Сначала чувствовала себя обязанной только навести порядок в бессистемном научном наследии доктора, рассматривала это как нравственный долг перед его памятью. Однако через некоторое время обнаружила существенные пробелы в этих заметках, снимках, описаниях состояния больных, выводах — и ощутила как бы стыд из-за того, что муж, человек трудолюбивый и разумный, не уберегся от некоторого беспорядка и небрежности. Этого она не могла так оставить, не могла наследие Игнация Зайденмана подвергнуть риску язвительной критики. Ездила в Париж, к профессору

Леброммелю, надеясь на его помощь. Ей не хватило времени, чтобы разобрать тысячи папок и конвертов,— разразилась война. В тот период Игнаций Зайденман занимал в ее жизни меньше места, чем его архив. Именно из-за архива она даже не помышляла о переезде в гетто. Светлая блондинка с голубыми глазами, прямым, точеным носом и губами изящных, хоть и слегка иронических очертаний, она была очень красивой женщиной, ей было тридцать шесть лет, и она обладала немалым капиталом в виде драгоценностей и золотых долларов. Архив доктора Зайденмана она поместила у друзей, в деревянной, просторной вилле в Юзефове [13], сама, трижды сменив квартиру и документы, чтобы запутать следы прошлого, поселилась наконец в милой холостяцкой квартирке на Мокотове [14] как вдова офицера Мария Магдалена Гостомская. Ей не нужно было заботиться о средствах к существованию, впрочем, потребности ее были скромны, она довольствовалась своим положением одинокой женщины, которая в этом безумном мире продолжает трудиться над упорядочением трудов покойного мужа. Довольно часто ездила в Юзефов, делала заметки на полях рукописей мужа, поддерживала контакты с варшавскими врачами, людьми, заслуживающими доверия, даже в ту жестокую пору находившими время для бесед с красивой и умной женщиной, настолько увлеченной проблемами лучей Рентгена и загадками рентгенологии, что, казалось, не замечала того ада, в котором жили тогда все.

Ад она замечала. Но говорила, что даже в аду следует держаться избранного пути, пока это возможно. Упрекала себя порой, что с некоторым равнодушием воспринимает вести из-за другой стороны каменной ограды. Правда, среди умерших в гетто не было ее близких. Их у нее уже нигде не было, поскольку кладбище, где покоился доктор Игнаций Зайденман, сровняли с землей, каменные плиты разворовали либо употребили для мощения улиц. Тела доктора Зайденмана не существовало, но Ирма Зайденман была убеждена, что сам он где-то все же пребывает, может, поблизости от Господа Бога, а может, как духовная энергия в космосе, либо как частица воздуха, которым она дышала, частица воды, которую пила. Кроме того, доктор Игнаций Зайденман оставался в ее жизни как воспоминание. Она часто видела его, беседовала с ним вечерами, он приходил к ней во сне, но не как любовник, не как муж, она не ощущала ни его объятий, ни поцелуев, а только присутствие его личности, сосредоточенной, молчаливой, может быть, даже слегка раздосадованной, ибо доктор Зайденман имел основания чувствовать себя несколько обиженным из-за ее критичности, из-за поправок, которые она вносила в его рукописи, считая это своим долгом. Иной раз во сне она спорила с мужем, но неизменно сознавала, что спорит сама с собой, поскольку мужа нет в живых и спорить с ним невозможно.

Таким образом, все эти годы они были вместе, она очень реально, с множеством разнообразных мелких и больших забот и еще с огромным страхом, который проистекал из осознания того, что она сама о себе знала, из ее еврейства, хорошо, правда, укрытого благодаря внешности, прекрасным документам и доброжелательности ее ближайшего окружения, у которого не возникало никаких подозрений, а если бы они даже и возникали, то эти люди все равно оставались под воздействием двух тысячелетий европейской цивилизации; так что они были вместе, с той лишь разницей, что доктор Зайденман оставался в стороне, к счастью, невидимый и недостижимый для преследователей.

Ирма Зайденман каждый день говорила себе, что ей, вне всякого сомнения, удастся пережить войну, завершить и впоследствии опубликовать труды мужа, она рассматривала это не только как свидетельство любви и памяти, а также, не без стыда, но и не без доли тщеславия, как собственный научный успех, тем более значительный, что она, не имея медицинского образования, добилась всего благодаря уму, трудолюбию и настойчивости. В своих раздумьях и наблюдениях она чувствовала себя до такой степени уверенно, что в будущем намеревалась начать, пусть запоздало, изучение

[13] Городок в окрестностях Варшавы.
[14] Район в южной части Варшавы.

медицины, может быть, даже под руководством профессора Лебромме-ля, который был также наставником ее покойного мужа.

Итак, она твердила себе, что войну переживет, и в то же время считала, что мысль эта абсолютно абсурдна, так как ее наверняка разоблачат и она разделит судьбу других евреев. Ожидала этого дня с каким-то горьким любопытством и приняла твердое решение, что умрет спокойно, без сожалений, поскольку ей удалось достигнуть многого и с каждым днем она приближается к завершению работы над трудами своего мужа. Ей очень хотелось еще какое-то время продержаться, что-то еще дополнить, исправить, заменить, не впадая при этом в лихорадочное беспокойство, ибо она сознавала, что если и не успеет, то успеют другие, кто-нибудь наверняка успеет, есть на свете люди разумные и достойные, которые продолжат ее труд и доведут дело до конца. А если таких не окажется, то и труд доктора Зайденмана потеряет смысл.

Так что она лелеяла надежду, что уцелеет, и в то же время была убеждена, что погибнет, это было весьма человечное, естественное душевное состояние и не вызывало ее удивления. Однако когда, выходя из подворотни на улице Кручей, она лицом к лицу столкнулась с Бронеком Блютманом, о котором говорили, что он осведомитель, который занимается вылавливанием евреев, рассчитывая таким способом уберечь свою еврейскую голову наемного партнера для танцев из предвоенных дансингов, ее первой мыслью было устроить дело самым банальным образом.

Бронек Блютман сказал:

— Какая встреча, дорогая пани Зайденман. И все так же элегантны, ну и ну!

— Не стану перед вами притворяться,— ответила она спокойно.— Мы можем это уладить.

— А что именно мы можем уладить, моя прелесть? — спросил Бронек Блютман.

— Сколько вы хотите? Вы молодой, интересный мужчина, у таких обычно большие расходы.

— Пани Зайденман, дорогая,— ответил Бронек Блютман.— Меня не спасут ни свинки [15], ни твердые [16]. Я имею заданную норму.

— Мне бы не хотелось казаться хуже, чем я есть,— сказала она,— но вашу норму вы можете выполнить где-нибудь в другом месте.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Блютман.— Я охочусь всерьез. И потому сейчас мы пойдем туда, куда следует...

— Вам это ничего не даст, пан Бронек. Я совсем не Зайденман. Моя фамилия Гостомская, мой муж был офицером артиллерии и погиб на войне.

— Все мы погибли на этой войне,— возразил Бронек Блютман.— Пойдемте, моя дорогая.

— Мне ничего не смогут доказать.

— Я докажу.

Ирма Зайденман пренебрежительно пожала плечами, хотя ее сердце охватил страшный холод и ноги подгибались.

— Разве они поверят какому-то еврейчику, если вдова офицера будет решительно возражать...

— Не надо быть смешной, дорогая пани Зайденман. Пойдемте!

Он взял ее под руку. Мягко и ласково, поскольку был некогда хорошим танцором.

— Меня зовут Гостомская,— сказала она громко. Какой-то прохожий взглянул и сморщил брови.

— Моя фамилия Гостомская и я не еврейка,— повторила она еще громче. Двое мужчин остановились.

— Что вам нужно от этой дамы? — спросил один.

— Не ваше дело,— жестко ответил Бронек.

— Ты сам жид,— сказал мужчина.

---

[15] Пятирублевые золотые монеты царской чеканки.

[16] Золотые монеты в 10 долларов.

— Мне лучше знать, кто я,— воскликнул Бронек и потянул Ирму Зайденман за руку.

Проезжал свободный рикша. Он его остановил. Сели в коляску. На тротуаре стояли двое посторонних мужчин, их лица выражали страх, брезгливость и насмешку. Бронек Блютман положил руку на шею Ирмы.

— Всегда испытывал к вам слабость,— сказал он весело,— но теперь уж поздно.

— Ну-ка уберите руку, не то получите по морде! — воскликнула она.— Меня зовут Гостомская, Мария Магдалена Гостомская.

— Блудница,— пробормотал Бронек и рассмеялся. Но руку убрал. Ирма Зайденман обратилась к рикше. Назвала ему свой адрес. Попросила, чтобы сообщил доктору Адаму Корде, ее соседу, что она по ошибке задержана как лицо еврейского происхождения.

— Просто безобразие! — сказала она с преувеличенным отвращением. Рикша ответил, что доктора Корду он известит.

Доктор Корда не имел представления, что Ирма еврейка. Он был ее соседом чуть больше года. Как филолога — специалиста по классическим языкам еврейская проблема интересовала его лишь постольку, поскольку она имела связь с Тацитом и разрушением Иерусалима легионерами Тита. Время от времени он приносил Ирме варенье из шиповника, вечерами они иногда болтали о скверных, тяжелых временах. Ирма назвала его фамилию и адрес только потому, что он был просто порядочным человеком, а для нее было важно, чтобы кто-нибудь из людей порядочных знал, что вскоре она будет убита.

Она больше не вспоминала о докторе Корде. Не вспоминала также о Бронеке Блютмане, после того как тот вышел из комнаты Штуклера. Смотрела в широкое окно, выходящее на голубое небо.

Не признавалась. Упрямо повторяла: «Не знаю этого человека. Я не еврейка. Меня зовут Мария Магдалена Гостомская. Я вдова офицера. Ведь у вас мои документы».

У него была ее кеннкарта [17]. Еще было старое, истертое удостоверение Общества семей военных из города Гродно, выданное в 1937 году. Была фотография крупного мужчины за сорок со знаками различия капитана. Фотография была сделана также в Гродно. У Ирмы Зайденман были хорошие документы. Штуклер открывал и закрывал серебряный портсигар с золотыми инициалами И. З. Этот портсигар подарил ей муж, доктор Игнаций Зайденман, незадолго перед своей смертью, и был то последний его подарок, с которым она никогда не хотела расставаться. Бронек Блютман с улыбкой указал на портсигар и сказал Штуклеру:

— Вы только взгляните, господин штурмфюрер, лучшего доказательства, наверное, не найти. И. З., Ирма Зайденман или, если вам угодно, Игнаций Зайденман. Его я тоже знал.

— Где он сейчас? — спросил Штуклер.

— Его уже нет в живых. Умер перед войной,— ответил Бронек.

— Это не мой портсигар,— сказала она.— Я нашла его несколько недель тому назад. Вы же видите, что он серебряный. А монограмма из золота. Сегодня такие вещи не выбрасывают.

Повторяла это много раз также и тогда, когда Бронека Блютмана уже не было в комнате. Штуклер лениво открывал и закрывал портсигар. Спустя сорок пять минут приказал увести Ирму.

Она сидела в клетке, и то, что с ней случилось за эти утренние часы, было теперь самой подлинной ее жизнью.

Портсигар, подумала она. Всегда и все решает мелочь. Портсигар, без которого можно великолепно жить и совсем не заметить его отсутствия. Стало быть, человек — это всего лишь предмет среди предметов. Портсигар. Ирма была уверена, что, если бы не эта проклятая металлическая коробочка, ее бы освободили. Внешность и документы свидетельствовали в ее пользу. Штуклер, правда, в какой-то момент встал и начал внимательно разглядывать ее уши, но тут же вернулся за письменный стол. Она слышала

---

[17] Удостоверение личности периода нацистской оккупации.

об этом идиотизме, связанном с ушами еврейских женщин. Если речь шла о мужчинах, им приказывали расстегивать брюки. У женщин искали чего-то в ушной раковине. Сами не знали, чего ищут. Но были скрупулезны и не хотели ошибиться. Кто-то в Берлине придумал, что ушные раковины еврейских женщин несут на себе таинственные расовые признаки. Но этих признаков не было. И вот они ковыряли пальцами в ушах, разглядывали их — и по-прежнему ни в чем не были уверены. Штуклер вернулся к столу разочарованным. Но у него был портсигар. Если бы не портсигар, он отпустил бы Ирму Зайденман. В этом она была почти уверена.

Умереть из-за такой мелочи, подумала она, конечно же, это несправедливо. Она не испытывала чувства, что умрет как еврейка, поскольку еврейкой себя не ощущала и ни в коем случае не считала еврейство чем-то порочным, просто была убеждена, что умрет из-за портсигара. И мысль эта показалась ей смешной, глупой, скверной и ненавистной.

IV

В глубине двора на Брестской улице находилась уборная, снабженная эмалированной табличкой с надписью «Ключ у дворника». Информация была неверной. Уже в конце двадцатых годов замок на уборной проржавел и снаружи дверь запиралась на крючок. В течение дня здесь было оживленно, уборной пользовались торговки с ближайшего базара, а также один еще довоенный онанист в пенсне и котелке. Однако вечерами, когда базар закрывался, сюда никто не заглядывал, так как у жителей дома на каждом этаже было по два клозета, а для обитателей подвалов хозяин дома, в приступе великодушного безрассудства, построил перед войной туалет с фаянсовым унитазом тут же возле подворотни, ведущей с улицы во двор.

Генричек Фихтельбаум сидел в уборной и думал о Господе Боге. Он пришел на Брестскую в часы заката, привлеченный запахом овощей, остатки которых валялись на мостовой. Не успев, однако, ничего подобрать, он почувствовал на себе бдительный взгляд мужчины в клеенчатой кепке. Перепугавшись, нырнул в ближайшую подворотню, осмотрелся во дворе, вымощенном булыжником, истертым тысячами человеческих ног и конских копыт,— и, лихорадочно ища укрытия, оказался в уборной. Изнутри дверь запиралась на задвижку. В уборной трудно было сесть, поскольку историю свою она вела со времен Российской империи и облегчались в ней еще городовые императора Александра III, о котором Генричек Фихтельбаум слышал, что тот был гигантского роста и огромной физической силы, с исключительной жестокостью русифицировал поляков и пользовался уважением во всей Европе. Уборная была оборудована, исходя из предпосылки, что естественные надобности будут отправляться в ней в положении стоя или на корточках, ибо во времена Империи новейшим достижениям гигиены придавалось преувеличенное значение. Но теперь времена изменились, и Генричек Фихтельбаум присел на металлическую ступеньку, оперся плечом о стену, вдохнул вонь экскрементов и шепотом произнес:

— Господи Боже, если мне предстоит умереть, сделай так, чтобы я перед этим наелся и отогрелся, потому что не могу больше выдержать...

Он не ел уже три дня, ощущал пустоту в желудке и головокружение. Промерз до костей. Рассветы и вечера были очень холодными.

— Господи Боже, смилуйся надо мной! За что ты меня невзлюбил?

Отношение Генричка к Богу было требовательным, как у каждого, кто не слишком верит и обращается к Богу лишь в чрезвычайных ситуациях, как к последней инстанции, пусть не слишком надежной. Генричек воспитывался в доме, где к религии относились безразлично, он рос на рубеже двух миров, на ничейной земле, поскольку его отец, адвокат Ежи Фихтельбаум, хоть и вел свою родословную от набожных, ортодоксальных евреев, получив юридическое образование, оставил прежнюю среду и расстался с верой Моисеевой. Семья была галицийская, бедная, провинциальная, правда, отец адвоката принадлежал к людям для того времени образованным и вращался среди раввинов. Адвокат был человеком со-

временным, в Бога не верил, немного играл в коммунизм, как это делали тогда многие еврейские интеллигенты, усматривавшие в коммунизме средство исцеления от любых расовых предрассудков, наивно забывая, что свое развитие коммунизм получил в России.

Так что Генричек Фихтельбаум был воспитан в атмосфере весьма светской и вольнодумной, может быть, даже до смешного вольнодумной, ибо адвокат Ежи Фихтельбаум желал быть европейцем и либертинцем в бóльшей степени, чем величайшие европейцы и либертинцы в Париже, что легко можно понять, так как происходил он из глухого галицийского уголка. И потому с религией Генричек Фихтельбаум сталкивался только в школе, где большинство одноклассников были католики, а его ближайшего друга по школе, Павелка Крыньского, считали мальчиком великого религиозного рвения, что, впрочем, было известным преувеличением, так как у Павелка тоже возникали порой свои сложности с Господом Богом. Итак, Генричек Фихтельбаум вырос юношей безбожным, и его интересы были направлены к точным наукам, главным образом математике, физике и химии, а следовательно, к тайнам материального мира. Даже великое потрясение, каким для него явилось переселение из прекрасной квартиры на Крулевской улице в жалкое пристанище в гетто, не склонило Генричка к серьезным метафизическим раздумьям.

В гетто он поначалу не испытывал лишений, но потом стало не хватать буквально всего, а спустя год семья адвоката поняла, что обречена на уничтожение. Вскоре после этого умерла мать. Генричек остался с отцом и сестрой Йоасей, малышкой, которую очень любил. Но он был молод, все еще силен и не терял надежды. Принял решение перейти на арийскую сторону, чтобы продержаться там. Попрощался с отцом и сестренкой и бежал из гетто.

В тот день он впервые в жизни всерьез подумал о Боге. Лежал в темноте, на сыром тротуаре, неподалеку от ограды гетто, и был совершенно один. Человек не может оставаться один в минуту испытаний. Он нуждается в других людях, а если их поблизости нет, обнаруживает внезапно присутствие Бога. Обычно это присутствие мимолетно, едва уловимо, как если бы Бог прошел рядом быстрым шагом и исчез за углом ближайшего дома. Перед тем как преодолеть препятствие, Генричек Фихтельбаум прошептал: «Боже, помоги мне!» Потом перелез через ограду и ничего страшного с ним не случилось. И он забыл о Боге.

Несколько месяцев он продержался благодаря небольшой сумме денег и заботливой опеке Павелка. Но однажды совершил ошибку, поскольку стáл самоуверен, а было ему всего восемнадцать лет, и успехи кружили голову. В тот день он направился в кондитерскую на Маршалковской, забыв о своей внешности. Позднее Генричек Фихтельбаум пытался опровдаться перед собой тем, что никогда прежде не изучал своего лица с точки зрения расовых признаков, более того — никто за всю жизнь не говорил ему о его еврейских чертах лица как о чем-то, достойном внимания. И если перед войной в школе он чем-то и выделялся, то лишь пристрастием к точным наукам, а не формой носа и губ. В кондитерской он поначалу возбудил деликатное любопытство, потом переполох и, наконец, бурную реакцию какого-то мужчины, который выкрикнул: «Еврей ест пирожное!» — как будто еврей, евший пирожное в кондитерской на Маршалковской, был чем-то вроде динозавра, русской великой княжны без бриллиантовых серег или еврея, евшего пирожное в кондитерской на Маршалковской в 1942 году. Несколько человек поспешно вышли из кондитерской, официант воскликнул: «О Господи! Теперь всех нас перебьют!» — и только какой-то пожилой господин сохранил спокойствие, произнося краткую, содержательную речь, обращенную к потолку:

— Прежде всего евреев все равно перебьют, а потом нас, так что для паники нет никакого повода, пусть этот молодой человек съест пирожное, я готов за него заплатить, прошу вас не впадать в ажиотаж или прострацию, сохранять достоинство, идет война, все мы обречены, если только Адольф Гитлер не испустит дух неожиданным образом, чего я, кстати, от

всего сердца ему желаю, так что успокойтесь, ничего не случилось, здесь Польша, надеюсь, что пока еще здесь Польша, и прошу не лишать меня этой надежды. Это все, что могу сказать в связи с происходящим.

Но другой мужчина, дрожащий и бледный, закричал:

— Мало того что их убивают, так они еще таскаются по городу и подвергают опасности других, ни в чем не повинных людей! Я этого еврея не видел, я его не видел...

Пожилой господин пожал плечами и едко заметил:

— Но вы же его видите, дорогой мой!

Однако видеть его уже не могли, так как Генричек Фихтельбаум выскочил из кондитерской и пустился бежать, охваченный ужасом как никогда прежде, сильнее даже, чем в тот вечер, когда перелезал через ограду гетто, поскольку тогда был в одиночестве и лишь Бог поспешно проходил поблизости, теперь же он оказался в толпе людей, чувствовал на себе взгляды прохожих, сочувственные, изумленные, трусливые, неприязненные, а может, даже враждебные, в которых читалась твердая решимость. И потому он бежал, не переводя дыхания, все дальше и дальше. Остановился лишь на Пулавской, спустился по склону вниз, к далекой Висле, а потом, совершенно неожиданно и без всякого смысла, решил бежать из города. И бежал.

Зиму он провел в деревне у одного крестьянина, порядочного человека, который устроил для него в лесу тайник, кормил, поил и проклинал его еврейство, причиняющее людям столько осложнений, забот и неприятностей. Но спустя некоторое время немцы прочесывали окрестность в поисках партизан, а может, самогона, а может, как раз евреев — и Генричку пришлось уходить. Мужик дал ему на дорогу хлеба, сала, синюю поношенную лыжную шапку и пятьдесят злотых. Тот мужик пережил войну и после смерти наверняка попал в рай, хотя люди в той местности — из малодушия — пророчили ему ад, так как мужик записался в партию.

В конце зимы Генричек Фихтельбаум возвратился в Варшаву. Ночевал по чердакам и подъездам, в подворотнях и на свалках. Питался тем, что выпрашивал у добрых людей. Он уже знал, что никаких шансов у него нет и что суждено ему вскоре умереть. Сознание этого вновь приблизило его к Богу, ибо если Генричка ожидала смерть, то оставался ему выбор лишь между Богом и исчезновением в небытие.

Но, испытывая склонность к точным наукам, он искал Бога только на этом пути. Сидя в уборной, он предъявлял Богу определенные требования, считая себя как бы равным своему Создателю, но в то же время стремился найти точные доказательства Его существования.

В природе ничто не исчезает, думал он, в природе все существует вечно. Однако отдельные элементы природы никоим образом не вечны, в чем убеждают меня наблюдения, а также собственная судьба. Вот я нюхаю экскременты, представляющие собой результат обмена веществ, они являются частицей жизни и живут сами, так как состоят из бесчисленного множества клеток, которые миллионами умирают и миллионами нарождаются, чтобы жизнь не прекращалась. Природа продолжает существовать, но ведь жизнь имеет конец, каждая отдельная жизнь имеет свой конец, однако сам жизненный процесс, его течение, вечен и нескончаем. Что за этим кроется? Если бы я принял, что вечна и неистребима материя, которая хоть и преобразуется, но существует всегда, то с тем же успехом можно принять, что таится в ней некая сила, некая неразрушимая энергия, то есть нечто такое, что в материи неуловимо и не поддается расчетам, но что, однако, задает ей ритм и обеспечивает постоянство существования. Это нечто несомненно наличествует, и какие-то люди назвали это нечто Богом! Тогда, будучи созданием материальным, я представляю собой частичку этого нечто, а следовательно, частичку Бога. Ну, хорошо! А лист, он тоже Его частичка? По-видимому, да, но только не знает об этом. Я — материя более высокоорганизованная и потому знаю, что более совершенен, вот и все различие. Если Бог захотел бы еще сделать так, чтобы мне не было так холодно, я сумел бы пойти в своих рассуждениях дальше и заняться проблемой моего сознания, а также нравственных норм.

Тут кто-то прошел по двору, и в мыслях Генричка возникла сумятица. Человек не только приближался, он явно имел намерение воспользоваться уборной, так как шаги внезапно прекратились и чья-то рука дернула дверь, запертую изнутри на задвижку.

— Черт возьми! — произнес хриплый голос.— Есть там кто-нибудь?

Генричек Фихтельбаум не медлил ни секунды, зная, что никакой дух не смог бы запереть уборную изнутри, он тихо ответил:

— Сейчас выйду! Еще минутку.

— Я подожду,— ответил голос из-за двери.

Некоторое время стояла тишина. Но Бог милосерден к ищущим Его, даже если ищут они в столь своеобразных обстоятельствах, среди грязи и унижений мира.

Голос за дверью прозвучал снова:

— Ну, так как там, а то у меня в животе крутит!

— Сейчас,— ответил Генричек.

Но мужчина за дверью не вытерпел. Генричек услышал какой-то шелест, потом звуки испражнения, под конец кашель, отдаляющиеся шаги и слова мужчины:

— Порядок, делай свое дело!

Вдалеке захлопнулась дверь, наступила тишина.

«Как же я мог не верить в Тебя, Боже милосердный!» — прошептал Генричек Фихтельбаум и почти сразу заснул, изможденный страхом, голодом и всей мировой скорбью, которая обрушилась на него в уборной.

Он проснулся от солнечного луча, проникшего в темное помещение через щель. Было холодно. На Брестской улице поднимался рассвет. Генричек тоже поднялся, осторожно отпер дверь и вышел во двор. Ни души. Мостовая блестела от влаги. Бледное небо было скорее серым, чем голубым. Легкий ветерок коснулся волос Генричка, принеся с собой запах весны. Жив еще, подумал Генричек. Он глубоко вздохнул и ощутил колющие иголки холода в горле. Вздрогнул. Но ночной сон подкрепил его настолько, что он не чувствовал голода так сильно, как накануне вечером. Это должно было наступить позднее.

Он осмотрелся. Двор, окруженный со всех сторон зданиями, образовывал неправильный прямоугольник, втиснутый между флигелями. От улицы его отделял ветхий, сырой и грязный дом. Запыленные окна дома, кое-где украшенные занавесками, горшками с пеларгонией или жалкими кактусами, которые здешними жителями почитались украшением особенно красивым из-за их экзотического происхождения, смотрели прямо на окна такого же ветхого и грязного флигеля, тоже украшенного занавесками, пеларгонией и кактусами. С третьей стороны двор закрывала глухая стена. К ней прилегали сараи, уже полуразрушенные, где размещались конюшни, а в более поздние годы в них предстояло преуспевать нелегальным мастерским ремесленников, производителей каких-то гребешков, гвоздей, шурупов или оконных рам, мастерским с виду бедным, населенным пройдохами с золотыми руками и лисьими физиономиями, которые в этом разрушенном городе стремились удержаться на плаву, что им и удавалось какое-то время, пока железная рука системы, выметающая остатки человеческой предприимчивости из Польши, из Варшавы, с улицы Брестской, не задушила их в страшном объятии. Напротив глухой стены и разрушенных сараев торчал забор, должно быть определявший некогда границу земельного участка, обозначенную деревьями, от которых сохранились только невыкорчеванные пни и едва живые, полузасохшие кусты акации, выпускавшие, вопреки всему, новые побеги.

Я заперт, подумал Генричек. Я узник. Но, в сущности, он знал, что и за пределами этого двора останется уже навсегда взаперти, узником. Это тесно застроенное пространство не показалось ему более угрожающим, чем лес, где он укрывался зимой, ни тем более улицы гетто, отрезанные каменной оградой от остального мира. Генричек Фихтельбаум снова глубоко вдохнул холодный рассветный воздух, запах влажной соломы, отбросов и конской мочи. Ему не было плохо на этом дворе, так

как он не видел людей, их лиц и взглядов, а только ощущал их близкое присутствие. Боялся людей, ибо любой прохожий был угрозой для него, и вместе с тем их существование где-то неподалеку вселяло в него неопределенную надежду.

Знал, что жизнь его долго не продлится, потому что был разумным и толковым юношей и не поддавался иллюзиям. Знал, что погибнуть ему придется от руки человека, что он будет убит. И тем не менее лицо другого человека, голос, взгляд не казались ему страшными. Умирать труднее всего в одиночестве, во тьме и тишине. Смерть среди других, в гаме людских возгласов, в гуще взглядов и жестов, представляется менее жестокой. Генричек Фихтельбаум подумал, что смерть солдата во время штыковой атаки, наверное, не так ужасающа, как смерть приговоренного, пусть даже приговоренного к смерти в своей постели.

Почему я должен умереть, вдруг подумал он, если мне нет еще девятнадцати лет? Разве это справедливо? Разве я виноват, что родился евреем, мои предки были евреями, что на свет меня произвели еврейские чресла? По какому праву меня сначала сделали евреем, чтобы потом обречь на смерть за мое еврейство?

Генричек Фихтельбаум не был особенно оригинален, когда стоял, опершись о шершавую стену, в тени уборной, из которой вышел во двор. Он не был особенно оригинален, задавая себе эти вопросы, поиски ответа на которые были бесплодны. В конце концов могло случиться, что в тот же самый момент, тогда, весной 1943 года, половина человечества задавала себе эти вопросы вместе с Генричком Фихтельбаумом и так же не находила никакого ответа. Позднее, когда кости Генричка побелели в огне пылающего гетто, когда потом почернели под дождем среди пеплов Варшавы, когда, наконец, оказались в фундаментах новых домов, воздвигнутых на военных пепелищах, позднее разные люди тоже задавались вопросом: как же, собственно, происходит в этом мире, что вот история человечества призвала к жизни этот избранный народ, что Бог с тем народом говорил и передал ему свой Закон, чтобы чуть ли не сразу же, с первой минуты после заключения союза, обречь свой возлюбленный народ на тяжелейшие испытания и суровые удары судьбы? Ужель были они избраны, чтобы по-особому страдать, и тем самым по-особому подтверждать свое избранничество?

Многие люди раздумывали над этой дилеммой, в сущности, бесплодно, ибо вскоре оказалось, что замыслы Бога совершенно не были известны и тем более не казались убедительными. Позднее мир все же принялся за других, а евреев оставил в покое, будто исчерпалась уже мера их страданий, но не исчерпалась мера страданий других народов. Оказалось даже, что та странная связь, которая на глазах у Генричка Фихтельбаума и значительной части человечества соединяла евреев с немцами, и, следовательно, Гейне с Гёте, Мендельсона с Шубертом, Маркса с Бисмарком, Эйнштейна с Гейзенбергом, что подобная связь не оказалась единственной в своем роде и непревзойденной по своему двусмысленному безрассудству, ибо во Вьетнаме люди гибли, как насекомые, под действием газа, перекрывающего совершенством «Циклон Б», в Индонезии реки стали в буквальном смысле слова красными от человеческой крови, в Биафре [18] люди настолько высыхали от голода, что трупы на Налевках [19] походили бы рядом с ними на тела обжор, а в Камбодже воздвигались пирамиды из людских черепов, превосходящие высотой крематории и газовые камеры.

Люди, которые спустя годы пришли, чтобы поселиться на костях Генричка Фихтельбаума, не слишком часто думали о нем, а если даже и думали, то с некоторой долей гордости и тщеславия, что вот, мол, они и есть величайшие мученики под солнцем. Заблуждались вдвойне. Во-первых, по той причине, что мученичество не есть дворянство, которое можно унаследовать как герб или поместье. Те, кто жили на костях

---

[18] Восточная провинция Нигерии, где в 1967—1970 гг. шла гражданская война, сопровождавшаяся массовым голодом.

[19] Улица в Варшавском гетто.

Генричка Фихтельбаума, вовсе не были мучениками, они самое большее стригли купоны с чужого мученичества, что всегда глупо и бесчестно. А во-вторых, не замечали, что мир ушел вперед, оставляя далеко позади историю войны с Адольфом Гитлером.

Генричек Фихтельбаум не знал всего этого, но если даже Бог и наградил бы его пророческим даром, это не стало бы утешением, поскольку тогда, весной 1943 года, ему самому, Генричку, предстояло умереть — и он знал, что обречен. Стремился найти ответ на вопрос, почему мир столь несправедлив и подл, но его ищущая мысль осталась бесплодной, так же как и мысли миллионов других людей, которым позднее, после смерти Генричка, довелось оказаться на той же тропке и устремляться туда, куда и он устремлялся.

Он же устремился как раз к подворотне, так как делалось светлее, небо стало голубым, открывались окна во флигелях, в конюшне ржали извозчичьи лошади, а на двор выбежала женщина, молодая, красивая, темноволосая, в юбке и розовой комбинации, с голыми плечами, в поношенных туфлях на босу ногу, с ведром в руке, дрожащая от утреннего холода, выбежала, стало быть, женщина к колодцу по воду, молодая шлюшка с улицы Брестской, ядреная, гладкая, полунагая, именно в тот момент она вышла во двор, ее туфли стучали каблучками по камням, ведро зазвенело, когда она поставила его на основание колодца, заскрипел тяжелый рычаг, женщина качала его вниз и вверх, вниз и вверх, вода серебристо хлынула в ведро, обнажилась большая и светлая грудь женщины, так как бретелька комбинации немного сползла вниз, снова хлынула вода, женщина подняла голову, на ее лице была веселая, плутовская улыбка, этакая улыбка кокотки, исполненная уверенности в себе, обольщающая, шлюховатая и прекрасная, в ведро снова плеснулась вода, разбрызгалась вокруг по камням, женщина немного подняла стройную ногу, не желая, должно быть, замочить туфлю, и как раз тогда ее глаза, большие, темные, умытые спокойным сном на кушетке, где под образком она принимала клиентов, где днем раздавались вздохи и постанывание разных мужчин, мявших лоно, живот и грудь этой женщины, а по ночам слышалось лишь ее спокойное, размеренное и безгрешное дыхание, так вот в ту самую минуту, когда она подняла ногу, чтобы не замочить туфлю, ее глаза встретились с глазами Генричка Фихтельбаума.

И совершенно безрассудно, без всякого на то повода, может быть, только влекомый тягой к другому человеку или, скорее, тягой к женщине, которой он еще никогда в своей жизни не обладал, хотя уже давно очень желал этого, много раз видел сны об этом, даже в заснеженных лесах, где прятался, как дикий зверь, даже на свалках, где жил среди своих братьев-червей, братьев-микробов и братьев-отбросов, итак, влекомый тягой к женщине, которая должна была отдалить его от смерти или заслонить перед смертью, Генричек Фихтельбаум, вопреки рассудку и опыту всех последних месяцев, остановился. Он не только остановился, но вернулся назад. Не только вернулся назад, но приблизился к женщине, взялся за ручку ведра и поднял его. Женщина посмотрела в глаза Генричка, потом опустила взгляд на его руку и опять посмотрела в глаза. Медленно кивнула, повернулась и пошла в сторону флигеля, а он пошел за ней, неся ведро, полное свежей воды.

Они вошли на темную лестницу, поднялись на несколько скрипящих деревянных ступеней. Она открыла дверь. Как только они оказались внутри, заперла дверь на засов. Был то маленький, загроможденный вещами коридорчик. Под потолком светилась голая лампочка. У стены стоял стол, покрытый голубой клеенкой, а рядом деревянный стул. Дальше табурет, на табурете таз.

— Сюда,— сказала она и указала место возле табурета, куда он поставил ведро свежей воды. Рядом стояло другое ведро, наполненное мусором. Низкая дверь с оконцем, прикрытым ситцевой занавеской, вела в маленькую комнату. Там находились кушетка, образок, шкаф и окно, смотрящее на темную, потрескавшуюся стену. Неба не было видно. Также и колодец не был виден из этого окна. Только стена и камни мостовой.

Женщина движением головы указала Генричку на стул. Он сел. Она вернулась в коридор. Послышался треск спички, шум горящего газа. Потом стук кастрюли, дыхание женщины, плеск воды, наполняющей посуду. Он почувствовал запах хлеба. Закрыл глаза. Люблю этот мир, подумал он, и глаза его наполнились слезами.

Ничего не происходило. Лишь какая-то тень передвигалась по стене напротив окна вместе с солнцем, которое шествовало над домами. Ничего не происходило, кроме того, что Генричек Фихтельбаум ел хлеб с ломтиками сала и пил из кружки ячменный кофе с сахарином. Кофе обжигал ему губы, но он не отрываясь пил, а когда кружка опустела, женщина молча наполнила ее вновь. Так шло время, тень передвигалась по стене напротив окна, Генричек Фихтельбаум ел, женщина молчала, смотрела на него, молча наблюдала, как Генричек ест, наблюдала, не произнося ни слова, будто не знала никаких слов, никакого языка, почти неподвижная, она сидела на кушетке, по-прежнему полунагая, красивая, в комбинации, бретелька которой спадала, в туфлях, которые не хотела промочить у колодца. А когда он поел, женщина встала с кушетки и движением головы велела ему лечь. Он послушался. Укрыла его шерстяной, клетчатой шалью, а пальто повесила на крючок в глубине шкафа. Теперь она сидела на стуле у окна, за которым передвигалась тень. Генричек заснул. Женщина смотрела на лицо спящего юноши и думала о своей деревушке над рекой Ливец, о песчаных отмелях, где она видела трупы расстрелянных евреев, старых и молодых, мужчин, женщин и детей. Подняла глаза к образку и начала шепотом молиться о спасении этого молодого еврея, а потом о своем будущем, как женщины замужней и благополучной, матери красивых детей, которая пользуется всеобщим уважением и не страшится грядущих времен.

Генричек Фихтельбаум спал почти до вечера, а когда открыл глаза, то увидел темнеющее окно, за ним темнеющую стену, в глубине комнаты приоткрытый шкаф, а также профиль женщины, которая дремала сидя. Подумал тогда, что вот, случилось то, чему суждено было случиться, а именно — что он умер и находится на небе. Но знал, что жив, потому что снова почувствовал голод, а также желание, что после смерти было бы, пожалуй, невозможно.

Женщина проснулась. Их взгляды встретились. Она произнесла:

— Ты когда сбежал из гетто?

Голос ее был хриплым.

— Давно,— ответил он.— Еще осенью.

— Так, так,— сказала она.— Наверное, опять есть хочешь, да?

Он промолчал.

Женщина встала со стула и пошла зажечь газ. Снова донесся стук посуды.

Он приподнялся на кушетке, вытянул ноги, расправил плечи, как делал когда-то, будучи здоровым, хорошо питавшимся и счастливым мальчиком, просыпаясь в своей комнате на Крулевской улице. Ощутил в себе бодрость и силу. Подошел к порогу. Весело гудело пламя газа. Женщина в юбке и комбинации, с обнаженными плечами, с темными волосами, ниспадающими на шею, с руками тонкими и сильными, лодыжками тонкими и сильными, стояла, наклонившись над тазом, и водой из чайника ополаскивала кружку.

Здесь был центр земли, здесь проходила ось мироздания. Не только потому, что здесь остановилась бешено мчащаяся колесница судьбы, на которой Генричек Фихтельбаум устремлялся к гибели, не только потому, что здесь был Генричек со своей пробудившейся надеждой. Здесь был центр земли, ось мироздания, ибо сам Бог поместил здесь ядро всего сущего, столетия назад направил сюда указующий перст и очертил им круг всяческого смысла человеческих жизней. Здесь, где гудело синее пламя газа, некогда струилась вода из родника, у которого наемник-татарин поил своих коней, по этим местам пролегал тракт и шел по нему боярин с веревкой на шее в неволю к ляхам, а по обеим сторонам тракта еврей и немец разбивали свои купеческие станы. Здесь, и нигде более на всей земле, субботние свечи

отражались тусклым, желтоватым пламенем в ножнах русской сабли, а польские руки преломляли облатку под сенью прусской рождественской елки. Здесь, и нигде более в мире, немецкий поэт давал красивые названия польским улицам, московский князь вдохновлял на бой польских солдат, чтобы метче стреляли в гвардию императора, а сжигаемые чахоточной лихорадкой евреи, воодушевленные духом свободы русские офицеры и польские ссыльные, скованные цепями, совместно строили заговоры против тирании. Здесь был тот центр земли, ось мироздания, где глупость переплеталась с благородством, жалкое предательство — с чистейшим самопожертвованием. В этом единственном месте дикая, смуглая и хитрая рожа Азии с незапамятных времен в упор смотрела на жирную, чванливую и глупую морду Европы, именно здесь, а не где-нибудь задумчивые и чуткие глаза Азии поглядывали в мудрые глаза Европы. Здесь был центр земли, ось мироздания, где Запад принимал в объятия Восток, а Север протягивал руку Югу. На шальных степных скакунах, во вьюках на их спинах, странствовали тем трактом книги Эразма Роттердамского. Еврейские повозки, ломая дышла на ухабах, рассыпали тут зерна вольтерьянства. В прусских фургонах ехал в Санкт-Петербург Гегель, чтобы возвратиться потом на русской тройке с Чернышевским, укрытым бараньим тулупом. Здесь был Восток и Запад, Север и Юг. На этой улице татарин бил поклоны, обратившись лицом к Мекке, еврей читал Тору, немец — Лютера, поляк зажигал свечу у подножия алтарей в Ченстохове [20] и Острой Браме [21]. Здесь был центр земли, ось мироздания, нагромождение братства и ненависти, близости и разобщенности, ибо здесь вершились общие судьбы самых чуждых друг другу народов, в этих надвислянских жерновах Бог творил польскую муку для польских голодных, польскую муку, манну небесную, Моисееву и Христову, Ветхого и Нового завета, для всех мучеников и проходимцев, святых и подонков этой земли.

Генричек Фихтельбаум ел хлеб с ломтиком сала, пил из кружки кофе, Азию и Европу, свое прошлое, судьбу и предназначение. Гудело пламя газа, женщина наблюдала, как Генричек с жадностью ест, ее лицо было спокойным и улыбающимся, может, с долей иронии, поскольку женщину пугали ее собственные доброта и честность, в мире, где она жила, не следовало быть добрым и честным, обычно это кончалось поражением, оттого и улыбалась иронически, однако Генричек Фихтельбаум видел на ее лице только спокойствие, а легкий оттенок иронии принял за вызов, поощрение, искушение, и потому, закончив есть и пить, он приблизился к женщине, обнял ее, а левую ладонь положил ей на грудь.

— Ты чего? — произнесла она неуверенно.— Ты чего это еще?

Но сопротивления не оказывала, потому что он был молодой и красивый, сильный и смуглый, как она, и еще потому, что у нее никогда еще не было еврея, а она хотела иметь все, что принадлежало к ее миру.

Она погасила пламя газа, а потом и лампочку в коридоре. За окном были уже сумерки. Легли на кушетку под образком. Женщина помогла Генричку, ибо он еще никогда не любил, а она много раз. Потом сказала:

— Ну, парень, ты что!

А он произнес в темноте, с глубокой убежденностью:

— Теперь я могу умереть.

— Не умрешь,— сказала она.— Как-нибудь все устроится.

— Нет,— ответил Генричек Фихтельбаум.— Ничего тут не поделаешь. Только не хочу один. Понимаешь?

Она кивнула головой. Это она хорошо понимала.

— Почему я должен умирать в одиночку, и притом совершенно покорно? — спросил он, глядя в темное окно, на невидимую уже стену.— Я хочу в тот момент кричать от ненависти и презрения, чтобы весь мир услышал. Понимаешь?

Снова кивнула головой. И это она понимала. Но была женщиной

---

[20] В г. Ченстохова находится часовня с иконой Божьей Матери, покровительницы Польши.

[21] Часовня с чудотворной иконой Девы Марии в г. Вильнюсе.

и потому в большей мере обладала здравым смыслом и прозорливостью. Успела неплохо узнать людей. Не верила, что весь мир услышит крик гибнущего Генричка. Гибнущих слышат только те, кто погибает вместе с ними. Не верила в силу и отголосок того крика. Спустя много лет, когда уже овдовела и была кассиршей в мясном магазине, большая, полная, темноволосая женщина с неприязненным лицом и зычным голосом, мать спившегося снабженца; бледного комбинатора, который уродился в отца, мать жалкого пьяницы эпохи цветных телевизоров, мебели, добытой с помощью взятки и мошенничества, разбитых, грязных автомобилей, свиной грудинки по карточкам, лицемерия, громких фраз, милицейских дубинок, ракет СС-20 и «Першингов», спустя много лет брела она в туфлях на низком каблуке, в шерстяном пальто, с кожаной сумкой на плече, усталая и злая, большая, полная, но все еще вполне крепкая, чтобы привлекать взгляды мужчин, постоянно жаждущих женщины в этом мире разрытых улиц, новых, запущенных домов, стройных молокососов в джинсах, с бунтарским пламенем в глазах, брела сквозь этот странный, отвратительный, но такой прекрасный в своей неповторимости мир, чтобы подойти к еврейскому памятнику [22] на пустой площади, по которой гуляли ветры, и посмотреть на высеченные в камне лица евреев сверхъестественных размеров, пригвожденных к стене, со ступнями, будто погруженными в землю этого города. Евреев каменных и молчащих, голоса которых никто уже не слышал. На лице юноши она старалась распознать черты Генричка Фихтельбаума, хотя совсем их не помнила, ведь при свете лампочки видела его совсем недолго, а потом, на кушетке, их обоих окутывал мрак, потому и не могла она запомнить черты лица еврея, которого любила всем телом и душой в тот один военный вечер, и, в сущности, совсем не хотела его помнить, поскольку в ее жизни никакой роли он не сыграл, просто появился у колодца, чтобы вскоре исчезнуть за углом улицы Зомбковской, так что она не могла и не хотела его помнить, так же как чуть ли не все люди в этом городе, занятые своими делами, повседневной жизнью и не сознающие того, что остались калеками, ибо без евреев они уже не те поляки, какими были некогда, и такими должны оставаться уже навсегда.

— Спи,— сказала она Генричку Фихтельбауму.— Может, завтра что-нибудь изменится.

Но он не желал спать. Он вдруг принял решение, которое не без причины связывал с телом этой женщины. Он стал вдруг уже не мальчиком, но мужчиной и по-другому увидел свою судьбу. В нем были мужество и решимость. Эта женщина обрекала его на смерть, которая станет осознанным выбором. Генричек Фихтельбаум вернется в гетто, не будет больше убегать, прятаться по норам, уборным и свалкам, вернется в гетто, чтобы принять то, что ему суждено, с поднятой головой. Я не ребенок, думал он, не мальчик. Не стану больше убегать. Теперь я выйду навстречу тому, что предначертано в книгах. Он положил ладонь на обнаженную грудь женщины и ощутил удары ее сердца. Черпал из них еще большую силу, утверждался в своем решении.

— У тебя рука холодная,— сказала женщина.— Мне щекотно.

Она рассмеялась. Генричек тоже рассмеялся и убрал руку. Теперь он был сильным и спокойным.

За стеной, неподалеку, засвистел локомотив, а потом послышался перестук колес поезда. Может, в том поезде ехали на смерть поляки, может, евреи, немцы или русские.

V

— Пан Павелек,— сказал Куявский,— у вас что, лишние деньги завелись?

Они стояли на углу улиц Подвале и Капитульной. Газовый фонарь рассеивал фиолетовый, скудный свет. Легкий ветер раздул

---

[22] Памятник героям восстания в Варшавском гетто в апреле — июне 1943 г.

юбку проститутки, переходившей через мостовую. Она была очень полная, с широким лицом и красивыми карими глазами. Павелек помнил ее с довоенных времен. Именно она, впервые в его жизни, сказала однажды вечером, несколько лет тому назад:

— Кого высматриваете, молодой человек? Может, девочку?

Он смутился тогда, так как не понял ее, но ответил вежливо:

— Я, пани, иду к школьному другу.

— Друг никуда не убежит,— сказала толстая женщина. В ее руке была связка ключей. Когда она двигала рукой, ключи громко звенели. Какой-то мужчина рассмеялся, прокричал с противоположного тротуара:

— Феля, не морочь парню голову, ему нужна девочка покрасивее...

Тогда Павелек понял, что с ним заговорила проститутка. От приятелей он слышал рассказы о проститутках. Боялся их. Ему стало стыдно, и он убежал от толстой женщины. Но позднее, встречая ее, вежливо кланялся своей гимназической фуражкой. Проститутка кивала с доброй, снисходительной улыбкой. И уже никогда не приставала к Павелку. После военной катастрофы в сентябре 1939 года на какое-то время она исчезла, но позднее снова появилась, еще более внушительная, огромная, в широкой юбке по щиколотки, со связкой ключей в руке, которые позванивали так же громко, как и в прежней Польше. Обычно прохаживалась по улицам Пекарской и Подвале. Это был ее участок, собственное место на земле, здесь только она была королевой любви.

Увидев женщину, переходившую улицу, Павелек вежливо сказал:

— Добрый вечер, пани!

— Какой там добрый,— ответила она мрачно.— Ног под собой уже не чую...

И тяжелой походкой ушла за угол. Стареет, подумал он.

— Вы знаете Фелю, пан Павелек? — спросил Куявский.— Вот уж вас-то никогда бы не заподозрил.

— Потому что не в чем,— ответил тот. — Я здесь всех знаю... Столько лет тут кручусь.

— Что и говорить,— сказал портной Куявский.— Вы еще под стол пешком ходили, когда я утюжил мундиры вашего папаши. Я-то лучше знаю здешние места. А Феля славная бабенка. Ну, так как насчет денег? Богатым стали, пан Павелек?

— Пан Аполлинарий, со мной можете говорить напрямую, без предисловий. Итак, что вы теперь ищете?

— Всегда одно и то же. Вы, пан Павелек, сами прекрасно знаете. Но чтобы целый месяц не дать о себе знать старику Куявскому, чтобы не заскочить хоть на минутку, этого понять не могу. Вы что, в самом деле не хотите больше подрабатывать?

— Занят был,— ответил Павелек.— Дел выше головы.

— А будет еще больше.

Прошел немецкий солдат в летной форме. Мордатый блондин со вздернутым носом и фиалковыми глазами. Шел твердым шагом, ударяя в мостовую каблуками, поскольку неуверенно чувствовал себя в темноте. Штык, висящий на ремне, ритмично шлепал по ягодице. Проходя мимо мужчин, стоящих под фонарем, солдат кашлянул и сбился с ритма шага. Сменил ногу, снова кашлянул. Остановился неподалеку возле табачного киоска. Внутри горела керосиновая лампа. Лица солдата и продавца склонились друг к другу. В лице продавца было что-то птичье, хищной формой носа и очертаниями губ он напоминал ястреба. Рыжие волосы над лбом. Узловатые пальцы на пачке сигарет в свете керосинового огонька. Солдат взял сигареты, заплатил и отошел. Продавец убрал голову в глубь киоска. Наверное, снова принялся писать свою страшную, пронзительную повесть. Повесть будет издана через двадцать с лишним лет при участии Павла. Но пепел автора развеет ветер восстания.

— Один знакомый склонен уступить две миниатюры. Середина XVIII века. Очень красивые. Но это семейная реликвия, пан Аполлинарий.

— У всех теперь семейные реликвии, даже средневековые,— вздохнул портной.— Когда можно взглянуть?

— Хоть завтра,— ответил Павелек.— Я мог бы тому человеку позвонить.

— Сколько? — легко бросил Куявский, нагибаясь, чтобы поправить шнурок на желтом шевровом ботинке.

— Посмотрите сначала, а потом поговорить надо.

— А не фальсификат? — сказал портной.— Есть один такой проказник в Ченстохове, он эти миниатюры производит дюжинами.

— Но ведь вас обмануть невозможно,— искренне возразил Павелек.— В этих вещах вы разбираетесь лучше старых коллекционеров.

— Само собой,— сказал Куявский.— Только старые коллекционеры имели дело с порядочными людьми. То были довоенные времена. А теперь в народе другой дух. Ладно! Но завтра я не могу, встреча с важным клиентом. Договоритесь на послезавтра, пан Павелек.

— Вы завтра что-нибудь другое покупаете, пан Аполлинарий? — спросил Павелек.

Куявский рассмеялся.

— Да где там! Снимаю мерку для бриджей у одного фрица.

Возвращалась Феля. Уже почти стемнело. Она затянулась сигаретой, и красный огонек на мгновение осветил ее лицо. Прошла было мимо, но что-то вспомнила.

— Пан Куявский,— сказала Феля.— Помните того дворника из седьмого, а?

— Старика Кубуся? — спросил портной.

— Не старика,— ответила она.— Старик он и есть старик, не о нем речь. Тот косой, он еще меня называл Сиськой! Звал меня Феля-Сиська. Убили его позавчера на Зельной, стреляли там.

— Что вы! — воскликнул Куявский, хотя понятия не имел, о ком Феля рассказывает.— Убили на месте?

— Выстрел в сердце,— сказала Феля и потрясла рукой. Ключи громко зазвенели.

— Наверное, облава была,— решил Павелек.

— Какая облава, какая облава,— отвергла предположение Феля.— Просто выпил лишку и полез на немца. А другой его застрелил. Прямо в сердце.

— Вот несчастье,— сказал Куявский.— Жаль человека.

— И получше, чем он, гибнут,— возразила Феля, повернулась и двинулась в темноту. Тяжело ступая, продолжала говорить про себя:

— Феля-Сиська, тоже еще!

Портной Куявский тихо произнес:

— Насчет сиськи покойник не ошибался. Не знал я его. Но человека жалко. Что эти немцы вытворяют, что вытворяют...

Немного погодя они попрощались. Портной пошел в сторону Медовой, Павелек — к Старому Мясту. Портной думал о миниатюрах XVIII века, Павелек — об убитом мужчине. Испытал ли он боль, когда пуля попала в сердце? Как происходит умирание? Что видит человек в тот момент? Видит ли человек тогда Бога, является ли Он человеку, чтобы облегчить последнюю минуту, чтобы освободить человека от страха? Наверное, является в последнее мгновение, в последнем лучике света, который проникает в зрачок, но никогда ранее, ибо человек мог бы выжить, выздороветь и рассказать другим, что он видел. Итак, Бог является лишь в тот момент, когда уже абсолютно уверен, что это смерть...

Павелек остановился, ошеломленный и пристыженный. Я же глупец,— сказал он себе.— Ведь Богу вовсе не нужно выжидать нужного момента, потому что Он точно знает, когда это наступит, сам же все предопределяет. Так когда же Он является умирающему человеку?

Павелек двинулся дальше. Еще какое-то время думал о Боге, о том, что теперь Ему приходится являться постоянно, без минуты передышки, самым разным людям в городе, на ста улицах одновременно, особенно в гетто. Потом уже не думал о лике Господа Бога. Минут пятнадцать шел, не думая

ни о чем. На Рынке гулял теплый ветер. Стояли темные дома. Тут и там тоненькие, слабые лучики ручных фонариков пронизывали мрак. Люди ускорили шаг. Близился комендантский час. Павелек побежал. С тревогой думал о Генричке Фихтельбауме. А потом, разогретый бегом, то и дело поглядывая на часы, стал думать о миниатюрах для Куявского и подсчитывать свой скромный процент.

VI

Она была высокой женщиной с прямыми, светлыми волосами, узкими ладонями и большими, мужскими ступнями. Крупный нос, густые брови, красивые, несколько чересчур суровые глаза и здоровые зубы. Лишь когда улыбалась, становились видны две золотые коронки, которыми она втайне гордилась. Может, потому и улыбалась чаще, чем ее сосредоточенные подруги, говорившие, что она — натура легкомысленная.

В семь лет от роду ей было видение. Стоял зимний вечер, снег скрипел под большими ступнями не по годам рослой девочки. Из школы она возвращалась в одиночестве, поскольку так далеко, за рекой, жила только она. На темном небе уже светились звезды, дым из труб, поднимавшийся над избами, не был виден, лишь в окнах мерцали тусклые огоньки керосиновых ламп. Она как раз собиралась свернуть вправо, на деревянный мостик, когда перед ней возникло видение. Явился ей Господь Иисус, весь лучезарный и красивый, держа на руках белого агнца. Девочка пала на колени в глубокий снег. Не ощущала холода, а лишь охватывающее все тело бессилие радости и преданности. Господь Иисус сказал ей несколько слов, произнося их тихо, почти шепотом, однако она поняла, что не должна переходить через мостик, но идти дальше вдоль реки и перейти ее по льду. Потом Господь Иисус исчез, наказав девочке, чтобы назавтра ожидала на этом месте, и он непременно явится вновь. Сделала так, как было велено. Шла медленно, сердце переполнялось радостью и растроганной преданностью. Спокойно преодолела реку по твердому, толстому льду. В ту же самую ночь мост сорвало, и два безбожных мужика нашли свою смерть в бурном потоке.

На следующий вечер она снова ожидала Господа Иисуса в условленном месте. Когда Он появился с белым агнцем на руках, то повелел девочке посвятить свою жизнь обращению негров в истинную веру. Больше видение не повторялось.

Она рассказала о том, что довелось пережить, местному приходскому ксендзу, но тот был человеком нечутким, прихожан держал в строгости, разводил свиней с большой выгодой для себя, обменивался суждениями с вольнодумным регентом из соседнего местечка, а о жителях села высказывался со снисходительным превосходством. Ксендз велел ребенку не говорить никому ни слова о своем благочестивом похождении.

На следующий день, болтая с регентом, он сказал:

— Темнота моих овечек достигла предела. Эта малышка и вправду верит, что Господу Богу нечего больше делать, как искать миссионеров для Африки в моем приходе. В конце концов Ему есть где поискать и поближе.

Ксендз, однако, оказался человеком непрозорливым, так как не понимал, что пути Господней благодати неисповедимы. Девочка выросла и стала набожной девицей, глубоко преисполненной величием своей миссии. В семнадцать лет ушла в монастырь. Сначала намеревалась отправиться в Африку, чтобы там обращать негров, но со временем осознала, что слова, произнесенные возле обвалившегося мостика, следует воспринимать не слишком буквально, но скорее символически, и посвятила себя укреплению веры среди детей, обучая их Закону Божию. Посвятила всецело, являя собой пример самопожертвования, постоянства и настойчивости. Дети любили ее, поскольку склонна была и к шутке, а может, просто понимала, что о Боге следует говорить не торжественно, с суровостью Ильи-пророка, но по-доброму, как если бы Он присматривал за роями пчел, помогал при молотьбе ячменя и правил двумя добрыми пегими конями, везущими воз

с сеном. Она не заблуждалась, хотя ее давний ксендз, может быть, более старомодный, чем казался, счел бы, наверное, грехом подобную привычность и обыденность Бога.

Звали ее сестра Вероника, хотя некогда и мечтала она принять имя Иоанна — в память о другой деревенской девушке, которая возглавила отряды средневекового французского рыцарства, а позднее погибла на костре. Сестра Вероника вела жизнь, исполненную трудов. Себя не щадила. Цель, к которой стремилась, была проста. Хотела привести к Богу всех детей земли, близких и далеких, белых, черных, желтых и даже еще более экзотичных. Если и оставалась в ее сердце некоторая холодность, то, наверное, только в отношении еврейских детей, ибо одно дело не познать совсем, но другое — познать и попрать. Черные мордашки далеких негритят представлялись сестре Веронике невинными, ибо к ним не прикасался еще перст истины. Смуглые личики еврейских детей несли на себе знак их веры и той ненависти, с которой столкнулся Спаситель среди народа Израиля. То были люди, отвергнувшие Бога, не уверовавшие в слова Его Сына. Высокая стена недоверчивости отделила сестру Веронику от еврейских детей. От них исходило нечто чуждое. Когда она шла улицей, высокая, большая, ставя на тротуар свои сильные, мужские ступни, еврейские дети при виде нее разбегались. Ее белый чепец, как наполненный ветром парус лодки, проплывал среди черных, пугливых еврейских челноков. Они никогда не причаливали к ее борту, а она никогда не заходила в их шумливые бухты.

Но в сестре Веронике было много здравой, деревенской рассудительности, и она отдавала себе отчет в том, что мир устроен значительно сложнее и таинственнее, чем думалось ей в девичьи годы, и людскому разуму не дано проникнуть в тайну загадки Бога. Человеку предоставлено много дорог, чтобы он ими шел, но и много ложных путей. Вероника знала, что лишь одна дорога ведет к цели, но причудливо было хитросплетение судеб, нравов, сомнений, снов и горестей. А ведь это многообразие тоже было творением Бога, Создателя земли и неба. И потому она горячо молилась о душах заблудщих ближних и еще о том, чтобы ушла черствость из ее собственного сердца.

Когда разразилась война, в жизни сестры Вероники произошло много перемен. Поначалу чувствовала себя беспомощной и оглушенной. Бомбы падали на город, дома рассыпались в щебень, и бушевали пожары. На ее глазах гибли люди, и она не могла оказать им никакой помощи. Но ее деревенская натура, отсутствие страха при виде физических страданий, поскольку еще ребенком видела вздувшихся коров, охромевших коней, забиваемых свиней и баранов, а также смерть людей страдающих и набожных, эта деревенская твердость духа Вероники помогла тому, что именно она во время осады города организовала других сестер, научила их перевязывать раненых, ухаживать за больными, помогать умирающим. Сердце ее все больше исполнялось милосердия. Думала тогда, что легче ей дается утешение, чем проповедь Закона Божия, потому что в Боге больше нуждаются те, кто страдает.

Когда в город вошли немецкие войска, она не пугалась ни жандармов на улицах, ни ужасного гестапо. Готова была принять все, что Бог ей предопределил. Ее чепец выглядел на улицах уже не как парус, но как хоругвь веры и надежды. Заботилась об осиротевших и потерявшихся на дорогах войны детях. Ухаживала за больными и одинокими, беспомощными и несчастными. С раннего утра до позднего вечера бегала по улицам, непреклонная женщина с большими ступнями, простыми манерами, добрыми глазами. Поблескивали золотые коронки в ее улыбке. Углублялись морщины на нестаром еще лице. За словом в карман не лезла, отвечала резко. Только к детям обращалась мягким и кротким тоном. Со взрослыми же обходилась зачастую невежливо, поскольку хорошего воспитания не получила, времени не хватало, и вели ее благородная цель и убежденность, что Бога следует иметь в сердце, а не на языке.

Иногда перед тем как заснуть, уже прочтя молитвы, думала, что вот лишь теперь, через много лет, исполняется ее предназначение, воплощаются

слова Бога, сказанные возле мостика над речкой. Правда, никогда еще не видела живого негритенка, но зато сколько же людей привела она к вратам костела. Сколь многим несла утешение и слова вечной любви. Воистину, если бы не было вокруг столько горя, почувствовала бы себя счастливой. На глазах вызревали малые зерна веры, посеянные ее рукой. Могла ли она рассчитывать, что так будет?

Тогда в ее жизни появились еврейские дети. Приходили они с кладбищ. С некоторым удивлением заметила, что не всем сестрам удалось побороть в себе неприязнь. Даже в такое время их разделяла стена. Она же ощутила новые силы, услышала настоятельное веление, которому никто воспротивиться не может. Вот Бог распорядился, чтобы приходили к ней еврейские дети, одинокие и слабые, ищущие спасения. И она должна была их спасти. От уничтожения и вечных мук. Был то великий дар для нее и для тех детей. Связывало ее с ними нечто вроде сопричастности в человеческой тревоге и суеверной тоске. В уединенной трапезной, окна которой выходили на огород, при свете солнца, который ложился широкой полосой на пол, или в сиянии свечей, пахнущих воском, учила она еврейских детей творить знамение святого креста.

— Подними правую ручку,— говорила она.— Вот так, правильно. И дотронься ручкой до лба. Во имя Отца... А теперь дотронься до левого плеча. Скажи: И Сына... Очень хорошо, очень хорошо. Теперь слушай внимательно. Перенеси ручку...

Лица детей были сосредоточенны и мрачны. С трудом понимали они эти символы. Порой раздавался в трапезной тихий плач. Тогда сестра Вероника их утешала.

— Тебя ожидает радость,— говорила она,— не плачь, потому что тебя ожидает радость.

Однако не все дети знали, что такое радость.

Был то нелегкий, но прекрасный труд.

Сестра Вероника прислушивалась также к внутреннему голосу своей крестьянской натуры. Было ей когда-то видение, но сразу же после этого она оказалась в отцовской хате, должна была высушить чулки и сапожки старшей сестры, почистить картошку, прибраться в хлеву у свиней. Образ Господа Иисуса стоял перед ней как живой, но руки были заняты работой до самого позднего вечера. Так что ходила она по земле злой, враждебной, восставшей против Бога.

Учила детей творить крестное знамение, а еще обучала их новым именам и фамилиям, всему их краткому и сложному прошлому, которое было ложью. Сквозь эту ложь дети должны были мучительно пробиваться к новой правде жизни. Под изображением Спасителя, в божьем присутствии, муштровала их в великом обмане, приучала к великой лжи. Трехлетние карапузы, не знавшие о себе ничего, кроме того, что страдали от голода, дрожали на морозе и боялись кнута, с покорностью воспринимали свою новую индивидуальность. Инстинкт повелевал им выучивать на память новые имена, символы и адреса. Обладали особой смышленостью, позволявшей забыть о тревожной реальности.

— Как тебя зовут? — спрашивала сестра Вероника.

— Янушек,— отвечал черноволосый, курчавый мальчик с усмешкой старого оптового торговца телячьими шкурами.

— А фамилия?

— Вишневский.

— Читай молитву.

Мальчик произносил молитву, набожно сложив ручки. В его глазах были угрызения совести, покорность и страх перед злодеянием, подстерегающим его ошибку.

Но дети постарше несли на себе большее бремя. Семилетний Артурек, мальчик с приятной внешностью, но с недобрым взглядом, обнаруживающим глубоко затаенные чувства отверженной расы, не принимал своего нового воплощения.

— Как тебя зовут? — спрашивала сестра Вероника.

— Артур.
— Не говори так. Тебя зовут Владек. Повтори!
— Артур!
— Почему ты такой упрямый, Владек? Твой папа был столяром, его фамилия была Грушка. Ты же помнишь, Владек...
— Он был зубным врачом. Его звали доктор Мечислав Гиршфельд. Вы ведь прекрасно знаете, сестра.
— Знаю. Согласна. Но ты должен забыть об этом. Тебя зовут Владек Грушка. Твой отец был столяром.
— Мы можем уговориться, что он был столяром. Я же знаю из-за чего. Но вы не забудьте об этом, хорошо, сестра?
— Не забуду. Так как тебя зовут?
— Владек Грушка, сын столяра.

Он иронически улыбался. Пожимал плечами. Взгляд его был вызывающим. Случались минуты, когда сестра Вероника ненавидела Владека. Он ускользал от нее. Но длилось это недолго. Она думала: «Не выпущу его, пока война не кончится. Если сбежит, то погибнет только для того, чтобы сделать назло».

В это смысле он не поступил ей назло. Пережил войну. Стал невысоким, близоруким мужчиной. Звался Владислав Грушецкий. Его биография была скомпонована весьма мастерски и элегантно, хоть и не совсем убедительно. Принадлежал к людям, не знающим чувства меры. Возможно, в детстве он слишком хорошо овладел искусством проживать несколько жизней одновременно и вошел во вкус. Был уже не в состоянии расстаться с многоликостью своего существования. Отец Владислава Грушецкого был как зубным врачом, так и столяром. Стоматолог, хобби которого было столярное ремесло, так формулировал он в более поздние годы. Генеалогическое древо Владислава Грушецкого обнаруживало много странных пробелов при многих запутанных разветвлениях. Происхождение его было шляхетским, достигало времен до разделов Польши. Предки были мечниками, помощниками судьи и хорунжими, поскольку в мальчишеские годы Владислав Грушецкий многократно перечитывал трилогию Генрика Сенкевича [23] и облюбовал для себя ее героев.

То был шляхтич хоть куда. Носил пышные усы. В разговорах употреблял порой, как бы мимоходом, очень легко, диковинные выражения, матовые от патины времени. Восклицал: «Милостивый государь!» Или говаривал: «Одначе, следственно, доколе». И случилось даже, что употреблял слово — «почто»,— что было уже слишком даже для самых снисходительных собеседников.

Не только не поступал назло сестре Веронике, но с такой радостью воспринял ее учение, что превзошел в католическом усердии наставницу. Она не лежала крестом на полу костелов. Он часто это делал. В своих взглядах был категоричен, серьезен и достоин подражания. В нем уживались антинемецкий и антисемитский комплексы, он ратовал за дружбу с Советским Союзом, поскольку добрые отношения с русским народом считал фундаментом лучшего будущего любимого отечества. В этом у него не было согласия с сестрой Вероникой, по ее убеждению, коммунизм возник как изобретение дьявола, ожесточенная война против Бога. К русским сестра испытывала умеренную неприязнь и сочувствие. С детства помнила казачьи патрули на топких дорогах Царства Польского и еще рекрутский набор в императорскую армию. Не любила попов и церковных песнопений. Столицей ее бессмертной души был Рим, а столицей ее польской сути — Варшава. Зато Владислав Грушецкий относился к православной церкви с добродушным превосходством рьяного католика, а к коммунизму — с недоверчивым страхом друга старой России. Однако больше всего любил Польшу, ее дух, ее славное прошлое и прекрасное будущее в семье славян. Немцев называл «швабы», а евреев — «жиды». Высказывал несколько обескураживающие, учитывая его происхождение, суждения, утверждая, что

---

[23] Романы «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский».

именно «жиды губят нашу страну!». Со сдержанностью относился к новшествам, введенным в римско-католической церкви Собором [24]. Следует отметить, что в данном вопросе в течение некоторого времени его союзницей была сестра Вероника. И она с робостью и колебанием приглядывалась ко всем тем новациям, которые возникли в католицизме со времени первосвященства доброго папы Иоанна [25]. Но сестра Вероника верила покорно и потому вскоре приняла перемены. Говорила, что решения о новом облике костела принимают те, что умнее ее, и повелела своей душе смириться. Немного позднее уже находила в новой литургии красоту и мудрость, а также осязаемую близость Бога, какой прежде никогда не ощущала. Простая, деревенская женщина, она лишь теперь понимала смысл и значение Жертвы. Латынь вводила ее прежде в мир таинственный и сакральный, где она испытывала робость. Чувствовала себя бессильной игрушкой в руках Бога. Теперь же она обретала себя, собственные мысли, стремления и выбор. Из царства заклинаний перешла в царство молитвы. Из ее души улетучилось волшебное очарование деяний непостижимых, открылось пространство великой тайны любви. Вера сестры Вероники с годами все сильнее приближала ее к Господу Иисусу, который однажды в зимний вечер вышел навстречу маленькой девочке. Она совсем не была убеждена, что встретила тогда Его. Но Ему не было уже нужды представать перед ней как видение столь необычное. Его присутствие ощущала она постоянно, даже если глаза ее были закрыты или если видела лишь самые обычные вещи. Она очень любила Бога и людей в годы своей старости.

И потому не могла примириться с агрессивностью и нетерпимостью, которые отличали веру Владислава Грушецкого. То был воинствующий христианин, который своим оружием выбрал сарказм, чего сестра Вероника никогда не одобряла.

— Хоть немного больше любви, Владек,— говорила она слабым, старческим голосом, когда тот навещал ее, принося пирожные от Бликли, запах одеколона и близорукий взгляд насмешника. Всякий раз, когда заговаривал о евреях, его темные, еврейские глаза загорались холодным, неприязненным блеском. Он, по-видимому, ужасно страдал. Но не только в своей польскости был фальшив. Одевался с изысканной элегантностью, заботливо относился к покрою синих пиджаков с золотыми пуговицами и пепельных фланелевых брюк, которые превращали этого потомка королевских стольников и литовских подчаших в завсегдатая английских яхт-клубов. Курил трубку. Не пил алкоголя. Не ел рыбу по-еврейски. Не пропускал воскресной мессы. Коллекционировал гравюры. Рубашки шил на заказ. Не женился. Занимал высокий пост в государственном руководстве сельским хозяйством. Окончил институт по этой специальности. Читал Пруста, Хемингуэя и Камю. В оригинале, как утверждал. Почитывал и детективы, хоть и не любил об этом распространяться. О Достоевском говорил: «Наш общий духовный отец!» О Толстом: «Этот старый, мудрый граф...»

— Старый, мудрый граф говаривал, что...

— Наш общий духовный отец написал в свое время, что...

Больше всего любил Сенкевича и совершенно этого не стыдился. Хоть в этом был искренним.

Летом 1968 года радовался тому, что Польша избавляется наконец от евреев [26].

— Мы должны стать нацией единой, общей, родственной крови! — сказал он.

Сестра Вероника отодвинула тогда тарелочку с пирожным, сложила руки на груди и с гневом произнесла:

— Владек! Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне.

---

[24] 2-й Ватиканский собор (1962—1965) провозгласил обновление католической церкви, демократизацию ее внутренних установлений, в частности, перевод литургии с латинского языка на национальные.

[25] Иоанн XXIII (1881—1963) — папа римский с 1958 г.

[26] После студенческих волнений в марте 1968 г. по инициативе ЦК ПОРП и его первого секретаря В. Гомулки была развязана кампания антисемитизма, приведшая к массовой эмиграции польских евреев.

— Почему вы так говорите, сестра?

— Тебе же всего тридцать лет, а болтаешь как склеротик.

Он смутился. В ее присутствии ему всегда плохо удавалась роль консервативного шляхтича с глубоко националистическими взглядами. Потом стал приходить в сером костюме, уже без перстня и трубки. Держался более деликатно. Эти визиты были мучительны для него, но по-своему он любил сестру Веронику. Она была его мостиком. Благодаря ей оказывался на давнем, забытом берегу. Может, именно потому и навещал ее. В крохотной приемной, где они сиживали, беседуя о его работе и ее повседневных заботах о распущенной молодежи, он ощущал, наверное, присутствие прошлого. В темном углу комнаты стоял маленький Артурек Гиршфельд, сын зубного врача, который не хотел, чтобы его называли Владеком. Может быть, видел даже лица отца, матери, старших братьев, духи которых давно его покинули, покорно уступая свое место духам гусар, степных атаманов и защитников Ясной Гуры [27]. Может быть, именно возле сестры Вероники он отдыхал, утомленный своей сарматской [28] польскостью и антисемитским католицизмом, которые не сам придумал, а лишь старался им подражать, мучимый подавляемым страхом, скрытыми антипатиями, неприсни-вшимися снами.

Но и в приемной он повиновался порой внутреннему голосу своей двусмысленной личности, словно не в состоянии был избавиться от призраков даже рядом со свидетельницей его детства.

Сестра Вероника была уже очень стара и больна, когда впервые прибегла к его собственному оружию — издевке. Владислав Грушецкий приближался к своему пятидесятилетию, он по-прежнему приносил пирожные от Бликли, навещал старушку регулярно, но был уже не в состоянии говорить ни о чем, кроме сельского хозяйства, посевных, урожаях, севообороте, азотных удобрениях, комбайнах «Бизон», сноповязалках, а также о косности индивидуальных крестьянских хозяйств. Владислав Грушецкий был хорошим специалистом, успешно окончил сельскохозяйственный факультет и много лет занимался аграрными проблемами. Но вместе с тем не вызывало сомнения, во всяком случае для сестры Вероники, что был он сыном зубного врача-еврея, никогда не работал на земле, не соприкасался с жизнью села, не понимал крестьянского образа жизни и способа мышления. Сестра же Вероника, хоть и носила рясу более полувека, оставалась все той же крестьянкой, мир воспринимала по-крестьянски, с тем неодолимым и упрямым крестьянским реализмом, с крестьянской непреклонной расчетливостью, которую не собьют с толку никакие компьютеры. И вот однажды, когда он сетовал на недальновидность крестьян, критиковал их за отсутствие предпринимательского риска, развертывал перед сестрой Вероникой свою программу оздоровления сельского хозяйства, основанную на методах частично колхозных, а частично фермерских, как если бы Польша была гибридом Небраски и Приднепровья, распалялся и иронизировал, громил и сокрушался, она вдруг прервала его жестом прозрачной, старческой руки. А когда тот умолк, произнесла с едва заметной усмешкой:

— Я хочу тебе кое-что сказать, Владек. Земледелие — занятие не для евреев...

И тут же ужаснулась собственных слов, поняв, что был то удар прямо в сердце. Не только в его сердце. Своей иронией, которая — как ей давно казалось — стала ей чужда, она ранила саму себя. Значит, сидела все же в ее душе заноза крестьянского превосходства над этими сомнительными, пронырливыми людьми, которые непрошенно пересекали чужие рубежи.

— Я глупая, старая мужичка! — воскликнула она.— Прости меня, пожалуйста, Владек...

---

[27] Монастырь в г. Ченстохова, который в 1655 г. во время польско-шведской войны подвергся осаде.

[28] Сарматизм — распространенная в XVI—XVIII вв. теория, в соответствии с которой польское дворянство (шляхта) берет свое начало от кочевых сарматов в отличие от коренного крестьянского населения.

— За что я должен прощать вас, сестра,— ответил он холодно и надул губы.— Ведь вы совершенно правы!

Снова крепко и уверенно сидел он в своем сарматском седле, как бы свысока поглядывая на арендаторов, что крутились возле него. Но сестра Вероника, охваченная бурей противоречивых чувств, стыдом и злостью, крестьянским упрямством и сладостью раскаяния, любовью к этому несчастному стареющему человеку и грустью по строптивому мальчишке, который, даже перед лицом неминуемой гибели, не желал покориться и изменить себе, воскликнула страдальческим голосом:

— Владек, перестань наконец искушать меня, перестань наконец передо мной прикидываться, ведь я — не вся Польша, я старая Вероника, которая хотела бы любить тебя так, как любила прежде, в твои семь лет! Не мучай меня, Владек! Мне осталось уже недолго жить...

Тогда Грушецкий расплакался. И она тоже. Держала его мокрое лицо в старых, прозрачных руках и глотала горькие слезы.

Спустя четверть часа мир позволил им вернуться к своему прежнему обличью.

Однако случиться всему этому суждено было спустя без малого сорок лет, а сейчас сестра Вероника натягивала на Артурека Гиршфельда чужую кожу. Сейчас они были врагами, вызывающе смотрели друг другу в глаза. Сестра Вероника говорила, сжимая губы:

— Еще раз скажи! Как тебя зовут!

— Владек Грушка,— ответил он и тоже сжал губы.

— Хорошо, Владек,— сказал она. Отвернулась, закрыла глаза. Подумала, что Бог простит ей дерзость. Вопреки ему творила биографии людей. Опустила голову и молилась в душе, чтобы дал силы продержаться, для себя и этих детей. Дети смотрели на нее с любопытством.

А Владек Грушка за спиной сестры Вероники показал ей язык. Я, Артурек Гиршфельд, мстительно подумал он, никогда не стану каким-то Грушкой, что бы ни случилось!

VII

Судья засыпал с трудом. Слышал мерный бой часов, отсчитывавших четверти ночи. Сон приходил обычно в три часа утра. Зимой судья относился к этому спокойно, но летом ощущал жестокость бессонницы. Уже птицы начинали переговариваться в ветвях деревьев, светлело на востоке небо, а судья только погружался в сон, которому предстояло отнять у него тот кусочек мира, что ему еще предназначался. Спал без снов, чутко, сознавая, что спит, вслушиваясь в отголоски утра, стук посуды за стеной, шум пробудившейся улицы, возгласы извозчика, голоса детей, спешащих в школу, звонки трамваев, дыхание уснувших любовников, тявканье собак. Зимой было еще сносно, поскольку, когда он пробуждался, бледные рассветы только начинали легонько стучаться в окна. Но летом открывал глаза в солнечном ливне, в полновесном, спелом аромате природы и потому испытывал чувство, будто украдены у него бесценные минуты жизни, которой — как он считал — осталось у него немного. И все же он ценил эти бессонные ночи, ибо тогда царили вокруг него тишина и уединенность, он мог вволю поболтать сам с собой, по-своему пофилософствовать, даже молиться по-своему, что означало призывать Бога, дабы судил и был сам судим. Так лежал он на широкой кровати, слева была стена, на стене обои с тонким узором, серо-голубые, с изображением экзотических цветов и драконов, как на китайских ширмах времен его молодости, а справа стоял ночной столик, на нем лампа с абажуром, несколько книг, пепельница с недокуренной сигарой, тарелка, нож и яблоко. Спальня была велика, загромождена мебелью, неприбрана, с постоянно приоткрытыми дверцами гардероба, козеткой с вытертой, лоснящейся обивкой, плетеными стульями из бамбука, линялым ковром и абажуром в форме корзинки. Но судья любил эту комнату. Тут чувствовал себя лучше всего, поскольку каждый предмет нес на себе печать его одиночества. Закрывая вечером двери

спальни, чтобы остаться в ней до утра, он обретал себя. Особенно в годы оккупации эта комната стала его крепостью, как если бы за ее порогом никакое зло не могло его настигнуть. Медленно раздевался, бросая одежду на стулья, как делал всю жизнь с той минуты, когда освободился от опеки строгого гувернера, до двенадцатилетнего возраста муштровавшего его с утра до вечера, обучая порядку, аккуратности и образцовым манерам. Было то на Подолье, в мире давно умершем, откуда судья ушел еще юношей, чтобы с тех пор, уже в одиночестве, противостоять судьбе. Итак, судья медленно раздевался, находя радость в беспорядке. Потом надевал длинную ночную рубашку, садился на мягкую кровать и выкуривал половину сигары. И наконец, удобно укладывался на кровать, сплетал пальцы поверх одеяла, смотрел в потолок и размышлял. Часы отбивали четверти ночи. Иногда Бог присаживался возле кровати, и они беседовали с ним. Случалось, что приходил дьявол. Тот не был, однако, слишком самоуверен и потому садился на козетку, и тогда судья поворачивался всем телом в сторону комнаты, опирался головой на согнутую в локте руку и, глядя дьяволу в глаза, отважно насмехался над ним. На столике горел ночник. Судья не выносил темноты.

В тот вечер он был совершенно один. Сидел на кровати и нюхал дым сигары, медленно угасавшей в пепельнице. Эти сигары в тяжкие военные времена стоили целое состояние, но отказаться от них было выше его сил. «От сигар и достоинства не отступлюсь никогда»,— говаривал он в кругу друзей. Сидел, наслаждаясь дымом сигары, когда за стеной зазвонил телефон. Было одиннадцать часов, поздний весенний вечер, затемненное окно, на столике горела свечка, потому что электричество как раз выключили, что иногда случалось во время оккупации. Звонок телефона походил на стон. Судья встал с постели. Какой-то страх проник в его сердце. Подошел к двери, открыл ее и очутился в темном коридоре, отделяющем спальню от остальной части квартиры. Телефон еще раз зазвонил, когда он уже снимал трубку. Рука судьи слегка дрожала. Через открытую дверь в коридор проникал трепещущий свет свечи. На стене шевельнулась огромная тень.

— Алло,— сказал судья.— Слушаю.

— Судья Ромницкий? — отозвался далекий голос, шелестящий, словно на ветру.— Судья Ромницкий?

— Я здесь, слушаю, кто говорит? — воскликнул судья.

— Фихтельбаум, адвокат Фихтельбаум, вы меня помните?

— Господи Боже! — сказал судья.— Господи Боже!

С другого конца провода донесся шелестящий, четкий, но очень далекий голос, как если бы говорили из другого мира, и так оно было в действительности. Звонил адвокат Ежи Фихтельбаум, давний знакомый судьи. Речь шла о дочке адвоката, ее звали Йоася. Отец хотел спасти ребенка от гибели.

— Обращаюсь к вам, пан судья, на пороге смерти,— сказал адвокат Фихтельбаум, судья воскликнул:

— Не говорите так, нельзя так говорить! К делу, к делу, пан адвокат...

Договаривались о деталях. Тень судьи двигалась по стене, достигала потолка, резко стекала вниз, к полу, вновь поднималась.

— У меня соседи фольксдойчи,— сказал судья, понизив голос, будто опасаясь, что его услышат сквозь стену,— но выход найдется. У меня исключается. Эти немцы под боком, и еще дворник в доме, человек подлый! Но выход найдется.

Адвокат Фихтельбаум настаивал шелестящим голосом:

— Может, уже не будет возможности связаться с вами, пан судья. У меня есть надежный человек, который переведет. Умоляю, дайте адрес, умоляю, дайте адрес! И документы нужны будут...

— Понимаю,— сказал судья.— Об этих вещах можете не беспокоиться. Адрес, говорите? Нужно подумать, заклинаю вас, потерпите минутку, я должен сосредоточиться...

Наступила полная тишина, тень судьи на стене сгорбилась под тяжким бременем, теперь на его плечах оказалась жизнь человека. Потом судья назвал фамилию и адрес, а адвокат Фихтельбаум внезапно воскликнул:

— Прощайте! Прощайте все!

Связь прервалась. Судья постучал по вилке, раз и другой. Потом положил трубку. Вернулся в спальню. Сел на кровать. Сигара уже совсем не дымилась.

— Здесь,— громко сказал судья, будто его выкликнули.

И позднее, спустя годы, сколько бы раз ни отвечал «здесь», вставая со своих нар, он улыбался, вспоминая тот вечер. Была та улыбка одновременно печальная и добрая, сочувственная и насмешливая, поскольку судья думал в тот момент об адвокате Фихтельбауме, ночной рубахе, сигаре, бесчеловечности мира и свече на ночном столике. Тюремный охранник ворчал себе под нос:

— Что это вам так весело, Ромницкий, мало еще досталось?

Несколько раз докладывал начальнику, что обвиняемый Ромницкий во время переклички ведет себя как полоумный.

— А он и есть полоумный,— сделал вывод начальник.— Старая рухлядь с мусором в башке. Все равно долго не протянет.

Сокамерники тоже спрашивали судью, что означает его странная улыбка. Но он не отвечал. С возрастом стал осторожнее. Его былое красноречие куда-то улетучилось. Стал меньше доверять людям. Испытывал некоторое чувство горечи, считая себя обойденным судьбой. И возможно, даже думал порой, что обманул его Бог, история и еще чувство справедливости, которое он вырабатывал в себе в течение полувека, не сознавая, что времена меняются, а вместе с ними меняются и понятия. Из-за этого бывал анахроничен, и в то время как другие мирились с действительностью, он продолжал оставаться непримиримым, упрекая мир в отсутствии достоинства. О сигарах не вспоминал. И сколько бы раз, каждое утро и вечер, в соответствии с установленным порядком, ни отвечал спокойным голосом свое «Здесь!», приходило к нему воспоминание, всегда живое, отчетливое и все более мучительное, и думал тогда, что хоть сигары исчезли бесповоротно, но честь сохранилась.

Сохранилась еще и память. То был прекраснейший дар Бога, и он упорно оберегал тот дар от любой попытки грабежа. Помнил все. До мельчайших подробностей. Запах сигар и визг трамвая перед зданием суда, когда шел на работу. Цвет неба над башнями варшавских костелов и голубиные крылья на его фоне. Рыжие пятна линялой материи на спинах еврейских лапсердаков. Варшавские дожди. Ветры, проносящиеся над Варшавой в ноябрьские вечера, когда светились неоновые рекламы. Стук лошадиных копыт на мосту Кербедзя, седую полосу реки. Колокольцы саней в снежные зимы, женские лица, выглядывающие из теплых меховых воротников. Сухие дни лета, когда на мягком асфальте отпечатывались конские подковы и змейки автомобильных шин. Лица парикмахеров, полицейских, преступников, приказчиков, ветеранов, адвокатов, извозчиков, белошвеек, военных, художников и детей. Помнил все, до мельчайших подробностей. Фруктовые лавки, где при входе шипел сатуратор, а продавец выныривал из-за кистей винограда, чтобы приветствовать клиента. Стук швейных машин фирмы «Зингер» в портновской мастерской Мительмана на улице Белянской. Приговоры, которые он выносил именем Речи Посполитой, чьим краеугольным камнем должна была являться справедливость, а он к этому относился серьезно и потому вел непрестанный спор с Богом, законами и собственной совестью, поскольку знал, что в его руках судьбы людей. Рисунок обоев в своей спальне и форму ножичков для фруктов. Бессонные ночи и долгие беседы, когда Бог и дьявол навещали его, чтобы поболтать о преступлении и наказании, спасении и вечных муках душ. Помнил правду. Каждый год, месяц и час. Каждого человека, с которым сталкивался, и значение произнесенных слов, совершенных поступков, передуманных мыслей. Словом, помнил правду, и был то его панцирь, который не могла пронзить ложь, чтобы через эту щель, через брешь в панцире, лишить его чести. Всю свою правду он мог бы доверить бумаге и предать гласности на погибель тому миру, что обступил его со всех сторон. Но знал, что одно правдивое свидетельство значит не слишком

много, хоть и больше, чем тысяча свидетельств ложных. И потому помнил все, до мельчайших подробностей. Полет тогдашних птиц и форму облаков на небе. Мысли давно умерших или обреченных на забвение людей. Страх и мужество, наветы и жертвенность, а еще предметы, названные фальшиво, и слова, лишенные предметности. Письма, книги, речи, проповеди, возгласы, знамена, молитвы, надгробия и митинги. Руки посланцев благой вести и руки доносчиков. Головы на пьедесталах и в петле под виселицей. Помнил времена, когда зло и обман появлялись стыдливо, тайком, переодетыми, в маске или во мраке, поскольку люди стремились делать вид, что добры и преданны правде или даже были такими. Все это помнил в подробностях.

И умер он спокойно, хоть и знал, что лишает мир достоверного свидетельства. Однако верил, что остаются другие, кому передал свидетельство своей памяти. Умер в 1956 году, в маленьком провинциальном городке, у дальних родственников, которые приняли его под свою крышу, когда он вышел из тюрьмы. Люди, готовые приютить обиженных, всегда найдутся в этой стране. Больной и обессиленный, он сидел обыкновенно в своей комнатке, возле открытого окна. За окном был сад, пахнущий цветами яблонь и груш. Именно оттуда пришла за ним смерть. Выглянула из-за яблонь как серое, легкое облачко. Проплыла через открытое окно в комнату. Судья принял гостью с благодарностью и облегчением. Дело было ранним утром, в июле, стояла прекрасная солнечная погода. Рассвет был прохладным, стволы яблонь еще окутаны туманом, но солнце уже стояло на восточной стороне неба, и день обещал быть жарким. Жужжали первые насекомые, а над крышами летали ласточки. Судья смотрел на смерть спокойно и с достоинством, потому что помнил все. Память, Ангел-Хранитель судьи, оставалась с ним. Эта его привилегия сохранилась за ним до конца.

Впрочем, такую привилегию может иметь каждый.

Умирая, сказал: «Здесь!» — и мягко улыбнулся. Погасла его свеча. Но солнце озаряло лицо судьи в долгие часы рассвета, утра и полудня. Только тогда родственники вошли в комнату и увидели, что старый человек умер.

Однако в тот вечер, когда, сидя на кровати в ночной рубахе, громко сказал «Здесь!», как если бы его выкликнули и он рапортовал о себе всему миру — он еще жил. Жил интенсивнее, чем когда бы то ни было прежде, ибо теперь пришло время принять на себя удары судьбы и все коварство зла, и отныне ему предстояло бороться со злом не только совестью, мыслями, добрыми делами, но и всем своим существованием. К этому он стремился давно. Был готов жизнью оплатить память о себе, если будет необходимо. Бог ниспослал ему благодать и позволил принести величайшую жертву. Судья, правда, не был исключением, однако принадлежал к немногочисленному меньшинству, совершавшему подобный выбор. То была счастливая ночь в его жизни.

Потом его ожидало много подобных ночей. Но с тех пор он спал хорошо и не страдал уже бессонницей. Не слышал в чуткой дремоте голосов мира, который существовал как бы помимо его участия. Спал крепко и совсем не переживал из-за этого своего краткого отсутствия.

VIII

Доктор Адам Корда узнал о неприятностях вдовы Гостомской, когда сидел у окна террасы, читая Лукиана. Молодой мужчина бандитского вида, стоя на пороге, сообщил доктору, что отвез в гестапо некую пани Гостомскую по подозрению в еврейском происхождении.

— Такая шикарная дама не может быть какой-то там Сарой,— сказал рикша, кивнул на прощание и ушел. А доктор Корда остался, с Лукианом в руках и смятением в сердце.

Однако за годы занятий классической филологией он выработал в себе способность к логическим сопоставлениям и острой наблюдательности. И потому не прошло и минуты, как он сумел припомнить, что ведь у них

с соседкой есть общий знакомый, а именно — пан Павелек, которого встретил однажды, когда тот выходил из квартиры вдовы артиллерийского офицера. Они обменялись в тот раз не только поклонами, но и несколькими замечаниями относительно текущих событий. Доктора Корду не удивило, что Павелек, будучи сыном офицера, томящегося в лагере для военнопленных, навещает пани Гостомскую, как-никак вдову офицера, а потому наверняка знакомую родителей пана Павелка. Филолог не стал тратить времени. Оставив Лукиана на подоконнике, он бодро отправился в город. Сообщил Павелку о неприятности, которая случилась с Гостомской. Павелек воспринял известие спокойно. Настолько спокойно, что доктор возвратился к Лукиану, даже не предполагая, в какое отчаяние поверг молодого человека.

Но Павелек и не думал сдаваться. Набрал нужный номер и попросил к телефону пана Филипека. С противоположного конца линии доносились стуки какой-то машины.

— Филипек,— произнес мужской голос.— Кто говорит?

— Пан Филипек, говорит Павел,— сказал Павелек,— нужно срочно встретиться.

— Срочно не получится. Только после работы. А где?

— На Медовой, в кафе, хорошо?

— В кафе, так в кафе. Буду в четыре.

Павелек ждал, сидя за мраморным столиком возле самого входа. Филипек был пунктуален.

— Пан Филипек, пани Зайденман попалась,— произнес Павелек.

— Что ты такое говоришь,— проворчал Филипек. На нем была форма железнодорожника, фуражку он положил на колени.

— Пани Зайденман сидит в аллее Шуха [29],— сказал Павелек.

— Почему же сразу на Шуха? — возразил железнодорожник, которому не хотелось лишаться иллюзий.— Не всех забирают на Шуха.

— А ее забрали,— сказал Павелек.

Рассказал, как все произошло. Еврей на Кручей, рикша, гестапо, доктор Корда, Павелек...

— Это все, что мне известно...

— У нее же светлые волосы,— произнес Филипек,— и очень голубые глаза.

— Но то был какой-то знакомый, кажется довоенный. Какой-то довоенный еврей...

— Все евреи довоенные,— ответил железнодорожник,— мы тоже довоенные. Если он узнал ее как пани Зайденман, то, наверное, отправилась все же на Шуха.

— Придумайте что-нибудь, пан Филипек,— с жаром воскликнул Павелек.

— А я что делаю. Ты что, думаешь, я жену пана доктора Зайденмана брошу на произвол судьбы? Он жизнь мне спас! А я бросил бы ее сейчас? Ты, Павелек, верно, плохо меня знаешь.

— Я знаю вас, потому и позвонил сразу же. Я ведь помню, как вы совсем не могли ходить...

— На костылях ходил.

— А потом доктор Зайденман вас вылечил. Помню, как водил вас по лестнице на третий этаж и как вы ноги за собой волочили.

— Он меня вылечил, послал в Трускавец, деньги одалживал. Впрочем, твой папаша тоже одалживал. Но больше всех доктор Зайденман. А ты, Павелек, помнишь его похороны?

Павелек не помнил, поскольку доктор Зайденман умер летом, когда у молодежи каникулы, но все же кивнул, чтобы не огорчать железнодорожника.

— Я-то думал, что первым умру, а он — смотри как неожиданно в могилу сошел. Похороны были необыкновенные. За гробом шел раввин,

[29] Улица в Варшаве, где в доме № 25 в 1939—1945 гг. находилось управление гестапо. В настоящее время — Музей борьбы и мученичества.

а чуть позади — ксендз. И толпы людей. Множество поляков и евреев. Он всех хорошо лечил. Необыкновенный был врач. А докторша — необыкновенная женщина.

Павелек кивнул. Железнодорожник встал.

— Ладно,— произнес он.— Беги, молодой человек. Я уж что-нибудь придумаю.

— Очень вас прошу, пан Филипек,— сказал Павелек твердо, но в его глазах были мольба и страх.

— Не для тебя, но ради нее. Она того заслуживает. А впрочем, кто не заслуживает, чтобы ради него пораскинуть мозгами...

Спустя час железнодорожник позвонил своему другу.

— Ясь,— сказал он,— говорит Казик Филипек. У меня к тебе срочное дело.

— Давай ко мне,— весело воскликнул Ясь.— Ты же знаешь, где я живу.

— Знаю, где ты живешь,— ответил железнодорожник.— Сейчас приду.

И он отправился на улицу Марии Конопницкой к современному дому, в котором жили богатые, влиятельные немцы. Позвонил у двери, снабженной табличкой с красиво выгравированной надписью: «Johann Müller, Dipl. Ing.» [30]. Дверь открыла служанка, а когда он себя назвал, сказала, что директор Мюллер ожидает его в кабинете.

Тот действительно ожидал в кабинете. Невысокий, коренастый, с белыми волосами и румяным лицом. Звали его Иоганн Мюллер. Был немцем, уроженцем Лодзи, боевиком ППС [31], узником Павяка [32] и ссыльным. Когда-то он стрелял в шефа жандармов в Радоме. Промахнулся. Пошел на каторгу. Вернулся и снова стрелял в агентов охранки. В конце концов вместе с Филипеком оказался в Красноярском крае, где вместе корчевали тайгу, удили рыбу в огромных реках, пели песни и ожидали великой войны народов, которая должна была принести независимость Польше. Дождались той войны и участвовали в ней.

Иоганна Мюллера все друзья и товарищи называли «Ясь» и посмеивались над его немецким происхождением. «Какой из тебя немец, Ясь?» — восклицали они. «Я немец телом, а душой поляк»,— весело отвечал Иоганн Мюллер. И так было в действительности. Отец Иоганна Мюллера, Иоганн Мюллер-старший, был мастером-текстильщиком в Лодзи в период, когда город рос и набирал силу. Старик Мюллер был немецким рабочим, а немецкие рабочие в ту пору почитывали Маркса и принадлежали к партии Фердинанда Лассаля [33]. Так что отец воспитал своего сына в социалистическом духе. В тогдашней Лодзи это привело только к тому, что Мюллер-младший начал борьбу с царизмом за независимость Польши. В девятнадцатом веке вообще все было просто. Лишь позднее мир стал столь сложен.

— Ясь,— сказал Филипек.— Ты же знал доктора Зайденмана.

— Знал,— ответил румяный немец.

— Пани Зайденман попала в гестапо,— сказал Филипек.— И надо ее оттуда вытащить.

— Боже правый! — воскликнул Мюллер.— Я что, бюро посредничества между гестапо и варшавскими евреями?! Что я сегодня могу?

— Ясь,— произнес железнодорожник.— Ты можешь много. И это легче, чем вытащить из каталажки Берната.

— То когда было! — воскликнул Мюллер.— Сколько уже лет прошло, как Бернат в гробу лежит.

— Пани Зайденман нужно вытащить,— сказал железнодорожник.

— Именно ее, да?! А других не надо? Вот была бы какая-нибудь бедная Ривка с Новолипок, никто не шевельнул бы пальцем! Взгляни, что творится вокруг, Казик. Они там гибнут и нет никакой надежды! Весь еврейский народ умирает, а ты ко мне приходишь из-за одной Зайденман.

— Всех мы не можем спасти,— сказал Филипек.— Зато можем спасти

---

[30] Иоганн Мюллер, дипломированный инженер *(нем.)*.

[31] Польская социалистическая партия.

[32] Тюрьма в Варшаве.

[33] Всеобщий германский рабочий союз, просуществовал с 1863 по 1875 г.

пани Зайденман. И не кричи на меня. Ведь это вы убиваете несчастных евреев...

— Кто это еще вы?! Германия! — крикнул Мюллер. И добавил спокойно и с печалью: — Ну, ладно. Немцы. На, закури.

Придвинул коробку с сигаретами.

— Зачем ты к ним записался, Ясь? — произнес железнодорожник.

— Я не записывался, сам прекрасно знаешь. Всегда был немцем. Уже шестьдесят лет. И они об этом знали.

— Ну, а на что тебе свастика на лацкане?

— Именно на то, глупый ты человек. Все немцы в партии. Я немец, потому и вступил. И что тебе толку было бы от немца, который не носит свастики?

— Вытащи пани Зайденман, Ясь. Это проще, чем история с Бернатом.

Внезапно у них возникло ощущение, будто оба они стали моложе на сорок лет. В 1904 году им удалось освободить из жандармского участка в Пулавах товарища Берната. Иоганн Мюллер прибыл в участок на санях, в форме лейтенанта, представился как барон Остерн, которому поручено доставить на допрос опасного преступника. Железнодорожник Филипек правил лошадьми. На нем была солдатская шинель, к облучку саней прислонена винтовка с торчащим штыком. Молодой барон Остерн заставил встать навытяжку начальника участка. Предъявил соответствующие документы. Был трескучий мороз. Барон Остерн стоял у кафельной печи и курил толстую сигару. Но начальник в Пулавах, какой-то армянин, оказался не так уж наивен, что-то заподозрил. Лис кавказский. Крыса из далекой Азии. Долго раздумывал, в конце концов выделил барону двух конвоиров, а Берната заковал в кандалы. Конвоиров пришлось обезвредить в лесу за Пулавами, одного из пистолета, другого прикладом по башке. Их оставили связанными на дороге, в глубоком снегу. Бернат звенел кандалами до самого Радома. Лишь там, в кузнице у заставы, его расковали. Потом ехали поездом до Варшавы. Газовый свет фонарей, молчание и напряженность, жандармы на перроне вокзала, жуткий страх, удастся ли пройти в город, не сорвется ли дело в последнюю минуту. Но все прошло удачно. Добрались до Смольной улицы, где их ожидали.

— Холодина тогда была страшная,— сказал Мюллер,— а я возле той печки задыхался, пока разглядывали документы.

— Вытащи пани Зайденман,— произнес Филипек.

Мюллер некоторое время молчал, наконец сказал:

— Ты знаешь точно, где она находится?

— Понятия не имею. В аллее Шуха. Сам должен найти.

— Я же не знаю этой бабы! — проворчал Мюллер.— Не знаю ее!

— Мария Магдалена Гостомская, вдова офицера.

— Но хоть какие-нибудь подробности, Казик. Там ведь тоже не полные идиоты!

— Конечно, не полные,— поспешно согласился Филипек.

IX

Во времена, о которых идет речь, Виктору Суховяку было тридцать три года, и он постепенно скатывался по наклонной. Долгая жизнь, которая была ему суждена, не могла не оказаться неудавшейся, так как в молодости Суховяк избрал для себя карьеру профессионального бандита, что в эпоху великого тоталитаризма, сопутствовавшего ему до преклонного возраста, не могло не оказаться жалким анахронизмом. Тоталитарные режимы сами занимаются бандитизмом, опираясь при этом на величие закона, причем — к изумлению профессионалов-одиночек — этот произвол, едва ли не как правило, совершается при полном отсутствии альтернативы, а ведь что ни говори, именно альтернатива была некогда философским фундаментом бандитизма. Виктор Суховяк всегда работал в соответствии с принципом «кошелек или жизнь», что предоставляло его контрагентам возможность выбора. Тоталитаризм вершил грабеж, отнимая честь, свободу, имущество

и даже жизнь, не предоставляя никакого выбора ни жертвам, ни даже самим бандитам.

Во времена, о которых идет речь, в Европе безумствовал ранний тоталитаризм, необычайно хищный и агрессивный, который безжалостно истреблял целые народы, заодно обирая их самым беспримерным образом. Позднее миру пришлось несколько образумиться, поскольку война уже закончилась — во всяком случае, в Европе,— и потому тоталитарные режимы творили свои дела более деликатно, редко покушаясь на жизнь людей, зато гораздо чаще — на человеческое достоинство и свободу, не брезгуя, естественно, грабежом имущества, здоровья, но прежде всего сознания, которое профессиональных бандитов-индивидуалов никогда не интересовало из-за невозможности обратить его в деньги. Виктору Суховяку суждено было дожить до тех времен, когда тоталитаризм на любой географической широте и под разнообразными идеологическими лозунгами, игравшими, впрочем, лишь роль декорации, вершил бандитизм совершенно открыто, средь бела дня, под аккомпанемент духовых оркестров, а также декламации стихов, не лишенных порой лиризма.

Виктор Суховяк пользовался преимущественно ломом, а в периоды, когда ему улыбалась удача,— кастетом. К насилию прибегал только при исключительных обстоятельствах, когда сопротивление или отказ переходили границы его терпения и угрожали успеху мероприятия. Так что он не мог конкурировать ни с танковыми дивизиями и батальонами солдат-автоматчиков, ни также — в более поздние времена — с такими орудиями насилия, как генераторы высокого напряжения, полярная зима, напалм, шантаж целых социальных групп, принудительный труд, апартеид, подслушивание телефонных разговоров и даже обыкновенные палки в руках неистовствующих на улицах полицейских или таинственные похищения неудобных людей, чьи трупы потом топили в заброшенных карьерах или реках, а также угоны самолетов с пассажирами, которых затем по очереди убивали, чтобы добиться выкупа или политических уступок от отдельных лиц, общественности и государств.

В сущности первый тоталитарный режим, с которым Виктор Суховяк столкнулся в момент, когда Гитлер развязал войну, был хоть и наиболее жестоким, кровавым и хищным, но в то же время самым наивным и достаточно примитивным, поскольку недоставало ему пришедшей позднее утонченности. Но так происходит, как правило, с любым творением рук человеческих. Мы начинаем с вещей грубо сработанных, чтобы впоследствии достигнуть вершин мастерства, близкого к совершенству.

Как бы то ни было, у Виктора Суховяка не оставалось никаких шансов. Выбор, который он совершил в возрасте восемнадцати лет, когда ограбил свою первую жертву, был попросту идиотским. Следовало предвидеть, что будущее бандитизма принадлежит органам легальным, в том числе полиции,— и вступить в ее карающие ряды. Но Виктор Суховяк этого не сделал. Не сделал и позднее, когда уже в более зрелом возрасте его, заключенного-уголовника, побуждали к участию в построении светлого будущего на стороне гармонии и порядка.

Конечно, Виктор Суховяк не был человеком чести. Одиночество и индивидуализм не формируют сами по себе человеческого достоинства, для этого необходимо нечто большее. Но он был, несомненно, человеком с принципами, которые являлись следствием его ремесла. Политикой не интересовался и не имел никаких интеллектуальных запросов. Его нравственные нормы были примитивны, равно как и образование, вкусы и образ жизни. Любил деньги, женщин, карусели, водку, маленьких детей и закаты солнца. Не любил толпы, сладостей, полицейских, осенней погоды и насилия, если оно не приносило ему выгоды. Уже в первый год оккупации пришел к убеждению, что мир обезумел. В тот период нападал иногда на своих соотечественников, но вообще предпочитал немцев, не из соображений патриотизма, а из-за голого расчета. Соотечественники попадались все больше бедные. Разумеется, Виктор Суховяк отдавал себе отчет в риске, которым сопровождались нападения на вооруженных немцев. Но попадались среди них и пьяные, и не слишком расторопные, особенно если были в обществе женщин.

Однако с некоторых пор Виктор Суховяк переквалифицировался. Это имело свою положительную сторону метафизического свойства. Виктор Суховяк верил в Бога, а следовательно, в рай, чистилище и ад. За щедрую плату он перебрасывал людей из гетто в арийскую часть города. Это позволяло ему неплохо зарабатывать, совершая доброе дело.

Как человек опытный и добросовестный, на которого можно было положиться даже в трудных ситуациях, он имел многочисленную клиентуру. Имя его стало известно, он пользовался авторитетом даже среди охранников, которых допускал к участию в доходах. Между Виктором Суховяком и некоторыми из охранников протянулась нить своеобразного тесного сотрудничества, которым не злоупотребляли даже самые безжалостные немцы, поскольку знали, с кем имеют дело, и отдавали себе отчет, что попытка прикончить Виктора Суховяка может стоить им жизни. Бандит был человеком огромной физической силы и отчаянной смелости. Никто из контрабандистов, промышлявших переброской живого товара, не мог с ним сравниться. Они ожесточенно торговались с охранниками, однако всегда приходилось уступать — недоставало твердости духа и решимости. Виктор Суховяк никогда никакого торга не допускал. Платил столько, сколько считал необходимым, любые попытки клянчить или угрожать резко пресекал. Он просто не боялся их, а если и боялся, то они боялись его еще больше.

Ранней весной 1943 года контрабанда людей из гетто перестала быть прибыльным занятием, поскольку некого стало перебрасывать. Огромное большинство евреев погибло. Те, что еще оставались, обнищали, им было нечем оплатить свое спасение, к тому же внешность, обычаи и плохое знание языка лишали их любых шансов продержаться на арийской стороне. Горсточке оставшихся в гетто евреев предстояло вскоре умереть в бою, чтобы потом воскреснуть в легенде.

Одной из последних еврейских акций Виктора Суховяка оказалась переброска маленькой дочки адвоката Ежи Фихтельбаума, Йоаси. Адвокат Ежи Фихтельбаум до войны пользовался известностью как выдающийся защитник на уголовных процессах. Поскольку, однако, далеко не всем его бывшим подзащитным были свойственны несгибаемые принципы Виктора Суховяка, Фихтельбаум не мог рассчитывать уцелеть за пределами гетто. Внешность его не оставляла никаких надежд. Невысокий брюнет, на лице темная, густая растительность, оливковая кожа, классический еврейский нос, грустный взгляд пастуха из земли Ханаанской. К тому же в кармане у адвоката Ежи Фихтельбаума было уже совсем мало денег, а в душе — огромное отчаяние. Жена его умерла год назад от обыкновенного новообразования в собственной постели, что было предметом зависти всего дома. Адвокат остался с дочкой Йоасей, красивым и умным ребенком. Девочка родилась незадолго до войны, была поздним ребенком адвоката, что усиливало его любовь к ней. Сыну адвоката, Генричку, было уже почти девятнадцать лет, он жил собственной жизнью и, как полагал отец, умер собственной смертью, без какой-либо связи с драмой своего народа и расы. Генричек Фихтельбаум бежал из гетто ранней осенью 1942 года и где-то скрывался, не имея контакта с отцом и маленькой сестренкой. И вот теперь адвокат Ежи Фихтельбаум решил, что должен спасти Йоасю, чтобы по возможности мужественно и спокойно приготовиться к смерти. То было решение, которое на месте адвоката принял бы любой разумный человек и которое многие разумные люди тогда принимали...

Как уже говорилось, гитлеровцы представляли наиболее жестокий тоталитарный режим в истории. И хоть они далеко опередили в этом смысле все человечество и даже претендовали на пальму первенства, им недоставало опыта, из-за чего порой с их стороны случались упущения. Так, например, телефонная связь между гетто и арийской частью Варшавы бесперебойно функционировала вплоть до окончательного уничтожения еврейского квартала, благодаря чему адвокат Ежи Фихтельбаум имел возможность по телефону уточнить некоторые подробности, связанные со спасением Йоаси. Гитлеровцы не только не прервали телефонную связь, но

даже не подслушивали разговоров, что в более поздние годы для Виктора Суховяка — как, впрочем, не только для него — оставалось абсолютно непостижимым, если учесть нормальный опыт второй половины нашего столетия. Однако дело обстояло именно так, что позволило Йоасе Фихтельбаум дожить до наших дней.

В один весенний вечер Виктор Суховяк взял за ручку Йоасю Фихтельбаум и произнес:

— Сейчас ты пойдешь с дядей погулять.

Адвокат Ежи Фихтельбаум очень тихо сказал:

— Да, Йоася. И должна слушаться дядю.

Ребенок кивнул. Адвокат сказал несколько хриплым голосом:

— А теперь уходите...

— Ладно,— ответил Виктор Суховяк.— Можете быть спокойны.

— И ни слова ребенку,— сказал адвокат.— Никогда, ни слова...

— Я все передам, вы уже не терзайтесь из-за этого.

— Идите! — вдруг воскликнул адвокат и отвернулся к стене.

Виктор Суховяк снова взял Йоасю за ручку, и они вышли из квартиры. Адвокат Ежи Фихтельбаум, стоя лицом к стене, простонал, правда, очень тихо, поскольку не хотел никому доставлять огорчения, в особенности своей дочурке.

— Дядя просит тебя не плакать,— сказал Виктор Суховяк девочке.— Лучше ничего не говори, а только дыши.

Ребенок опять кивнул.

Они вышли на пустую улицу. Дорогу Виктор Суховяк знал. Охране было заплачено в соответствии с тарифом за выстрел мимо цели. Прошли. Но даже выстрела не было. В тот вечер охранники окончательно разленились.

Не все, однако, наслаждались подобным «dolce far niente» [34]. Неподалеку от ограды, на ее арийской стороне, крутился некий элегантный молодой человек, в кругах уголовников, промышлявших шантажом скрывающихся евреев, известный под кличкой Красавчик Лёлек. Стройный, как тополь, светлый, как весеннее утро, быстрый, как ветер, стремительный, как Дунаец [35]. У него была легкая рука на жидов, он узнавал их безошибочно, и если уж брал след, то шел по нему упорно. Иногда дичь пыталась петлять, некоторые из жидов, хорошо знакомые с городом, знали проходные дворы, сквозные подворотни, лавчонки с тыльным выходом. Но Красавчик Лёлек знал город лучше. Не любил, правда, жидов из провинции, заблудившихся в Варшаве, как в чужом лесу, настолько затравленных и перепуганных, что сдавались сразу же, сраженные первым, метким взглядом Красавчика Лёлека. Он отбирал у них все, что имели при себе, порой даже жалкие гроши. Однако жалкие гроши вызывали в нем разочарование, и тогда Красавчик Лёлек брал жида под руку, отводил в участок или передавал встретившимся жандармам, а последние его слова, обращенные к жертве, звучали горько и меланхолично:

— В другой раз, пархатый, имей при себе побольше наличности. Правда, другого раза уже не будет. Adieu! [36]

Произнося «Adieu», он испытывал нечто вроде солидарности с Европой, которая была его родиной.

Охота доставляла Лёлеку радость. Если попадался жид, заслуживающий большего внимания, пытающийся прошмыгнуть по улице, испуганный, но все же исполненный решимости, он шел за ним по пятам, давая понять, что тот уже попался, что за ним следят, что далеко ему не уйти. В подобных случаях жид пытался запутать следы, лишь бы отвести внимание от укрытия, где пряталась его семья. Но зоркий взгляд Лёлека делал подобные ухищрения всегда тщетными. В конце концов он жида настигал, без труда склонял его к совместной прогулке и обнаружению укрытия. Затем сделка совершалась. Лёлек забирал деньги, драгоценности, даже

---

[34] Сладостное безделье *(итал.)*.

[35] Приток Вислы в ее верхнем течении.

[36] Прощай! *(франц.)*

одеждой не брезговал. Знал, что тут же после его ухода жид укрытие сменит, возможно, затаится даже в каком-нибудь подвале или попытается бежать из города. Заодно Лёлек обдирал и арийских укрывателей жида — они, охваченные паникой, подчинялись его требованиям. Но старался не злоупотреблять. С арийскими соотечественниками никогда не было уверенности в успехе дела. Ведь такой польский шабесгой [37], который жида прятал и кормил, мог это делать как ради заработка, так и по соображениям возвышенным и гуманным, что всегда вселяло в Лёлека тревогу, поскольку одному дьяволу известно, не сообщит ли поляк, слепленный из столь благородной глины, о визите Лёлека каким-нибудь подпольщикам, если только сам не торчит по уши в подполье, не навлечет ли на Лёлека неприятности. Не секрет, что кое-кто из охотников за жидовским добром погибал порой на варшавских улицах от пули подпольщиков, и потому рисковать не следовало. По тем же причинам Лёлек редко появлялся поблизости от гетто, поскольку там и конкуренция была велика, и нежелательный взгляд мог остановиться на его смазливой мордашке.

В тот вечер он просто прогуливался, совершенно не думая об охоте. По случаю оказался поблизости от площади Красиньских, и случай свел его с Виктором Суховяком, который несколько поспешно шагал по тротуару улицы Медовой, ведя за руку еврейского ребенка. Сам Виктор Суховяк был смугл, темноволос, напоминая внешностью спившегося цыгана. Увидев своеобразную пару, Красавчик Лёлек почувствовал сладостную дрожь охотника. И, подойдя к Виктору Суховяку, сказал:

— Куда же ты так спешишь, Мойша?

— Что вы, уважаемый, это ошибка,— ответил Виктор Суховяк.

— И волочешь еще за собой эту Сарочку, у нее аж дух перехватывает,— добавил Красавчик Лёлек шутливым тоном.— Ну-ка, притормози и зайдем в подворотню...

— Да что это вы, уважаемый, выдумали? — спросил Виктор Суховяк и пугливо осмотрелся. Улица была пуста... Только в конце Медовой был слышен визг трамвая. Едва заметная фиолетовая полоса передвигалась во мраке. Красавчик Лёлек подтолкнул Виктора в сторону ближайших ворот.

— Поговорим,— серьезно произнес он.

— Никакой я не еврей,— защищался Виктор Суховяк.

— Там будет видно,— возразил Лёлек,— покажи дудку.

— Так ведь ребенок,— проворчал Виктор Суховяк.

— Ты мне ребенком голову не морочь! — крикнул Лёлек.— Показывай дудку!

— Йоася,— мягко сказал девочке Виктор Суховяк,— отвернись личиком к стене и стой спокойно!

Йоася молча повиновалась дяде. Виктор Суховяк расстегнул пуговицы плаща, слегка наклонил голову, а затем согнутым локтем внезапно ударил Лёлека в челюсть. Лёлек покачнулся, вскрикнул и оперся о стену. Виктор Суховяк нанес короткий удар в живот Лёлека, а когда тот немного наклонился, вбил колено в его пах. Лёлек застонал, снова получил удар в челюсть, еще один в переносицу. Кровь хлынула ручьем. Красавчик Лёлек рухнул на землю. Виктор Суховяк наклонился, но поймал взгляд Йоаси и воскликнул:

— Отвернись, дядя просил же!

Ребенок отвернулся. Виктор Суховяк тихо сказал Лёлеку:

— Ты, пащенок, в другой раз шкуру с тебя сдеру! А теперь гони свои сиротские гроши.

Красавчик Лёлек обливался кровью, испытывал страшную боль, в голове был сумбур, в сердце обида и ужас.

— У меня ничего нет, поверьте,— пробормотал он. Сильный пинок перевернул его лицом к земле. Под щекой он ощутил холод бетона, а на всем теле ловкие руки своего палача. Виктор Суховяк нащупал бумажник и кошелек. Движение его были спокойны. Тщательно пересчитал банкноты.

---

[37] Слуга-христианин в еврейском доме.

— Кого ж ты сегодня обработал? — спросил он.— Я столько зарабатываю за месяц.

Суховяк говорил неправду, зарабатывал он больше, но не видел повода посвящать окровавленного грабителя в свои дела. Кошелек бросил возле головы Лёлека.

— Тут тебе на трамвай,— сказал он.— И обходи меня за версту.

Взяв Йоасю за ручку, сказал:

— Дядя заболел, у него головка закружилась.

Они вышли из ворот. Красавчик с трудом встал. Но идти пока не мог. Оперся о стену и так стоял, тяжело дыша. Из носа все еще текла кровь. Был весь разбитый, униженный, переполненный ненавистью.

Вновь им предстояло встретиться через двадцать лет. Виктор Суховяк как раз вышел из тюрьмы человеком преждевременно постаревшим, отребьем общества и реакционером. Однако государственные власти не поставили крест на этом несчастном продукте капитализма. Виктору Суховяку дали направление на завод строительных материалов, где он должен был получить работу на бетономешалке. С бетоном Суховяк никогда в жизни дела не имел, если не считать пола тюремной камеры, зато обладал живым умом, твердым характером и потому тешил себя надеждой, что как-нибудь справится. В конечном счете многого от жизни уже не ждал. Итак, снабженный направлением, он отправился к начальнику отдела кадров завода. Начальник оказал ему кислый прием, как, впрочем, поступал всегда по отношению к новым работникам с темным, уголовным прошлым. Прочитал направление, покривился, положил бумажку на стеклянную поверхность письменного стола, широкого, несколько обшарпанного. Начальник выглядел тоже довольно обшарпанно. Лицо одутловатое, а мягкие, светлые волосы уже с пролысиной. В комнате было солнечно, день летний, небо безоблачное. Виктор Суховяк разглядывал начальника и молчал. Тот произнес:

— Вы работали когда-нибудь на бетономешалках?

— Нет, пан начальник,— ответил Виктор Суховяк.— Но человек может всему научиться.

Начальник кивнул. Довольно скептически.

— А за что вы сидели? — спросил он.

— Там написано,— ответил Суховяк.— Разбойное нападение и телесные повреждения.

— И на что вам это, Суховяк? Разве не лучше честно трудиться для страны, для общества? Хочу надеяться, что вы меня не разочаруете, Суховяк. Они сюда присылают вот таких, а у меня потом одни неприятности, но вы, похоже, человек приличный, так что принимаем вас. С испытательным сроком, естественно. То нападение — это, наверное, в первый раз, да?

Виктор Суховяк усмехнулся и ответил:

— Нет, пан начальник. Во второй. А в первый раз во время войны обработал я одного мазурика на улице Медовой в Варшаве.

Начальник внезапно побледнел, прикусил губы, внимательно посмотрел в глаза Виктора.

— О чем это вы болтаете? — сказал он тихо.

— О нас,— ответил Виктор Суховяк.— Отделал тебя тогда как положено!

— О чем это вы болтаете? — крикнул начальник. Руки у него тряслись.— Тоже нашелся! Вы что думаете, Суховяк? Что слово уголовника имеет здесь какое-нибудь значение? Что ваша клевета что-нибудь здесь изменит?

— Я ничего не думаю, зато знаю жизнь,— ответил Виктор Суховяк.— Когда они начнут копать вокруг тебя, падаль вонючая, уже не выкрутишься. Думаешь, мне не поверят? Конечно, поверят. В них сидит чертовски сильное желание вершить правосудие. Никакой партбилет тебе не поможет, никакая должность.

— Не ори,— проворчал начальник.— Ну какой тебе толк в этом, скажи? Тебе какой толк? Работу у меня имеешь, можешь здесь жить как у Христа за пазухой. Я-то в случае чего сумею оправдаться... От всего откажусь! Клянусь Богом, все буду отрицать!

— Не болтай столько, дерьмо,— прервал Суховяк,— сам не знаешь, что плетешь. Перед кем собираешься отрицать? Перед кацапами из гэбэ? Там не таких, как ты, раскалывают. Но кто тебе сказал, что я к ним побегу? Разве я говорил?

— Садись,— сказал Красавчик Лёлек.— Садись, курва вшивая...

— Раз вы приглашаете, пан начальник, почему не сесть,— ответил Виктор Суховяк и сел на стул перед столом.

Говорили долго. Секретарша даже начала беспокоиться. Дважды соединяла телефон начальника, и дважды он резко крикнул:

— Не соединять! Я занят!

Наконец расстались. Красавчику Лёлеку это обошлось в кругленькую сумму. А на прощанье Виктор Суховяк потрепал его по щеке. Ласково, но по-мужски — стало больно. На сердце у Лёлека стало больно. Остался в кабинете, как двадцать лет назад в подворотне на Медовой, с чувством бессилия, унижения и страшной ненависти.

Виктор Суховяк, по рекомендации Красавчика Лёлека, получил на другом предприятии работу, которая лучше оплачивалась. Больше они никогда уже не встретились.

Через несколько лет Виктор Суховяк стал инвалидом труда и получил скромную пенсию. Страдал костным туберкулезом, с трудом передвигался. Жил на окраине в маленькой комнатке, в старом и сыром доме. Единственным его развлечением было — глазеть через окно на улицу. Она не была оживленной. Разглядывал молодых женщин с детьми, мужчин, спешащих на работу или в пивную, сварливых, любопытных старушек, которые сплетничали, сидя в скверике. Иногда и сам выходил в скверик, садился на лавку, беседовал со стариками. Но чувствовал себя все хуже и из дому выходил редко.

Вечерами, если долго не приходил сон, он тихо плакал. Сам не знал из-за чего. Но слезы приносили ему облегчение. А когда поздней ночью засыпал, ему снились война и оккупация. Люди часто видят сны о лучших мгновениях своей жизни. Так что он не был исключением, хотя ни один последователь Фрейда не получил бы от него никакой пользы. Ибо когда Виктору снился шкаф, это совершенно не означало, что у него было желание прирезать какую-нибудь бабенку, но сидел в том шкафу еврей и говорил Виктору Суховяку: «Я очень вам благодарен за такую огромную услугу!» А Виктор с достоинством отвечал: «Я сделал это не из любви к вам, пан Пинкус, просто мне хорошо заплатили! А теперь сидите тихо, потому что женщина, которая здесь живет, труслива, как задница Гитлера!»

Да и кому в этой стране не хотелось бы спустя годы видеть такие сладкие сны? Но посещали они только Виктора Суховяка и, может, еще несколько десятков человек. Подобные сны обходят обычно стороной хорошо откормленных ветеранов. Мудрый и всезнающий Морфей посылает их тощим учительницам в маленьких местечках, старым судьям на пенсии, инженерам, железнодорожникам или садовникам, а еще — базарным торговкам и довоенному ворью. Но о том, что эти люди некогда совершили, можно узнать, лишь подслушав слова, которые они произносят во сне.

X

Портной Аполлинарий Куявский занимал пятикомнатную квартиру, на третьем этаже, с балконом, окнами на улицу Маршалковскую. В комнатах были высокие кафельные печи, а одна из них, в гостиной, отличалась особой красотой — была украшена розетками и дверцами из чугунного литья в виде дворцовых ворот. На первом этаже того же дома у Куявского было свое «ателье», немного темноватое, зато просторное, состоящее из трех помещений. В первом он принимал клиентов, снимал с них мерку, а клиенты смотрелись в зеркало. В задних помещениях «ателье» работали подмастерья, три швейные машины «Зингер» стрекотали с утра до вечера. Пар поднимался густыми клубами, когда тяжелые, раскаленные утюги прижимали влажное полотно к предметам гардероба, подвергавшимся утюжке.

Портной Куявский был порядочным человеком, невысокого роста, лысоватым, близоруким, с душой, не лишенной романтических порывов, незатейливого ума, с небольшими, аккуратными ступнями. Испытывал склонность к элегантности, такой, как она представлялась человеку, выросшему перед Великой войной в местечке бывшей Плоцкой губернии среди преобладающего еврейского населения. И потому носил темные костюмы и крахмальные воротнички, галстуки с пестрым узором, шевровые штиблеты желтоватых оттенков, а также жилетки, зеленые или вишневые, в зависимости от настроения, царившего в сердце. Безымянный палец его правой руки был украшен перстнем с камнем, мизинец левой — кольцом с рубином.

Дело в том, что Куявский был человеком весьма состоятельным, а среди офицеров немецкого вермахта, и отчасти тоже немецких сил охраны правопорядка, пользовался репутацией лучшего брючника в Варшаве. Даже офицеры из Львова приезжали к нему, чтобы заказать бриджи или выходные брюки.

Не отличаясь большой личной отвагой, Куявский не пытался употребить свои знакомства среди столь влиятельной клиентуры на пользу национальных, польских интересов. Но будучи все же патриотом, он не щадил средств, чтобы незаметно помогать движению Сопротивления. Поддерживал также художников. Выкладывал большие суммы на приобретение рукописей литературных произведений, которым предстояла публикация после войны. Покупал полотна мастеров кисти и складывал их в своей квартире, твердо решив, что в свободной Польше передаст собранную коллекцию какому-нибудь музею, естественно, с указанием имени жертвователя на соответствующих табличках или просто на фронтоне здания.

Куявский приобрел состояние благодаря чрезвычайным обстоятельствам и репутации добросовестного человека. В давние времена, сразу же после Великой войны, он прибыл в Варшаву в поисках подходящей работы и поначалу околачивался по разным портновским мастерским, нигде особенно не засиживаясь, как человек радикально христианских убеждений у евреев работать не желал, а ремесленники-христиане его профессии сами испытывали серьезные трудности по причине избытка рабочих рук. Одинокий, низкорослый, исполненный гневной гордости из-за своей бедности, Куявский жил тогда в подвале на улице Медовой. Подрабатывал утюжкой костюмов для господ, живших в том же доме, а также починкой одежды местной бедноты. Одним из его влиятельных клиентов был в те годы судья Ромницкий, оригинал и философ, которому полюбился маленький портной. Как-то раз, когда Куявский принес ему на квартиру выходные брюки в полоску, судья сказал:

— Пан Куявский, у меня есть для вас постоянная работа.

— Вы, пан судья, изволите шутить,— ответил портной.

— И не думаю. Вы слышали когда-нибудь о Мительмане?

— Мительман? Тот, что с Белянской?

— Тот, что с Белянской. Я шью у него уже тридцать лет. Великий художник ножниц и человек безупречного характера. Он готов, по моей рекомендации, принять вас на работу, дорогой пан Куявский.

— Пан судья, я ведь христианин.

— Не говорите, пожалуйста, глупостей, пан Куявский. Разве по-христиански сметывают иначе, чем по-еврейски?

— Я этого не говорю, но у них другие обычаи, которые...

— Пан Куявский,— прервал судья,— я полагал, что вы разумный человек. Мительман готов вас принять. На постоянную работу. У него несколько закройщиков, более дюжины подмастерьев. Большая фирма. Лучшая клиентура в Варшаве. Чего же вам еще нужно? А через несколько лет, если проявить настойчивость, экономить, можно и собственное дело открыть. Ну, и, наконец, женитесь, пан Куявский, потому что давно уже пора...

— Я никогда не женюсь, пан судья.

— Это уж ваше дело. Итак, что скажете?

Куявский попросил для начала дать ему время на размышление, заверил, что к вечеру придет с ответом. Его мучили ужасные сомнения. К евреям он не испытывал неприязни, но в то же время они были ему чужды. Он вырос среди них и все же в определенном отдалении. Они вызывали в нем любопытство и страх из-за различий в языке, обычаях, внешности. В его родно́м местечке евреи составляли огромное большинство, однако христиане, даже будучи в меньшинстве, сознавали свое превосходство, чувствуя, что предпочтением в этом мире пользуются все же они. То был мир, построенный на иерархии, и каждый знал в нем свое место. На социальной лестнице евреи находились ниже христиан уже из-за самого факта своего еврейства — и Куявский не слишком вдавался в причины подобного положения вещей. Так было с очень давних времен, наверное, с того самого дня, когда евреи распяли Господа Иисуса. Сам Бог установил на земле такой порядок, может быть, для того, чтобы покарать евреев за их маловерие, упрямство и предательство, совершенное по отношению к Нему.

Куявский был человеком верующим, а верил он так, как и все те, кто его окружал. Молился, ходил в костел, исповедовался и причащался, вверял себя покровительству Божьей Матери, любил Польшу, свою истинно католическую родину, страдающую на кресте неволи, как, да простится подобное сравнение, сам Господь Иисус, что, несомненно, давало ей право зваться «Христом народов», не уважал православных и греховных москалей, лютеранских и жестоких немцев, а также исповедующих веру Моисееву и шумливых евреев, но, естественно, всех по-разному — не уважал москалей, потому что были его угнетателями, несли с собой Сибирь, кнут, арестантскую кибитку, по-другому не уважал немцев, поскольку были извечными врагами, которые, может, даже и достигли большего, может, даже и работали лучше, но Куявским как славянином пренебрегали, так что и он платил им неприязнью и насмешкой, и уж совсем иначе не уважал евреев, ибо те, в свою очередь, были ниже, чем он, вечно стремились его перехитрить, одурачить, в то время как он чувствовал себя более здешним, в собственном доме, чем все они вместе взятые. Евреи были чужаками, он же вырастал из этих древнепольских корней, то были его реки, поля и ландшафты, в которых они возникли всего лишь как странники. И потому Куявского раздражали еврейские лавки, дома, мастерские, поскольку занимали его собственное пространство, в котором он сам с таким трудом помещался. И приходилось ему порой распихивать других, чтобы у себя в доме найти угол, где он мог бы приклонить усталую голову.

Куявский ужасно мучился в течение нескольких часов, но вечером отправился на второй этаж и заявил судье, что работать у Мительмана на Белянской согласен.

— Устал я от нищеты, пан судья,— сказал он, как бы желая оправдаться за то, что теперь оружие складывает, польскую косу ставит в угол, чтобы взяться отныне за еврейскую иглу.

Судья Ромницкий сказал:

— Ну и слава Богу, что есть у вас, пан Куявский, голова на плечах.

Куявский обладал портновским талантом, а Мительман был мастером среди мастеров. Хозяину модной фирмы на Белянской невысокий и расторопный работник-христианин пришелся по вкусу, тем более что иметь в мастерской хотя бы одного гоя было в интересах Мительмана, поскольку это привлекало к нему особенно разборчивую клиентуру. В наилучшие дома он посылал Куявского, так как в наилучших домах, даже весьма либеральных, прогрессивных и изысканных, портной-христианин не нарушал извечного нравственного порядка, хотя и не отвечал в полной мере европейскому взгляду на мир. Зарабатывал Куявский неплохо, но состояния так и не нажил. Остался в своем подвале.

Но вот в 1940 году Мительман стал готовиться к переезду в гетто. Осенью, в ветреный и дождливый день, под вечер, он появился в подвале Куявского и сказал:

— Пан Польдек, я ухожу в гетто. У меня склад лучшего шевиота в Варшаве, вы сами знаете. Там сто двадцать пять рулонов бельского

рапапорта [38] и еще рулоны из фирмы Янковского, что мы вместе отбирали перед самой войной. У меня мастерская, что не нужно вам рассказывать. Ухожу в гетто. Вы единственный христианин в моей фирме, вы это для меня сохраните до лучших времен.

— Пан Мительман,— воскликнул портной Куявский.— Где я все это сохраню? Здесь, в подвале?

— А я разве говорю, что здесь, в подвале? Это же целое состояние. Берите от него понемногу, купите мастерскую, зарабатывайте, сохраняйте, приносите хоть немного от прибыли в гетто, потому что я доверяю вам, как родному отцу. А как война закончится, заложим совместное дело, Мительман и Куявский, пусть даже будет Куявский и Мительман или Куявский и компания, для меня уже не так важно, но для вас лучше, чтобы все же Куявский и Мительман, потому что с фамилией тоже немного считаются, меня в городе немножко знают.

Так они и сделали. Портной Куявский вступил во владение имуществом портного Мительмана. И встречались они в здании суда на улице Лешно, пока существовала такая возможность, и Куявский приносил Мительману деньги, и еще приносил еду, приносил доброе слово, приносил свое сочувствие, дружбу, советы. Мительман становился все слабее, Куявский — все сильнее, но его это совсем не радовало, ибо он знал, что вершится страшная несправедливость, что евреи страдают, гибнут, и кара за их грехи превосходила человеческое воображение, даже если они и согрешили безмерно, не уверовав в слова Спасителя. И к тому же, если евреи и грешили, то наверняка не так уж много грешил Мительман — человек благородный, добрый, щедрый, справедливый и набожный, хотя, правда, и по обряду Моисееву, что одобрения не заслуживает.

Куявский не претендовал на особую интеллектуальность и испытывал порой некоторое недовольство собственным разумом; упрекая себя в ограниченности, он говаривал иногда: «Я, вообще-то говоря, идиот, но разве моя в том вина, что я идиот, а уж если я сам сознаю, что я идиот, то, наверное, не такой уж я идиот!» — короче говоря, он не испытывал стремления к философствованию, не углублялся в тайны человеческого бытия и не вершил суд над миром, но отдавал себе, однако, отчет в том, что вокруг него разверзся ад, восторжествовало зло, которому следует противостоять по мере возможности действенно. Он шил брюки для немецких офицеров, поскольку в его брюках или без его брюк — все равно они творили бы то, что творили, в конечном счете из бриджей никто не стреляет, с голыми задницами они будут так же убивать несчастных евреев, с голыми задницами будут так же расстреливать поляков, а что касается российских морозов, где-то там, под Москвой, то он, Куявский, не шьет полушубков для немецкой армии, в его бриджах задницы у них промерзнут не только под Москвой, но даже и под Рембертовом [39], и потому он не испытывал угрызений совести из-за того, что зарабатывает у немцев, к тому же воодушевляло его романтичное и патриотическое стремление нести помощь людям нуждающимся, обиженным и преследуемым.

Внезапно, весной 1942 года, он стал владельцем большого состояния, так как портной Мительман просто умер в гетто, а его единственный сын, зубной врач Мечислав Мительман, погиб спустя несколько дней, был застрелен на улице Рымарской. Таким образом, в руках портного Куявского осталось состояние, накопленное за долгие годы благодаря старательности и трудолюбию еврея-закройщика и нелегкому труду его подмастерьев. Для Куявского не подлежало сомнению, что состояние является его собственностью лишь частично, но он не имел ни малейшего представления, кому принадлежит остальная часть. Наверняка не немцам! Может быть, евреям? Но где теперь евреи? И кто из евреев имеет право претендовать на состояние портного Мительмана? Тогда, может быть, состояние

---

[38] Шерстяная ткань производства фабрики в г. Бельско-Бяла.

[39] До 1957 г. город в окрестностях Варшавы, затем ее район, где в 1943 г. были казнены 500 человек подозреваемых в участии в Сопротивлении, в 1941—1944 гг. там был лагерь советских военнопленных.

принадлежит польскому народу? Куявский оказался перед дилеммой. Тем временем, однако, продолжалась война. Евреи и поляки погибали, а состояние в руках портного Куявского росло благодаря спросу на бриджи и выходные брюки для офицеров вермахта.

Портной пришел к заключению, что его коллекция картин для будущего музея будет носить имена двух жертвователей, а именно Аполлинария Куявского и Вениамина Мительмана, и решил еще, что учредит литературное издательство «Куявский и Мительман». По этому вопросу он обращался за советом к судье Ромницкому. Тот время от времени был его клиентом, но уже не в прежнем смысле. Судья больше не шил костюмов на заказ, но распродавал произведения искусства, в основном картины, которые собрал за минувшие десятилетия.

Куявский не раз давал возможность подработать и пану Павелку, посредничавшему в сделках, хотя и сознавал, что в вопросах искусства пан Павелек разбирается меньше, чем он сам. Портной был наделен врожденным художественным чутьем, через его руки проходило множество красивых и ценных предметов, даже у тупых немецких офицеров покупал он хрупкий фарфор, подсвечники, миниатюры. Ему нравилось немцев надувать, и он делал это с удовольствием, поскольку знал, что вещи, которые они предлагали, почти всегда были добыты грабежом.

В сущности, Куявский находил определенную гармонию в своем существовании в годы войны. Жизнь в окружении произведений искусства доставляла ему удовольствие. Деньги придавали уверенности в себе. Теперь он бывал желанным гостем в весьма культурных домах. Элегантные дамы подавали ему руку для поцелуя и относились к нему со снисходительной симпатией. И все же он знал, что не должен позволять себе лишнего, что, несмотря ни на что, оставался портным, а все эти люди были элитой нации, были образованны, начитанны, свободны, самолюбивы, вежливы, но прежде всего очень деликатны, умны и прекрасны даже в своей тягостной нужде, даже продавая последнюю безделушку, серебряную вазу или старую книгу. И потому он был не в состоянии торговаться с ними. А они, вопреки видимости и всему тому, что о них говорили прежде и потом, обладали каким-то особенным чутьем, не торговым, конечно, не купеческим, а просто нравственным, которое подсказывало, что Куявский никогда их не обманет и никогда не посмеется над их бедой, потому что связывает их с Куявским некая нить независимости, таинственная, парадоксальная, но необычайно важная, ибо протянулась она из древнего клубка польского духа, польской истории и культуры, из неповторимого мотка польской пряжи, нить зависимости и общности, которая повелевала портному испытывать уважение и благодарность за то, что может их поддержать, помогая уцелеть, ибо если они не уцелеют, то не уцелеет и он, ибо есть в них нечто такое, чего ни они, ни он не в состоянии выразить словами, но что позволяет ему оставаться поляком, пока в Польше существуют они — и ни минуты дольше!

Итак, Куявский находил в своей жизни благословенную гармонию. И лишь одна забота вселяла тревогу в его сердце. Беспокоило его, что Господь Бог как будто отвернулся от Польши, подвергая ее чрезмерно тяжкому испытанию. И в чем же Польша так уж провинилась, если, вытерпев столетие неволи и страданий, возродилась после Великой войны и просуществовала всего двадцать лет? Наверное, не все, что происходило в Польше, было нормально, но разве в других странах все было так уж нормально? Разве это нормально, если мощная Франция оборонялась всего лишь месяц и так постыдно капитулировала, чуть ли не на колени падая перед Гитлером? Разве нормально, если Советы, простирающиеся до самого конца света, с треском лопнули под немецким натиском в течение двух месяцев? А ведь это Советы совместно с Гитлером совершили раздел несчастной Польши! За такой грех Бог заслуженно их покарал — бежали перед немцами аж до самой Москвы, лишь там кое-как пришли в себя и начали оказывать более действенное сопротивление. Так что же такого особенного было в Польше и поляках, что приходится им снова страдать, как никогда прежде? Почему Бог столь жестоко терзает Польшу и поляков?

Подобные вопросы удручали Куявского, которому казалось, как, впрочем, и многим другим людям в этом мире, что Бог управляет историей человечества. Он не дождался времени, когда все без исключения события получили свое объяснение с помощью научного метода диалектического материализма, но если бы и дождался, все равно не уверовал бы в него, так как в соответствии с тем методом был он мещанином, слепцом, заблудившимся между классовыми границами, характер которого, сознание и привычки формировались под воздействием портновских ножниц, швейной машинки «Зингер» и катушек с нитками, и потому представлял собой несознательный, несовершенный и исковерканный ходом истории продукт социологической интерпретации человеческой судьбы, в то время как сам он, портной Куявский, великолепно знал, что душу получил от Бога, что наделен совестью, столь же единственной и неповторимой, как совесть Вениамина Мительмана, судьи Ромницкого, пана Павелка или просто немца Гайслера, для которого шил бриджи с кожаной вставкой на заднице, и что он, следовательно, обязан слушаться собственной совести, которая и есть его главное оружие против неправедности мира, а если диалектическому материализму это слово чуждо, если ему понятна только социальная обусловленность, то он неизбежно будет — вольно или невольно — способствовать неправедности, растлению мира, даже если, вопреки совести портного Куявского и намерениям Бога, стремился бы спасти мир.

Но он не дождался времени, которому предстояло наступить, когда его останки уже несколько лет покоились в братской могиле, среди многих других, расстрелянных во время уличной экзекуции осенью 43-го, его коллекцию поглотил пожар восстания и развеял ветер, бушующий на пепелищах города, а его душа наслаждалась радостью общения с Богом и с душой Вениамина Мительмана, а также с душами тех милых, достойных людей, которых он поддерживал, приобретая произведения искусства, будучи до конца, или почти до конца, своих дней уверен, что сделает прекрасный подарок одному из музеев независимой Польши.

А последний день жизни портного Куявского явился как бы отражением и кратким изложением всей его судьбы, начиная с детства. Был он мальчиком живым и непослушным, вечерами подворовывал груши из сада местного ксендза, никогда не мог долго усидеть на одном месте. Так вел он себя и в то утро, после того как проснулся, испытывая беспокойство и подавленность. Бесцельно кружил по своим комнатам, выбегал на балкон, несмотря на скверную погоду, возвращался в гостиную, чтобы через минуту появиться внизу, в «ателье», где шла обычная, повседневная работа, снова поднимался по лестнице на третий этаж, бегал по комнатам, какой-то взвинченный, внутренне переполненный и в то же время пустой, странным образом жаждущий познать мир и его тайны, все еще не раскрытые.

Около полудня наступила пора его юности. Упругим и бодрым шагом он направился к Саксонскому саду, что некоторым прохожим казалось несколько комичным, они оглядывались на маленького человечка в темном пальто, желтых штиблетах, с тросточкой, походившего на смешного франта из местечка в бывшей Плоцкой губернии, у него были длинноватые и косо подстриженные бачки, чрезмерно напудренные после бритья щеки, перстни на пальцах, забавный танцующий шаг, слишком длинный для его коротких ножек, стремившихся, однако, ступать по-мужски, плавно, с некоторой грацией, но вместе с тем и с уверенностью, которую мужчине придает стройная и высокая фигура. Итак, портной Куявский, уже несколько успокоившись, шел проведать судью, обменяться с ним взглядами на ситуацию, а может, даже убедить его продать великолепную миниатюру на дереве, изображающую шестьдесят восемь людей и животных, собравшихся на деревенской ярмарке в середине семнадцатого столетия.

Дойти до цели ему, однако, не удалось, потому что на улице Нецалой жандармы замели его в «будку» [40], а когда он пытался доказать, что шьет брюки для высшего немецкого командования, огрели прикладом по спине,

[40] Крытый грузовой автомобиль для перевозки арестованных в период немецкой оккупации *(прост.)*.

да так больно, что дыхание перехватило, голова закружилась, и он тут же замолчал. Так наступил для него возраст зрелости. В камере хранил молчание, а если и произнес несколько фраз, то лишь в надежде, что сможет утешить и успокоить своих товарищей по несчастью. Знал уже, что предстоит ему умереть под стеной варшавского дома. Был наслышан об этой процедуре публичных экзекуций, уже свирепствовавших по городу некоторое время. Что боялся смерти, сомневаться не приходится, но чувство собственного достоинства не позволяло ему обнаружить страх.

Ночь провел в молитве и размышлениях о мире. Так началась старость, которой, в свою бытность еще портным на улице Маршалковской, так и не изведал, поскольку было ему тогда всего сорок лет и он питал большие надежды на будущее. Но в последнюю ночь он простился со всяческими надеждами. Утреннюю зарю встретил с невозмутимым спокойствием. Этот обыкновенный портной, самый заурядный человек под солнцем, и, честно говоря, довольно комичный и напыщенный в своем дешевом тщеславии, а может, просто неумный, который продолжал втайне верить, что при ревматизме лучше всего спать в кровати вместе с котом, потому что через какое-то время ревматизм перейдет в кота и окончательно покинет больное тело, этот самый обыкновенный, простой человек из бывшей Плоцкой губернии, твердивший в детстве стишок: «Кто такой ты, поляк малый, каков знак твой, орел белый!» — который не слишком любил евреев, не терпел москалей, опасливо презирал немцев, а о других людях знал мало или совсем ничего, этот портняжка-христианин, заработавший состояние на рулонах еврейского шевиота, а потом наивно мечтавший о возвышенной роли мецената, удостоился за несколько часов перед смертью чуда посвящения в тайну. И вещи дотоле скрытые увидел он совершенно отчетливо, в их полной сущности, значении и бренности. Но даже и это чудо было несколько банально, как, впрочем, все, что имело отношение к портному Куявскому. Ибо общеизвестно, что великая мудрость дается под конец людям порядочным, но отбирается у мошенников. Ведь что же такое та величайшая и самая загадочная мудрость человека, если не способность называть добрым то, что доброе, а дурным то, что дурно? Именно в этом простой портной, великолепно владевший ножницами, превзошел многих позднейших философов и пророков. Но даже если бы и не владел ножницами столь превосходно, все равно превзошел бы их, ибо носил в своем сердце меру справедливости, доброты и любви к ближнему. И потому, завершая свой жизненный путь под стеной варшавского дома, умирал он необычайно достойно и прекрасно, предварительно простив своих убийц, так как знал, что и они умрут, но смерть не очистит их от позора. Простил всех людей и весь мир, придя к заключению, что мир несовершенен и противится намерениям Бога, он же хотел видеть мир таким, где каждый будет свободным человеком, невзирая на расу, национальность, мировоззрение, форму носа, образ жизни и размер обуви. Вспомнил тогда даже о размере обуви, так как оперировал не философскими категориями, а итогами своих банальных и, может, даже вовсе наивных наблюдений, совершаемых с позиций портного, снимающего мерку для пары брюк. Но что же в том плохого, если оказался он все же прозорливее, чем все те вещие спасители и преобразователи мира, которым предстояло прийти после него и снова пересчитывать людям кости, рыться в их происхождении, если не расовом, то уж в классовом-то непременно, надевая на них ошейники, как на сморгонских медведей, чтобы всегда танцевали так, как заиграет для них победоносная гармошка в мчащейся по Европе мощной и неудержимой гоголевской тройке.

Он умер под стеной дома, а когда палачи кинули его тело в кузов и уехали, какая-то женщина смочила платочек в крови портного, застывающей на тротуаре, и унесла с собой как знак человеческого мученичества.

Так вошел он в пантеон национальных героев, хотя нисколько не стремился к этому и в последний момент у него даже мысли не возникло, что он герой. Знал в ту последнюю минуту, что был порядочным челове-

ком, что желал добра миру, ближним и еще Польше, которую на свой провинциальный манер любил всю жизнь. Зато не знал, что станет героем, а если бы знал, то категорически потребовал бы, чтобы его вычеркнули. А потом было уже поздно! Отвергая его идеалы свободы и насмехаясь над его простой, портновской жизнью, вознесли его смерть на алтарь как образец и пример. Но так никогда до конца и не выяснилось, в чем именно тот пример состоял. Ведь что ни говори, в город он вышел с намерением совершить прогулку по Саксонскому саду. Может, примером должны были стать подобные прогулки? А может, его мастерство владения ножницами? Или его любовь к перстням с фальшивыми гербами? Так это никогда и не выяснилось. Важна была только его смерть, будто смерть в отрыве от жизни, которая ей предшествовала, может вообще что-нибудь значить.

XI

— Дорогой партайгеноссе Штуклер, я бы не пришел к вам, чтобы вести спор из-за какой-то там еврейки.

— Это добросовестный информатор,— ответил Штуклер.— Он вращался в кругах варшавских евреев несколько лет. Неплохо их знал...

— Вполне вероятно, партайгеноссе Штуклер, но эта особа принадлежит к числу моих старых друзей.

Штуклер пригладил волосы на висках. Поднял на Мюллера спокойные, слегка сонные глаза.

— А если она даже и вдова офицера? — мягко произнес он.— Наверное, не произойдет ничего страшного, если мы задержим ее.

— Я пришел к вам не из-за вдовы польского офицера, а из-за моей хорошей знакомой,— подчеркнул Мюллер.— Вам не в чем упрекнуть эту женщину. Она попала сюда по ошибке.

— Не исключено,— ответил Штуклер и поднял трубку.

Негромко распорядился, чтобы привели Марию Магдалену Гостомскую. Положив трубку, повернулся к Мюллеру.

— Партайгеноссе Мюллер,— сказал он.— Вами можно восхищаться. Я в этом городе всего несколько месяцев и уже чувствую усталость. Надо иметь исключительный характер, чтобы привыкнуть к польской среде.

— Столько уже лет,— ответил Мюллер.— Чуть ли не всю жизнь прожил здесь. Они вовсе не так уж плохи. Между нами говоря, некоторые из них несколько разочарованы.

— Разочарованы? — с расстановкой повторил Штуклер.

Мюллер в глубокой задумчивости кивнул.

— Многие здесь рассчитывали на нас в течение десятков лет. Ощущали бóльшую близость к нам, чем к москалям. Здесь русских часто называют москалями. Что ж, я далек от политики, партайгеноссе Штуклер, но чрезмерная суровость по отношению к ним не представляется мне правильной. В особенности сейчас, учитывая события на фронте.

— Но это славяне,— произнес Штуклер.

Мюллер кашлянул. Как она себя поведет? — думал он. Достаточно ли сообразительна, чтобы понять нашу совместную игру? Почувствовал, что его затылок стал влажным. Я играю по-крупному, но ее ставка выше. Лишь бы только сумела сыграть как надо.

Штуклер бледно улыбнулся.

— Ужасный город,— сказал он.— Дикий город. Через неделю я еду в отпуск.

— Куда? — спросил Мюллер. Язык его совсем одеревенел.

— Домой,— ответил Штуклер.— Я родом из Зальфельда, в Тюрингии.

— Очень красивые места,— сказал Мюллер.

Штуклер кивнул и прикрыл глаза.

Нужно стремительно вскочить со стула. Говорить много, громко. Броситься к ней с возгласом удивления и радости. А если не знает немецкого? В этой ситуации я не могу заговорить с ней по-польски...

— Я люблю верховую езду,— произнес Штуклер.— Совершаю прогулки в седле. Это очень успокаивает.

— И здесь тоже?

— Очень редко, к сожалению. Не могу позволить себе лишней свободной минуты, никаких развлечений.

— Служба,— сказал Мюллер со вздохом.— В сущности, здесь тоже линия фронта.

— Да. Здесь линия фронта,— подтвердил Штуклер.

А что, если ее приведут вместе с переводчиком? Я совершил ошибку. Не выяснил у него, говорит ли она по-немецки. Если заговорю по-польски, могут возникнуть подозрения. Слишком мало знаю об этой женщине.

— Но теперь я отдохну,— сказал Штуклер.— Возможно, приму даже несколько лечебных ванн. Вам известно, партайгеноссе Мюллер, что у нас в Зальфельде много минеральных источников?

— Впервые слышу,— ответил Мюллер.— А при заболеваниях желудка тоже помогают?

Вскочу со стула и воскликну, что чувствую себя обиженным. Отчего вы не сослались на меня, милая дама?

— И такие есть,— сообщил Штуклер.— Но главным образом общеукрепляющего действия. В последнее время чувствую себя усталым. Может, это нервы?

— Ничего удивительного, партайгеноссе Штуклер.

Открылась дверь, и Мюллер ощутил обморочную слабость. В кабинет вошла красивая блондинка в сером костюме для прогулок, элегантная, стройная, с бледной кожей лица и огромными, голубыми глазами. Позади нее появился толстый эсэсовец. Мюллер поднялся со стула.

— Не сослаться на старого Иоганна Мюллера, дорогая моя, вот уж поистине непостижимо!

Господи Иисусе, молился он, Господи Иисусе!

— Я знала, что это ошибка, господин Мюллер,— ответила она спокойно и свободно по-немецки.— Не хотелось вас беспокоить.

— Милая госпожа Гостомская! — воскликнул он.

Ее глаз он не видел, смотрел несколько выше, над ее головой, все еще опасаясь, что произойдет что-нибудь ужасное.

Штуклер неподвижно сидел за столом. Внезапно он произнес:

— Ваша фамилия Гостомская? Вдова польского офицера?

— Естественно,— ответила она.

— Ошибки случаются,— сказал Штуклер.— Но мы исправляем наши ошибки.

На улице он взял ее под руку. Шли быстро, ровным шагом. Седой, румяный, невысокий мужчина и стройная, красивая женщина ростом выше него.

— Я ничего не понимаю,— сказала она.— И мне как-то нехорошо.

— Можем говорить по-польски,— ответил он.— На Кошиковой есть кондитерская. Зайдем туда.

Они выглядели странной парой, на странной, слишком быстрым шагом совершаемой прогулке. Он рассказал ей, каким образом оказался у Штуклера.

— Боже мой,— вздохнула Ирма Зайденман.— А я пана Филипека почти не помню.

Ей показалось, что идет под руку с мужем, доктором Игнацием Зайденманом, ведь это он извлек ее из клетки в гестапо. Мюллер ощутил на руке прикосновение ее ладони.

— Спасибо вам,— сказала она очень тихо, и он испытал наслаждение.— Всегда буду помнить этот день. И никогда, никогда в жизни ноги моей не будет в аллее Шуха.

Наверное, она была права, когда, сидя в клетке, воспринимала свое существование как мир, сохранившийся в памяти, лишь то, о чем помнила. Если жизнь была только тем, что уже прошло, была вправе допускать, что никогда не придет в аллею Шуха, а этот апрельский день навсегда останется

в ее сознании. Но ведь жизнь это также то, что еще не свершилось. Изнурительное движение вперед, до самого конца пути. В течение следующих двадцати пяти лет она ежедневно приходила в аллею Шуха и даже входила внутрь здания, в подвале которого находились клетки. И почти никогда не думала о том апрельском дне, о ночи, что провела за решеткой, ожидая смерти из-за идиотского портсигара с инициалами И. З. Ежедневно входила в здание министерства, где занимала важный пост, и даже не помнила, что в том же здании находится музей мученичества, а когда обстоятельства напоминали ей об этом, испытывала неприятное чувство. Ее жизнь была тем, что свершилось, правда, далеко не всем, что свершилось уже окончательно, а скорее тем, что до конца не свершилось, что находилось пока в стадии свершения. Это занимало ее мысли. Только на этом сосредоточивалось ее внимание. Порой снились ей мучительные сны, но не о войне и оккупации, и даже не о докторе Игнации Зайденмане, который еще существовал где-то в ее памяти, в самых дальних уголках воспоминаний, но уже не как муж, а скорее как знак и символ прошлого, давно погребенного под пеплом, знак чего-то доброго и ценного, некогда заполнявшего ее жизнь, но потом отошедшего в тень, под напором всего того, что совершалось лениво, в каком-то страдании, ожидании, горечи, но это страдание и ожидание и было смыслом всего того, что заполняло все мысли Ирмы Зайденман, так как была она женщиной активной, честолюбивой, умной, ей хотелось лепить действительность собственными руками, ощущать кончиками пальцев не только ее шероховатость, но и гладкость, в которой тоже не было недостатка, особенно в те минуты, когда что-то, наконец, все же свершалось, чтобы в свой черед уступить место делам еще не свершившимся.

Временами она с удивлением замечала, что скрыт в ней какой-то необычный инструмент, который резонирует неправильно, подобно треснувшей скрипке. Возможно, думала она спустя много лет, будучи уже очень старой женщиной, возможно, трещина в этой ее скрипке появилась как раз во время войны, в ту ночь, проведенную в клетке в аллее Шуха, или еще раньше, летом 1938 года, когда на рассвете услышала по телефону, что ее муж, доктор Игнаций Зайденман, только что скончался. Что-то звучало фальшиво в том инструменте, и Ирма знала об этом, так как ее восприятие жизни было очень гармонично. Когда она расчесывала седые, как бы не совсем чистые волосы, что под старость часто бывает у светлых блондинок, и рассматривала в зеркале свое морщинистое лицо, сидя в уютной, солнечной комнате на аллее де ля Мотт-Пике, или когда просматривала газеты на террасе кафе на авеню Боске, где почти каждый день пила citron pressé [41], одинокая, старая еврейка на парижской улице, итак, когда все это происходило, спустя тридцать лет после того дня, когда Штуклер разрешил ей покинуть здание гестапо вместе со стариком Мюллером, она совсем не помнила ни Штуклера, ни зарешеченной клетки, а только небольшой кабинет с письменным столом цвета темного меда, двумя телефонами, пальмой в горшке у окна, ковром, обтянутыми дерматином креслами, тот небольшой кабинет помнила превосходно, помнила лицо секретарши, пани Стефы, но более всего — лица тех троих мужчин, которые вели себя грубо и издевательски, тогда, в апреле 1968 года, когда явились в кабинет, чтобы ее оттуда выгнать. И теперь, уже старой женщиной, на парижской мостовой, совсем не помнила, или, может, не желала помнить, что во время войны, в том же самом здании, упрямо повторяла: «Меня зовут Мария Магдалена Гостомская, никакая я не Зайденман! Я вдова офицера, а не еврейка!» — этого события она совсем не помнила, зато помнила совсем другое событие, в том же здании, может, даже на том же этаже, теперь трудно вспомнить, совсем, стало быть, другое событие, когда она язвительно сказала тем троим, ироничным и несговорчивым, что совершенно не собирается беседовать с ними, что будет говорить со своим руководством, с людьми, которые

---

[41] Лимонный сок *(франц.)*.

несут ответственность за эту страну, а уж те, несомненно, сумеют понять и ее ситуацию, и ее позицию, невзирая на идиотский факт, что ее зовут Гостомская-Зайденман, Ирма Гостомская-Зайденман. Те трое согласно кивали, а один сказал: «Ладно, ладно! Не надо терять время...» Она забрала сумочку, но когда протянула руку за папкой еще не просмотренных документов, как обычно делала, уходя из своего кабинета, чтобы дома еще немного поработать, один из мужчин демонстративно сказал, что дела следует оставить, что нет нужды захватывать дела. «К этому уже нет возврата, моя милая...» — сказал он. И оказался прав. Возврата не было. Но потом, спустя годы, она сознавала, что тот внутренний инструмент испорчен, что звучащая в ней нота фальшива, поскольку Штуклер возникал как едва уловимая тень, Штуклер был призраком, символом, инцидентом, в то время как те трое, что пришли тогда и не разрешили ей захватить папку, и пани Стефа, которая отвернулась лицом к окну, когда Ирма в обществе троих мужчин проходила через секретариат, были действительностью, жизнью, свершившейся до конца, но прерванной столь резко, в течение одной минуты, жестоко и подло. И помнила она только это. Не помнила Штуклера, Мюллера, пана Филипека и Павелка, не помнила доктора Адама Корду, а лишь тех мужчин в кабинете, силуэт пани Стефы на фоне окна и еще заплывшие, обрюзглые и неприязненные лица тех, с кем говорила потом, руки таможенников на ее багаже, документах, книгах и блокнотах, только все это помнила она, сидя перед зеркалом в комнате на аллее де ля Мотт-Пике, старая женщина, одинокая еврейка на парижской мостовой, которая ощущала Польшу в своем горле как тампон, как кляп. Не раз говорила себе: «Я несправедлива. То была моя родина, значит, я несправедлива!» Но уже через минуту, глотая с трудом citron pressé, с облегчением добавляла: «А зачем мне быть справедливой, если я — старая, обиженная баба, у которой все отняли только из-за того, что зовут меня Ирма Зайденман?» И ей не хотелось уже быть справедливой. Но ведь любой вправе быть несправедливым, если Бог ниспослал ему несчастье.

Но когда она шла в сторону улицы Кошиковой, опираясь на руку Иоганна Мюллера, то не знала еще, что на протяжении двадцати пяти лет, которым только предстояло наступить, ежедневно будет переступать порог здания в аллее Шуха, что впоследствии покинет его столь парадоксально комически и жалко, ибо ее еврейство, из-за которого она сегодня чуть было не осталась в этом здании навсегда, явится потом причиной ее ухода оттуда, так же как ее нынешняя польскость, которая помогла ей отсюда уйти, в будущем, несомненно, явилась бы основанием остаться. Когда шла, опираясь на руку Мюллера, не знала еще, что через тридцать лет, расчесывая грязно-седые волосы в комнате на аллее де ля Мотт-Пике, будет фигурой трагической, но трагической совершенно по-другому, чем сейчас, на углу Кошиковой, когда чудом уходит от смерти в здании гестапо в аллее Шуха. Все это было ей не известно, она не знала еще своих мыслей, чувств, снов, которым предстояло возникнуть потом, в совершенно ином мире, лишенном всяческих связей с действительностью, окружавшей их обоих — Ирму и Мюллера,— когда входили в маленькую кондитерскую, садились за столик, заказывали пирожные у высокой, смуглой официантки, к которой Мюллер обращался: «Уважаемая пани», поскольку та совсем недавно была женой известного писателя и знаменитой на всю Европу пианисткой, а вскоре должна была стать трупом безымянной женщины, погребенной под руинами.

— Ничего не могу проглотить,— сказала Ирма Зайденман и отодвинула тарелочку с пирожным.— Вот теперь мне становится плохо.

— Какой же я дурак,— сказал Мюллер.— Угощаю пирожным, а ведь у вас ни крошки во рту не было целых два дня...

— Я не голодна,— возразила она.— Я какая-то вся... переполненная. Мне трудно объяснить.

— Нервы,— произнес Мюллер.— Завтра все будет хорошо. Вы должны лечь. Все это нужно «переспать»...

— Исключено, я не засну. Не хочу быть сейчас одна...
— Может, вам хочется пойти к друзьям, знакомым?
— Нет, нет... Не знаю, впрочем. Я слишком взволнована.
— Сообщу Филипеку, что все в порядке.
— Я так мало его знаю. Но конечно. Мне хочется от всего сердца поблагодарить его.

Внезапно она расплакалась. Опустила голову, по щекам текли слезы. Мюллер тихо сказал:

— А вы плачьте. Вы плачьте.

Темноволосая пианистка подошла, сочувственно погладила Ирму по голове, как девочку.

— Слезы помогают,— сказала она,— но лучше я принесу вам одно безотказное средство.

Ирма Зайденман подняла голубые мокрые глаза.

— Безотказное? — удивилась она.— Боже мой!

Достала платок и вытерла лицо. Потом громко высморкалась, как если бы не была элегантной и культурной вдовой врача или даже артиллерийского офицера. Официантка поставила перед ней стаканчик коричневой жидкости и сказала:

— Выпейте это.

Ирма Зайденман выпила.

— Ужасно крепко! — воскликнула она и улыбнулась. Официантка кивнула.

— Вот видите. Это мои «капли против гестапо».

— С удовольствием попробовал бы,— сказал Мюллер.— Надеюсь, не откажете мне, уважаемая пани.

— Разумеется,— ответила официантка.

Время шло. Мюллер позвонил железнодорожнику Филипеку. Сообщил, что пани Гостомская чувствует себя хорошо, а вся история увенчалась успехом. Вернулся к столику. Выпил еще один стаканчик «капель против гестапо». Слушал Ирму Зайденман, которая рассказывала о своем пребывании в клетке на аллее Шуха. Время шло. Они уже не чувствовали себя чужими друг другу. Будь я лет на двадцать моложе и времена не такие, влюбился бы в эту женщину, думал Мюллер. Но сейчас достаточно того, что она спасена. Он вдруг громко рассмеялся. Ирма Зайденман удивленно взглянула на него.

— Мне сейчас пришло в голову,— сказал он,— что все это весьма неправдоподобно. И моя жизнь неправдоподобна. Вас не раздражает мой партийный значок в петлице?

— Я же знаю, кто вы,— возразила она.

— Но это не маскарад, уважаемая. Это правда. Я немец, самый настоящий Иоганн Мюллер. Вам это понятно?

— Понятно,— ответила она спокойно.— Но есть ведь разные немцы. Это любому известно...

— Сегодня известно любому, однако если эта война еще долго продлится, если продлится вся эта гнусность, поляки забудут, что есть разные немцы. И кем я буду тогда? Что тогда со мной станет?

— Вы, верно, шутите,— возразила Ирма Зайденман.— Здесь вас знают сотни людей. Пожалуйста, не бойтесь...

Мюллер слегка наморщил брови.

— А я никого не боюсь, уважаемая. Страх? Нет, это не страх. Я размышляю о моей, так сказать, принадлежности. Где моя принадлежность? Здесь или там? Речь не обо мне, я знаю, что моя принадлежность здесь. Но после войны, в независимой Польше, захотят ли люди признать очевидным, что моя принадлежность здесь? Захотят ли поляки, после всего того, что творится сейчас между ними и немцами, признать, что, несмотря ни на что, моя принадлежность здесь?

— Ну, конечно же,— произнесла Ирма Зайденман, хоть и почувствовала вдруг какую-то неуверенность или, скорее, страх перед несправедливостью, с которой может столкнуться этот человек.

— Знаете,— сказал Мюллер,— Маршал [42] называл меня «мой толстый Гансик» и, обращаясь ко мне, говорил «Гансик». Вам известно, что с Маршалом я познакомился более сорока лет тому назад, что возил его конспиративные письма из Лодзи в Варшаву? Маршал говорил: «Пусть едет Гансик. Он любого москаля сумеет водить за нос...» Боже мой, когда это было!

— И вы водили москалей за нос? — спросила она.— Так, как сегодня Штуклера?

Он провел ладонью по румяному лицу. Слегка нахмурился.

— Всю ночь только о том и думал,— сказал он,— с какого боку к нему подойти... Вам может показаться странным, но с ним все оказалось весьма просто! С москалями так не получалось... Штуклер немец. А о немцах я могу рассказать больше, чем любой человек в Варшаве. Является к нему партайгеноссе Мюллер, директор крупных ремонтных мастерских, сотрудник Rüstungskommando [43]. Приходит и заявляет, что какой-то жиденок забрал на улице его знакомую даму, подозреваемую в семитском происхождении. Штуклер немец, а немцы прямолинейны. Скажу даже больше, если вы позволите. Немцы плоские, как доска! Без воображения, без иллюзий, без двуличности. Штуклеру приказали евреев истреблять, и он их истребляет. Прикажут ему уважать евреев, он станет вам, уважаемая, ручку целовать и угощать лучшим французским коньяком. Дисциплина, аккуратность, добросовестность в любом деле. Также и в бандитском деле, к сожалению! Итак, что же он подумал, когда я пришел и заявил, что моя знакомая, вдова капитана Гостомская и так далее, и так далее? Подумал, что произошла ошибка, что вас следует отпустить домой, а того агента хорошенько проучить, набив ему морду...

Ирма Зайденман слушала, слегка наклонив голову, уже спокойная, увлеченная рассказом Мюллера, как если бы он повествовал о ком-то другом, об интересной, но совершенно чужой для нее истории, которая к Ирме Зайденман не имеет никакого отношения.

— Да,— продолжал Мюллер.— Думал всю ночь, как с ним сыграть. В одном был уверен — играть нужно с шумом, без всяких колебаний, ни секунды не задумываясь. Не было уверенности, что вы все это поймете и поведете себя надлежащим образом. Но ведь он немец. С немцем все равно как-нибудь получилось бы, даже при возможных осложнениях. Это не москаль, уважаемая, это не москаль. Если бы с москалем пришлось вести игру? Это уже совсем другое дело. Элегантный, талия перетянута, как у барышни на выданье, прилизанный, любезный. Ловкий. Стремительный. Мягкий. «Как же я рад, дорогой Иван Иванович, что вы надумали меня навестить!» Вот такое начало, уважаемая. Коньяк — а как же! Я говорю, что, мол, то да се. Вежливо слушает. Улыбается. Руки нежные, женственные. Шевелит ими на поверхности письменного стола, а на столе ни единой бумажки, ни единого документа, совсем ничего. Я говорю, он слушает. Я закончил, он молчит. Что немец думает в такой момент — я прекрасно знаю! Он колеблется, так как уже существует протокол по вашему делу, какая-то папка, какие-то документы на полке стоят, но с другой стороны — директор Мюллер говорит, что произошла ошибка, а ошибку необходимо исправлять, немцы не совершают ошибок, это не в немецком стиле. Что думает немец, мне хорошо известно. Но что думает тот — не знаю. Никто не знает, и другой москаль тоже не знает. Итак, молчание. Я начинаю все сначала. Он вежливо слушает. Разглядывает свои ногти. «Дорогой Иван Иванович, как мило мы беседуем». Наконец говорит: «Минуточку, Иван Иванович, сейчас мы вам покажем эту самую Зайденман!» И опять угощает коньяком. А потом появляется какая-то женщина, может, даже и блондин-

---

[42] Юзеф Пилсудский (1867—1935) — польский государственный деятель; 1914 г. — создатель Польской военной организации — Легионов польских; 1918—1922 — глава государства, а с 1920-го — главнокомандующий Войска Польского и маршал Польши, в результате государственного переворота в 1926—1928 и 1930 гг. премьер-министр. Начиная с 1926 г. оказывал решающее воздействие на политику государства.

[43] Главное управление вооружений в нацистской Германии *(нем.)*.

ка, может, даже голубоглазая, но совсем не вы, а совершенно другая особа. Он же наблюдает. Я разыгрываю свою сценку, он улыбается. Потом говорит этой женщине: «Спасибо, Нюра. Можете вернуться к себе». И обращается ко мне с печалью на лице, озабоченностью в глазах, вот-вот расплачется: «Ну на что нам, дорогой Иван Иванович, эти взаимные огорчения? Из-за какой-то еврейки? Подумайте как следует, Иван Иванович, не то мы рассердимся...» А когда я что-то там бормочу, он вдруг уже перестает быть элегантным, женственным, мягким, и вылезают из него одновременно скотина и тигр, уже достал из какого-то шкафа нагайку, уже той нагайкой щелкает у меня над затылком, то ли ударит, то ли не ударит, но орет ужасно, самые отвратительные ругательства повторяет с наслаждением, коньяком из рюмки плеснул мне в лицо, глаза потемнели, стали узенькие, как щелочки, все нагайкой размахивает, арестантской кибиткой и Сибирью грозит, «в кандалы закую, так твою мать!», «сдохнешь в ссылке, так твою мать!», а через некоторое время сидит опять за столом, улыбка добрая, теплая, налил коньячку, руку мою погладил: «Иван Иванович, забудем об этом, только настоятельно прошу вас, чтобы никогда более, никогда более...» А под конец, провожая к дверям, говорит еще с меланхолическим выражением лица: «Я люблю людей, Иван Иванович, у меня сердце кровью обливается, когда с ними поступают несправедливо, поверьте. Но это веление свыше, веление свыше. Я ищу, так сказать, философские обоснования, но часто, по правде говоря, не нахожу. Заходите ко мне как-нибудь, поболтаем об этих проблемах, я так нуждаюсь в дружественной душе, в обществе разумного человека, который многое передумал...» Ну и вот так, если не хуже, закончилась бы наша история с москалем, уважаемая...

Ирма Зайденман слушала этот рассказ как бы издалека. Сейчас, спустя какое-то время, снова чувствовала себя ближе к клетке на аллее Шуха, к той ночи, прошедшей в подведении окончательных итогов и ожидании. Наверно поэтому, когда Мюллер закончил, она произнесла:

— И все же они другие, никакого сравнения. Для меня самое страшное — гестапо.

— Трудно возразить, уважаемая,— ответил Мюллер. Хотел что-то добавить, но смолчал. Поток тягостных мыслей охватил его и увлек за собой. То были мучительные мысли, потому что сейчас он ощущал связь с немцами, свои немецкие корни, как никогда ранее. Этот груз подавлял его. Нам недостает чуточку безрассудства, думал он, мы так бесконечно трезвы. Может, потому я и ушел сюда, к полякам, что всегда была во мне эта крупица безрассудства, некий галоп фантазии, чему не подвержен истинный немец. Если его коснется безрассудство, он перестанет быть немцем, отречется от своей крови и земли. Быть лучшим на любом поприще, быть непревзойденным — в этом немецкое честолюбие. Сочинять самую прекрасную музыку, работать производительнее всех, мудренее всех философствовать, больше всех иметь, искуснее всех убивать! Да, конечно, думал он с горечью и болью, но ведь это и есть самое подлинное безрассудство. Нельзя считать безрассудством своенравность мыслей и поступков, жизнь, подобную танцу или песне. В трезвом честолюбии, в неустанном стремлении к первенству — во всем кроется немецкое безумие. Эта женщина права. Нет ничего более жестокого. Никакое московское фарисейство не может сравниться с тем прямолинейным, добросовестным стремлением руководить, которым отмечен немецкий способ мышления. Она права. Лицемерие москаля страшно и разрушительно, но оно все же никогда не достигает законченности, там всегда можно найти какой-нибудь надлом, трещину, через которую сочится по каплям простая, человеческая душа. Если же история в один прекрасный день вменит фарисейство в обязанность немцам, они станут самыми идеальными фарисеями под солнцем. Боже мой, сколько же должен выстрадать немец такой, как я, немец несовершенный, абсолютно не по-немецки сформировавшийся, с каким-то изъяном в сердце, который видит все это через славянский опыт, немец, зараженный благословенным недугом польскости, которая прекрасна именно такими своими качествами, как несовершенство.

незаконченность, неуверенность, пытливость, беспорядочность, привередливость, неукротимость, и очень походит на сумасшедшего, ведомого за руку ангелом.

— Наверное, вы правы,— сказал он Ирме Зайденман, которая, впрочем, была в своих мыслях где-то далеко и совсем его не слушала.— Наверное, вы правы, потому что москаль лишен совершенства, ему всегда чего-нибудь не хватает, всегда он что-нибудь упускает, и потому все это стремление добиться безраздельной власти над человеком в конце концов окажется бесплодным. Но хуже всего, что здесь вы всегда будете оставаться между молотом и наковальней.

Склонившись над столиком, вдруг странно постаревший и печальный, он осознал, что отдал большой кусок жизни делу, которое не может иметь успеха. Его удручало не собственное будущее, но будущее страны, с которой связал он все надежды молодости и зрелого возраста. Личная судьба внезапно показалась не достойной внимания. И в этом он не ошибся. Провидение было к нему достаточно благосклонно. Осенью 1944 он оказался среди развалин города. Слышал все более оглушительный грохот русских пушек с другой стороны Вислы. И неописуемо боялся встречи с теми, кто вновь, как тридцать лет тому назад, скажет ему с лицемерной улыбкой: «Что ж, Иван Иванович, вот мы и вернулись...» Ни на секунду не верил в преображение русской души, русский коммунизм, революционный облик России. Коммунизм был ему чужд и даже отвратителен, ибо, во-первых, в его понимании социалиста не имел никакой разумной связи с рабочим движением, которое знал с дней молодости, любил и уважал, а во-вторых, этот коммунизм был заражен русским духом, то была прежде всего Россия, тираническая, угрюмая и необузданная, с ее азиатским отношением к человеку, рабским отношением к миру, таинственной меланхолией и жестокостью.

И Мюллер ушел из Варшавы и Польши не потому, что ощущал себя немцем, связанным с Германской империей Адольфа Гитлера, а из-за слепого страха перед москалями, Сибирью, кнутом и неволей. Многое довелось ему еще пережить и перестрадать, старому человеку, лишенному всяческих иллюзий, жертве крушения, оставшейся без родины, выброшенной в чуждую среду. В Лодзи он оставил могилы своих немецких родителей, а еще — польских и еврейских товарищей. Был тем более одинок, что не находил общего языка с другими немцами — своими земляками. Спасаясь бегством среди потоков переселения народов, ставшего следствием нового передела Европы, когда границы государств передвигались, как мебель в квартире, они в конце концов осели в Баварии. Все те, кто считал себя изгнанным из отчего дома, чувствовали себя по-прежнему немцами, но прежде всего — немцами обиженными, чего Мюллер до конца своих дней не признавал, поскольку сам чувствовал себя лишь отчасти немцем, а отчасти по-прежнему поляком. Своим немецким землякам он порой сочувствовал, но вины с них не снимал и считал их не жертвами исторического процесса, но людьми, несущими долю ответственности за Гитлера и за огромное несчастье, которое в результате войны постигло Европу. Так что жил он одиноко, после нескольких лет лишений материальных трудностей не испытывал, но оставался молчаливым и никем не понятым, глядя по-прежнему в сторону Польши, новые страдания которой наполняли его печалью. Чувствовал, что он беспомощен, что ход событий сделал из него посмешище, развалину, севшую на мель вдалеке от родимого порта; поляки, с которыми сталкивался после войны, не знали его и потому не были с ним ни откровенны, ни тем более дружелюбны. Бывали ночи, когда Мюллер страстно желал вернуться к своей немецкой сути, найти в ней радость и умиротворение. Старательно нагромождал тогда в своем воображении всевозможные недостатки и пороки поляков, польские грехи и нелепости. Мог бы составить длинный их список, как любой человек, который эту самую Польшу глубоко полюбил. Именно потому еще сильнее — даже вопреки желанию — чувствовал себя польским патриотом, так как знал слабости поляков, все эти польские несовершенства, ловкачество, идиотские

выходки, разболтанность, польский снобизм и кокетство, ксенофобию, химеры и мифы. Знал их даже лучше, чем самые истинные поляки, поскольку его разум был все же неизменно отгорожен от Польши тончайшей преградой, той паутиной, что была соткана из генов немецкой традиции его отца и деда. Потому и пересчитывал польские грехи, чтобы — как ему казалось — отдалиться от Польши, внушить себе отвращение к ней, выкопать между собой и Польшей непреодолимую пропасть, чтобы легче восстановить свою генетическую связь с немецкими корнями. Но вскоре оставил это занятие, осознав, что оно бесплодно. Чем критичнее относился Мюллер к Польше, тем сильнее тосковал о ней, тем сильнее ее любил. Его любовь становилась еще сильнее из-за сознания того, что не может — как прежде — быть с Польшей в минуту испытаний, и когда Польша страдает, он беззаботно прогуливается среди великолепных альпийских пейзажей, ни в чем не испытывает недостатка, утоляет жажду превосходным пивом, голод утоляет превосходными кушаньями, живет в уютном, удобном доме, но что прежде всего он свободный человек, хозяин своих дел и мыслей, поступает как ему заблагорассудится, никто к нему ни в кастрюлю, ни тем более в сердце и в мозги не заглядывает, ибо теперь наступили в Германии времена демократии, до такой степени благопристойной, всеохватывающей, добропорядочной, насколько это возможно только в Германии. Так что и немецкая демократия не давала покоя Мюллеру, в ней он снова обнаруживал тиранию того совершенства, без которого немцы не могли бы жить. Как много лет тому назад, в кондитерской на улице Кошиковой, ему вновь подумалось, что сущность немцев в том и состоит, чтобы все доводить до совершенства, чтобы во всем демонстрировать если не безукоризненность, то по меньшей мере стремление достигнуть ее. И снова он испытывал неудовлетворенность, ему недоставало той незавершенности, неясности, ненадежности дел и мыслей, сквозь которые проглядывает слабость человеческой натуры, ее вечный поиск чего-то такого, что невозможно ни назвать, ни определить.

Будучи уже очень старым и больным, он сидел на террасе своего дома в Альпах и думал, не без желчной удовлетворенности, что немцы опять стали немцами во всей своей красе — на Западе довели до совершенства свой американизм, а на Востоке — свой советизм. И старый Мюллер качал головой над своей искалеченной судьбой, а когда пришло время умирать — увидел город Лодзь, улицу Петрковскую, а на ней демонстрацию социалистов и в ее рядах — молодого Иоганна Мюллера среди польских, еврейских и немецких товарищей, увидел, как они смело шли с возгласами «Да здравствует Польша!» прямо на конных казаков, стоявших в конце улицы, готовых к атаке, с поднятыми над конскими затылками саблями и нагайками.

XII

У парадной двери раздался звонок, Павелек взглянул на часы. Было уже почти девять. Мать Павелка испуганно посмотрела на сына, который сидел за столом, положив руку на книгу и вслушиваясь в тишину, наступившую после звонка, тишину вечера в пустынной квартире, отгороженной от остального мира шторами затемнения и пунцовыми портьерами. Теперь только напольные часы фирмы Густав Беккер, за стеклом которых поблескивали золоченые гири и цепочки, негромко тикали в углу комнаты. Над столом светилась голубоватым светом газовая лампа с оправой в виде металлической короны. Пальцы Павелка, лежавшие на книге, шевельнулись, а взгляд снова обратился к часам, которые вздрогнули нутром своего механизма, чтобы начать отбивать девять размеренных ударов.

— Но ведь это уже комендантский час,— шепотом сказала мать.

Оба встали и смотрели друг на друга.

— Я открою,— сказала она. Это была красивая женщина с тонкими, четкими чертами лица, как на старинной камее. Сейчас в ней поднимался страх, знакомый уже несколько лет, который парализовал ее, когда

раздавался звонок, шаги по лестнице, слова, сказанные по-немецки. Ее муж, офицер, участник сентябрьской кампании [44], находился в лагере военнопленных. Каждый день она разглядывала сына, и ее охватывал ужас при виде его все более мужающей, стройной фигуры. Ей хотелось, чтобы он оставался ребенком, но так как это было невозможно, желала для него какого-нибудь незначительного увечья — короткой ноги или кривых плеч, а больше всего была бы рада, если бы он на какое-то время стал карликом. Но он не был карликом, был сильным и хорошо сложенным молодым мужчиной. Вскоре ему должно было исполниться девятнадцать лет. С матерью разговаривал мало и редко бывал дома. Водился с высокими, статными молодыми людьми — и она не сомневалась, что ее Павелек что-то задумал, что ведет против нее какую-то игру, подставляет под удар свою жизнь, и оттого дрожала, охваченная тревогой, любовью и ненавистью. Упрекала себя за прежнюю неосмотрительность и болтливость, за все те польские сказки и легенды, которые много лет назад вколачивала в голову своему ребенку. Ставила себе в вину стишки и молитвы, песни и воспоминания. Мицкевича и Гротгера [45], Пилсудского и ксендза Скорупку [46]. Проклинала все эти Грюнвальды [47], Бычины [48], Псков [49], Пражскую резню [50] и Наполеона, Ольшинку Гроховскую [51] и Малогощ [52], валы Цитадели [53], «Десятерых из Павяка» [54], Магдебургскую крепость [55], чудо над Вислой [56], но прежде всего нехорошо думала о своем муже, который давно отсутствовал, и тем не менее продолжал слоняться по дому, манипулировал руками Павелка, когда тот заводил напольные часы, подтягивая гири на цепочках, снимал с библиотечных полок книги, которые Павелек читал, и, несомненно, приходил к Павелку по ночам, во сне, чтобы постоянно твердить ему о долге поляка. Отсутствующий муж приходил и к ней, но по-другому, без мундира, сабли и конфедератки, а, впрочем, чаще всего совершенно голый, немного несдержанный, пахнувший табаком и одеколоном, как двадцать лет тому назад, когда она впервые ощутила на себе его кавалерийский вес сразу же после победоносного сражения, юношеский вес солдата, который выиграл войну и завоевал свою женщину. По ночам она принимала мужа бесстыдно и ненасытно, жаждала продлить его присутствие в своих снах, зато днем совсем его не любила, страшилась этого необузданного призрака, который искушал Павелка, перетягивал его на свою сторону, на другой, опасный, берег, куда сходились мужчины, подобные ему, она же, охваченная дрожью, оставалась на своем берегу, в одиночестве и страхе.

Павелек вышел из комнаты, исчезнув из ее поля зрения. Донеслись шаги по темному коридору, потом бряцание засова, звон цепочки и, наконец, звук открываемых дверей. Это конец, подумала она, гестапо пришло за Павелком. Стояла не двигаясь, красивая зрелая женщина с ниспадающими на лоб светлыми волосами, широко открытыми голубыми глазами, тонкими пальцами, сплетенными в жесте тревоги. Слышала биение крови в висках и думала, что этого испытания не переживет.

---

[44] Военные действия польских войск с 1 сентября по 5 октября 1939 г. после нападения нацистской Германии на Польшу. Начало второй мировой войны.

[45] Артур Гротгер (1837—1867) — польский художник, автор картин на исторические темы.

[46] Игнаций Скорупка — военный капеллан, погиб в 1920 г. под Варшавой в бою с частями Красной Армии.

[47] Имеется в виду битва при Грюнвальде в 1410 г.

[48] Город, под которым в 1588-м польские войска одержали победу над армией австрийского эрцгерцога Максимилиана, претендента на польский престол.

[49] В 1581—1582 гг. в ходе ливонской войны войска польского короля Стефана Батория осаждали Псков.

[50] Захват в 1794 г. русскими войсками предместья Варшавы — Праги.

[51] Ольховая роща возле Грохова, место сражения польских повстанцев против русской армии в 1831 г.

[52] Село, где в 1863 г. произошло сражение польских повстанцев с русскими войсками.

[53] На валах Варшавской цитадели производились казни политических преступников.

[54] Польский фильм тридцатых годов о национально-освободительном движении.

[55] В 1917—1918 гг. Ю. Пилсудский был арестован немецкими властями и содержался в крепости г. Магдебурга.

[56] Победа польской армии над частями Красной Армии под Варшавой в августе 1920 г.

Бог не должен карать человека столь сурово и требовать от него, чтобы продолжал оставаться в живых.

Она услышала в коридоре чужой мужской голос, говорящий по-польски весело и свободно. На пороге остановился Павелек, а за ним появилась маленькая девочка, которую держал за руку высокий смуглый мужчина с печатью порока на лице. Ты идиотка, Эльжбета,— сказала она себе,— ты глупая баба, Эльжбета! Лишь теперь поняла, что ведь, наверное, сегодня, а может, завтра или послезавтра у нее в доме должна появиться Йоася Фихтельбаум, маленькая сестра Генека Фихтельбаума, лучшего школьного друга Павелка, этого капризного Генека, мальчика немного самоуверенного, зазнавшегося из-за своих прекрасных отметок, который ее отсутствующему мужу никогда не нравился, потому что ее отсутствующий муж вообще отличался несколько неприязненным отношением к евреям, оставаясь, естественно, далеким от любых насильственных методов, как-никак он прошел через период независимости и получил европейское образование, был истинным джентльменом, с тончайшей, унаследованной от девятнадцатого века, патиной прогресса и либерализма, который, как казалось, поможет преобразить мир в планету всеобщего братства, и потому муж был далек от насильственных методов, однако о евреях высказывался с некоторой фамильярностью, барской снисходительностью, но без теплоты, а скорее с сарказмом. Итак, это сестричка Генека, дочка Ежи Фихтельбаума, известного адвоката, человека огромного обаяния и культуры. Она охотно беседовала с ним, встречаясь на родительских собраниях в школе. Однажды пила с ним кофе на террасе в Лазенках [57], случайно встретив во время воскресной прогулки. Мальчики катались на пони, а она вместе с адвокатом и его женой, лица которой совсем не запомнила, поскольку была слишком светской дамой, чтобы помнить жену еврейского адвоката, встреченную всего один раз на воскресной прогулке в Лазенках, пила кофе на террасе и говорила о дружбе Павелка с Генеком, которая в ее глазах несколько возвышала Генека, делала его более достойным внимания. И какую же радость она ощутила, как тепло стало у нее на сердце, когда судья Ромницкий, которого мысленно называла «наш Марк Аврелий с Медовой улицы», так как, зная с юных лет латынь и древнюю историю, считала судью философом и гражданином, наделенным истинно римскими добродетелями, и как же она обрадовалась, когда именно к ней обратился судья с делом столь деликатным и прекрасным, античным и вместе с тем современным, настоятельно прося ее принять на день или на два еврейского ребенка, доченьку, как-никак ее знакомого, адвоката Ежи Фихтельбаума. Согласилась тотчас же, то был поступок христианский, польский и человеческий во всей своей многогранной значительности, связанный также с риском, что придавало ее жизни некий благостный ореол. Сделала это не из тщеславия, потому что ради тщеславия никто не кладет голову под топор, но из потребности сердца — доброго, чувствительного и остро ощущающего несправедливость. Ночью она спрашивала отсутствующего мужа, правильно ли поступила, а он ответил утвердительно и добавил, что жене польского офицера, томящегося в немецкой неволе, иначе поступить невозможно. Вот так появился под ее кровом этот ребенок, которого вырвали из пучины беспощадного моря насилия и злодеяния и доставили на сушу. Перед ней была красивая девочка четырех лет с курчавыми волосами и большими, темными глазами. Она стояла в свете газовой лампы и вслушивалась в последний удар часов, которые пробили девять. Только что закрыли ворота во всем городе, и женщина, вдруг что-то вспомнив, с тревогой взглянула на пришельца. А он слегка кивнул и сказал:

— Ну вот, уважаемая пани, я вам ее доставил.

— Да вы входите, пожалуйста,— воскликнул Павелек.— У вас, кажется, кровь на плаще!

— Плащ клеенчатый,— ответил мужчина.— Пятна не останется.

Мать Павелка взяла Йоасю за ручку.

---

[57] Парк и дворец в Варшаве.

— Какая она крохотная,— произнесла она.— Наверно, очень голодна.

— Этого я не знаю,— ответил мужчина.— А если можно, я бы закурил.

Он достал тяжелый, металлический портсигар, вынул из него сигарету, закурил.

— Боже мой,— произнесла она,— ведь уже комендантский час...

— Мне комендантский час не помеха,— сказал он.— Я сейчас пойду.

— Нет, нет! — воскликнула она.— Присядьте, пожалуйста.

Он сел, не снимая плаща, кепку положил на колени.

— Насчет Йоаси можете не беспокоиться,— сказала она.— Я за всем прослежу.

— Меня это уже не касается,— ответил мужчина.— Что будет дальше с малышкой, не знаю. Я свое дело сделал...

— Ну, конечно,— сказала она с излишней поспешностью, которая тут же показалась ей неуместной. Смотрела в лицо этого человека, желая запомнить его, но вместе с тем испытывая какую-то брезгливость, страх и пристыженность. Говорила себе, что нужно запомнить его лицо, потому что принадлежит оно человеку отважному, который многим рискует, чтобы приходить на помощь преследуемым, но в то же время ощущала потребность сохранить образ мужчины, который оказался в этом пустом доме, где она дышала одиночеством и тоской. Ведь Павелек не был мужчиной и никогда не станет им, навсегда останется ребенком, большим ребенком, у которого когда-нибудь появятся собственные дети, но сам он по-прежнему будет ребенком.

Лицо мужчины казалось ей голубоватым, вероятно, из-за темной щетины на щеках и света газовой лампы. Он поднял голову, взгляды их встретились. Я не должна его разглядывать, испуганно подумала она и обратилась к девочке:

— Йоася, сейчас я приготовлю что-нибудь поесть.

Йоася кивнула, Павелек сказал:

— Она немного похожа на Генека, правда?

— Но Генек не был таким красивым,— возразила мать.

— Мама, не говори о нем в прошедшем времени! — воскликнул он.

Она печально вздохнула.

— Он ведь уже столько месяцев не подает признаков жизни...

— Если вы о брате этой малышки,— произнес мужчина,— то там, за оградой, его нет.

— Скрывается где-нибудь в деревне! — воскликнул Павелек.— Он сильный, умный. Впрочем...

Он остановился, исполненный тревоги. Уже давно не думал о Генеке. Поздней осенью Генек внезапно исчез. В один прекрасный день они расстались на Кошиковой, перед зданием публичной библиотеки. Павелек принес Генеку немного денег. Тот был весел.

— Я решил погулять сегодня! — сказал он.

— Не делай глупостей,— ответил Павелек.— Возвращайся к Флисовскому. Нет ничего хуже, чем бесцельно болтаться по городу.

— Почему бесцельно?! — воскликнул Генек Фихтельбаум.— Пойду в кондитерскую, может, познакомлюсь с какой-нибудь красивой барышней, она заберет меня к себе, а после войны мы поженимся и поедем в Венесуэлу.

— Прошу тебя, Генек,— сказал Павелек слегка раздраженно.— Ты же взрослый человек. У Флисовского ты имеешь хоть какие-то условия...

— Оставь меня в покое,— крикнул Генек.— Тебе легко говорить. Какие еще, к черту, условия! Сижу на чердаке, как нетопырь, старик приходит два раза в день, оставляет шамовку, глухой как пень, с ним даже словом не перемолвишься. Ты себе вообще представляешь, что такое сидеть взаперти на чердаке?! Маленькое окошко, через которое виден лишь кусочек неба, всегда один и тот же. Ни единой веточки, ни единого лица... Там по ночам мыши скребутся, Павелек. Только мыши. И ходить совсем нельзя. Три шага влево, поворот, три шага вправо, поворот! Причем тихо, на цыпочках, чтобы никто не услышал...

— Генек! — сказал Павелек тоном убеждения, как если бы говорил

с маленьким ребенком,— там ты в безопасности. Тебе известно, сколько труда стоило найти такое роскошное укрытие? Сколько я уговаривал Флисовского, чтобы принял тебя на какое-то время. Я, кстати, сейчас ищу...

— Ах, не говори так много! — сердито прервал Генек, а его капризные губы сложились в гримасу неприязни и пренебрежения.— Знаю, ты делаешь все, что в твоих силах. Но ты ведь ходишь по городу, встречаешься с людьми, ездишь на трамвае, на рикше, один или с какой-нибудь девушкой, и кладешь руку на ее колено. А с меня хватит, к черту!

— Я не кладу руку на колено! — крикнул Павелек, поскольку Генек коснулся кровоточащей в его сердце раны.— А в том, что ты сидишь у Флисовского, виноват не я. Неделю назад ты поперся к парикмахеру. Зачем ты туда пошел? Ведь это же...

— Я что, горилла? — сказал Генек с гневом и обидой.— Я что, должен выглядеть, как волосатая обезьяна, только потому, что ты запер меня на этом чердаке?

— Я тебя запер? Я!

Генек Фихтельбаум махнул рукой.

— Хорошо, не ты! Но должен же я хоть время от времени куда-нибудь сходить, передохнуть, увидеть людей. Тебе трудно понять меня, Павелек, но какое это наслаждение, поверь, истинное наслаждение, вот так, просто пройтись по Кошиковой, без цели, просто пошляться.

— Ты не должен этого делать,— твердо сказал Павелек.

— Знаю! Я ведь покорен, как ягненок. Ты никогда еще так мной не командовал, предводитель! Я буду послушен. Но время от времени, скажем два, три раза в месяц, я должен спускаться с этого проклятого чердака.

— При условии, что вместе со мной...

— Ты спятил?! Не стану же я подвергать тебя опасности!

— Разумеется,— ответил Павелек.— Но мы договоримся, что, когда ты выходишь, я иду за тобой на некотором расстоянии, наблюдаю...

— Не изображай из себя лорда Листера [58], Павелек! Собираешься за мной следить? Для чего? Ведь все равно мне не поможешь...

— Зато буду знать, что с тобой, где ты... Тогда, может, удастся что-нибудь устроить.

— На выкуп у нас нет уже денег, Павелек.

— Деньги всегда можно достать. И запомни, ни шагу больше к парикмахеру! Туда приходят разные люди, ты в закрытом помещении, возможность действовать ограничена из-за этой проклятой простыни на шее...

— Знаешь, тот парикмахер рассказывал еврейские анекдоты. Я рыдал от смеха.

— Ты, похоже, не отдаешь себе отчета в серьезности своего положения.

— Вероятно,— ответил Генек.— Но все же это мое положение, не забывай, будь добр.

Желая избежать новой стычки, Павелек принужденно рассмеялся.

— Ладно, Генек. Прошу тебя, возвращайся сейчас к Флисовскому. Я забегу послезавтра. Тогда и обсудим в деталях твои прогулки.

Они пожали друг другу руки. Павелек вошел в здание библиотеки, Генек свернул в сторону Маршалковской. В тот день Павелек видел его в последний раз. Когда в условленный день он пришел к Флисовскому, оказалось, что Генек Фихтельбаум вообще не вернулся на чердак. Старый часовщик Флисовский был очень доволен подобным поворотом дела.

— Пан Крыньский,— сказал он Павелку,— скажите вашему приятелю, чтобы он здесь больше не показывался. Мне хватает собственных бед, и я хочу дожить до конца войны, каким-бы этот конец ни был.

— Пан Флисовский,— воскликнул Павелек,— но это невозможно! Мы же договорились!

— Не надо меня уговаривать! — прервал старый часовщик.— Я сказал, и баста! Вот если будет у вас какой-нибудь пожилой человек, спокойный пожилой человек, который тихо сидит, не насвистывает танго

[58] Детектив, герой приключенческой повести, пользовавшейся в Польше большой популярностью перед войной.

«Милонга», не стучит в мой потолок, чтобы по десять раз в день выпускать его в уборную, не орет мне в ухо, что у него вид из окна некрасивый, если будет у вас такой солидный, пожилой человек, я принял бы его на какое-то время. Но этого вашего дружка не приму уже никогда, Богом клянусь!

С того дня поздней осени Генек Фихтельбаум исчез, и Павелек общался только с памятью о нем, с тенями своего друга, полагая, что тот убит, хотя в самом сокровенном уголке своего сердца питал все же надежду, что Генек укрывается где-нибудь в безопасном месте и думает о своем друге Павелке. Но на протяжении долгой зимы надежда становилась все слабее, а к весне растаяла совсем. Однако когда его мать заявила сейчас, что Генек не был таким красивым, как его маленькая сестренка, Павелек запротестовал. Генек существует, подумал он, Генек жив. Так он отгонял от себя демонов.

Через несколько дней в этой комнате зазвонит телефон. Павелек поднимет трубку, глядя на золотой циферблат часов, и подумает, что вот сейчас, в семь утра, начинается приятный апрельский день.

— Алло! — скажет он, глядя на темные стрелки часов.

— Это я,— послышится тихий далекий голос.

— Генек! Господи! Что с тобой случилось?

Слезы будут стекать по лицу Павелка, как если бы ему не было девятнадцати лет, как если бы он оставался маленьким мальчиком в бархатном костюмчике с кружевным воротничком.

— Я хотел бы с тобой повидаться,—произнесет далекий голос.

— Ну, конечно, Генек! Послушай, это очень важно. Йоася здорова, у нее все в порядке, шлет тебе привет.

В течение долгих мгновений он будет слышать монотонный шум в проводах. И тогда воскликнет с беспокойством:

— Генек! Слышишь меня?

— Слышу. Я тоже ей кланяюсь. Мне нужно с тобой повидаться.

— Ты где?

— В городе.

Опять их разделит долгая тишина, а потом Генек скажет:

— Я возвращаюсь туда.

— Ты где сейчас? Мы должны встретиться.

— Да. В девять на углу Ксёнженцей и площади Трех Крестов, хорошо?

В этот момент Павелек услышит щелчок и соединение прервется. Еще он крикнет нетерпеливо: «Генек, слышишь меня?! Генек!» — но ответа уже не будет.

Все это, однако, случится через несколько дней. Зазвонит телефон, на часах семь, за окном ясное утро. Так предопределено звездами. И так же было предопределено, чтобы Павелек сказал мужчине в клеенчатом плаще:

— Вы отдохните, а мы приготовим что-нибудь поесть.

— Нет нужды,— ответил тот.— Ребенку дайте. Я не голодный. Сейчас пойду.

— Это опасно,— сказала мать.— Они стреляют без предупреждения.

— Вы, уважаемая пани, в это не верьте. Они бы тогда своих перестреляли. Всегда проверяют документы.

— А у вас есть пропуск? — спросила она.

— У меня есть все что надо,— ответил он и рассмеялся. Ей никогда не приходилось слышать подобного смеха. В нем звучали жестокость и угроза. Она снова взглянула в глаза мужчины. И подумала, что он читает ее мысли. На щеках ощутила тепло, теперь уже боялась обоих — мужчины и Павелка. Боялась, что Павелек заметит ее странное состояние, эту необычную возбужденность и страх. Но Павелек взял девочку за руку и сказал:

— Мы с Йоасей пойдем на кухню — приготовим что-нибудь вкусное на ужин...

— Ах, зачем,— сказала женщина без всякого смысла и внезапно села к столу, напротив рослого пришельца. У нее не было сил уйти от его взгляда. Мужчина протянул руку с портсигаром.

— Закурить не хотите?

Она отрицательно покачала головой. Теперь он осматривался в комнате. Разглядывал буфет, сервант, фарфор за стеклом, фотографии в рамках, а потом осмотрел пунцовые портьеры на окнах, обивку стульев, скатерть из дамаста на столе. Его глаза были пусты, лишены любопытства, а ей казалось, что когда он смотрел на узорчатый кафель печи и гипсовые завитушки на потолке, то делал это, как если бы раздевал ее, как если бы разглядывал ее грудь, живот, голые плечи. Что с тобой происходит, Эльжбета, подумала она, это же чудовище, жестокое и необузданное! И она не заблуждалась. Он был жесток и необуздан, некоторые считали его чудовищем. Но ведь она хотела именно такого, такого ждала, к собственному возмущению и ужасу. Они молчали. И если бы даже он остался с ней на долгие годы жизни, им так же нечего было бы сказать друг другу. Оставались бы мужчиной и женщиной, мужчиной и женщиной в каждом мгновении — и более ничем! Но он не остался. У него были свои мрачные дела на самом краю света, где нет уже людей, а только звери и призраки. Он погасил сигарету, встал со стула, рослый, могучий, с пятном крови на клеенчатом плаще.

— Я уж пойду,— произнес он и скривил губы в улыбке.— Попрощайтесь за меня с девочкой, уважаемая пани. И сыну кланяйтесь.

— Но, может, все-таки...— сказала она.

Он отрицательно качнул головой.

— Мало времени, уважаемая пани. Всегда мало времени!

Надел на голову кепку, козырек натянул глубоко на лоб. Его лицо изменилось, теперь он выглядел менее угрожающе, тень козырька как бы прикрывала его пороки.

Она проводила его до дверей. У порога сказала:

— На лестнице нет света.

— Ничего, не пропаду,— ответил он.

Подала ему руку. Он поднес ее к губам и поцеловал. Захлопнула за ним дверь, прислонилась к стене, дышала часто и взволнованно. Ощущала на руке влагу его губ, и это наполняло ее дрожью. Слышала удаляющиеся шаги по лестнице. Ненавижу его, подумала она. Чудовище! Какое унижение...

И даже спустя тридцать лет, будучи старой женщиной, она так и не избавилась от этой ненависти. Лица мужчины не помнила, зато помнила себя. И спустя тридцать лет по-прежнему испытывала чувство унижения. Всякий раз, когда потом ей встречались подобные плотные, простые в обхождении мужчины, которые держались с большой самоуверенностью, проистекающей из физической силы, власти, изворотливости или самой обычной глупости, всякий раз, когда потом встречала подобных плебеев, которые относились к ней с равнодушным превосходством или перед которыми сама чувствовала себя неуверенно из-за своей хрупкости, женственности, слабости, из-за того, что история оттолкнула ее в сторону, в канаву, с той насыпи, где они шли посередине, в этих своих плащах — клеенчатых, кожаных, болоньевых, в кепках, в шляпах или с непокрытой головой, когда видела их лица, какие-то суковатые, грубо вытесанные, когда смотрела, как они курят, держа сигарету между большим и указательным пальцами с огоньком, обращенным внутрь ладони, всякий раз, когда слышала их шаги, такие размашистые под грузом больших тел, или ощущала запах их кожи, пронзительный и резкий, запах пота, табака и греховности, она неизменно вспоминала вечер, когда приняла под свой кров дочку адвоката Фихтельбаума. И испытывала чувство унижения. Ведь как-никак, принять еврейского ребенка в свой дом, в такое время, весной 1943 года, было поступком прекрасным и достойным признания. Тогда отчего же она чувствовала себя униженной? Что же произошло в тот вечер, если через много лет он возвращался к ней вместе с ощущением такой горечи и отвращения?

Она сидела за столом, смотрела на стрелки часов, слушала, как в кухне Павелек что-то говорит девочке,— и старалась думать о своем отсутствующем муже, находящемся более трех лет в немецком плену, среди сотен

таких же, как он, офицеров, которые оставили жен, чтобы защищать эту страну, страну, которую невозможно было защитить, отданную на растерзание, обреченную на унижения, поругание и уничтожение. Почему, думалось ей, за какие провинности?

Положила ладонь на грудь. Ощутила под платьем эту хорошо знакомую форму, которая всегда казалась ей чуждой и неприятной, да она, собственно, и не ей принадлежала, а мужчине. Ощутила свое сиротство. Ей казалось, что медленно умирает. Почему я умираю, подумала она, ведь я не совершила ничего дурного?

Эта мысль несколько отрезвила ее религиозную душу. Не будь смешной, Эльжбетка, сказала она себе, смерть — не кара за грехи, а переход к жизни вечной. Не будь смешной!

Это принесло облегчение. Но ей не хотелось признаваться,что она смешна. Скорее была печальна и разочарована. Сидела еще некоторое время, глядя на часы. Промелькнула мысль, что тот мужчина может на улице попасть в лапы к немцам и выболтать, куда он отвел еврейского ребенка. Ее снова охватил страх, но лишь на мгновение, так как она знала, что он не попадется в немецкие лапы, такие, как он, в немецкие лапы не попадаются, а если даже и так, то все равно не скажет ни слова. Доверяла ему, ненавидела его и испытывала унижение.

А потом встала из-за стола, пошла на кухню и, к своему удивлению, обрела радость и покой. Раздела маленькую еврейскую девочку и с нежностью выкупала ее, тихо напевая мелодии своей молодости.

XIII

В пять утра, еще в сумерках, в тумане и весеннем холоде, он ехал на трамвае через мост Кербедзя. Трамвай грохотал. Люди стояли стиснутые, невыспавшиеся, осовелые. От них поднимался резкий, пронзительный запах страха и безнадежности. Остался только этот запах. В троллейбусах, трамваях, автобусах марки «Шоссон», «Берлье», «Икарус», «Сан», а также в купе железнодорожных вагонов остался этот пронзительный запах. Иным стал уже человеческий страх, иными безнадежность, усталость, сны, мечты, но запах оставался.

Трамвай грохотал по мосту. Внизу текла река. По песчаной отмели правого берега шел одинокий человек с удочкой в руке, направляясь к каменной дамбе. Последний, кто не отказался от надежды.

Железнодорожнику Филипеку до работы было далеко. Жил он на Воле, ездил в паровозное депо в Праге. Два раза в день пересекал весь город. Утром и пополудни или пополудни и поздним вечером. Не любил работать во вторую смену. Возвращение всегда вызывало в нем беспокойство. Пропуск у него, естественно, был, но он относился к нему с пренебрежением. Филипек знал, чего стоят документы. Еще молодым человеком, в 1905 году, работал в технической службе «революционной фракции» [59]. Умел подделывать самые невероятные документы, которые открывали ворота Цитадели и Павяка. Но то были идиллические времена, XX век только начинался, и люди не слышали его ритма. Много воды должно было утечь в реках мира, чтобы глаза прозрели, уши услышали, уста заговорили. Но в 1943 году железнодорожник Филипек уже не доверял документам, даже если на них стояла печать с надписью «Ostbahn» [60]. Жандарм крутил в руках пропуск с выражением недоверия. Но был все же немецким жандармом. Знак свастики вызывал в нем уважение и чувство умеренного великодушия. Правда, одним неосторожным жестом можно было разрушить гармонию его души, пробудить в ней бурные страсти. Достаточно было сказать какое-то слово, даже абсолютно невинное, которое в ушах жандарма прозвучало бы как вызов. Тогда пропуск переставал существовать. Минутой позднее не существовал и человек.

Воды в реках продолжали течь, и появились полицейские нового типа.

---

[59] Группа, отколовшаяся в 1905 г. от Польской социалистической партии.

[60] Восточная железная дорога *(нем.)*.

Тем документы были не нужны. Держали документы двумя пальцами, неприязненно, издевательски, порой с отвращением, и совершенно не должны были их читать. Все знали наперед, без документов. Прохода нет, прошу разойтись, входить нельзя, выходить нельзя, что написано, то написано, а что сказано, то сказано! Полицейские нового типа не должны были читать документов. Только инструкции читали они внимательно, сосредоточившись. Тут их мозги трудились до изнеможения, пот стекал по лицам, даже самый бесчувственный человек мог растрогаться при виде подобной дисциплинированности, подобной добросовестности полицейских нового типа, которые преодолевали высокий барьер печатного слова, водили пальцем по строчкам текста, помогали себе губами, даже кончиком языка, с неописуемым трудом взбирались на интеллектуальные Гималаи инструкции, чтобы усвоить их глубокий политический, социальный, культурный, нравственный смысл, чтобы усвоить его на веки вечные, аж до следующего дня, когда появится новая инструкция, этот новый Эверест чиновничьего усердия и стремления преобразить мир, и тогда они снова принимались за работу, вколачивали в свои головы тайную и недоступную для профанов науку, били себя кулаком по лбу, чтобы потом бить палкой ближнего, делая это, впрочем, осмотрительно и методично, не по злой воле, без кровожадности, не с целью лишить жизни, но ради пробуждения рассудка, в самом широком понимании интересов государства, в соответствии с содержанием некогда затверженной инструкции, затверженной между пластиковым щитом и цветным телевизором, при свете пламени пьезоэлектрической зажигалки, в зеленоватом мерцании, излучаемом электронными часами, мерцании, подобном тому, которое в XIX веке излучали свежие могилы.

Так что, не питая доверия к самым надежным пропускам и тем самым опережая историю, железнодорожник Филипек старался работать в первую смену. Тут он также преследовал скрытую, но благородную цель, свидетельствующую о его мужестве. Филипек был по уши погружен в конспиративную деятельность, вечерами работал в тайной типографии, так как великолепно разбирался в разнообразных типах печатных машин, сумел из валиков домашней отжималки для белья соорудить поразительное устройство, которое с пользой служило подпольной организации борцов за независимость.

Много лет спустя разные люди пытались подражать искусству железнодорожника Филипека. Тридцатилетние девушки, которые ходили по варшавским улицам в костюмах перуанских крестьянок, а также тридцатилетние парни в джинсах, с бородами старцев и фантазией маленьких детей. Они подражали железнодорожнику Филипеку с пафосом, но бездарно, а порой просто комически, ибо для того, чтобы из отжималки сделать типографию, нужно не только правильно завинчивать шурупы, но и прочувствовать, что такое настоящая неволя, познать московский кнут и подземелья Шлиссельбурга, немецкие клетки в аллее Шуха и бараки концлагерей, Сибирь, ссылки, этапы, Павяк, Освенцим, уличные экзекуции, Катынь, снега Воркуты и казахстанские степи, Моабит и форты Познани, Монтелюпих [61], Дахау, Заксенхаузен, берега Енисея и Иртыша, Пальмиры [62], Треблинку, все это нужно познать телом и душой, чтобы на собственной шкуре было записано, носить в костях, в сердце таскать, нужно испытать на себе, как испытал железнодорожник Филипек, годы тревожных бессонных ночей, когда любой шорох кажется поступью смерти, любой шелест — ветром за окном тюремной камеры, а любой шепот — молитвой ссыльного или прощанием на пороге газовой камеры. Чтобы из отжималки сделать типографию, мало страдать из-за унижений, лицемерия, вранья, палок, арестов, оговоров, угроз изгнания, безнаказанности сильных и беззащитности слабых. Всего этого слишком мало, чтобы из отжималки сделать типографию истинно свободного человека. На такой отжималке можно кричать, проклинать, требовать, угрожать, всхлипывать и насмехаться, но невозможно спокойно говорить

[61] Тюрьма в Кракове, где в период оккупации находилось гестапо.
[62] Село под Варшавой, место массовых казней в 1939—1941 гг.

о мире и человеческом достоинстве. Если не заполняется до краев чаша страданий, мечты остаются мечтами.

Итак, железнодорожник Филипек ехал на работу, как делал это ежедневно в течение долгих лет, но в то утро он был в очень хорошем настроении. Ночью удачно поработал над очередной отжималкой, а вчера вечером получил известие от Яся Мюллера, что пани Зайденман спасена. Ясь Мюллер был, как обычно, безотказен. Филипек посмотрел в окно трамвая, увидел купола православной церкви на улице Зигмунтовской и расчувствовался — на него нахлынули воспоминания о давних временах, когда он боролся против гнета царизма. Однако на тротуаре перед церковью стояли жандармы в прорезиненных плащах, в касках со свастикой, перепоясанные кожаными ремнями с серебристыми пряжками, украшенными надписью «Gott mit uns!» [63].

Неужели Бог с ними? — подумал Филипек. Хорошее настроение пропало. Где же Матерь Божья с Ясной Гуры, Острой Брамы, Пекар [64], Кобрыня [65], из городов ближних и дальних, если за время жизни одного человека на углу Зигмунтовской и Таргової, в столице страны, которая некогда простиралась от моря до моря, владела Гданьском и Кудаком, Глогувом и Смоленском, если на глазах только одного человека, усатого, худого железнодорожника с натруженными руками и светлой головой, за время жизни одного этого человека, на его живой памяти, в его бессильном и горестном присутствии, на углу этих двух улиц стоял конный степной казак, прусский офицер с моноклем в глазу и железным крестом на груди, толстый жандарм со свастикой, бдительный красноармеец в мешковатой гимнастерке и с автоматом на плече, если на этом месте, совершенно обычном, но вместе с тем и священном, ибо оно единственно и неповторимо, на глазах только одного человека, за время его жизни, в течение тридцати лет, сменяли друг друга казак и пруссак, гитлеровец и красноармеец, то где же была Матерь Божья из городов дальних и ближних, королева этого народа?! А может, сам народ провинился? Может, не был достаточно зрелым для Европы, для Азии, для себя самого?

Неужели эта страна была всего лишь территорией для прохождения иностранных войск, тылом для фронта, плацдармом? Последний окоп латинской Европы, обращенный лицом к степям, но в то же время и защитный вал перед лицом германского натиска. Рубеж свободного мира, втиснутый между оплотами тирании. Узенькая полоска надежды, отделяющая прусскую спесь от русской темноты. Своеобразная речушка, протекающая между жестокостью и лицемерием, зверством и хитростью, пренебрежением и завистью, кичливостью и угодничеством, криком и ворчанием. Пограничная межа, отделяющая бесстыдство явного преступления от цинизма преступления открытого. Неужели всего лишь полоска, межа, рубеж? И ничего больше?

Павелек, подумал железнодорожник Филипек, завидую тебе. Ты доживешь до иных времен. Польша не будет жить, как гвоздь в клещах. Снова будет независима, но станет лучше, чем та, недавняя, потому что не будет полиции в синей форме, санации [66] и пустозвонства, не будет мелочности, зазнайства, крестьянской нищеты, рабочих бунтов, великодержавных претензий, школьного гетто [67], жешувских стачек [68], жертв «Семперита» [69], бесправных шахтеров, не будет голодных интеллигентов и распоясавшихся полковников, не будет косного духовенства, Бреста [70] и Берёзы [71], антисе-

---

[63] С нами Бог! *(нем.)*

[64] Место религиозного паломничества в Силезии.

[65] Место религиозного паломничества в Западной Белоруссии.

[66] Оздоровление *(лат.)*. Название реакционного режима в Польше в 1926—1939 гг. Установлен в мае 1926 г. Ю. Пилсудским под лозунгом «нравственного оздоровления».

[67] В 1936—1938 гг. силы польской реакции выступили с требованием обязать еврейских школьников сидеть за отдельными партами.

[68] Забастовочное движение крестьян в Южной Польше в 1937 г.

[69] Фабрика резиновых изделий в Кракове, где в 1936 г. полицией были убиты несколько забастовщиков.

[70] В Брестской тюрьме содержались оппозиционные левые политики, осужденные в 1931—1932 гг.

[71] Берёза-Картуская — концлагерь для политических заключенных в Восточной Польше в 1934—1939 гг.

митизма, украинских волнений, вони кислой капусты и селедки, бездомных бродяг, чванливых домовладельцев, не будет курных хат и заколоченных досками деревень, не будет обанкротившихся театров, дорогих книг, дешевых проституток, сановных лимузинов и Лагеря Национального Объединения [72]. Завидую тебе, Павелек! У тебя будет Польша со стеклянными домами [73], наша пепеэсовская Польша, рабоче-крестьянская, без всякой диктатуры, потому что диктатура — это большевизм, жестокость и конец демократии, наконец, у тебя будет, дорогой Павелек, Польша свободная, справедливая и демократическая, для всех поляков, евреев, украинцев, даже для немцев, черт бы их побрал, даже для них. Я-то не доживу, Павелек, потому что в конце концов меня поймают! Как долго можно путать следы, заниматься конспирацией, морочить голову всем этим мерзавцам, истоптавшим польскую землю? Я не раз рассказывал тебе, Павелек, что морочил им голову всю свою жизнь. При Николашке морочил, при Столыпине морочил и потом при Безелере [74], а как же, тоже морочил! Угадай, Павелек, когда я не сидел в каталажке? В Павяке сидел еще до революции пятого года. В Красноярском крае корчевал тайгу. А почему нет? При императоре Вильгельме попал в Ченстохове в тот же самый участок, где сидел при москалях. Такая уж я диковина польская, пепеэсовская. Ну и, само собой, в свободной отчизне тоже сидел. А почему нет? На Даниловичевской улице в следственной тюрьме сидел, потому что на манифестации 1 мая защищал коммунистов. Коммунистов следует искоренять, это публика опасная, коварная, но ни в коем случае не дубинкой, не дубинкой! И вот, когда полиция дубинками учила их любить родину, я решительно возражал. Ну и посадили, ясное дело, на некоторое время. В 38-м году тоже сидел. А почему нет?! За пепеэсовскую агитацию против выборов, которые господа полковники собирались выиграть на рабочей заднице. Так вот и сидел, а как же... Сам должен признать, Павелек, что такая жизнь не заканчивается в постели. Еще чуть-чуть, и схватят меня фрицы за воротник. С ними шутки плохи. К стенке или в лагерь, на верную смерть... Так что свободной, справедливой Польши мне не дождаться. Но ты-то наверняка дождешься, потому что...

Филипек прервал свой внутренний монолог, поскольку добрался до депо, а был он человеком особого склада, социал-демократом с долгой родословной, и потому отделял политику и борьбу за интересы рабочих от профессионального труда, возле паровозов думал только о паровозах, возле котлов — о котлах, ему даже в голову не приходило, что он может где попало бросить сварочный аппарат и митинговать за увеличение посевных площадей кукурузы или в честь какой-нибудь девицы, которая улеглась на железнодорожные пути, демонстрируя подобным способом свои пацифистские убеждения. Для Филипека партийный агитатор, не умеющий пользоваться французским ключом, был прежде всего халтурщиком, а халтурщиков он не слушал и презирал, ибо они оскорбляли достоинство человека труда. Если железнодорожник Филипек и ненавидел что-то всей душой, так это халтуру, разгильдяйство, дешевку, а следовательно, и тех мелких крикунов и демагогов, которые рабочего презирали, ни в грош не ставили его труд, пренебрегали лишениями рабочих, неутомимо украшая себя перышками поборников рабочих интересов. Именно это больше всего отталкивало его от коммунистов. Судьба некоторых из них старика ужасала, он был преисполнен отвращения к идеологическим спорам, завершающимся смертными приговорами, поскольку привык к иным нравам и иным мерам. Его товарищи взаимно уважали друг друга, их объединяла не только борьба, но и личная дружба. Когда начинались споры, они не скупились на резкие слова и упреки, но никому и в голову не приходило насылать на политического противника палачей. Но не эти проблемы играли самую важную роль в суждениях железнодорожника Филипека. Как каждый рабочий, который глубоко ощущает принадлежность к своему классу и гордится высоким званием рабочего,

---

[72] Политическая организация, созданная реакционным военным режимом в 1937—1939 гг.
[73] Символ надежд на лучшее будущее в романе С. Жеромского «Канун весны» (1924 г.).
[74] Ханс фон Безелер (1850—1921) — немецкий генерал, губернатор Варшавы в 1915—1918 гг.

Филипек рассуждал практически. Был прежде всего добросовестным человеком труда. Только труд был мерилом уважения, которое он испытывал к людям. Профессионализм, аккуратность, качество работы. Мудрый, честный дух, который двигал рукой рабочего, его пальцами, силой мускулов. Честь руки, этика руки. Вот что имело решающее значение для суждений Филипека. А коммунисты перед войной были никакими не тружениками, но коммивояжерами социальной революции. Не были профессиональными рабочими, их профессией был коммунизм, партийность, агитация, поджигание запальных шнуров бунта. Филипек никогда не видел коммуниста возле машины, занятого работой, с руками, перепачканными тавотом и маслом. Они не были рабочими, ибо единственной областью их интересов являлось человеческое сознание, человеческий гнев, иллюзии и страхи. То были не рабочие, а заклинатели духов, всецело преданные магии слов, жестов, возгласов. Не любил их за это и не уважал, хоть и признавал, что некоторые были отважны и готовы многое принести в жертву ради своей идеи.

Когда Филипек пришел в депо, он думал уже только о работе. Всю смену, до самого обеда, работал с полной отдачей. Знал, что паровоз, который ремонтирует, возможно, повезет немецкое оружие и боеприпасы на фронт, и тогда было бы прекрасно, если бы взорвался котел или полетели насосы, но ведь может случиться, что паровоз потащит состав, забитый тысячами ни в чем не повинных и дорогих сердцу железнодорожника Филипека людей, и потому каждая мелочь должна быть сделана солидно, каждый болт надежно закреплен.

Спустя несколько лет, с ломом и киркой в руках, в поте лица, подобно пещерному человеку, получая миску супа и кусок хлеба, с пламенем во взоре и надеждой в сердце, Филипек пробивался сквозь развалины Варшавы. Немцы не убили его, хоть и успели добраться до Филипека перед самым Восстанием, и он познал ад концлагеря. Уже в мае 1945 года вернулся в родной город. Исхудалый, старый человек в полосатой одежде. Не спал по ночам. Мучил его кашель. Страдал головокружениями. Все хуже слышал. Но уже осенью взял в руки лопату, а потом кирку. Никогда в жизни не работал так тяжело и самоотверженно. Пусть коммунисты, пусть Сталин, главное — вернулась Польша. Так он говорил. В 1946 году вышел на первомайскую демонстрацию и плакал при виде красных и бело-красных знамен. В его слабом теле билось тогда счастливое сердце. На другой день встретил Павелка в ущелье из руин на улице Кручей, и они бросились друг другу в объятия.

— Жива Польша, Павелек! — воскликнул железнодорожник Филипек.

— Жива Польша,— ответил Павелек.

Вспомнили тогда своих умёрших. Их было больше, чем живых.

— Так панна Моника погибла в Восстание,— ворчал Филипек. — Такая красивая девушка была... Ты еще молод, Павелек, пройдет время и полюбишь другую паненку. Не сердись на старика, что такое говорю, но жизнь знаю, многое повидал, так оно и будет...

На него нашло пророческое вдохновение, вещал о стеклянных домах. Павелек с уважением слушал, к старому Филипеку он относился с почтением, правда, слушал без особого энтузиазма, поскольку пепеэсовский дух был ему чужд, политики сторонился, она вызывала у него чувство, похожее на омерзение, а в Варшаве и по всей Польше уже наблюдал кое-какие странные дела, которые не предвещали ни стеклянных домов, ни пепеэсовского счастья. Однако промолчал. Что еще осталось у этого усталого работяги, кроме иллюзий?

А остался у него здравый смысл. Слух становился слабее, зато зрение чертовски обострилось. Его энтузиазм постепенно разрушался. Опять они агитировали. Ничего другого — только агитировали. Старались убедить Филипека, что он лишь вчера слез с дерева, что мир возникает из небытия, а история начинается сегодня. История старше, чем вы, отвечал он, я тоже был здесь до вас...

Спустя три года, зимой 48-го, когда Павелек навестил больного Фили-

пека, тот уже не вспоминал о стеклянных домах. Бледный и исхудавший, лежал он в постели, курил дешевые сигареты в деревянном мундштуке, пил сливовый компот из банки и говорил:

— Мерзость, Павелек. Я никогда не говорил о польских делах, что они мерзостью испоганены, а теперь говорю. Все испоганено. Даже собственного Гомулку [75] оплевали. Что за люди, что за люди. Как коммуна к чему-нибудь прикоснется, сразу испоганит. Раньше я так не думал. Никогда не были такими, как нужно, это я знал, но чтобы такие дела, такие дела...

Павел молчал. Смотрел на исхудавшее лицо старого Филипека и снова прощался с уходящим миром, которому никогда уже не было суждено возвратиться. Наверное, был то последний человек из прежнего мира, потерпевший поражение в нескольких войнах и революциях, узник императоров и деспотов, жертва страшных выкрутасов истории или, может, издевательского анекдота, который Бог рассказывает миру и имя которому — Польша.

За гробом железнодорожника шло немного людей. Осколки его дальней родни, Павелек с матерью, красивая пани Гостомская и трое старых работяг. Может, их только всего и осталось в этой рабочей Польше? Филипек лежал в гробу и ни о чем не знал. Возможно, однако, он только теперь знал все, хотя всю жизнь и казалось ему, что после смерти ни о чем знать не будет, поскольку не верил в Бога, зато очень верил в социализм, и до самого конца беззаветно.

Однако в тот день, когда он возвращался на трамвае домой через мост Кербедзя, ему еще далеко было до смерти. У него впереди была еще пригоршня страданий и щепотка иллюзий.

XIV

Адвокат Фихтельбаум услышал шум со двора и понял, что наступила минута, которой он ожидал. Удивился тому, что не испытывает ни страха, ни удрученности. Состояние его духа оказалось совершенно иным, чем он это себе представлял в течение всех минувших месяцев. Всякий раз, закрывая глаза и вслушиваясь в ту минуту, которая неминуемо должна была наступить, он постоянно испытывал крайне неприятное ощущение некоего падения в бездну, в темноту и неописуемый холод. Как если бы он погружался в беспредельную вселенную, о которой ему, как человеку образованному и начитанному, было известно, что в ней нет ни света, ни тепла. Ледяная, бесконечная штольня, а в ней все быстрее и быстрее падающий к бесконечности адвокат Ежи Фихтельбаум, который парит в полном одиночестве, подобно бескрылой птице или насекомому, влекомый силой притяжения, все дальше и все быстрее, до потери дыхания, в неуклонно сгущающейся тьме, холоде и пустоте. Это ощущение было очень неприятно, и он страстно желал, чтобы оно не было продолжительным, однако с каждым днем оно длилось все дольше, чтобы в конце концов стать ужасной мукой, которая не покидала адвоката даже во сне.

И вот вдруг оказалось, что, когда внизу раздался шум, предвещающий, вне всякого сомнения, приближение той мрачной вселенной к третьему этажу дома, где в пустой комнате ждал адвокат Фихтельбаум, он сам воспринял все это весьма естественно и спокойно. Не испытывал никаких страданий, его состояние необычным образом изменилось, очевидно, под воздействием того, что неотвратимо проникало извне, исходило не от него самого, но скорее именно от того шума, который неторопливо перемещался по лестнице вверх, исходило не от него самого, но от этой неторопливо шагающей по лестнице вселенной, которая с грохотом открывала и закрывала двери опустевших квартир, опрокидывала стулья, перетряхивала шкафы, передвигала табуреты. Адвокат внимательно при-

---

[75] Владислав Гомулка (1905—1982) — польский политик, деятель рабочего и коммунистического движения, в 1956—1970 гг.— первый секретарь ЦК ПОРП, в 1948 г. был осужден за националистический уклон и репрессирован. В 1956 г. был реабилитирован и избран первым секретарем ЦК ПОРП.

слушивался и обнаруживал в этом некий ритм, тиканье огромных часов, которые отмеряли его собственное время, как никогда прежде не отмеряли никакие другие часы.

Нужно запереть дверь, подумал адвокат Фихтельбаум, но тут же вспомнил, что замок-то ведь уже давно испорчен, ключ потерялся, а скоба отвалилась. Так что дверь, выходящая на лестницу, была приоткрыта, адвокат, стоя посередине комнаты, видел полоску света, падающего сквозь щель на пол, и как раз через эту щель доносились отголоски грузной вселенной.

Ну, хорошо, подумал адвокат. Стало быть, прежде всего я увижу сапоги.

Он решил сесть. Взял деревянный стул, стоящий у стены, переставил его поближе к приоткрытой двери и сел. Стул заскрипел, и адвокат испугался. Но вскоре снова был спокоен.

Мне больше не нужно бояться, подумал он. Это уже за мной.

Сидел он неподвижно, так как все же не хотел, чтобы стул скрипел. Этажом ниже раздавался шум. Знал, что долго это не протянется, поскольку в квартире под ним уже несколько дней никого не было.

Итак, он неподвижно сидел.

— Надень шляпу,— произнес голос.

Адвокат Фихтельбаум вздрогнул.

— Надень шляпу. На голове набожного еврея должна быть шляпа,— сказал голос.

Должно быть, я помешался, подумал адвокат. Что это за голос? Неужели я слышу голос Бога?

Но то был еще не Бог, то был папа адвоката Фихтельбаума, пан Мориц Фихтельбаум, умерший в начале двадцатого века. Сейчас он говорил из девятнадцатого века, когда был еще жив. Адвокат Фихтельбаум увидел своего папу в красивой, просторной комнате, окна которой выходили в сад. За садом тянулись поля ячменя, а на горизонте была видна темная линия леса. Мориц Фихтельбаум стоял недалеко от окна, у него была красивая, черная, стекающая на грудь борода, а на голове шляпа пепельного цвета. Это был очень интересный мужчина, одетый в сюртук из темного сукна и темные брюки. Массивная серебряная цепь часов блестела на уровне талии Морица Фихтельбаума, а под самой бородой болталось на тонкой цепочке пенсне.

— Надень шляпу,— сказал Мориц Фихтельбаум сыну.— Хоть это ты можешь для меня сделать перед смертью.

И он снял с головы свою шляпу и затем подал ее сыну.

— А ты, папа? — спросил адвокат Фихтельбаум очень тихо.— Теперь ты без шляпы.

— Она мне уже не нужна,— ответил отец.

Адвокат Фихтельбаум вспомнил, что его папа купил эту шляпу в девятнадцатом веке, в Вене, когда ездил туда вместе с раввином Майзельсом на конференцию еврейских благотворительных обществ. Вернувшись домой, Мориц Фихтельбаум показал шляпу маленькому сыну, и адвокат великолепно помнил, что на кожаном канте был знак некой шляпной фирмы с Кертнергассе. Не мог, правда, припомнить название фирмы, зато видел с далекого расстояния, которое отделяло его от девятнадцатого века, овальную надпись, гласившую «K.und K.Hoflieferanten» [76].

Адвокат Фихтельбаум пожал плечами.

Что за шляпы поставляли они императору, подумал он скептично, если император всегда ходил в военной форме. Он, наверное, даже спать ложился в форме.

Именно в этот момент щель расширилась и на пороге показался сапог. И в тот же момент случилось небольшое, но весьма благотворное чудо. Адвокат Ежи Фихтельбаум поднял взгляд и на стволе пистолета увидел милый, ясный луч солнца, падающий в большую комнату через окна,

[76] «Kaiserliche und königliche Hoflieferanten» *(нем.)* — поставщики императорского и королевского двора (австро-венгерского).

смотрящие на сад, поля ячменя и дальний лес. У окна стоял папа адвоката, с бородой, в шляпе поставщиков императорского двора, с цепью часов на уровне талии и пенсне, болтающимся на цепочке под окладистой темной бородой. Папа держал адвоката за ручку, а адвокат тоже был в шляпе, и у него тоже была черная, красивая борода, стекающая на грудь, хоть и был он еще маленьким мальчиком.

XV

Он стоял возле окна веранды и бдительно посматривал на улицу. Невысокий, лысоватый, щуплый. Его фигура контрастировала с чертами лица, которые были высечены мощными ударами резца, как если бы Бог работал над ним в состоянии гнева и нетерпения. То было мужицкое лицо со старинных полотен Котсиса или Хелмоньского [77], где сила переплетается с простоватостью. Итак, он стоял возле окна веранды, бдительно посматривал на улицу перед домом и ощущал сердечную боль. Ему удавалось так долго, так невероятно долго оставаться в стороне от потока событий, на сухом берегу. Он вовсе не был труслив, просто проявлял меньшую, чем другие, заинтересованность. Лишь через много лет оказалось, что все без исключения проявляли бóльшую заинтересованность. В действительности же он принадлежал к тому множеству людей, которые с горечью восприняли утрату независимости, с отвращением смотрели на оккупантов, испытывали тревогу при виде яростной жестокости мира, однако собственное существование пристраивали на обочине, поглощенные повседневными заботами или — как он — своей внутренней жизнью, своей духовностью, далекой от обыденных дел, тем более далекой, чем более зловещими и бесчеловечными становились обыденные дела. Все предшествующие годы жил среди теней, в дружбе и согласии. Был он филологом — специалистом по классическим языкам — не только по образованию и склонности. Латынь и греческий сделали из него человека, который существовал в ином мире. В те времена это было еще возможно. Жил он одиноко, окруженный приятным, культурным обществом классиков. Выходил на прогулку, держа под мышкой Фукидида, Тацита или Ксенофонта. Обедал с Софоклом и Сенекой. Живых людей различал с трудом, общался с ними лишь мимоходом, поскольку они хоть и были необходимы для жизни, но неинтересны и шумливы. Пользовался репутацией рассеянного человека. О нем ходили анекдоты, о которых он даже не подозревал, так как для окружающих являлся не собеседником, а лишь предметом разговора.

Родом он был из деревни под Кельцами, где его родители и дед с бабкой нанимались на работу за кров над головой и кусок хлеба. Матери совсем не помнил, без любви вспоминал отца, человека страшного в гневе, причиной озлобленности которого были несчастья. Десятилетним парнишкой покинул отца и братьев с сестрами и ушел в мир, чтобы бедовать в одиночестве. Но в душе сохранил ненависть к нужде и униженности, к идиллической деревне, вербе и орешнику, лоскутам пахотной земли, дымам над кострами, мужикам, ругательствам, глумлению над всем. Из таких, как он, вырастали либо бунтовщики, либо личности одинокие, внутренне сосредоточенные. Перед ним был выбор — социальная революция или бегство за пределы этого скверно устроенного мира. О таких, как он, поэты-позитивисты сочиняли поэмы. И Жеромский о таких писал. Он работал на стройках, рыл колодцы, ухаживал за лошадьми. Голодал. Мучился. И учился с мужицким упорством. За каморку в пансионатах колол дрова и носил воду. Ел в харчевнях за мытье посуды. С отличием окончил классическую гимназию, сумел получить бесплатное место в университете. Его Голгофа длилась двадцать лет, поскольку в довершение всего пришлось пережить Великую войну и 1920 год. Лишь потом встал на ноги, но всегда жил в бедности, гордый и одинокий, доктор философии, филолог-классик, сын безземельных батраков, который

[77] Александр Котсис (1836—1877), Юзеф Хелмоньский (1849—1914) — польские художники-реалисты.

собственным трудом, решимостью, силой характера поднялся не только над своим сословием, но и над миллионами других людей, родившихся под более счастливой звездой. Всем был обязан себе и ничего не требовал от мира. Довольствовался скромным существованием, зарабатывал время от времени преподавая латынь и греческий, не гнушался и других занятий, так как никакой работы не боялся, все это испытал уже в юности. Не любил мир, который был ему дан. И потому оставил мир зримых людей и предметов и переселился в теплые, солнечные края античности.

Когда разразилась война, он не страшился будущего. Одинокие люди, живущие в воображаемом мире, не знают повседневных страхов своих ближних. Война и оккупация не сделали доктора Адама Корду беднее, не отняли у него привилегию прогуливаться с Цицероном. Он вовсе не был холодным и бездушным фантазером. Страдания других наполняли его сочувствием. Но все, что творилось вокруг, все же не касалось его. Он не изучал, как многие другие, танковых прорывов Гитлера, поскольку значительно сильнее его занимали проблемы походов Кира Младшего и галльской войны. Возможно, что во времена оккупации он даже ощущал бóльшую уверенность в мире призраков и ирреальности, ведь и все вокруг было ирреально и далеко от общепринятых норм.

Рассказывали о его ужасных и вместе с тем смешных приключениях. Он попал в облаву и не заметил ее. Видя перед собой жандарма, проверявшего его документы, долго не мог понять, чего, собственно, этому человеку от него нужно, пока наконец жандарм, которому то ли все это наскучило, то ли по доброте сердечной, не махнул рукой, разрешив ему идти.

— Как же вам, пан доктор, удалось выбраться из той облавы? — спрашивал знакомый, который был свидетелем случившегося.

— Из какой облавы? Ах да, действительно. Не знаю, честно говоря. Я задумался.

Сторонился людей, а потому, естественно, и войны, которую они развязали. Его занимали войны античности, возвышенные, гордые, лишенные кровавых пятен, высеченные в белом камне. Находил в них некий нравственный порядок, которого в реальной жизни вовсе не было. И потому реальная жизнь его не заботила.

Он полюбил соседку, жившую за стеной. Очень красивая, спокойная дама, вдова офицера. Под Люблином жили его дальние родственники, иногда он навещал их, привозил банки с вареньем и бутылки с фруктовыми соками. Позволил себе раз-другой предложить банку варенья пани Гостомской. Та благодарила с очаровательной улыбкой, ее признательность выразилась в виде пачки чая, что было жестом нешуточным. Иногда заходил к пани Гостомской, она обладала огромным женским очарованием, проявляла интерес к древнему миру. Никогда ранее не встречал он столь тихой, немногословной, сосредоточенной особы. Благодарил судьбу за то, что свела его с пани Гостомской. И вдруг оказалось, что она попала в беду. По подозрению в еврейском происхождении была арестована гестапо. Ей грозила смерть.

Впервые доктор Корда так близко соприкоснулся с угрозой смерти. Еще вчера пани Гостомская с улыбкой отвечала на его приветствие, а завтра умрет, замученная гестаповцами. Ужасающей казалась не сама смерть, но ожидание смерти, часы бессильного ожидания. Пани Гостомская рассчитывала на помощь доктора Корды. Переслала ему весточку. И он не сидел сложа руки. Сразу же начал действовать. Правда, особых надежд не питал. Ну что может сделать молодой человек, пан Павел Крыньский, их единственный общий знакомый? Что может он сделать, если все то, что люди рассказывали о гестапо и улице Шуха,— правда? А ведь эти истории не были высосаны из пальца, шла жестокая война, доктор Корда слышал о пытках, казнях, концлагерях. И разве его знакомый, филолог-классик Антоний Каминьский, не томился в Освенциме? Доктор Корда регулярно отправлял в лагерь посылки с продуктами. Во многом себе отказывал, чтобы посылать продукты филологу-классику Антонию Каминьскому. Что же тогда может сделать молодой человек для спасения пани Гостомской?

Доктор Корда лихорадочно перебирал в памяти людей, которые могли бы оказаться полезны. Но знакомых у него было немного, а друзей вообще не было. Впервые в жизни его тяготило одиночество, отшельнический образ жизни. Ведь так много зависело от других людей, без содействия и усилий которых пани Гостомская неминуемо погибнет. Она, вне всякого сомнения, не еврейка. Подобные подозрения просто смешны. Если бы не очень светлые волосы, пани Гостомская походила бы на Диану. Но какое это имеет значение для людей с улицы Шуха? Еврейка или не еврейка? Разве дело в одних евреях?

Он стоял у окна веранды и бдительно смотрел на улицу. То был удобный наблюдательный пункт. Если пани Гостомская вернется, он наверняка ее заметит. Стоял в брюках-гольф и ботинках на шнурках, невысокий, лысоватый, неподвижный, с мучительной тревогой в сердце. Чувствовал себя беспомощным и слабым. Думал не о галльской войне, а о той, что была за окнами. Когда наступил вечер, не стал включать свет. Придвинул стул поближе к окну, сел и стал смотреть в темноту. Лишь в полночь осознал, что возвращение пани Гостомской в такой поздний час просто невозможно. Прикрыл тогда окно шторой затемнения и портьерами. Лег в постель. Уснул лишь под утро, но вскоре проснулся и снова встал на пост у окна. Ему предстоял целый день ожидания. И неимоверное одиночество, потому что духи античности оставили его. Временами он дремал, опустив голову на подоконник. Просыпался с одеревеневшим телом. Вдруг он проглядел возвращение пани Гостомской? Чутко прислушивался к звукам за стеной. Но там царила тишина.

Часы проходили на цыпочках за его спиной. День был весенний, наполненный солнцем и птичьими голосами. Вскоре после полудня доктор Корда почувствовал, что необходимо что-то сделать, что он не в силах дольше оставаться в неподвижности. Не ел уже много часов, правда, он вообще ел немного, не придавал пище особого значения и потому не ощущал голода. «Еда — занятие варварское!» — говорил он часто. В этом он был совсем не античным, оставаясь потомком безземельных мужиков из Малой Польши, которые могли довольствоваться чем попало — картофелиной, миской жидкой похлебки.

Покинул свой наблюдательный пункт и вышел на улицу. Топтался на тротуаре перед домом, а что он мог еще сделать? Ощущал в себе какую-то не знакомую доныне выхолощенность, разбухшую пустоту. Внезапно решил закурить. Неслыханно, подумал лихорадочно он, неслыханно. Но уже направлялся в сторону киоска, приткнувшегося возле стены дома.

— Пожалуйста, пачку сигарет,— сказал он.

— Каких? — спросил продавец.

— Не знаю. Каких-нибудь недорогих, пожалуйста.

Это были сигареты «Haudegen» [78]. Он открыл пачку, понюхал, взял сигарету в рот. Вспомнил тогда, что у него нет спичек. Вернулся к продавцу. Наконец закурил. Вдохнул дым. Страшно закашлялся. Неслыханно, думал он, неслыханно. Но продолжал курить. Прохаживался по тротуару, небольшой человек в брюках-гольф, пиджаке с выложенным наружу воротником рубашки, высоких ботинках на шнурках, и дымил, как пароход на Висле. В груди ощущал уже не бремя пустоты, но резкую, колющую боль. Теперь его мучил кашель. Он вернулся в квартиру. Бросил окурок в уборную и спустил воду. Опять встал у окна. День угасал. Ее уже нет в живых, подумал Корда. Мысль эта была страшна. Но с каждой минутой его уверенность в том, что пани Гостомская погибла, росла. Наконец он смирился. Отошел от окна и сел к столу. Что со мной творится, думал он, ведь это только один человек. Только один. Спустя много лет, в мире совершенно ином, преображенном, несформировавшемся и в меру жестоком, он продолжал метаться в этих дебрях. От античного мира остались развалины, лишь тогда античность была разрушена окончательно. Только один человек, думал он, только один. Его ужасал мир, который возник

---

[78] Меч *(нем.)*.

внезапно, выскочил, как Минерва из головы Юпитера, огромный и вездесущий, посреди пустыни руин и пепелищ. Он вдруг увидел, что обобран и одурачен. В этом мире царила доступность, которая дотоле была доктору Корде неведома. Все, чего он достигал с неописуемым трудом, ценой самоотречения, воспетого поэтами, вдруг оказалось на расстоянии протянутой руки любого. Пастух и варвар штурмовали акрополи, на которые доктор Корда взбирался одиноко, в поте лица, в унижениях, огромным усилием воли. Он не испытывал зависти, им овладело лишь разочарование и страх. Многообразие пугало его. Да и чего стоил мир, не искупленный жертвой одинокого человека, где каждому дано все или ничего, поровну и одинаково, где нет исключительности... Только один человек, повторял он, только один. Где же сияют для всех одни и те же звезды? — спросил он себя. Где без меня веют мои ветры? Кто, кроме меня, посмотрит в глаза моей смерти? Кто видел моих богов, пережил мои страхи, погружался в мои сны, испытал мой голод, смеялся моим смехом и плакал моими слезами?

Лишь тогда античность рассыпалась в прах. Один человек. Только один человек.

Первый заряд динамита под дорической колонной был взорван в тот момент, когда доктор Корда сел за стол и подумал, что пани Гостомской наверняка уже нет в живых. Человек был убит. Теперь осталось всего лишь человечество. Неужели это возможно? — спрашивал он себя. Не желал смириться со смертью одного человека. Встал и снова подошел к окну. И боги не оставили его тогда, поскольку именно в ту минуту, в наступающих сумерках, при сцеженном блеске остатков солнца, дымящегося за крышами, он увидел знакомую фигуру. Пани Гостомская шла по тротуару. Она казалась немного усталой, но, как всегда, была элегантна и красива. Доктор хотел тут же выбежать ей навстречу, однако, подумав, воздержался. Это было бы невежливо, сказал он себе, пани Гостомская захочет побыть в одиночестве, сосредоточиться. Буду бодрствовать за стеной. Им овладело радостное настроение. Он негромко напевал. Внезапно почувствовал голод. Пошел на кухню, ел хлеб, пил молоко. Потом обнаружил в кармане пачку сигарет и выбросил их в мусорное ведро.

XVI

— Я возвращаюсь, Павел,— сказал Генек.

В первый раз он назвал его не «Павелек», а «Павел». А Павел ответил несколько холодно:

— Куда возвращаешься, Генрик?

— Туда.

Генрик указал на темную тучу, поднимавшуюся над руинами гетто. Туча отражалась в его глазах.

Они стояли у стены дома на Ксенженцей, перед ними была окруженная низкими домами площадь, приземистый костел и перспектива Аллей [79]. В Аллеях зеленели деревья. Пахло весной и пожарищем.

Оба поняли, что вдруг стали взрослыми. Не были уже мальчиками. И не испытывали удивления. Ведь как бы то ни было, одному из них предстояло вскоре умереть. Рядом со смертью даже маленькие дети стареют быстро.

— Возвращаться туда не имеет смысла,— произнес Павелек.— Это верная смерть.

— Вероятно,— ответил Генрик. Он никогда ни в чем не был уверен. Слишком хорошо учился, был первым учеником в точных науках.— Вероятно,— повторил он и слегка пожал плечами.

Павел понял, что слова больше не помогут. Генрик вернется туда. Его решение твердо. А я на его месте вернулся бы? — подумал Павел. И ответил себе, что скорее всего — да. Но теперь их положение было несравнимо. Дошли уже до распутья. Стояли рядом, близко друг к другу, были

---

[79] Улица Аллеи Иерусалимские.

лучшими друзьями, вместе прожили более десяти богатых лет детства и юности, и все же в эту минуту оба понимали, что их что-то разделяет. Оказались на противоположных сторонах, между ними вырастала высокая стена. Такие стены могут рухнуть только от гласа труб иерихонских, но трубы иерихонские молчали.

— Мы, наверное, видимся в последний раз,— сказал Генрик и опять слегка пожал плечами.

Павел молчал.

Я не могу удержать его, думал он. И он уйдет. Мы уже не настолько близки друг другу, как прежде. Генрик что-то отнимает у меня. Я не могу удержать того, что он заберет с собой, когда уйдет. И то, что в нем есть от меня, погибнет по ту сторону стены. Теперь станет меньше Павелка. Возможно, совсем ничего уже не останется от того Павелка, которого я так сильно любил, ведь он был забавным, строптивым мальчишкой, и с ним никогда не было скучно. Генрик отнимает у меня Павелка, и оба они уйдут в ад. Хорошо было бы удержать для себя Генека. Того Генека, который сейчас куда-то ускользнул, спрятался в подворотне дома на Ксёнженцей и ждет там, пока Генрик не уйдет. Сохранить Генека — это единственное, что я могу сделать.

Он рассматривал лицо Генрика. На нем можно было еще распознать следы черт лица Генека. Все более слабые, бледные. Их не было уже во взгляде Генрика, но они сохранились на румяных щеках, слегка вывернутых губах, в темных, густых волосах над лбом. Все это нужно сохранить.

Запечатлеть в памяти каждую, даже самую мелкую подробность. Вот это двубортное пальто в «елочку», длинное, с широкими, подложенными плечами, с болтающейся средней пуговицей на правой стороне, висящей на перетирающейся нитке. Та пуговица оторвется раньше, чем Генрик доберется до гетто, но для Павла нитка никогда не перетрется до конца, даже через пятьдесят лет. Обувь Генека. Черные ботинки, тщательно зашнурованные, немного поношенные. Синяя лыжная шапка с выгоревшим козырьком. Шерстяной, черный шарф, стянутый узлом под шеей. Руки Генека. Маленькие, девичьи, с бледными, тонкими пальцами. Уши Генека. Его нос, брови, лоб. Румяные, как бы немного надутые щеки. Губы, чересчур, пожалуй, чувственные, которые все равно погубили бы Генека.

Запомнить Генека. И его тень, едва заметную на белой стене дома. И голубя на подоконнике над головой Генека. Я заберу его, подумал Павел, и сберегу.

Так подумал он торжествующе и горестно.

С какой же целью запоминал? Чтобы нести этого юношу сквозь длинный, мрачный туннель предстоящих лет? Зачем запоминал, если уже никогда не было им суждено говорить на одном языке? Да и чего стоит молчащий человек, не знающий слов, который не в состоянии ни называть предметы, ни вершить правосудие?

Павел запоминал того Генека в двубортном пальтеце и поношенных ботинках, чтобы потом беспрестанно с ним спорить, забрасывать его вопросами, на которые Генек вообще не отвечал, этот неизменно молчащий, капризный еврейский молокосос с красными, чувственными губами, с которым Павел спустя сорок лет шел плечом к плечу на улицу Ставки, в его руках цветы, в его висках — мстительное биение крови, в конце улицы — милиционеры в синей форме, абсолютно чуждый мир, лишенный любой связи с Генеком, мир, где нет уже ни единого камня, ни единого атома воздуха, ни единой капли влаги из того мира улицы Ксёнженцей, на которой Павел прощается с Генриком, на которой Павел запоминает Генека, чтобы на плечах перенести его, как Святой Христофор перенес то таинственное дитя, через ревущий, грозный поток. Правда, Святой Христофор сделал всего несколько шагов и уже очутился на другом, более надежном берегу, Павел же будет тащить это свое бремя, этого молчащего еврейского подростка сквозь целые десятилетия, сквозь все те дни дикости, лицемерия, глупости и фальшивого воодушевления, которые ему еще предстоят.

Так что же останется от всей этой затеи в конце пути? Старый человек придет к дому на улице Ксенженцей, остановится возле белой стены, покачает головой. Всмотрится в Генека. Генек будет румяным юношей в двубортном пальто и лыжной шапке на голове. Ни единой морщинки, ни седой пряди. «Зачем же брал я тебя с собой во все эти невзгоды, Генричек!»— скажет старый Павел. Генек пожмет плечами. Еще, может быть, скажет только то свое единственное слово: «Вероятно...»

— Прощай, Павел,— сказал Генрик и протянул руку.

— Прощай, Генрик,— сказал Павел.

Я не буду любить эту сцену, подумал он с внезапной яростью. Если мы оба останемся в живых, она будет смешна.

Но им угрожало все что угодно, только не опасность показаться смешными. Разные люди прилагали потом огромные усилия, чтобы та сцена казалась смешной на кинопленке и экранах телевизоров, и она действительно была смешна этим своим героизмом, столь несвойственным тому миру, где она должна была воспроизводиться как художественный символ. В загнивающем мире истертых лозунгов, лицемерия, мелкого торга покойниками и непрестанной болтовни о будущем подобная сцена была и в самом деле анахронична, а потому смешна, как Юлий Цезарь на велосипеде.

Но ведь тогда, стоя у стены дома на улице Ксенженцей, этого не могли предвидеть двое юношей, которые любили Командующего [80], часто говорили о Ромуальде Траугутте [81], мечтали об атаке под Рокитно [82]. Они делали лишь первые, неуверенные шаги по болотистой почве тоталитаризма, и оба были готовы скорее умереть, чем по шею увязнуть в ней.

— Пожалуй, я пойду,— сказал Генрик.

Павел молчал. Еще взлетел голубь. В глубине подворотни промелькнула фигура женщины в зеленом платке на плечах. Звонок трамвая на Новом Свете, его красное тело, появляющееся из-за угла, как жестяной дракон, игрушка для маленьких мальчиков, для Генричка и Павелка.

Он ушел. И сразу исчез. Павел посмотрел на небо. Оно было очень голубое, апрельское. Лишь где-то с краю, над крышами, медленно передвигалась грязная полоса смерти.

Возможно ли, что уже тогда он испытал ощущение некоего начала, не конца? Возможно ли, что именно в тот момент, когда фигурка Генрика исчезла у него из глаз, он понял — отныне начинается новая глава, которая будет длиться бесконечно, всю жизнь? Позднее он уже не сомневался в этом. Именно в тот день, часто думал он потом, я понял, что начинается пора разлук, прощаний и вечных тревог. Но не только в разлуках было дело. Уход Генрика стал, правда, для Павла первым прощанием. Потом было их еще много. Может, более душераздирающих, хоть и не столь сильно пережитых, так как уже никогда ему не было девятнадцати лет, когда каждый уходящий человек забирает с собой чуть ли не весь мир, оставляя лишь ни на что не годные крупицы. Позднее он научился склеивать собственную жизнь из разбитых черепков, за которые ни один разумный человек не дал бы и гроша. И не он один научился этому. И все же не только в разлуках было дело. Конечно, Генрик был его первым другом и, уходя, забрал с собой детство и прекраснейшие мгновения юности. Но почему, однако, потом, через много лет, он вспоминал не только фигурку юноши в двубортном пальто, исчезающую за углом улицы, чтобы никогда уже не появиться в мире живых, но и ту грязную полосу дыма на небе, зависшую, как ржавая тряпка, над крышами варшавских домов? Почему с той самой минуты небо над его головой уже навсегда должно было казаться грязным, линялым, даже если и сияло на нем порой какое-нибудь героическое зарево?

---

[80] Ю. Пилсудский.

[81] Р. Траугутт (1826—1864) — руководитель восстания 1863—1864 гг., казнен по приговору царского суда.

[82] Город на Буковине, возле которого отряды уланов Польских легионов предприняли в 1915 г. атаку против русских войск, понеся при этом большие потери.

Спустя полтора года, когда Генрика давно уже не было в живых, все небо над городом, от края до края, было затянуто дымами и отсветом пожаров. Павел не вспоминал тогда о расставании с Генриком, он даже не помнил вчерашнего дня, последнего часа. Жил в бою, на баррикаде восстания. Думал о винтовке, которая была частью его существа. Самой важной частью, поскольку от нее зависело все. Но и тогда ему сопутствовало ощущение безнадежности, он снова расставался и прощался. От него уходили дома и улицы, парки и скверы, памятники и люди. С каждым часом восстания Павла становилось все меньше, он сокращался и уменьшался, проваливался в бездну и исчезал, как его город. Потом все это назвали предательством, еще позднее — прекрасным безумием и, наконец, трагедией, в которую он оказался вовлечен помимо его воли и без права выбора. Он, однако, никогда не ощущал себя ни предателем, ни безумцем, ни тем более статистом в чуждой ему драме. Ему не в чем было себя упрекнуть, ведь он стремился исполнить свой долг. Что же касается других, у него никогда не было полной уверенности, что они свой долг исполнили достойно и что действительно хотели его исполнить. Но он не стремился быть судьей своих ближних, даже если они и бывали порой его судьями.

Небо казалось ему всегда грязным и неприязненным. Может, из-за того, что какое-то время он испытывал сомнения в Боге. Но и позднее, уже вновь обретя веру, не обрел надежды. Его постоянно преследовало чувство, что во время войны он утратил нечто значительное. Позднее снились ему европейские города, которых он не знал и никогда не видел. Снились соборы, замки, мосты и улицы. То были сны, в которых ему было хорошо, правда, после пробуждения он вновь ощущал какую-то утрату. Потом путешествовал по Европе. Чужак, пришелец из далеких краев. И тогда он лишился своих снов. Все те соборы, замки и мосты действительно существовали, однако ему не принадлежали, он был там посторонним. Мое европейское сознание больше не существует, говорил он себе с горечью, может, оно даже никогда не существовало, а может, было лишь иллюзией, жаждой подлинности, которая никогда не была нам дарована? Обнаруживал в себе некий варварский трагизм, то ли недостаток, то ли избыток чего-то такого, с чем было уже невозможно найти свое место в европейских соборах и на мостах над реками Европы. Впрочем, и над Европой небо было не лучше. Он возвращался оттуда с облегчением, чтобы снова грустить. В этом ему виделся определенный комизм, который был для него хоть каким-то утешением. Ведь если бы он не ощущал комизма, ему оставалось только признать себя калекой. В конце концов лучше иметь торчащие уши, чем короткую ногу.

Неужели именно Генрик отнял у него всякую надежду? Павел отдавал себе отчет в бессмысленности подобных обвинений. Живой Генрик наверняка не слишком отличался бы от Павла. Они оказались обворованы в одинаковой степени. Генрик был в лучшем положении, так как не знал об этом. Он мог, умирая, полагать, что когда-нибудь все будет по-другому. И действительно, стало несколько по-другому. Спустя некоторое время перестали убивать людей, по меньшей мере в Европе, и даже на ее окраинах. То был огромный прогресс, и Павел благословил день, когда закончилась война. Только безумцы не благословляли тот день. Только глупцы, ослепленные своей принципиальностью, не замечали разницы. Если Польша была не совсем такой, какой они жаждали, если даже она была совершенно не такой, то ведь для тех, кто уцелел, уже сам по себе факт их спасения явился вполне достаточным, чтобы благословлять его. Как-никак — Павел жил, а Генрик был мертв. И Павел отдавал себе отчет в этом различии. И все же через десять лет он почувствовал усталость, а через двадцать — парализующую скуку. Сколько можно праздновать факт, что человека не убили?— спрашивал он себя. Подобный вопрос был особенно уместен, потому что вокруг люди умирали от старости, болезней и роковых случайностей. А для тех, кто умер, было, в общем-то, безразлично, каким способом переступили они порог вечности. Не было особой разницы между стариком, застреленным на

улице оккупированной Варшавы, и его ровесником, который умер от рака лет через пятнадцать. Возможно, застреленный меньше страдал и не так долго боялся. И нет видимой разницы между ребенком, сгоревшим в пожарах войны, и тем, кого переехал пьяный водитель, когда тот бежал в школу во времена прочного мира. Матери плакали одинаково. То, что казалось прекрасным в 1945 году, несколько лет спустя стало лишь очевидностью, а еще через некоторое время оказалось скучным и банальным. И теперь не война была страшна, а мир. Для тех же, кто вообще не испытал войны на себе, поскольку появился на свет после ее окончания, этот банальный мир, то есть самая обычная жизнь на земле, становился невыносим. Павел старел, он помнил прошлое и благодаря этому был в несколько лучшем положении. Ведь он всегда мог вспомнить ад более совершенный. Однако подобное утешение не было достаточно долговременным и действенным, чтобы жить в надежде. В сущности, Павлу докучало его чувство собственного достоинства. Оно было как прыщ в носу. Ни учуять, откуда ветер дует, ни появиться в общественном месте с высоко поднятой головой.

Мир уже не был, к счастью, так жесток, как когда-то, в годы молодости Павла, зато он становился невыносимо тривиален. То был мир дефицита, мнимого порядка и общественной безопасности. Ухоженные клумбы и смердящие помойки, подлинная свобода, но переход воспрещен.

Что же мучило Павла? Неужели Генрик отнял у него право на свободу?

Однажды вечером он говорил об этом с Грушецким. Тот предложил подвезти Павла на своей машине. Они встретились совершенно случайно у сестры Вероники. Грушецкий собирался уже уходить, когда пришел Павел, редкий гость, давно не появлявшийся. С сестрой Вероникой Павла связывал сомнительный и ненадежный контакт, зависящий от не слишком регулярной корреспонденции. Оба они время от времени получали письма из Израиля. «Передайте, пожалуйста, привет сестре Веронике». «Моя дорогая, если увидишь пана П., передай ему от меня привет». Павел как раз получил лаконичную открытку, в ней были слова: «Поклон любимой В.» И он пришел, чтобы передать поклон старой монахине, странный поклон, тень которого падала через континенты, от кибуца на Западном берегу до варшавских набережных Вислы. Пробыл он недолго, сестра Вероника выглядела погасшей и слабой. Ей вскоре должно было исполниться восемьдесят лет. Целуя ей руку, он испытал ощущение, будто прикасается губами к засохшему листу.

В машине Павел сказал:

— Я помню ее высокой, крупной женщиной. Стала такая маленькая. У вас не возникает иногда впечатление, что все сокращается? Как если бы жизнь непрестанно нас уменьшала.

Грушецкий смотрел перед собой. Свет от приборной доски падал на его худощавое, англосаксонское и пястовское [83] лицо. В зубах сжимал трубку. Молчал. Пожал плечами.

— Ей уже скоро восемьдесят,— сказал он наконец, взяв трубку в левую руку, правая лежала на руле.— Жизнь так уж устроена, что мы стареем.

— У вас еще много времени впереди,— сказал Павел.— Я — другое дело. У меня времени остается все меньше. Тяжело это сознавать. Что-то уходит и не возвращается. Вечные утраты.

— Я бы не рассуждал столь пессимистично. Что касается возраста, между нами нет разницы. Когда-то была, да. А сегодня она уже не существенна. Все дело, на мой взгляд, заключается в том, как оценивать действительность. У вас несколько романтичные взгляды, я бы так это определил.

— Романтичные?— повторил Павел.— Мне такое никогда не приходило в голову. Всегда твердо ступал по земле.

— Ну, ну,— сказал Грушецкий, он внезапно съехал в сторону, притерся колесами к тротуару и заглушил двигатель.— Я бы так не сказал, дорогой друг... Наслышан о некоторых ваших похождениях в последнее время... [84] Что это, если не романтические фантазии?

---

[83] Пясты — династия польских князей и королей, ее представители правили Польшей с перерывами в период с 960 г. по 1370 г.

[84] Имеются в виду события в Польше 1980—1981 гг.

В его голосе звучали нотки обвинения. Он снова посасывал трубку. Павел рассмеялся. Грушецкий показался ему забавным.

— Вы смеетесь? Как вам угодно. Но речь ведь идет не о вас, не о ваших делах, может быть, даже жизни. Со всем этим можете делать все что вам угодно. Но вы подставляете под удар страну! Без смысла, без малейшего шанса.

— А где есть смысл и шанс, пан инженер? Мы сидим по уши в болоте, а когда кто-то хочет из болота выбраться, вы говорите, что это не имеет смысла?!

Грушецкий кивнул.

— Да. Не имеет смысла. Можно утонуть. Можно пойти на дно.

— Значит, сидеть и не рыпаться? Никаких движений, да?

— Никаких движений! Любое движение опасно. В конце концов, если уж вам по душе подобные не слишком удачные сравнения, мы сидим в этом болоте по шею, но голова, что ни говори, остается сверху. Если начнем взбрыкивать, нам конец! А то было взбрыкивание, просто взбрыкивание! И вот результат. Неужели вы не поняли? Сидели в болоте по шею, но теперь можем дышать уже только носом. Еще одно неосторожное движение — и все!

Он закуривал трубку. Пламя зажигалки освещало разгневанное лицо.

— Вопрос, как подойти,— произнес Павел холодно.— В конечном счете здесь так было всегда... Уже двести лет или еще дольше. Народ существует благодаря тому, что все-таки непрестанно брыкался. А если бы не брыкался, его бы уже совсем не было...

— Откуда вам это известно? Откуда такая уверенность, что наши сумасбродства стали фундаментом выживания? Что свое достоинство обязательно нужно искупать подобными жертвами? А может, следовало поступать совершенно по-другому?

— Пан инженер, я полагаю, что в истории не существует сослагательного наклонения,— сказал Павел.— Было то, что было. В расчет принимается то, что было... Поляки таковы, какие есть, ибо происходило то, что происходило. Вы это называете романтизмом? Но ведь мыслить-то нужно исторически, мыслить памятью народа. Учиться у прошлого. Ведь как-никак был здесь когда-то Высоцкий [85]. И Мохнацкий [86]. И Мицкевич. Траугутт, Окшея [87], Пилсудский, Грот [88], Анелевич [89], те люди из Восстания [90]. Все они были, пан инженер. Я не могу сказать, что бы произошло, если бы их не было. И меня это не интересует. На этом основан мой реализм. Они были. Этого не перечеркнешь, не сотрешь. И мы таковы, какие есть, потому что они были!

— Пусть были, и что с того?— произнес Грушецкий.— Неужели каждое поколение должно приносить жертвы? Фантазия. Вот взгляните на чехов. Сколько в них рассудительности, дальновидности. Со времен Белой горы [91] ни разу не выстрелили. Четыреста лет неметчины пережили спокойно и с достоинством. Без единого выстрела. И существуют, как видите. И присутствуют в этом мире в большей степени, чем мы.

— Другая эпоха, другие методы, другая власть. Те четыреста габсбургских лет принесли меньше разорения, чем сорок лет советского владычества. О чем вы говорите, пан инженер?! Старый Краков по сей день с симпатией вспоминает императора. Австрия, Боже мой! О чем вы вообще говорите...

---

[85] Петр Высоцкий (1797—1874) — польский офицер, один из инициаторов восстания в ноябре 1830 г. против гнета царской России, находился в ссылке в Сибири в 1831—1857 гг.

[86] Маурициий Мохнацкий (1803—1834) — польский политик и публицист, участник восстания 1830—1831 гг.

[87] Стефан Окшея (1886—1905) — польский революционер, член ППС, казнен в Варшавской цитадели.

[88] Псевдоним генерала Стефана Ровецкого, командующего Армией Крайовой, казнен нацистами в концлагере Заксенхаузен.

[89] Мордехай Анелевич (1919—1943) — руководитель восстания в Варшавском гетто в апреле-мае 1943 г.

[90] Варшавское восстание против немецких оккупантов в августе-сентябре 1944 г.

[91] Гора около Праги, где в 1620 г. во время Тридцатилетней войны императорские (габсбургские) войска разгромили чешские войска, что привело к утрате Чехией самостоятельности.

— Под Габсбургами чехам было не так уж и весело. И нам тоже! Лишь в последние десятилетия... Тут вопрос выбора. Или, или. Как вы себе представляете наше существование без защитного зонтика России? Как вы себе это представляете? Коммунизм? Я тоже не восхищен. Но, наверное, сейчас самое время понять, что мы не Запад. Мы католический Восток!

Павел снова рассмеялся.

— Не понимаю. Какое-то странное изобретение. Католический Восток? Ласточка или орел на дне океана. Нежизнеспособное создание.

— Почему же ласточка в океане? Может, например, быть крылатый конь. Нечто прекрасное!

— Призрак, извините меня! Надо прежде всего ответить себе на вопрос, кто есть человек? Каков смысл его существования на этой земле? Что говорит об этом ваш католицизм, ваша приверженность достоинству человеческой личности, ее неповторимости и суверенности по отношению к миру? Как вы можете все это совместить с коллективной цивилизацией, пан инженер?

Грушецкий пожал плечами.

— Россия — тоже творение Божье,— возразил он.— Бог никогда не оставлял Россию, она никогда не оставляла Бога. Не надо мерить Россию сегодняшними мерками.

— Но ведь она такая, какая есть,— воскликнул Павел.— Неужели вы не видите этого? Не в России, впрочем, дело. Никто здесь не претендовал на роль спасителя мира. Отвоевать хоть клочок своего достоинства, щепотку собственной правды. Дело шло лишь об этом!

Внезапно его охватило ощущение ужасной безнадежности, пронзительной печали. Слишком поздно, подумал он. А ведь он прав, этот Грушецкий. Что-то закончилось раз и навсегда, уж давно, на моих глазах, при моем участии. Тогда закончилось. И никогда не возвратится. Где уж там думать о достоинстве, если не осталось уже Кручей и Маршалковской, Мариенштата и Крохмальной. Какая собственная правда может оживить этот город, который подняли из руин, как театральную декорацию, если нет уже людей, ни одного человека нет на Керцеляке, Длугой, Кошиковой. Даже камни, которые сохранились, находятся теперь совсем в другом месте. Ни единой капли той воды в Висле, ни единого листа с тех каштанов в саду Красиньских, ни единого взгляда, возгласа, улыбки. Он же должен это знать, именно он! Маленький Гиршфельд должен знать это. Что-то закончилось бесповоротно, потому что была перерезана нить, соединявшая некогда историю с современностью. Было время, когда поколения передавали друг другу пылающий факел. Где же факел, который я держал в руках, уверенный, что держу тот самый — зажженный столетия назад? Куда подевался факел городского стражника, освещавшего дорогу для Вазы [92] и Понятовского [93], тот самый, который горел в мастерской Килиньского [94], над головой Набеляка [95], в камере Траугутта, на Замковой площади, когда Дед [96] ехал в гробу в Краков, в окопах Сентября [97], в бункере на Генсей [98], над баррикадой на улице Мостовой? [99] Где тот погасший факел правды и достоинства, который недавно хотели вновь зажечь корабелы Гданьска? Неужели на сей раз мы проиграли окончательно и навсегда? Неужели последние без малого сорок лет — это уже новое качество, переход к необратимому оскудению нашей души? Ведь в первый раз сама Польша Польшу осквернила и втоптала в грязь!

[92] Сигизмунд (Зигмунт III, 1566—1632) — король Польши из шведской династии Ваза с 1587 г.,

[93] Станислав Август Понятовский (1732—1798) — последний польский король с 1764 по 1795 г.

[94] Ян Килиньский (1760—1813) — сапожник, один из руководителей народного восстания в Варшаве в 1794 г.

[95] Людвик Набеляк (1804—1883) — поэт и историк, участник восстания 1830 г.

[96] Ю. Пилсудский.

[97] 1 сентября 1939 г. Германия начала войну против Польши.

[98] Там 8 мая 1943 г. последние участники восстания в Варшавском гетто во главе с М. Анелевичем покончили с собой.

[99] Один из участков Сопротивления во время Варшавского восстания 1944 г.

— О чем вы думаете?— спросил Грушецкий негромко.

— О том, как я был интернирован,— ответил Павел.— Короткая, тривиальная история. Однако в нравственном смысле это оказалось хуже концлагеря. Когда я смотрел на мазовецкие и малопольские лица парней в милицейских крапчатых куртках, мне казалось, что падаю в пропасть.

— Но они ведь не были жестоки с вами,— сказал Грушецкий.

— Жестоки не были, зато просто были. С орлами на фуражках. На широко расставленных ногах. И возле исповедальни тоже. Ходили вместе с нами к воскресной мессе, когда приезжал капеллан.

— Вот видите,— проворчал Грушецкий,— так что все же...

— Полно шутить, пан инженер. Дело не в тех парнях, которым наверняка снились их мрачные сны. Все дело в каком-то новом облике Польши, ужасающем и безнадежном, так как все же...

Он оборвал на полуслове. Бессмысленно, подумал он. Он не хочет этого понять. Бедный шляхтич, потомок Речи Посполитой Обоих Народов [100]. Он не хочет этого понять, иначе мир обрушится ему на голову. А разве я понял, о чем, собственно, идет речь? На чем основывается этот мой заговор против истории? Господи Боже, ведь это неправда, что всегда был единый факел, общая цель, солидарность! Это же неправда, вечное польское вранье. Наверное, он прав, считая, что у меня романтическая душа. Не так, как он думает, но все же романтичная. Я смешон! То последнее испытание было необходимо. Неотвратимо. Благословенно. Наконец испустил дух миф о нашей исключительности, о нашем польском страдании, которое всегда было чисто, праведно и благородно. Разве факел не освещал лица повешенных предателей? Разве не бежали от его сияния шпики Константина? [101] Кто выдал Траугутта? Кто оплачивал казачьи сотни, шедшие против рабочих в пятом году в Лодзи, Сосновце, Варшаве? Кто избивал в Березе и истязал в Бресте? Кто гнал Генека Фихтельбаума по варшавским улицам? Кто отдал Ирму в лапы немцам? Кто выгнал ее из Польши? Святая Польша, страдающая и мужественная. Святая польскость, пропитая, блудливая, продажная, изрыгающая напыщенные фразы, антисемитская, антинемецкая, антирусская, античеловечная. Под образком Пресвятой Девы. Под ногами молодых шовинистов и старых полковников. Под крышей Бельведера. Под мостом. Святая польскость возле пивной и перед кассой. Тупые морды синих полицаев. Лисьи физиономии торговцев евреями. Жестокие лица сталинистов. Хамские рожи Марта [102]. Перепуганные рожи Августа [103]. Чванливые рожи Декабря [104]. Святая польскость святотатцев, которая осмелилась Польшу называть «Христом Народов» [105], а сама взращивала шпиков и доносчиков, карьеристов и неучей, палачей и взяточников, ксенофобию возвысила до ранга патриотизма, висла на ручках чужих дверей, верноподданнически целовала руки тиранов. То последнее испытание было необходимо! Неотвратимо. Благословенно. Может, наконец поймет теперь Польша, что мерзавец и святой живут бок о бок, также и здесь, над Вислой, как и по всему Божьему свету!

Он повернул голову, посмотрел на профиль Грушецкого. Не стану говорить ему всего этого, ибо есть еще в моем сердце капля милосердия. Достаточно собственных бед тащит на своих плечах этот мой Гиршфельд — коронный вице-канцлер. Бог дал приют его угнетенной душе. Не буду нарушать покой, искупленный страданиями поколений. Он мне симпатичен. Последний, кто так красиво ведет полонез. В профиль он немного

[100] В 1569 г. Польша и Литва образовали единое государство, просуществовавшее до XVIII в.

[101] Великий князь Константин Павлович (1779—1831) — фактический наместник российского императора в Варшаве.

[102] В марте 1968 г. после студенческих беспорядков началась антисемитская кампания в Польше.

[103] Август 1980 г. — забастовка на гданьских верфях, начало образования профсоюза «Солидарность».

[104] В декабре 1981 г. в Польше было введено военное положение, повлекшее за собой интернирование многочисленных участников движения «Солидарность».

[105] Символ польского мессианизма XIX в.: Польша страдала подобно Христу, умерла (подверглась разделам), но в будущем вновь воскреснет.

напоминает Генека. А может, профиль Генека я и не помню вовсе? Так хотел запомнить, так старательно запоминал тогда, на углу Ксенженцей, и все-таки не помню! Какой нос был у Генека? Какая форма подбородка? Когда он приходит во сне, всегда вижу его анфас. В лыжной шапке на голове. В поношенном пальто, с болтающейся пуговицей. А профиль не помню. Какой нос был у него, крупный? Еврейский? Как у этого здесь, который печально молчит, попыхивает трубкой и думает, наверное, что я — один из немногих людей на свете, кто знает его сокровенные тайны?

Куда же подевалась наша свобода, если не можем мы быть самими собой? Куда я подевался, когда пропал?

XVII

Мир лгал. Каждый взгляд был коварен, каждый жест подл, каждый шаг гнусен. Бог еще придерживал самое тяжкое испытание, гнет языка. Не спустил еще с цепей свору не знающих устали, покрытых пеной лицемерия слов. Слова кое-где тявкали, но были еще слабы, оставаясь на привязи. Не слова убивали тогда, лишь позднее предстояло им вырасти в банду убийц. Гнет слов еще не наступил, когда Бронек Блютман очутился перед Штуклером. Штуклер стоял в светлом прямоугольнике окна. За окном качалась на ветру зеленеющая веточка.

— Она лгала,— сказал Блютман.— Я знал ее еще до войны.

Штуклер покачал головой.

— Еврей не может подвергать сомнению слова немца,— сказал он спокойно.— Не в ошибке дело, хоть ошибок и не должно быть, но в упрямстве и самоуверенности.

— Господин штурмфюрер, память меня не обманывает. Перед приходом сюда она вовсе не пыталась делать вид, что...

Штуклер ударил его по лицу. Бронек Блютман отступил, опустил голову и умолк. Мир лгал. Его фундаменты были разъедены ложью, коварством и подлостью. Двузначность лжи, ее многозначность и многократность вызывали головокружение. Бесчисленность предательств и унижений. Разнообразие способов, методов и воплощений предательства. Я предал эту еврейку, но и она предала меня. Такого даже Христос не предвидел. Был слишком прямолинеен. Иуде говорил: «Мой друг!», Петру кричал: «Прочь, сатана!» Может, таким было его чувство юмора?

Штуклер ударил снова, и Бронек Блютман снова отступил. Лживый мир. Все навыворот. Даже Христос произносил слова, которые были разновидностью предательства и лжи. Блуднице сказал: «Иди и не греши больше!» Как же могла она не грешить, если была блудницей, он же не повелел ей оставить блуд и стать покровительницей страждущих.

Ведь я помню ее еще с довоенных времен, эту еврейку! Никакой немец, никакой поляк не обладает даже сотой долей моего инстинкта, я ношу в себе такой еврейский компас, о каком они даже представления не имеют. Еврей всегда узнает еврея. Этот глупый, тупой бандит должен знать об этом. Мне можно доверять. А почему? Если я предал тех, могу предать и его! Всех могу предать, ибо меня самого предали.

Штуклер нанес третью пощечину. Ладонь Штуклера была слегка вспотевшей, теплой. Бронек Блютман больше не отступал. Удар был не таким сильным. Теперь он меня убьет, подумал он.

— Итак?— произнес Штуклер.— Все-таки ошибка, не так ли?

Почему он хочет меня унизить даже здесь, где я соображаю во сто крат лучше, чем он, чем все они вместе взятые? Заглядывал ей в ухо, искал знаки, которых никогда не было. Может, еврейское ухо, как раковина, добытая в океане, шумит для него шелестом песков Иудеи? Не ухо, Штуклер, а взгляд! Я вижу его, Штуклер, меня ни один еврей еще не провел! В луче света, который отражается в еврейском зрачке, вижу я старого Моисея, праздник Песах и праздник Кущей, отчетливо вижу ковчег завета, лица всех двенадцати колен Израиля, и Гаризим, и Сихем, и Вефиль, и Хеврон — все это вижу в одном-единственном еврейском взгляде, от Идумеи, через

Кармил, до самого Фавора и озера Генисаретского, и даже дальше, вижу Дан, и еще дальше вижу, аж до горы Ермон. Почему хочет он унизить меня на моей собственной земле? Не было никакой ошибки, это он попался в сети предательства, не надо было возводить мир предательства, Штуклер, а теперь мир предательства поглотит тебя без остатка, я же не ошибался, я владыка на моей земле, никто на этой земле не может быть сильнее меня.

— Господин штурмфюрер,— сказал Бронек Блютман.— Ошибка может случиться у каждого. Больше это никогда не повторится.

Напрасно я это говорю. Меня и так убьют. Все вокруг оболгано, испоганено и втоптано в землю. Почему я должен быть благороднее других? Вот я и говорю — ошибка. Говорю — ошибка и вновь совершаю предательство, утрачиваю свою ценность, на что нужен Штуклеру какой-то тип, который совершает ошибки, такого типа следует отправить на Umschlagplatz [106] ни минуты не медля, для того чтобы ошибаться, у Штуклера есть собственные халтурщики с жирными холками и воловьими глазами, есть у него еще поляки, чтобы ошибаться, на что ему еврей, который совершает ошибки? А евреи существуют на свете для того, чтобы их убивать и чтобы не совершали ошибок. Я ошибки не совершил и буду убит. Как может существовать подобный мир?

— Я последний раз терплю ваши ошибки,— сказал Штуклер.— Вон!

Не крикнул вовсе, сказал все это тоном спокойным, даже вроде вполне вежливым. Вернулся к столу. Прямоугольник окна был пуст. Только зеленая веточка и кусок неба. Бронек Блютман поклонился с уважением, но без униженности. Вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Прошел через секретариат, по коридору, по лестнице. Все равно меня убьют. Не сегодня, так завтра. Не убив меня сегодня, он совершил ошибку. Мы оба совершили ошибку, как забавно. Я совершил ошибку, так как не совершал ее, он же ее совершил, поскольку ожидает, что я не совершу ошибки, которая будет ошибкой, ибо если это не будет ошибка, то я совершу ошибку. Как все это забавно. Ложь, предательство, унижение, низость, донос, убийство, зверство, блудливость, ошибка, ошибочка, безумие, помешательство...

На улице он остановился. Деревья зеленые, небо голубое. Предательство зеленое, ложь голубая. Мир больше не существует, подумал Бронек Блютман. Мир умер. Кончился. Никогда больше мир не возродится. Издох на веки веков. Аминь. Ошибка, подумал он. Если такой великий, мудрый еврей, как Иисус Христос, совершал ошибки и заблуждался, то за кого ты себя принимаешь, Бронечек! Ничтожный жиденок, метр восемьдесят четыре сантиметра ростом, еврей-верзила, можно сказать, а все же ничтожный жиденок, Бронечек. Ошибка? Черт с ним, пусть ошибка. Отныне обхожу за версту пани Зайденман. Всех варшавских шлюх из предвоенных дансингов за версту обхожу. Настигаю своим смертоносным еврейским взглядом лапсердачников, лоточников, доходяг. Еврейских шлюх обхожу, потому что их уши, как раковины из южных морей, источают музыку спасения. Мир был построен на предательстве, лжи и унижении. Не станем отрицать, что Каин все же прикончил Авеля. Не станем отрицать! В начале было предательство, ложь и унижение Каина. Что ему еще оставалось, как не взять камень и убить Авеля? Что еще ему оставалось, если Бог не дал ему никакого выбора?

Бронек Блютман остановил рикшу, сел и велел ехать на площадь Нарутовича. Рикша сопел и покашливал.

— Что с вами?— спросил Бронек Блютман.

— Грипп меня замучил.

— Надо было остаться в постели.

— Кому-то можно, кому-то нет,— ответил рикша. Потом оба молчали. Над ухом Бронека Блютмана по-прежнему раздавалось тяжелое сопение. На площади Нарутовича он дал рикше щедрые чаевые.

— Поставьте себе банки,— сказал он уходя.

— Лучше выпью четвертинку,— ответил тот.

---

[106] Перевалочный пункт *(нем.)*. Железнодорожная станция на территории Варшавского гетто, где производилась погрузка людей в эшелоны для отправки в концлагери смерти.

Опять ошибка, подумал Бронек Блютман. Никому не угодишь.

Вошел в ресторан, удобно устроился за столом, заказал приличный обед. Отец Бронека, старик Блютман, часто говаривал: «Если у тебя горе, ты не горюй, надо сначала хорошо поесть, а горевать будешь потом». Ошибка, подумал Бронек Блютман. Его отец уже после первых селекций отправился на Umschlagplatz. Он давно уже ничего не ел и горевал, как если бы для этого был повод. Старик Блютман тоже совершал ошибки. И Иисус Христос. Все, не исключая Господа Бога. Тогда в чем дело, Бронечек?

Съев обед, снова пришел к убеждению, что будет убит. Не сегодня, так завтра. В начале было убийство, подумал он. Ошибка. В начале было слово. Но Бог держал эту страшную свору в резерве. Мир не дозрел еще до гнета слов.

Вечером Бронек Блютман навестил любовницу. Искупался, надел вишневый махровый халат. Любовница посматривала на Бронека. Сидела в глубоком кресле, на ней были только яркие трусики, шелковые чулки и подвязки с голубой мережкой. Сидела в кресле, ее большие, голые груди выглядели, как холмы, а накрашенные губы — как рана поперек лица. Она смотрела на Бронека из-под прикрытых век, поскольку ей казалось, что на Бронека Блютмана следует смотреть именно так. Была глупой женщиной, выросшей в нищете и в кино. Ее отец был билетером, она приносила ему по вечерам ужин в кастрюльке и подглядывала фильмы, стоя за портьерой у дверей с надписью: «Выход». Всегда смотрела фильмы в перспективном сокращении. Вытянутые лица и бесконечные взгляды. Таким страстным, бесконечным взглядом прикоснулась она к лицу Бронека Блютмана. Хотела, чтобы он обладал ею на кресле, чего ранее не случалось. Ошибка, подумал Бронек Блютман, мне сейчас не до фокусов. Иду спать. Ошибка, она все же настояла на своем. Бронек Блютман сопел как рикша, больной гриппом. Потом заснул. Ему снилось, что он старый. Ошибка. Годом позднее его расстреляли в руинах гетто. Он вовсе не ошибался, когда думал, что его все равно убьют.

XVIII

Учитель Виняр, математик, пользовавшийся симпатией и уважением нескольких поколений воспитанников, которых без малого полвека кормил нулем и бесконечностью, стоял на трамвайной остановке, держа в правой руке зонт, а в левой — свернутую в рулон газету «Новый курьер варшавский», которую в тот день еще не успел прочитать. Рядом с учителем остановилась полная женщина в синем пальто с бархатным кантом. Трамвай долго не подходил. Остановка находилась на площади Красиньских, некогда оживленной точке города, где соприкасались два мира. Учитель Виняр хорошо помнил площадь еще с прошлых лет, так как жил на улице Свентоерской и здесь пролегал его путь к центральному кварталу, где располагалось здание гимназии, в которой он преподавал математику. В прежние времена площадь была для учителя местом в высшей степени приятным и даже в некотором смысле символичным, поскольку математик был либералом, христианином, сторонником независимости, а также филосемитом. Подобное встречалось не слишком часто и в этой части Европы представляло собой смесь столь же благородную, сколь и своеобразную. С некоторого времени, однако, площадь, где учитель Виняр тщетно ожидал трамвая, сменила свой облик и теперь казалась наставнику юношества мрачной и отталкивающей. Стоя на остановке, благодаря своему высокому росту и гибкой шее, на которой находилась небольшая, но умная голова, учитель мог видеть красную, высокую ограду, отделяющую арийскую часть города от гетто. Этот вид, неизвестно почему, всегда вызывал в учителе чувство унижения, вместо того чтобы наполнять его гордостью от сознания своей принадлежности к лучшей человеческой расе. Возможно, чувство подавленности и униженности, каждый раз охватывавшее учителя Виняра при взгляде на ограду гетто, возникало от уверенности, что по ту сторону страдают и его ученики, а среди них лучший математик из нескольких

школьных поколений, ученик по фамилии Фихтельбаум. Ученика Фихтельбаума учитель Виняр видел в последний раз три года тому назад, однако прекрасно помнил его румяное лицо с несколько капризным ртом и темными глазами. Учитель Виняр отличался прекрасной памятью именно на лица. Он часто путал фамилии учеников, почти никогда не запоминал имен, но лица учеников носил в себе с точностью буквально фотографической. Запоминал также жесты учеников. Например, ученик Крыньский, юноша с мечтательным взглядом и умеренными способностями к математике, имел обыкновение поднимать руку, когда желал отвечать, весьма характерным образом — локоть прижав к груди и подняв вверх два пальца, указательный и средний, в полном соответствии с польским военным уставом. У этого ученика были, кажется, какие-то родственные связи с армией, чего учитель Виняр не одобрял, поскольку после Великой войны он стал в довершение всего еще и пацифистом.

Итак, математик страдал. Когда был создан еврейский квартал, он оставил свою квартиру и переехал в дом поблизости, с южной стороны площади Красиньских, на улице Длугой. То была ошибка, проистекающая из математической логики учителя. Он хотел остаться на насиженном месте и смотреть издали на свой прежний дом в районе гетто, поскольку рассчитывал, что война долго не продлится. Следовало же поступить иначе, может быть, менее рационально, зато дальновидно. Соседи учителя Виняра, когда пришло время оставить родное гнездо на улице Свентоерской, перебрались на дальнюю окраину города. Это несколько напоминало сжигание мостов за собой, что учителю Виняру казалось малодушным и даже, пожалуй, недостойным. И потому он остался. Оттого и страдал. Днем и ночью он становился свидетелем триумфа зла. Чуть ли не за стеной умерщвляли соседей. Утешала его мысль, что Бог и Польша строго учитывают все эти преступления и в день суда вынесут свои приговоры. Бог в более поздний срок, а именно в мире ином, а Польша — в соответствии с чрезвычайными законами. И все же он страдал, так как сознавал, что самый суровый приговор не вернет к жизни умерщвленных соседей и не осушит проливаемых еврейских слез.

Трамвай все не подходил. Дул холодноватый ветер. Женщина, стоявшая рядом с учителем, застегнула воротник пальто. Далеко, за оградой гетто, раздались выстрелы. Учитель Виняр привык к подобным звукам. Но внезапно, к изумлению наставника многих поколений гимназистов, до его ушей донесся также другой звук, в высшей степени своеобразный. Раздались такты мелодии из большой шарманки. Слышны были тарелки, и большой барабан, и малый, а также, похоже, скрипки, контрабасы, флейты, учитель Виняр не мог этого точно определить, так как его музыкальная культура была невысока, а слух ослабленный. Но вне всякого сомнения, на площади раздавалась веселенькая музыка, и тут учитель вспомнил о карусели, которая недавно была здесь установлена. Она стояла почти у самой ограды гетто, пестрая и радостная, как все карусели на свете. Были там белые кони с красными ноздрями, венецианские гондолы, повозки, сани и даже великопанская карета. Все это вращалось в такт музыке, механизм карусели постанывал, кони скакали, гондолы плыли, сани скользили, а все вместе шумело, трещало, бренчало и непрерывно вращалось посреди взрывов смеха, повизгивания пугливых девиц, возгласов молодых людей, заигрывания, хихиканья и прочих нежностей. Учитель Виняр посмотрел на карусель, увидел мчащийся пестрый круг, смеющиеся лица, развевающиеся на ветру волосы девиц, белые пятна голых икр и бедер, шевелюры, рубашки, юбки, голенища, трусики, галстуки, флажки, конские гривы, фонарики, лавочки, цепочки, лебедей, бабочек. Учитель увидел этот прелестный, музыкальный, механический, панический вихрь и услышал вопль шарманки, треск автомата, крик еврея, грохот механизма карусели.

Женщина в наглухо застегнутом пальто сказала:

— Я предпочитаю трамвай.

Они посмотрели друг другу в глаза. Если бы женщина произнесла эти слова чуть раньше, учитель Виняр, может, и ухватился бы за них, как за

последний якорь спасения, как за буксирный трос — и выкарабкался на берег надежды. Но она заговорила слишком поздно. Учитель Виняр, математик, выпустил из рук газету, повернулся в пируэте, как если бы сам находился на карусели, и замертво упал на тротуар.

Неизвестно, какие мысли посетили его в тот момент, когда он упал. Женщина в наглухо застегнутом пальто позднее сообщила родственникам математика, что, уже лежа на земле, с закрытыми глазами, по-прежнему стискивая зонт в судорожно сжатой ладони, учитель прошептал синеющими губами слова, которые могли означать то ли — «О Польша!», то ли — «Ох, поляки!»— однако вопрос этот так и остался невыясненным. И все же во время похорон учителя Виняра выступавший со словами прощания гимназический преподаватель физики, с которым покойного долгие годы связывала тесная дружба, заявил собравшимся провожающим, что математик Виняр «пал на посту». И это соответствовало истине. Гроб с телом покойного от кладбищенских ворот до самой могилы несли бывшие ученики, среди них ученик Павел Крыньский, который хоть и не отличался математическими способностями, но покойным был все же любим. Среди присутствующих на похоронах недоставало ученика Фихтельбаума и еще нескольких учеников веры Моисеевой, судьба которых косвенно отразилась на судьбе учителя Виняра. Эти отсутствующие, как можно было заключить, успели, однако, опередить математика на пути к вечности.

Во время похорон шел мелкий, надоедливый дождик. Дамы прятались под зонтиками, мужчины шаркали галошами по аллейкам кладбища, покрытым гравием. Когда могилу покрыли букеты скромных цветов, провожающие разошлись. Некоторые из них, несмотря на дождь, прогуливались еще некоторое время среди могил, читали фамилии умерших и даты их смерти, высеченные на каменных досках и мраморных плитах, оживленно обсуждали судьбы тех, кого знали лично или помнили из истории Польши. Люди пожилые во время прогулки свыкались с мыслью о собственном, достаточно скором уходе из жизни, молодые утверждались в своем патриотизме. И то и другое было весьма своевременно. Немногим из тех провожавших удалось пережить войну и дождаться времени, когда об учителе Виняре никто уже не помнил и никто не утверждал, что он пал на посту. Ведь что ни говори, в эпоху, которой предстояло наступить после войны, такой либерал, христианин и пацифист, как учитель Виняр, не мог рассчитывать на популярность. Не вызывало сомнений и то обстоятельство, что математик пал на остановке, а не на баррикаде и, падая, держал в стынущей руке не винтовку, а зонт, да к тому же еще и латаный, поскольку математик был человеком бедным.

В день похорон учителя Виняра карусель на площади Красиньских по-прежнему кружилась, лошадки скакали, повозки подпрыгивали, сани скользили, гондолы плескались, флажки трепетали, девицы визжали, молодые люди покрикивали, шарманка хрипела, механизм карусели грохотал, автоматные выстрелы становились все громче, рвались артиллерийские снаряды, ревело пламя, и только еврейских стонов не было слышно из-за ограды, потому что евреи умирали в полном молчании, они отвечали гранатами и личным оружием, но рты их молчали, ибо они были мертвы, более, чем когда бы то ни было прежде, мужественно выбирали они смерть, еще до того, как она наступала, выходили ей навстречу, в их гордых глазах было все величие человеческой истории, в них отражались пожары гетто, охваченные ужасом морды эсэсовцев, одуревшие морды польских зевак, собравшихся вокруг карусели, горестное лицо покойного учителя Виняра, в их глазах отражались все далекие и близкие судьбы мира, все его зло и крупица его добра, отражалось лицо Создателя, мрачное и гневное, печальное и немного смущенное, потому что Создатель отводил глаза к другим галактикам, чтобы не смотреть на то, что уготовал Он не только своему избранному народу, но всем людям земли, осквернённым, соучаствовавшим в зле, подлым, беспомощным, устыдившимся, а среди всех людей земли и тому человеку, который, стоя

на остановке трамвая, точно на том месте, где несколько дней назад учитель Виняр пал на посту, благодушно сказал:

— Вот жиды поджариваются, аж треск стоит!

С неба, затянутого дымами, никакой гром, однако, не прогремел и не поразил того человека, ибо так было предначертано в книгах творения тысячи тысяч лет назад. А еще было предначертано, чтобы учитель Виняр умер немного раньше и не услышал слов того человека, который весело рассмеялся и направился в сторону карусели.

XIX

Седло слегла давило. Наверняка снова плохо затянули подпругу. Все чаще приходилось ему сталкиваться с разгильдяйством. Как если бы в атмосфере этой страны таилась некая бацилла, которая проникала даже в организм его подчиненных. Мерин поднял голову, копыто звякнуло о камень. Он любил подобную гармонию между собой и животным. Именно в такие минуты он сильнее всего ощущал связь своего человеческого естества с природой. Деревья нежно зеленели, в воздухе пахло весной, над прудом пронесся легкий, теплый ветер, наморщил гладкую поверхность воды. Когда-нибудь это кончится, подумал Штуклер. Аркадия не может длиться вечно. Мерин ступал теперь шагом в тени развесистых каштанов и лип. Все еще голые ветви открывали вид на светлый дворец и обломки античных колонн, которые казались вырастающими из воды, как развалины затопленного строения. Здесь все подделка, подумал он, фальшива даже красота, которую они создали. Слегка ударил хлыстом по крупу коня. Мерин перешел на размашистую рысь. Засвистел ветер, теперь Штуклер слышал шелест летящих из-под копыт камней и наполненный, благородный цокот. Он снова подумал, что когда-нибудь это все кончится. Эта страшная война когда-нибудь кончится, последует возвращение к банальности. Но если мы войну проиграем, не будет нам места под солнцем. Так было всегда. Орда заполонит Европу. Варвар будет торжествовать на руинах. Он остановил коня. Солнце стояло высоко, просвечивало сквозь кроны безлистных еще деревьев. Тени ветвей ложились на траву. Варвары заявят, что мы были преступниками, отребьем рода человеческого. Мы жестоко ведем эту войну, но ведь все войны одинаково жестоки. Нам припишут величайшее от сотворения мира бесчестье, как если бы все это происходило впервые в истории человечества. Но мы не совершаем ничего такого, чего другие не совершали бы до нас. Убиваем врагов нашего народа, чтобы одержать победу. Убиваем с огромным размахом, потому что мир ушел далеко вперед и все происходит теперь с огромным размахом. Это смешно и печально, но если мы проиграем войну, победители заявят, что мы совершали массовые убийства, как будто убийства более умеренные могут иметь оправдание. Такова их нравственность, во имя которой они ведут войну. Если мы проиграем, они составят список жертв и придут к заключению, что мы были преступниками, лишенными совести. Я приказал убить не более ста евреев. Если бы я приказал убить только десять евреев, разве был бы я более добродетелен, а моя душа более достойна спасения? Это же нонсенс, но ведь они именно так и скажут, если выиграют эту войну. Будут пересчитывать трупы, и не придет им даже в голову, что я столько убивал, чтобы выиграть войну. Убивал бы я меньше, щадил бы противника, стал бы предателем собственного дела, ибо милосердие на войне означает действие в пользу противника, уменьшение собственных шансов. Так было всегда. Евреи? Поляки? Русские? Каждый пощаженный еврей или поляк может способствовать тому, чтобы на этой войне погиб немец, человек моей расы и крови. Но если они победят, меня обвинят в беспощадности, забудут, что так было всегда, забудут также о собственной жестокости и недостатке милосердия. Не я придумал войну. И не Адольф Гитлер ее придумал. Сам Бог сделал людей воинами. Так было всегда.

Конь остановился. Штуклер чувствовал на шее тепло солнечных лучей.

Вода в пруду слегка наморщилась. Вокруг было пусто, конь словно привел его на самый край света.

Фальшивые колонны на фоне фальшивой воды выглядели красиво. Штуклер глубоко вздохнул. Взглянул на небо. Бог? Неужели он в самом деле существует? В XX веке нелегко верить в Бога. Мы оказались так настойчивы, открывая тайны природы, что для Бога остается все меньше мест, где он мог бы укрыться в своей загадочности. Если правда, что все берет свое начало от Него, значит, и войну заповедал Он роду человеческому. И потому мы хорошие воины.

Но склад ума Штуклера не был философским. Происходил он из семьи мельников, которые сто лет тому назад поселились в окрестностях Зальфельда в Тюрингии. И сам он в начале двадцатых годов был молодым мельником. Потом избрал иной путь. Его увлекла история, Древний Рим, переселение народов, Германская империя. Он был влюблен в минувшие эпохи. Там ему открывалась мужественность и решительность человека. Его же ближние были тюфяками. В организации СС ему виделись римские черты. Образ мыслей Штуклера не был оригинален. Большевиков он называл гуннами. Орды Аттилы! Это звучало несколько по-вагнеровски. Любил патетические, суровые мысли. Любил дубы, рослых коней, скалы, высокие вершины, окутанные тучами. Был наиобыкновеннейшим эсэсовцем под солнцем, свободным от интеллектуальных притязаний и укоров совести. Принадлежал к большинству. Правда, потом большинством оказались его комплексующие товарищи. Но то была фальсификация. Доживи Штуклер до тех времен, он счел бы подобное поведение фиглярством. Лично ему был знаком только один товарищ по СС, его звали Отто Штауберт, который испытывал глубокие сомнения и переживал нравственные мучения. Штауберт погиб на Восточном фронте осенью 1941 года. Штуклер был человеком уравновешенным, очень любил Германию, презирал евреев и славян, стремился воевать так, чтобы умножались шансы на победу. Но превыше всего ставил выполнение приказов командиров. Это они брали на себя ответственность. Так было всегда. Впрочем, не один Штуклер был подвержен конформизму. В конечном счете он жил в XX веке и сознавал это. Не он один питал враждебные чувства к евреям, неприязнь к полякам, презрение к русским. Не обязательно быть немецким фашистом, чтобы мыслить подобным образом. В молодости Штуклер испытал неприятное ощущение, будто со всех сторон окружает его враждебный, чуждый мир. Он терпел унижения, им пренебрегали как человеком необразованным, с грубыми, примитивными манерами. По социальной лестнице он поднялся благодаря упорству и благоприятным обстоятельствам. Был самоучкой, в одиночестве занимался историей Рима и Германской империи, которую так любил. Зачастую отказывался от развлечений, чтобы читать книги по истории или даже покупать их. Люди оказались не способны оценить его усилия. На него всегда смотрели как на невежду, и повсюду находились те, кто оказывался лучше него. Мир не был благосклонен к Штуклеру. Другим давал больше и по более низкой цене. Адольф Гитлер утверждал, что в этом виноваты евреи, коммунисты и демократия. Когда Штуклер вступил в партию и в СС, прекратились его тягостные, мучительные унижения. Никто больше не считал, что он грубиян, начали даже ценить его интеллектуальные запросы. Штуклер не был глуп и потому со временем начал осознавать, что своим новым положением обязан нацистской партии и что его самая мощная опора — это иерархия гитлеровского движения. В этом смысле он оказался более проницателен, чем многие его современники, так как вовсе не считал, что в мундире он стал умнее, чем был без мундира. Помнил, что еще подмастерьем мельника читал он с бьющимся сердцем повествования о Риме и что именно из тех времен вынес привязанность к истории. Его духовное развитие началось не с момента вступления в партию, а даже наоборот — именно тогда ему стало не хватать времени на самообразование и размышления о жизни. Порой он приходил к заключению, что стал оппортунистом, делающим карьеру в рамках новой действительности. Действительность, однако, не стала хуже, чем прежде, просто люди поменялись

ролями, и те, что некогда были на телеге, оказались под ее колесами, а на телегу влезли другие и взяли вожжи в свои руки. В молодости бедный Штуклер работал на родительской мельнице, а богатые евреи-оптовики его эксплуатировали. Позднее он жил красиво и уютно, а евреи подметали улицы. В определенном смысле это было справедливо, соответствовало духу времени и вообще человеческим запросам, потому что люди стремятся к переменам, преобразованиям и новым порядкам. Мир живет и непрестанно видоизменяется. Так было всегда.

В определенный момент национал-социалистское движение начало жестокие преследования политических противников и евреев, живущих в рейхе. Штуклер вовсе не родился бессовестным убийцей, поскольку бессовестные убийцы не рождаются нигде и никогда. И никто не начинал своей преступной деятельности с поджигания мира и массовой резни. Штуклер участвовал в разбивании витрин еврейских магазинов, что, возможно, было занятием не слишком достойным и выглядело — в его глазах тоже — несколько глупо, но в конце концов большого ущерба этим людям не нанесло. Евреи были достаточно богаты и влиятельны, чтобы вставить себе новые стекла. Такой урок был им, несомненно, полезен, это приучало к покорности и послушанию. Им указали надлежащее место! Позднее Штуклер избил нескольких евреев. Один из них спал с немецкой девушкой, которая тоже получила по заслугам. Она, хоть и была служанкой того еврея, обязана понимать, что поступила противозаконно и подвергала опасности немецкую расу. Немецкая раса была лучше всех других, для Штуклера это не подлежало сомнению, равно как не подлежало сомнению для многих англичан, что они самый прекрасный народ земли, как для евреев, верных Завету, не подлежало сомнению, что они — народ, избранный Богом, а для поляков не подлежало сомнению, что пребывают под особым покровительством Божьей Матери, в то время как немцы — это тевтоны, русские — рабские души, французы — лягушатники, итальянцы — макаронники, англичане — торгаши, а чехи — трусливые Пепички [107]. В этом отношении Штуклер не слишком отличался от других людей под солнцем, он лишь достаточно рано надел военную форму, ощутил силу коллектива и увидел действенность кнута. Люди слабы по своей природе, потому им нравится насилие, а Штуклер был человеком заурядным, каких большинство.

Человека он убил, имея уже на своем счету много людей избитых и раненых. Можно считать, что первое убийство не было до конца осознанным, скорее даже случайным. Штуклер ударил слишком сильно, медицинская помощь запоздала. Факт был неприятный, и не исключено, что Штуклер вспоминал о том инциденте с неохотой, старался даже выкинуть его из своей памяти. Однако потом подобные факты случались все чаще, но, впрочем, разразилась война, на войне же одни убивают других, поскольку они сами будут убиты, если не сделают этого. В один прекрасный день Штуклер констатировал, что убил многих людей, но он мог, не боясь ошибиться, снова повторить, что так было всегда. И оказался бы прав, ибо так было действительно всегда.

Штуклер хлестнул коня. Они снова двинулись размашистой рысью, в тени раскидистых деревьев, вокруг гладкого пруда, среди шелестов природы. Штуклер чувствовал себя усталым и не очень счастливым, так как жизнь в последние месяцы не приносила ему ни радости, ни удовлетворения, а мысль о возможном поражении в войне действовала угнетающе. Однако он не страшился будущего, так как от природы был человеком смелым, к тому же не слишком интеллигентным и впечатлительным. Знал, что умрет подобно другим людям, которые, как известно, смертны, не представлял себе мгновения смерти, и потому оно не ужасало его. Бога он тоже не страшился, поскольку грехи свои считал делом обыденным, подобные грехи на войне совершает каждый, а война не была делом рук Штуклера. Если бы от него зависело, он бы с радостью не участвовал в ней. Обязанность

---

[107] Пепик, Пепичек — распространенная в Чехии уменьшительная форма имени Йозеф.

преследовать евреев и держать в повиновении этот бешеный город не приносила ему удовлетворения. Война отняла у Штуклера жизненный комфорт, к которому он привык за те годы, когда движение властвовало в третьем рейхе, а Европа с немцами считалась, оказывала им уважение и старалась удовлетворить их требования. Штуклеру без войны жилось лучше, и будущее меньше заботило его. Но что случилось, то случилось. Он считал, что должен до конца исполнить свои обязанности немца, гражданина рейха, члена партии и офицера полиции. Таков был его долг, и с этим связывались для него представления о достоинстве.

Теперь мерин перешел с рыси на свободный галоп. Комья земли и камни летели из-под копыт. Штуклер больше не вспоминал о подпругах, которые, впрочем, держали хорошо. Он думал о том, что, если Германия проиграет войну, Европа, вероятно, никогда уже не оправится от падения. Наследие подвергнется уничтожению. Наступит эра варварства. Штуклер не видел себя в этом пейзаже. Не видел себя и со сломанным мечом, идущего на привязи за косматым конем гунна на восток. И все же нечто подобное ожидало его. Он, правда, был не в сандалиях и без щита, не чувствовал на шее веревки, но шел в толпе других немецких военнопленных на восток, а мимо проносились красноармейцы на юрких, низкорослых лошадках. Шел много недель, потом ехал на железнодорожной платформе через бескрайнюю степь. Наконец очутился за колючей проволокой лагеря на реке Обь. Несколько лет корчевал сибирские леса, все больше слабея и дичая, пока, наконец, не умер, его тело бросили в глубокую яму, которую вскоре покрыла вечная мерзлота. Умирая, он не раскаивался в своих грехах, потому что совсем уже не верил в Бога. Может, не помнил даже, что был когда-то немцем, членом нацистской партии и офицером службы безопасности рейха. Много недель перед смертью думал только о еде.

Он мог и тогда сказать, что так было всегда. И если не сказал этого, то наверняка из-за недостатка физических и духовных сил, которые необходимы для любых умозаключений. Он же умирал от голода и истощения, по ту сторону любой нравственности и этических оценок, для которых, несомненно, необходимо определенное количество калорий. В сущности, судьба оказалась к нему благосклоннее, чем ко всем тем, кто, как и он, умирал, но несколько ранее и по его вине. Предшественники Штуклера не успевали ни настолько изголодаться, ни настолько озвереть, чтобы забыть о вековой культуре, которую несли на своих плечах. Они были еще в состоянии делать выводы, оценивать ситуацию и вершить суд над миром в соответствии с нормами и принципами, которые были им привиты в лучшие времена. Правда, смерть они иногда принимали как освобождение от страданий, но обычно умирали, сознавая, что стали жертвами тирании, злодеяния и оподления мира. Штуклер слишком долго голодал, чтобы перед своим концом что-либо понимать. Последние месяцы его жизни были полуявью, полусном больного и бессловесного животного. Он, наверное, даже не помнил тогда своей фамилии, так что не мог помнить и своих поступков. Умер не раскаявшись, в бессознательном состоянии и потому не знал, что смерть была карой за зло, причиненное им другим людям. В этом смысле воспитание на берегах Оби не достигло своей цели, по меньшей мере — в случае со Штуклером. Если бы он предстал перед судом, где выслушали бы его аргументы, устроили очную ставку со свидетелями, а потом наказали, как это, кстати, делалось относительно некоторых его товарищей по оружию, он, возможно, получил бы шанс проявить раскаяние в грехах, которые осознал или хотя бы постиг своим разумом. Выброшенный за пределы цивилизации, которая его породила, сформировала его нравственный облик и характер, обреченный на долгое получеловеческое, полуживотное прозябание, он оставался уже всего лишь призраком, за пределами сферы моральных оценок и выбора. Даже в этом человечество не получило от него никакой пользы. Но сам он мог бы повторить, что так было всегда.

Конь, послушный руке всадника, остановился. Белое облако заслонило солнце. Зеленая трава приобрела фиолетовый оттенок. Вокруг Штуклера

было пусто. Только настоящее, подумал он. Не любил воспоминаний. Может, не любил и жизни. Любил отдаленное прошлое. Там он обретал себя как символ, как знак. Даже как нечто большее, ибо из истории черпал убежденность, что участвует в продолжении, что начался он уже давно, не в физическом, правда, смысле, не как сын и внук мельников из окрестностей Зальфельда, член движения, офицер и всадник на красивом пегом коне, на фиолетовой траве, под кронами безлистных деревьев, так что не физически начался он уже давно, но в смысле духовной миссии, долга определенной части рода человеческого. Так было всегда. Всегда были завоеватели и истязатели, которые топтали землю, чтобы сделать ее податливей, и были другие, жертвы разбоя, завоеваний, тирании, кости которых удобряли землю. Таково, очевидно, было предназначение людей, и не они выбирали себе судьбу, но некая сила, направляющая историю свыше, по воле которой одни господствовали, другие же были подданными. Штуклер знал с абсолютной уверенностью, что ему дано господствовать. Его долгом было топтать землю, а не удобрять своим телом. Так было всегда. Разве великий Рим не был построен на крови и поте тысяч рабов? Кому сегодня известны их имена? Кто помнит об их существовании? А ведь это они несли на себе мощь империи, все римские постройки и завоевания, всю римскую культуру и цивилизацию, которая по сей день священна. Римляне создали историю огромных мировых территорий, страдания же рабов не оставили в истории никакого следа. Там, где сандалия римского легионера истоптала землю, расцветала история человека. Сколько же рабов удобрило эту землю своим прахом? Уже Рим применял принцип коллективной ответственности и поставил сообщество римских граждан выше всех других жителей земли. Только они наслаждались свободой, им служили законы и принадлежали привилегии. Так было всегда. И благодаря этому мир просто-напросто существовал. Если мы проиграем войну, думал Штуклер, прервется нить истории. На свет появится некий монстр без пуповины, человечество без воинов, слабое, апатичное и обреченное на постепенное уничтожение. Наши враги болтают о демократии. Во имя демократии стремятся победить рейх. Фиглярство! В конце концов даже у римской республики были свои рабы. А прославленная афинская демократия с первой до последней минуты своего существования опиралась на рабство. Так было всегда. Никогда не было по-другому. Так было всегда.

Штуклер посмотрел на часы. Был первый час. Нужно было возвращаться к работе. Снова ярко светило солнце. Конь пошел размашистой рысью. Штуклер ощутил прилив бодрости. Жизнь воина, подумал он. Простая, солдатская жизнь. Если даже мы проиграем, нам когда-нибудь будут завидовать. Ибо есть в нас суровая красота, нечто ангельское. И покрой наших мундиров — единственный в своем роде, непревзойденный. Когда-нибудь нам будут завидовать. Так было всегда.

XX

Когда под утро она проснулась, ее охватило чувство радостного изумления. Через окно был виден клочок светлеющего неба, темные ветви деревьев, нежные, зеленые побеги. В зеркале туалетного столика отражались кровать, тумбочка, складка одеяла в свежем пододеяльнике, очертания голой ступни. То была ее собственная ступня, высунувшаяся из-под одеяла. Изящная, тонкая женская ступня. Как прекрасно, подумала Ирма Зайденман, что я просыпаюсь именно здесь! Только теперь она почувствовала радость, оттого что живет, и привязанность к собственному телу. Рассматривала в зеркале свою ступню, шевеля пальцами. Значит, я все-таки спаслась, думала она радостно, я здесь, в собственном доме. Но внезапно ее охватил страх, что может погибнуть, не дожить до конца войны, разделив судьбу других евреев. Все предшествующие годы она считалась с подобной возможностью, но в то же время была постоянно убеждена, что как-нибудь продержится, что выберется из этих сетей. Сидя в клетке на аллее Шуха, смирилась с мыслью о смерти, размышляла о прошедшей жизни, обо всем

том, что свершилось. Была спокойна, чуть ли не безмятежна. С покорностью принимала приговор судьбы, столь страшный, но и столь же бесспорный, один из миллиона приговоров, которые свершались каждый час. Случилось то, что было неотвратимо. Готова была неотвратимость признать чем-то наподобие долга, и потому смерть не вызывала в ней внутреннего протеста. Лишь теперь, лежа в постели, на заре наступающего дня, начала она осознавать, что избежала чудовищного конца, что этот бесповоротный конец был очень близок,— и ужаснулась. Никогда прежде не испытывала такого сильного стремления жить. При мысли, что сегодня или завтра может вновь оказаться в клетке на Шуха, в Павяке или перед стеной казней, ее охватил страх. Она натянула на голову одеяло и лежала неподвижно, стуча зубами, не дыша. Лишь теперь ее убивали, истязали с самой изощренной жестокостью. На виске почувствовала струйку пота, ее спина взмокла, она давилась липким, темным страхом, как если бы ей только предстояло оказаться на Шуха, в клетке, в кабинете Штуклера, как если бы Бронека Блютмана ей предстояло встретить лишь через несколько часов. Нет, говорила она себе, я этого не вынесу! Ведь это уже произошло, это уже не повторится.

И тогда раздался звонок в дверь. Стало быть, за мной все-таки пришли, подумала она, вчера выпустили, а сейчас пришли. Весь ее страх улетучился. Да, подумала она, это конец. Теперь они пришли меня убить.

Встала с кровати, набросила халат. Звонок повторился. Почему они не ломятся в дверь, подумала она, я же того не стою, чтобы тратить на меня время...

Подошла к двери и посмотрела в глазок. За дверью стоял доктор Адам Корда, филолог-классик. Он сошел с ума, холодно подумала Ирма, зачем он пришел так рано? Когда она приоткрыла дверь, филолог смущенно улыбнулся и сказал:

— Прошу извинить, многоуважаемая пани, что пришел в такой час, но вчера я видел, как вы возвращались из города, и всю ночь не мог сомкнуть глаз... Боже мой, вам пришлось пережить нечто ужасное. Я пришел, чтобы предложить вам помощь, если вы, уважаемая пани...

Он замолчал, откашлялся. Стоял на пороге в пепельных брюках-гольф и темном пиджаке с выложенным наверх воротником рубахи, в старательно вычищенных ботинках, с выражением лица респектабельного идиота. В его руке была кастрюлька.

Ей хотелось закричать, ударить его по лицу или расплакаться от облегчения и отчаяния. И она расплакалась, так как успела еще вспомнить, что этот человек спас ее, ведь по его сигналу разные люди бросились ей на помощь, он был первым звеном той цепочки, последним звеном которой оказался старик Мюллер. Она расплакалась, а доктор Адам Корда произнес срывающимся голосом:

— Я вот позволил себе подогреть молоко. Оно действует успокаивающе...

Потом они сидели в гостиной на креслах из светлого ясеня, обитых салатовым дамастом, за столом из ясеня, на который филолог-классик, совершенно по-идиотски, поставил кастрюльку с молоком. Сидели несколько минут молча, в янтарном полусвете утра, который просачивался сквозь тяжелые шторы на окнах. Слышались голоса птиц. Ирма Зайденман отерла глаза. Она произнесла:

— Просто не знаю как благодарить. Я не могу выразить...

— Вы должны выпить молока,— ответил он.— Боюсь, что я пришел слишком рано. Но я так за вас волновался.

Он начал говорить о своей тревоге. Рассказал о визите к пану Павелку. И тут она осознала, что ее спасение было итогом усилий и страхов многих людей. Если бы хоть одно звено подвело, она бы погибла. Боже мой, думала она, мне казалось, что я одинокая, никем не любимая женщина. Я заблуждалась. Я не одинока. Никто здесь не одинок.

С чашкой в руке, из которой она пила молоко под взглядом доктора Корды, босая, с мокрым от слез лицом, дрожа от утренней прохлады, она

впервые в жизни осознала, с уверенностью и радостным чувством преданности, что здесь ее страна, близкие и дорогие ей люди, которым она обязана не только своим спасением, но всем своим будущим. Никогда ранее не ощущала она столь глубоко и мучительно свою принадлежность к Польше, никогда с такой горькой радостью и преданностью не думала о своей польскости. Польша, думала она, моя Польша. Те люди — это и есть Польша. Этот славный, недалекий человек в брюках-гольф — тоже Польша, самое святое под солнцем, что у меня есть. Ее сердце наполнилось благодарностью к судьбе за то, что сделала ее полькой, что именно здесь, в этом городе, среди этих людей, довелось ей страдать и жить. В прошлом она никогда не ощущала связи со своими еврейскими корнями, выросла среди старой, ассимилировавшейся в течение десятилетий интеллигенции, ее отец был, правда, глазным врачом еврейской бедноты, неустанно ходил по рахитичным, душным дворикам, поднимался по темным, сырым лестницам еврейских флигелей, лечил сопливых, грязных еврейских детей из квартала нищеты и унижения, зато сам он был просвещенным, культурным и обеспеченным человеком, для которого его собственная принадлежность была настолько очевидной, что не вызывала у него каких бы то ни было сомнений и мук; подобные ощущения были и у ее мужа, доктора Игнация Зайденмана, великолепного рентгенолога с задатками ученого, воспитанника привилегированных школ, выпускника университетов Монпелье и Парижа, человека светского, самого истинного европейца, с каким ей приходилось когда-либо встретиться, именно эти два человека, отец и муж, сформировали ее, сделали из нее девочку, барышню на выданье, наконец, женщину, свободную от любых колебаний и тревог, связанных с проблемой религии или расы, далекую от какого-либо еврейства, с которым ее связывало лишь очень отдаленное воспоминание о каком-то бородатом старце, говорившем с ней, когда она была еще маленьким ребенком, на непонятном языке и гладившем по щеке узловатой рукой, воспоминание о деде, умершем, когда ей было не то пять, не то шесть лет, еврея из давно минувшей эпохи, который связывал ее, безучастно и безболезненно, с этим таинственным происхождением, с экзотической аурой еврейства, обступавшей, правда, ее на улице, проявлявшейся порой скрежетом антисемитизма, но происходило это все же на периферии ее жизни, поскольку была она голубоглазой блондинкой, красивой женщиной с чарующей улыбкой и стройной фигурой, и потому еврейство не имело с ней никакой связи, существовало отдельно, без нее и вне ее естества, вне смысла ее существования; оно хоть и присутствовало, но было ей чуждо. Никогда в прошлом не ощущала она связей с еврейством, в этом у нее не было никаких сомнений! Но, может, именно по этой причине не ощущала и связей с польскостью, потому что польскость была для нее как воздух, которым дышала, как нечто очевидное. И вот теперь, с чашкой молока в руке, под внимательным взглядом этого комичного человека в брюках-гольф и ботинках на шнурках, она впервые начала осознавать, что польскость — это цена ее жизни, что она полька и Польше принадлежит. А ведь даже в клетке на Шуха она так не думала. Там думала о проклятом портсигаре, роковом стечении обстоятельств, которое будет стоить ей жизни. Там, на Шуха, не ощущала себя ни еврейкой, ни полькой, возможно, там была она чем-то бóльшим, человеком, обреченным на смерть, и в то же время человеком, по воле судьбы не обретшим определенности и завершенности, или, скорее, не обретшим определенности и завершенности в собственном сознании, потому что страдала из-за металлической коробочки, полагая, что этот предмет угрожал ее жизни, только он, и ничто другое! Ей предстояло умереть не как еврейке и не как польке, не по причине своей порочной расовой или национальной принадлежности, а как жертве переплетения идиотских ошибок, раздавленной легким предметом, собственной привязанностью к вещи, хранящей память о покойном муже. И только теперь, в присутствии доктора Корды, под звуки птичьих голосов за окном, глотая теплое молоко, она переживала свое освобождение, к ней приходили определенность и осознание собственной принадлежности.

В будущем ей предстояло убедиться, что выбор, который она сделала тогда, под нежным и внимательным взглядом поклонника Цицерона и Тацита, был ошибочным или, по меньшей мере, сомнительным. Не для нее. Для других. Покидая Варшаву, она не вспоминала доктора Корду и кастрюльку с молоком. Однако если Бог позволил бы ей тогда вернуться к воспоминаниям прошлых лет, она наверняка знала бы, что покидает Варшаву вопреки воле и стремлениям доктора Корды, что дух доктора Корды, пребывающий в вечности, горько заплакал и побежал, чтобы пожаловаться своему Создателю. Правда, не умершие решали ее судьбу.

Спустя много лет, затерявшаяся на чужбине, чуть смешная, как большинство старых и одиноких женщин, она порой призывала воспоминания из Польши. Не разглядывала уже в зеркале свои стройные ступни. Они деформировались и вызывали у нее отвращение, равно как и кожа рук, покрытая темными пятнами, складки жира на некогда изящной шее, а более всего — запах тела, гадкий и в то же время пронзительный, чуждый запах старости, с которой она не желала смириться. Тогда она думала иногда о Польше, так как старые люди великолепно помнят далекое прошлое и возвращаются к нему, чтобы черпать там жизненные силы, находить себя молодыми, красивыми и окруженными любовью. Так она искала свое прошлое и потому в силу обстоятельств искала Польшу и свои связи с Польшей. Было это, однако, грустно и противно. Польша — красивая, безмятежная и приветливая — ассоциировалась для нее с тем, что давно уже не существовало, с мебелью довоенной супружеской квартиры Ирмы Зайденман, с лестничной площадкой, выстланной кокосовой циновкой вишневого цвета и украшенной фигурой женщины с факелом в руке. Безмятежная и приветливая Польша — то был вид из окон гостиной на оживленную улицу, по которой с шумом двигались трамваи, тянули подводы кони с пятнами пота на крупах, проносились автомобили угловатой формы, за ними бежали мальчишки, пытаясь ухватить рукой дым, вылетающий из выхлопных труб. То было также лицо доктора Игнация Зайденмана в свете лампы, его руки на письменном столе, посреди бесчисленных графиков, снимков и заметок на разрозненных листах. То был вкус пирожных от фирмы «Ларделли», шоколада от фирм «Ведель» или «Фукс», витрина магазина «Old England» [108], меха у Апфельбаума, запах хорошей косметики Элизабет Арден в парфюмерном салоне на Краковском предместье, и еще запах книг в читальном зале Козловского неподалеку, кафе, пролетки, красивые женщины, милые мужчины, воспитанные дети.

Ирма сознавала, что картина эта неполная и односторонняя, поскольку та давняя Польша была ведь также бедной, грязной, отсталой, темной, крикливой, мятежной. Долгие годы после войны Ирма принадлежала к людям, которые с огромными усилиями, без остатка преданные своему делу, стремились ликвидировать долги прошлых лет, настойчиво совершенствовали эту самую Польшу, строили детские сады, школы, университеты и, верные наказу поэтов прошлого, несли просвещение в народ, чтобы вырвать страну из косности. Так что она сознавала, что картина предвоенной Польши, которую она призывала из памяти, далеко не полная и не отвечает историческим реалиям. И все-таки только та Польша была приветлива к ней, только она выглядела безмятежно и красиво. То была моя молодость, говорила она себе на склоне лет, бредя по парижским улицам, постукивая тростью по парижской мостовой, то была моя молодость и единственная Польша, которой я владела по-настоящему.

Период войны стирался в ее сознании. С момента начала войны в ее памяти разверзалась черная пропасть, лишенная света и красок. Да, конечно, она была в той бездне. Но не помнила себя, своего лица, мыслей и чувств, потому что мрак смазывал контуры. А более поздняя Польша, в которой она провела бóльшую часть своей жизни, была ей просто чужда. Наверное, в моей скрипке возникла трещина, говорила еврейка Ирма

---

[108] Старая Англия *(англ.)*.

Зайденман-Гостомская, грея старые кости на лавочке в Люксембургском саду, моя скрипка фальшивит. Когда она углублялась в свое прошлое, ей хотелось из этой своей скрипки извлечь правильный, глубокий тон. Но она, наверное, и в самом деле треснула тогда, весной 68-го года. Действительно, треснула и склеить ее уже было невозможно.

За окном пролетали птицы. Вдалеке проехал трамвай. Филолог-классик встал с кресла, улыбнулся и раздвинул шторы. Утреннее солнце дымилось над крышами домов. Ирма почувствовала, что ее босые ноги мерзнут. Я выгляжу смешно, подумала она, мне следует одеться. Но филолог вовсе не спешил уходить.

— Пан Павелек был в ужасе,— сказал он.— Он заверил меня, что сразу же начнет действовать. Ваш супруг был, наверное, другом его отца, не так ли..

— Да,— ответила она.— Они служили когда-то в одном полку. Вы разрешите, я только обуюсь...

Тот глупо улыбнулся. Но не уходил. Тогда она встала и пошла одеться. Из гостиной доносилось его покашливание. Набросила на себя платье, натянула чулки. Посмотрела в зеркало. Нет, не стану пользоваться косметикой, в такой момент это было бы неуместно. И еще решила, что должна немедленно сменить квартиру. И документы тоже. Может, и из Варшавы уехать? Куда я поеду? Ведь это не имеет смысла. Только в Варшаве мне есть на кого опереться, здесь есть люди, которые добры ко мне. И зачем менять квартиру, документы? Ведь меня зовут Мария Магдалена Гостомская, я вдова офицера. Лучших документов мне никогда не достать. Этот бедный доктор Корда даже представления не имеет, что я еврейка. А разве я еврейка? Абсурд! Моя фамилия Гостомская. И никогда я не была кем-то другим.

Приводя перед зеркалом в порядок свои волосы, быстро и кое-как, она вдруг ощутила неприязнь к Павелку из-за того, что тот считает ее Ирмой Зайденман, что помнит ее как еврейку. Я Гостомская, Павелек, мой муж служил в одном полку с твоим отцом! С шумом бросила гребень на полочку, повернулась лицом к зеркалу. Я сойду с ума, подумала она, я должна успокоиться, должна держать себя в руках, иначе я лишусь рассудка. Павелек, прости меня, я ведь знаю, что живу благодаря тебе! Она снова посмотрела в зеркало и улыбнулась. Знала давно, что Павелек в нее влюблен. Еще до войны, когда был милым, вежливым мальчиком, она случайно встретила его на улице и повела угостить мороженым в «Европейскую». Над бокалом с мороженым склонялась его пунцовая, пристыженная мордашка. Позднее, целуя Ирме руку, он всякий раз краснел и излишне громко шаркал ногами. Она видела, как быстро он превращается из мальчика в молодого мужчину. Наверняка бегал за красивыми девушками, целовал их по темным углам, они снились ему. Но и она ему снилась. Год назад они ехали на рикше. Он сидел чопорный и напряженный, отклонившись в правую сторону, в неудобной позе, чтобы ни в коем случае не прикоснуться к ее бедру. Когда рикша внезапно завернул, а Ирма наклонилась и прильнула к нему телом, он хрипло воскликнул: «Извините, пожалуйста!» Его ладонь прикоснулась к ее плечу. Он отпрянул. Побледнел, глаза были больные, как у гибнущего зверя. Он все еще увлечен мной, подумала она тогда не без радостного удовлетворения. Ему не было еще двадцати, она была лет на пятнадцать старше. Он такой красивый, подумала она тогда. Но более всего он был забавен своей неловкостью и страданием. Она знала, что это пройдет. Павелек нравился ей. Милый, хорошо воспитанный, умный юноша, он связывал ее с довоенным прошлым, был частью ландшафта, окружавшего ее покойного мужа. Когда Павелек иногда навещал ее в квартире на Мокотове, она с удовольствием вспоминала прежние времена. Доктор Игнаций Зайденман тоже любил Павелка. Встречая его, каждый раз расспрашивал об успехах в школе и угощал конфетами. Доктор Игнаций Зайденман вообще любил детей и немного переживал из-за того, что сам не мог иметь сына. Общество Павелка, его обаятельная, немного смущенная манера поведения действовали на нее успокаивающе.

Но как-то раз, в один из визитов, она поймала его взгляд. То был взгляд мужчины, жаждущего женщины. Он сам не осознавал этого, был все еще неловок и искренен в своих юношеских чувствах. Но с того дня Ирма была настороже. Ей передалось волнение Павелка, и она уже не чувствовала себя так свободно. Возможно, даже избегала посещений Павелка. Больше ничего не произошло.

Она пожалела об этом только через тридцать лет в кафе на авеню Клебер. Павел сказал тогда:

— Вы были страстью моей молодости.

На нем был костюм пепельного цвета, голубая рубашка, плохо повязанный галстук. Он смотрел на нее сквозь сильные очки в темной оправе. Густые, поседевшие волосы по-прежнему спадали ему на лоб. Она положила старую, высохшую ладонь на его руку:

— Пожалуйста, не говорите так. Не надо шутить над старой женщиной...

Но оба знали, что он говорил правду. Однако они были уже за пределами своего срока, он уже завершился. Павел улыбнулся, покачал головой.

— Когда вы возвращаетесь? — спросила она мягко и снова погладила его руку.

— Послезавтра, пани Ирма. Но вы все же подумайте о приезде в ближайшее время. Я не хочу настаивать, но...

— Это бессмысленно,— прервала его она.— Вы сами прекрасно знаете, что это бессмысленно.

— Знаю,— ответил он, чуть помедлив.— И понимаю. И никак не могу с этим смириться.

— Я уже смирилась.

— Вы имеете на это право,— с неохотой ответил он.— Я нет.

— Но почему? Что связывает вас с теми людьми? Откуда в вас такая солидарность с ними, чувство какой-то сопричастности к их вине?! Что у вас с теми людьми общего?

Он пожал плечами.

— Внешне ничего. Вы правы. Сам ловлю себя на том, что глупо воспринимаю некоторые вещи. Нет у меня с ними ничего общего, это правда! Кроме одной мелочи. Я живу там, и они тоже там живут...

— Но вы не ответственны за то, что они делали и продолжают делать... Ради Бога, пан Павел, нельзя брать на себя такую ответственность.

— А я разве беру?! — воскликнул он.— Но все это не так просто. Вы прекрасно знаете, что я не несу ответственности, сто тысяч людей также это знают. А остальные? А все люди здесь? Я оттуда. Я один из них. Помните, пожалуйста, об этом. Это клеймо, которым я отмечен. Впрочем...

Он умолк, снял очки и начал старательно их протирать носовым платком.

— Что впрочем? — спросила она.

Он продолжал молча протирать очки.

— Договаривайте, Павел. О каком таком «впрочем» идет речь?

— А разве у вас, если уж совсем откровенно, призывая Бога в свидетели, разве у вас нет похожего ощущения? Ведь это не они выгнали вас, а Польша. Вы ведь так думаете.

— Вовсе нет! — возразила она, хоть и знала, что не говорит всей правды. Он прикоснулся пальцами к треснувшей скрипке, тронул лопнувшую струну. Если бы тогда, на авеню Клебер, внимательно глядя в глаза Павла и вслушиваясь в свой треснувший инструмент, помнила она о дне огромного страха, наутро после выхода из клетки Штуклера, если бы помнила полет тех птиц за окном, лицо доктора Корды, янтарные шторы в гостиной, вкус молока, которое пила, если бы тогда она помнила все то, что происходило, когда, уже одетая и наскоро причесанная, вернулась в гостиную, обращаясь к филологу-классику со словами: «Вы, пожалуйста, пока не уходите, как это мило, что вы проявляете заботу обо мне в такую минуту!» — а он, естественно, поспешно сел на ясеневое кресло, обитое

салатовым дамастом, чтобы еще в течение четверти часа рассказывать о визите рикши, который принес ему известие о задержании пани Гостомской по абсурдному подозрению в семитском происхождении, если бы она обо всем этом помнила в кафе на авеню Клебер, наверняка поняла бы ту простую истину, так, правда, никогда и не осознанную, поскольку совсем не помнила прошлого, помнила только его крупицы, фрагменты, подобные пятнам света, процеженным сквозь густую крону дерева, вот тогда поняла бы она банальную истину, что Штуклер вовсе не унизил ее, она ни на секунду не почувствовала себя тогда униженной, попранной, лишенной собственного достоинства, оскорбленной, потому что Штуклер хотел ее всего лишь убить, зато те, что спустя много лет пришли в кабинет и не разрешили ей взять папку с документами, отняли у нее нечто большее, чем жизнь, отняли право быть собой, право самоопределения.

Когда она вернулась в гостиную, за окном ворковал голубь. Так же, как на террасе кафе на авеню Клебер. Но на птиц она никогда не обращала внимания. Любила собак, кошек, а больше всего лошадей. Птицы существовали в воздухе, она ходила по земле. Не обращала внимания на птиц. Через четверть часа доктор Корда наконец ушел, а она снова легла в кровать. Быстро разделась, кое-как бросила платье и белье на стул и скользнула под одеяло. Заснула мгновенно, истерзанная страданием и опасением, что никогда уже больше не проснется. Ей снился Штуклер, который шел за гробом доктора Игнация Зайденмана. В похоронах участвовало много людей. Лиц она не узнавала. Искала себя на этих похоронах, но ее нигде не было. Искала все более лихорадочно, испугавшись, что не провожает в последний путь собственного мужа, которого так любила. Наконец нашла Ирму. Штуклер держал ее под руку. Она говорила Штуклеру: «Меня зовут Гостомская, Мария Магдалена Гостомская, вдова офицера польской армии!» Штуклер ответил: «Мне ведь это известно, мы на похоронах вашего мужа... Неужели вы думаете, что я бы пришел на еврейские похороны?!» И все же то были похороны доктора Игнация Зайденмана. Потом она снова очутилась в клетке, а Штуклер кричал: «Вы обманули меня. Этот портсигар вас разоблачает. Пожалуйста, покажите правую ушную раковину!» У нее не было уха. На месте уха находилась кровоточащая рана.

Когда она наконец проснулась, был полдень. Долго лежала, глядя в потолок. Вновь преследовал ее тот же сон. Неужели я никогда не освобожусь? — думала она. Неужели никогда не найду покоя?

XXI

Судья Ромницкий улыбнулся и сказал:

— Какая здесь приятная прохлада.

Сестра Вероника ответила, что с той стороны, где огород, бывает иногда жарко, но стены монастыря массивны, они помнят очень давние времена, благодаря этому внутри обычно царит прохлада.

— Я привел того ребенка,— сказал судья и слегка погладил Йоасю по темной головке.— Как и договаривались.

— Понятно, пан судья,— сказала сестра и внимательно посмотрела на девочку.

— Она немного темновата,— добавила она, чуть помолчав.

— Сегодня выбирать не приходится, сестра.

— Я не ставлю вопрос категорически, но вы сами понимаете.

— Сегодня люди понимают больше, чем следовало бы,— произнес судья тоном нравоучения и снова погладил Йоасю по головке.— Прелестная девчушка.

— Никогда нельзя терять надежду, пан судья.

— В соответствии с договоренностью матушка настоятельница уже получила некоторые средства,— сказал судья.— Война не будет длиться вечно. Впрочем, если возникнет необходимость, я всегда к вашим услугам.

— Речь идет не об этом,— возразила сестра Вероника.— Мы знаем свой долг, пан судья.

Теперь она погладила ребенка по голове.

— Так ее зовут Йоася,— сказала она.— Еще сегодня мы обучим ее молитве.

— Это может пригодиться,— сказал судья.

Сестра Вероника внимательно посмотрела на него.

— Она будет католическим ребенком, пан судья. Вы привели к нам не только ее тело, которое подстерегают ужасные страдания, но и заблудшую душу.

— А вы, сестра, считаете, что она уже успела заблудиться? Ей же всего четыре годика. Кто же здесь заблуждается?

— Понятно, наверное, что мы дадим ей католическое воспитание. Это наш долг перед ребенком. Ведь вы, пан судья, католик, так что мне нет нужды доказывать...

— Ну, хорошо,— сказал судья Ромницкий и хотел уже закончить разговор, но внезапно в нем возникло чувство досады, вызванное двумя причинами. Что придется ему расстаться с этим милым, молчаливым ребенком. И что мучает его нечто важное, какое-то беспокойство или просто разочарование. И потому он сказал:

— Делайте, сестра, то, что считаете правильным. Но из этого ничего не получится.

— Из чего не получится?

— Из этого католицизма, сестра,— сказал судья и сам удивился тому, что в его голосе прозвучала некоторая злость, а возможно, даже и мстительность.

— Да что вы такое говорите, пан судья?! — сурово произнесла сестра Вероника.

— Тогда я вам кое-что скажу, сестра! Ну, задумайтесь сами хоть на минуту. Разве есть разные боги? Разве был то не единый и неизреченный Бог Всемогущий, который вывел нас из земли египетской, из дома неволи?! Тот самый, сестра, наш Господь Бог милостивый, тот, что явился Моисею в горящем кусте, взывал к Иакову, остановил нож Авраама над шеей Исаака. Это наш Бог, Создатель всех людей...

— Пан судья, да вспомните же о Спасителе! — воскликнула сестра.

— Я вам, сестра, хочу кое-что сказать, я скажу вам кое-что! Я католик, римский католик от деда-прадеда, польский шляхтич. Верю в Господа Иисуса, в покровительство пречистой Девы Марии, верю во все, что дала мне религия и моя милая Польша. И будьте любезны меня не прерывать, сестра, потому что меня не прерывают, меня даже президент Мостицкий [109] не прерывал, когда я говорил, хоть и не слишком по вкусу было ему выслушивать некоторые вещи. Так как же это будет, сестра?! Ведь Господь Бог провел эту девочку через пять тысяч лет, Господь Бог вел ее за руку из города Ур в землю Ханаанскую, а потом в Египет, а потом в Иерусалим, а потом в плен вавилонский, а потом обратно в Святую землю, а потом по всему огромному миру, в Рим и Александрию, в Толедо и Майнц, и, наконец, сюда, на Вислу. Ведь то сам Бог повелел этому ребенку истоптать всю землю от края до края, чтобы в результате она очутилась здесь, среди нас, в этом неистовом пожаре, в этом конце всех концов, где нет уже выбора, откуда уже некуда бежать, как только в эту самую нору нашего католицизма, нашей польскости, ибо здесь есть шанс сберечь жизнь этого ребенка. Так как же это будет с волей Божьей, сестра? Сквозь столько тысячелетий Бог вел Йоасю, чтобы другие люди могли познать Его, могли Его понять, чтобы мог прийти Спаситель, наш Господь Иисус, в которого мы верим и которого почитаем на Святом Кресте, потому что умер Он за нас, ради нашего спасения умер при Пилате Понтийском, сквозь столько тысячелетий вел ее Господь, чтобы теперь, у последней черты, пришлось ей сменить обличье, отречься от самой себя, потому что так угодно Адольфу Гитлеру? Прошу вас, сестра, окрестите ее, обучите молитве и катехизису, пусть зовут ее Йоася Богуцкая или Йоася Ковальчик, я, естественно, все

---

[109] Игнаций Мостицкий (1867—1946), президент Польши с 1926 по 1939 г.

устрою, через два, максимум через три дня будет готова метрика крещения, абсолютно безупречная. Абсолютно безупречная метрика после умершей католической девочки. Так что все будет в наилучшем порядке. Прошу вас. Трудитесь, сестра, над этим ребенком. По-христиански, по-католически, и по-польски тоже! Думаю, что так и должно быть. Это необходимо для ее будущего, для ее спасения. Но я скажу вам, сестра, что об этом думаю. Мы здесь — это одно. А Господь Бог — совсем другое. И Господь Бог не допустит! Я крепко верю, сестра, что Он такого конца не допустит. И станет она еврейской женщиной, в один прекрасный день пробудится в ней еврейская женщина и стряхнет она с себя чуждый прах, чтобы возвратиться туда, откуда пришла. И будет чрево ее плодовито, и произведет она на свет новых Маккавеев. Ибо не истребит Господь свой народ! Это говорю вам я, сестра. А теперь примите ее, сестра, и пусть она уверует в Господа нашего, Иисуса Христа, ибо это есть, как вы, сестра, прекрасно знаете, хлеб жизни. Но когда-нибудь пробудится в ней Юдифь, обнажит она меч и отсечет главу Олоферну.

— Не надо плакать, пан судья,— сказала сестра Вероника.

Согласно его предсказанию, в Йоасе пробудилась еврейская женщина, правда, не такая, о какой он мечтал. Вероятно, судья не до конца постиг замыслы Бога, или, возможно, причина была совершенно будничная. Йоася дождалась конца войны под именем Марыси Вевюры, католической девочки, сиротки из-под Санока, родители которой, бедные крестьяне, умерли. После войны жила как подавляющее большинство ее сверстниц, прилежно училась и мечтала о карьере стоматолога, так как руки у нее были умелые, а манера поведения действовала на людей успокаивающе. Но когда исполнилось ей двадцать лет, услышала она голос, который призывал ее. И она последовала за ним смиренно и послушно. Эмигрировала в Израиль, где звалась уже не Марыся Вевюра, а Мириам Вевер. Стоматологом так и не стала. Через некоторое время по приезде на новую родину, где избранный народ строил свое государство, чтобы уже никогда не страдать от унижений и преследований, она увидела однажды странных евреев, которые, возможно, пришли из ее снов и предчувствий, а возможно, появились по причинам совершенно прозаическим, так же как до них появлялись другие, им подобные. На этих евреях были береты, крапчатые куртки и высокие ботинки. Как правило, они держали под мышкой автоматы, готовые к выстрелу. У них были загорелые лица и скупой лексикон вооруженных мужчин. Мириам увидела, как одним ударом ноги они выбивали двери палестинских домов, а потом под дулами автоматов выводили под палящее солнце пустыни ошарашенных федаинов, их женщин и детей. И тут в ее сердце проснулась какая-то дикая, крикливая радость, как если бы что-то, наконец, исполнялось, нечто ожидаемое тысячелетиями, как если бы свершалась мечта, подавлявшаяся в поколениях Израиля, которая сжигала безмерно измученные тела миллионов евреев Европы и Азии, долгие века дарила жизненные силы этим толпам вечных странников, мрачных, темных, запуганных, фанатичных, про́клятых и вместе с тем избранных. Когда Мириам впервые увидела могучего мужчину, который одним пинком разбивает двери палестинского дома, ей почудилось, что сам Бог пребывает где-то рядом и одобрительно кивает головой. Мириам думала в тот момент не о перепуганных и беспомощных федаинах, но обо всем взбесившемся человечестве, которое один еврейский пинок призывает наконец к порядку. Глаза ее были полны слез, а в сердце поднимались гордость, благодарность и горячая вера. Она прощала миру всяческое зло, потому что пришло время сквитаться обидами, а евреям больше никогда не придется быть презираемыми, униженными и преследуемыми. Но ее воодушевление длилось недолго. Мириам была девушкой впечатлительной и вместе с тем рассудительной. Возможно, правда, что не помогли бы ей ни впечатлительность, ни рассудок, если бы не увидела она следующей сцены, совершенно, кстати, банальной, наиобыкновеннейшей в мире, но притом неизменно поучительной. Израильские солдаты, как и любые другие солдаты, стояли лицом к лицу с федаинами, но федаины, ссутулившись, держали руки на

голове, их дети вопили, хоть ничего и не происходило, их женщины вопили, хоть ими никто и не интересовался, зато солдаты стояли, широко расставив ноги, с каменными лицами, довольно глупые и чванливые в этой своей окаменелости, и держали пальцы на спуске автоматов. Так стояли они, невозмутимые, ожидая дальнейших приказов офицера, который тонкой тростинкой рисовал на песке пустыни какие-то черточки и кружочки, настолько сосредоточенный на своем историческом решении, что походил на бездумного шута, в чем нисколько не отличался от всех других офицеров под солнцем. Однако Мириам та сцена поразила, поскольку девушка осознала, в какой бессмыслице участвует, ведь никакой пинок, полученный палестинским федаином, не сотрет столетий истории и не искупит всех обид. Она не была достаточно образованной, чтобы в тот момент подумать, что принимает участие в извечном подражании и что израильские солдаты даже эту властную позу не сами придумали, ибо так всегда становился вооруженный и сознающий свою силу человек перед человеком безоружным и побежденным. Так становился римский легионер перед поверженным Маккавеем [110] и Одоакр [111] — на руинах Колизея, франконский рыцарь перед связанными саксами, Малюта Скуратов перед коленопреклоненными боярами, Бисмарк в Версале [112], Штроп [113] на улице горящего гетто, вьетнамский партизан под Дьен-бьен-фу [114]. И так должны будут стоять перед побежденными все победители, до самого конца света. Так что все это немногого стоило, и Мириам ушла, чтобы поскорее забыть ту нелепую сцену. Но порвать узы, которые ее связывали, она не могла, так же как и другие не в состоянии их порвать. Потом ей удалось как-то привыкнуть к ним, и она уже не ощущала ни удовлетворения, ни особых мучений.

Лишь спустя какое-то время, когда она убедилась, что беременна, а ее муж-израильтянин по этому поводу шумно и хвастливо радовался, как будто сделать ребенка собственной жене было беспримерным событием в этом лучшем из миров, Мириам пережила ночь великого страха. Было жарко. Над холмами светила луна, оливы и тамариски отбрасывали голубые тени. Мириам встала у окна своего дома. Смотрела на небо, луну, холмы. Ощущала, как никогда прежде, пронизывающий страх при мысли, что родит человека. Боялась этого и хотела проклясть свое лоно. Ей вспомнились странные слова из детства, проведенного в монастыре, которые сестра Вероника тихим, мягким голосом читала из Евангелия. И Мириам повторила эти слова, но громко и порывисто, обращая их к небу: «Боже мой, для чего Ты меня оставил!» Тогда в комнату вошел муж Мириам, которому было сорок семь лет, и он был немного глуховат, он ласково сказал: «Я тебя не оставил, я в соседней комнате. Может, принести тебе чего-нибудь попить?» Эти слова примирили Мириам с ее предназначением. Но когда у нее родилась дочь, она испытала огромное облегчение.

Возможно, однако, что такое же облегчение она испытала бы, произведя на свет сына.

---

[110] Род правителей Иудеи, берущий свое начало во II в. до н. э. от Иуды Маккавея. Маккавеи вели долгую освободительную борьбу, завершившуюся поражением после завоевания Иудеи римлянами в 63 г. до н. э.

[111] Одоакр (431—493) — начальник одного из наемных германских отрядов на римской службе. В 476 г. низложил императора Ромула Августула.

[112] Отто фон Бисмарк (1815—1898) — первый германский рейхсканцлер, после победы Германии во франко-прусской войне 1870—1871 гг. провозгласил в Версале Вильгельма I германским императором.

[113] Юрген Штроп (1895—1952) — генерал СС, руководил подавлением восстания в Варшавском гетто в 1943 г., казнен по приговору польского суда.

[114] Город во Вьетнаме, где в 1954 г. силы вьетнамского Сопротивления одержали окончательную победу над французскими колонизаторами.

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ

Стихи разных лет

Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ

От переводчика

Творческая судьба Жюля Сюпервьеля (1884—1960) выглядит удивительной среди бурной поэтической жизни Франции нашего столетия. Поэзия обновлялась в XX веке так стремительно, новизна хлынула столь мощным потоком, что, казалось, удел аутсайдеров, одиночек, не примкнувших ни к одному из доминирующих направлений,— быть неминуемо затопленными или унесенными течением. Однако Сюпервьель устоял. Он долго и терпеливо вырабатывал собственный голос, не заботясь о том, будет ли он достаточно громким, чтобы выделиться из общего многоголосого гула. Поиски себя длились много лет. «Поэтом недостаточно быть, им еще нужно стать»,— замечает по этому поводу в монографии о Сюпервьеле французский прозаик и литературовед Этьямбль. Сюпервьель «стал» поэтом в сорок один год, выпустив в 1925 году сборник «Притяжения», далеко не первый в его жизни, и с этого момента занял во французской поэзии прочно и навсегда свое место — не лидера, нет, но и не «ведомого»,— место тонкого, своеобразного, стоящего особняком поэта.

Будучи французом по происхождению, Сюпервьель родился в Монтевидео — там обосновались его отец и мать, оба умершие вскоре после его рождения. Мальчик воспитывался в семье родственников, которых долгое время считал своими родителями. В десять лет началась его жизнь во Франции, где он окончил лицей и, отслужив в армии, стал студентом. Но связь с южноамериканской родиной не прерывалась. И до, и после первой мировой войны, на которую он ушел добровольцем, Сюпервьель часто бывал в Уругвае, где встретил и свою будущую жену по имени Пилар Сааведра, подарившую ему шестерых детей и счастливую семейную жизнь. Тем не менее для Сюпервьеля, человека французской культуры и французских духовных традиций, подлинным отечеством всегда была Франция. И хотя поэзия его обычно оставалась вдали от общественных страстей века, история вынудила и его, всю жизнь избегавшего громких слов, на трагическое объяснение в любви к страдающей Франции. Вторая мировая война застала Сюпервьеля в Уругвае. Остро и глубоко переживая поражения Франции и разлуку с ней, он создает свой знаменитый цикл «Стихи о Франции в беде», подпольно переправленный во Францию и мгновенно разошедшийся по рукам.

К тому времени Жюль Сюпервьель, который был не только поэтом, но и романистом, сказочником, драматургом, уже пользовался заслуженной известностью: за «Притяжениями» последовали сборники «Невинный каторжник» (1930), «Неведомые друзья» (1934), «Сказание о мире» (1938). После войны вышли поэтические книги «Забывчивая память» (1949), «Рождения» (1951), «Лестница» (1956), «Трагическое тело» (1959). У Сюпервьеля сложился широкий круг читателей, истосковавшихся по лиризму и простоте в поэзии.

В двадцатые годы, в разгар охватившей искусство и литературу сюрреалистической революции, да и в последующие времена приверженность Сюпервьеля к ясности в поэзии и нежелание ломать более или менее традиционную структуру своего стиха — впрочем далеко не классического, а достаточно свободного и гибкого — выглядели порой едва ли не как «спор с веком». Недавно умерший С. Великовский, философ и литературовед, тонкий

исследователь французской поэзии, отмечал, что лирика Сюпервьеля «производила обычно впечатление опоздавшего родиться детища прошлого столетия. Нужна была чуткость Рильке,— писал он,— чтобы различить за лишенной ухищрений милой сюпервьелевской «старомодностью» крайне уместную — насущнейшую для обстановки стремительных перемен и исторических потрясений — добрую волю «строителя мостов в пространстве» к поддержанию «преемственности над бездной» («В скрещенье лучей», 1987).

В среде «неповторимых»,— как язвительно назвал в 1924 году Поль Валери своих собратьев по перу за стремление во имя оригинальности непременно «делать то, что никто еще никогда не делал и не сделает» («Господин Тест»),— звучит почти как вызов спокойное заявление Сюпервьеля о том, что он «никогда не боялся быть банальным ... гораздо больше опасаясь быть непонятным» («Размышляя о поэтическом искусстве»). Он бесстрашно отдает на суд современников глубоко личные, трепетные стихи, отказываясь зашифровывать их, как того требуют новые литературные условности, ставшие едва ли не столь же обязательными, как некогда правила классицизма. И в этом он всегда остается верен себе, несмотря на восхищение большими поэтами, чье дарование требовало иных эстетических законов, нежели его собственное. «Вопреки изумительным примерам некоторых поэтов, превращающих слова в драгоценности,— признается Сюпервьель в небольшом эссе «Размышляя о поэтическом искусстве» (1951),— я часто пишу, вообще не думая о словах, стараясь даже забыть об их существовании, чтобы точнее уловить свою мысль, вернее, то пограничное состояние между мыслью и грезой, из которого рождается стихотворение».

Это вовсе не означает, что для Сюпервьеля не существует заботы о форме. Наоборот, поэтический строй стихотворения для него чрезвычайно важен — как инструмент, позволяющий заставить «работать» образ. «Хотя образ, даже когда он точен, более расплывчат, нежели выраженное словами понятие, он ярче светит и глубже проникает в бессознательное. Именно образ воплощает его в стихотворении, тогда как понятие, более или менее сформулированное, служит лишь для внятности и для того, чтобы дать возможность стиху подхватить следующий образ, постепенно проступающий из глубин» (там же).

Образ для Сюпервьеля — это «волшебный фонарь», ключ к тайнам мироздания, человеческой души, жизни земной и потусторонней. Его поэтическое пространство легко, без натуги вмещает в себя вселенную, и она видится Сюпервьелю не чуждой, не враждебной человеку, а скорее дружественной и, по сути, даже родственной. Причем традиционность формы здесь вовсе не становится помехой для далеко не традиционных ассоциаций, которые по своему строю близки и созвучны современному сознанию. Монтаж наплывающих друг на друга картин устанавливает связи между, казалось бы, несоединимыми сферами бытия. Но для Сюпервьеля, по его собственным словам, в момент вдохновения «не существует противоположностей: становятся одним целым ... прошлое и будущее, отчаяние и надежда, разум и безумие, жизнь и смерть» (там же). В поэтическом мире Сюпервьеля царит гармония — может быть, поэтому он и не принял нарочитую дисгармонию авангардистских форм.

Невольно вспоминаются строки Пастернака, неожиданно высвечивающие схожесть раздумий двух столь далеких друг от друга поэтов XX века:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

(«Волны»)

Есть переводы Сюпервьеля на русский язык М. Ваксмахера, В. Козового, М. Кудинова, Э. Линецкой, Ю. Денисова, один перевод Бенедикта Лифшица. Но все эти стихи, представленные в немногочисленных антологиях и сборниках французской поэзии, можно пересчитать по пальцам. Хочется надеяться, что более полное знакомство с поэзией Сюпервьеля нашим читателям еще предстоит.

Из сборника «Притяжения» (1925)

Бульвар Ланн, 47

Эй, бульвар Ланн, что ты делаешь там, наверху?
Твои громыхающие повозки катятся прямо по небу,
Кони вечность втягивают ноздрями
И хвостом подметают зарю,
А следом извозчик с кнутом
Бредет с бутылкой в кармане.
Эй, бульвар Ланн, как ты очутился посреди небосвода
Со своими каменными домами,
К которым осторожно принюхиваются проходящие годы?
Что ты делаешь так далеко от парижской луны и парижского солнца?
Даже фонарь растерялся: загореться ему или гаснуть,
А молочница сомневается, настоящие ли над ней балконы
И звенят ли в руках у нее бидоны
Или это позвякивают миры?
Дворник у сточной канавы сгребает опавшие листья
И возводит из них внушительный холм братской могилы,
Где покоятся листья со всех платанов,
Аккуратно расставленных по небу.
В шуршанье метлы сквозит необъятность пространства,
И душа пытается подражать эху.
А эта собака, чудом перебежавшая мостовую,
Земной ли она породы?
Ее шерсть пахнет молниями и тучей,
Но глаза среди облачного разброда
Простодушны, как на земле.
Пожалуй, бульвар теперь шире,
Чем расстояние между Орионом и Лебедем,
И если ухом припасть к мостовой,
То услышишь галоп галактик, битву бездн,
А сквозь щели между булыжниками
Видно, как распласталась звезда,
Цепляясь лучами
За невесомый, ускользающий воздух.

Прячась за сгустком ночи, как за колонной,
И прикрывая памяти рот, чтоб она не шумела,
Я осматриваюсь оробело
Своими земными глазами.
(Но каких превращений путь
Я прошел, чтоб сюда заглянуть?)
Здесь явно тот же век и тот же год, что на календаре,
Но кажется, как будто первый день творенья:
Уж очень пристально предметы смотрят друг на друга
В какой-то первозданной немоте.

Звучат шаги по тротуару гулко.
Сомненья нет: стучат мои подметки.
Они бредут по дальним переулкам —
Меня покинула моя походка.
(Выходит, я ей попросту не нужен?)
Шаги все дальше, дальше от меня,
Их стук стихает где-то в дебрях Леса...
Кричать не имеет смысла,
Все равно ничего не слышно,
Кроме жалоб Земли.
Она ощупывает вдали,

За миллион лье отсюда,
Свои реки, горы, снега
И следит, чтоб огонь не погас,
На котором варится будущее,
Дожидаясь, когда пробьет его час.

•

А вот и мой дом, я узнал его здесь, наверху,
И, пожалуй, повешу портреты отца и матери
Между двумя дрожащими звездами,
Поставлю старинные часы из гостиной
На камин из твердого мрака.
Однажды какой-нибудь астроном обнаружит их в небе
И будет бубнить об этом до самой смерти.
Но все это будет нескоро,
Ведь мне нужно еще дотянуться рукой до Земли,
А рука моя движется медленно,
Словно ей трудно без воздуха, без друзей и без света
В этом небе, скулящем от боли,
Потому что у наших земных предметов
Слишком много острых углов.

Желание

Отпущенный мне свет, и твердая земля,
И облако, где мысль витает без запрета,
Всё, чем душа полна и тяжела,—
Как оторву я от себя все это?

Ведь и за мной придут, чтоб взять, запаковать...
Ах, лишь бы в этот час я не был жалок!
О Вечность, бандероль Вам эту посылать
Еще нелепей, чем букет фиалок!

Из сборника «Невинный каторжник» (1930)

* * *

Льдом одиночества окованное сердце,
Где взять тебе тепла, чтоб дать мне хоть чуть-чуть?
Нам горько оттого, что вместе не согреться,
И страх вползает в грудь.

Ступай своим путем, мы можем лишь на память
Друг другу подарить осколки наших льдов
И молча посмотреть, как льдинки будут таять
От жара мрачного смятенных наших лбов.

Поймать

Поймать, поймать закат, и яблоко, и тьму,
Дом, стену, статую и улицу саму,

Лежащей женщины лодыжку, шею, рот,
Потом разжать ладонь. О, сколько птиц вспорхнет,

Вспорхнет, чтобы опять стать яблоком, стеной,
Закатом, статуей, и улицей, и тьмой!

Больная

Вижу вашу кровать в темных далях забвенья...
Как приблизиться к вам хоть во сне на мгновенье?

Лихорадка вошла к вам и шарит везде,
И краснеет, прочтя ваши письма в столе,
Смутно слышится вам, будто взад и вперед
В вашем теле, как в погребе, кто-то снует.

Как из лодки, рука ваша свесилась — ищет
Море в ветре ночном.
Пальцы трогают пол, а волна где-то плещет,
Они тянутся к ней, чтоб хоть пену достать.

Рядом птицы любви из числа ваших вестниц,
Вечно преданных вам, по одной умирают.
Их безмолвно с ковра убирают
И выносят во тьму шатких лестниц.

По ту сторону безмолвия

Андре Гайяру

Заката медленные веки
И взгляд, как у подбитых птиц.
Кто камень бросил для потехи?
Откуда ночь сочится вниз?

В подземной сумрачной работе
Опасность корни чуют вмиг,
Душа, забывшая о плоти,
Взмывает с трепетом в зенит.

Луна в борьбе теряет силы,
Стремясь гнездо свое найти,
Но слишком долго тьма носила
Ее по небу, сбив с пути.

Себя не узнаёшь, и мнится:
К тебе протянута рука —
То свет зари издалека,
Ты видишь пред собой денницу.

Долго стены, сутуля суровые плечи,
Мрак на тачки грузили, чтоб вывести прочь,
Но к рукам моим, видно, пристала навечно
Затопившая простыни ночь.

День встает над причалом, у края кормы,
Он ведет за собою земные предметы.
Ах, верните мне пирсы рассвета!
Уцелел я в смоле всеобъемлющей тьмы.

Из сборника «Сказание о мире» (1938)

Дождь и тираны

Я вижу, как снаружи
Поблескивают лужи
На сумрачной планете.
Льет дождь на белом свете,
Как при Гомере, звонко,
Как при тебе, Вийон,
На мать и на ребенка,
На стадо и загон.
Дождь мечется и длится,
Но не смягчить ему
Тупых тиранов лица,
Не тронуть их сердца́ —
Их нечем удивить...
Сочится без конца
В Европе мелкий дождь
Над уличной толпою,
Накрыв детей Творца
Единой пеленою,
И что́ ему полки,
Взводящие курки,
Газетный перезвон
Намеков и имен!
И мочит мелкий дождь
Парадный шелк знамен.

Метаморфозы

Ты незримо гостишь у меня в кабинете,
То в свечу превратившись, то в лампу мою,
Но в металле и в зеркале, в бронзе и в меди
Я по отсветам нежным тебя узнаю.

Если тесно тебе в оболочке предмета,
То материи ты покидаешь броню
И скользишь, невесомая, вдоль по лучу,
Проникая в окошко с потоками света.

Но какую же форму ты примешь сегодня?
Я ищу тебя взглядом и молча зову.
В это время ты дверь открываешь тихонько
И, живая, в проеме стоишь наяву

И с улыбкой глядишь, как я облик девичий
Продолжаю искать в миллионе обличий.

Из цикла «Стихи о Франции в беде» (1941)

1940

...Мы в глубь себя ушли и молча
В объятьях Францию несем,
И каждый мнит, что с тайной ношей
Один бредет глухим путем.

И каждый держит дар чудесный,
Боясь разрушить волшебство:
Так этот стан и лик небесный
И есть отечество его?

Всяк на свой лад к груди прижал
Ее и бережно и страстно
И в ней себя увидел ясно,
Как в глубочайшем из зеркал.

На перекладных

Остановка в дороге сквозь ночь,
Когда сон ускользает прочь
И глаз уже не сомкнуть.
Уж не здесь ли, прервав свой путь,
Лошадей меняет душа
На предутреннюю упряжку?
Вот и кони: мышастая пара,
У ноздрей их не видно пара,
И копыт не слышны удары
Даже там, под корой бытия.
Я в постели, но кони спешат
И выносят меня на дорогу,
На незримый, нехоженый тракт.
Весь свой слух я призвал на подмогу,
Но лишь слышу, как сердце сквозь мрак
На язык своего монолога
Переводит, сбиваясь немного,
Свою смелость и слабость мою.
Продвигаюсь во тьме не без риска
К той поре, и далекой и близкой,
Что лежит под обломками сна:
Вот я снова за жесткой и низкой
Школьной партой, с мальчишками вместе,
И меня вызывают к доске.
— Кто до дна выпил бедствий чашу?
— Рассеченная Франция наша.
— В ком надежда жила, как недуг,
Когда честь хоронили вокруг?
Отвечать я не мог от горя,
Только слезы глотал и вскоре,
Отступив потихоньку в тень,
В путь пустился в завтрашний день.
Кони мчали меня вдоль моря
Прочь от детства и от Истории,
Пока вдруг не забрезжил вдали
Скромный свет неяркой зари.

Краски дня

Цвета и краски дня без Франции унылы.
Зеленый, розовый, лиловый, голубой
Застыли на весу, им здесь ничто не мило,
И некуда осесть их стае кочевой.

Мне здесь, как в ссылке, мир в тумане предстает.
Верните мне Париж, я снова буду зрячий!
Здесь дымка застит взор, и солнца свет горячий
Не может в сумрак мой сойти с немых высот

И смотрит с лестницы растерянно в пролет.

Из сборника «1939—1945»

* * *

Друзья безмолвных дней, пора нам выступать,
Ручные волки ждут нас у дверей покорно,
Ночь лижет наш порог, снег с нами выйдет в путь —
Эскорта белого беззвучен шаг проворный.
Пусть вечно нам во тьме среди пустынь блуждать,
Пусть нам земля сулит могильное объятье,
Не может солнце нам свой светлый знак подать,
Спасти его лучи должны мы от заклятья.
Пройдя по краю бездн, откуда все мы родом,
Откуда вышли все, где жизни бьют ключи,
Сочтем свои ряды под темным небосводом,
Нам ночь военная даст звездные мечи.

■

АЛЬБЕР КАМЮ

Счастливая смерть

РОМАН

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА
Послесловие В. ЛАКШИНА

Часть первая

ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

Глава I

Было десять часов утра, когда Патрис Мерсо размеренной походкой шагал к вилле Загрея. В это время привратница уходила на рынок, дом оставался без присмотра. Был апрель, чудное весеннее утро, лучезарное и холодное, чистейшая ледяная голубизна с огромным солнцем, ослепительным, но негреющим. Потоки света струились по стволам пиний, растущих на холмах вокруг виллы. Пустынная дорога шла слегка в гору. Мерсо нес чемоданчик, его ручка мерно поскрипывала в такт сухому шелесту шагов по застывшей дороге. Славное было утро.

Немного не доходя виллы, дорога открывалась на небольшую площадь, уставленную скамейками и украшенную клумбами. Ранние герани алели среди серых алоэ, голубело небо, белели выкрашенные известкой заборы; все это было таким свежим, таким младенчески ярким, что Мерсо невольно замедлил шаги перед тем, как двинуться дальше по пути, ведущему под уклон к вилле Загрея. У ворот остановился, натянул перчатки. Отворил дверь, которую хозяин-калека никогда не запирал, и, разумеется, прикрыл ее за собой. Двинулся по коридору и, оказавшись перед третьей дверью слева, постучал и вошел. Загрей был там, где ему и следовало быть, в кресле у камина, на том самом месте, где два дня назад сидел Мерсо. Обрубки его ног были покрыты пледом. Он читал, уставившись в лежащую перед ним книгу. В его круглых глазах не отразилось никакого удивления, когда он заметил Мерсо, застывшего в дверях. Занавески на окнах были отдернуты, и всюду, на полу, на стенах, на углах мебели, искрились солнечные брызги. За окнами, над золоченой и холодной землей, ликовало утро. Великая, леденящая душу радость, пронзительные и неуверенные выкрики птиц, половодье безжалостного света — все это придавало утру обличье невинности и подлинности. Мерсо замер, у него перехватило дыхание и заложило уши от духоты, царившей в комнате. Несмотря на перемену погоды, Загрей велел растопить камин. Мерсо чувствовал, что кровь стучит у него в висках и стук этот отдается в ушах. Хозяин, не проронив ни слова, следил за ним взглядом. Патрис подошел к сундуку, стоявшему по другую сторону камина, и, не глядя на калеку, положил свой чемоданчик на стол. Вот тут-то он и почувствовал чуть заметную дрожь в коленях. Остановился, сунул в рот сигарету, кое-как прикурил, в перчатках было неудобно. Позади него раздался легкий хлопок. Не вынимая сигарету, он обернулся. Загрей, только что захлопнувший книгу, все смотрел и смотрел на него. Нагнувшись к пышущему жаром камину, Мерсо прочел назва-

ние книги, обращенной к нему вверх ногами: «Придворный» Бальтасара Грасиана [115]. Не раздумывая больше, он склонился над сундуком и открыл его. Черный на белом, там лоснился всеми своими кривыми линиями револьвер, смахивающий на ухоженного кота; он, как всегда, стерег предсмертную записку Загрея. Мерсо взял ее в левую руку, а револьвер — в правую. Потом, поколебавшись, сунул револьвер под мышку и раскрыл конверт. В нем не было ничего, кроме большого листа бумаги, исписанного крупным угловатым почерком, всего несколько строк:

«Кончая самоубийством, я уничтожаю лишь половину самого себя. Пусть не посетуют на меня за это, содержимого моего сундучка с лихвой хватит, чтобы вознаградить тех, кто мне до сих пор служил. А излишки должны пойти на улучшение режима приговоренных к смерти. Впрочем, я понимаю, что прошу слишком многого».

Мерсо с непроницаемым лицом сложил письмо; как раз в этот миг у него защипало глаза от сигаретного дыма, а столбик пепла упал на конверт. Он встряхнул бумагу, положил ее на стол, на видное место, и обернулся к Загрею. Тот смотрел теперь на конверт, сжимая книгу короткими мускулистыми руками. Мерсо нагнулся, повернул ключ в сундуке, принялся выбирать из него пачки, завернутые в газетную бумагу,— был виден только их обрез. Держа револьвер под мышкой и действуя только одной рукой, он мало-помалу наполнил свой чемоданчик. Там было приблизительно десятка два пачек с сотенными купюрами, и Мерсо понял, что его чемодан оказался, пожалуй, великоват. Одну пачку он оставил в сундуке. Закрыв чемодан, он швырнул полупогасшую сигарету в камин и, взяв револьвер в правую руку, подошел к калеке.

Теперь Загрей смотрел в окно. Было слышно, как мимо ворот медленно, с чавкающим звуком, проехала машина. Загрей сидел не шелохнувшись, словно завороженный бесчеловечной красотой этого апрельского утра. Он не отвел глаз даже тогда, когда почувствовал у правого виска револьверный ствол. Но смотревший на него Мерсо увидел, что его глаза наполнились слезами. И тогда сам зажмурился. Сделал шаг назад — и выстрелил. Целое мгновение простоял, прислонившись к стенке, не открывая глаз, слыша, как кровь звенит у него в висках. Потом собрался с духом и взглянул. Голова Загрея запрокинулась на левое плечо, а тело почти не сдвинулось с места. Так что видел он не Загрея, а только огромную рану, мешанину из мозгов, костей и крови. Вздрогнув, Мерсо обогнул кресло, нашарил правую руку мертвеца, зажал в ней револьвер, поднес его к виску и отпустил. Револьвер упал на подлокотник кресла, а оттуда — на колени Загрея. Мерсо перевел взгляд на лицо калеки. На нем застыло то же серьезное и печальное выражение, как минуту назад, когда он смотрел в окно. Неожиданно за воротами раздался пронзительный звук рожка. Затем этот ирреальный призыв повторился. Склонившийся над креслом Мерсо не пошевельнулся. Послышался шум мотора — машина мясника отъехала. Мерсо подхватил чемодан, отворил дверь — ее ручка так и сияла под лучами солнца — и вышел. Голова у него гудела, во рту пересохло. Миновал ворота, размашистой походкой зашагал прочь. Вокруг не было ни души, кроме стайки ребятишек в дальнем конце площади. Вилла осталась за спиной. Дойдя до площади, он внезапно почувствовал, что совсем продрог: на нем был только легкий пиджак. Пару раз чихнул — долина отозвалась насмешливым и звонким эхом, разнесшимся до самого хрустального небосвода. Чуть вздрогнув, он остановился и глубоко вздохнул. Небесная лазурь слала земле миллионы сияющих улыбок. Они играли в листьях, еще полных дождевой влаги, на сыром туфе аллей, летели к домам с черепичными кровлями цвета свежей крови и снова взмывали к воздушным и солнечным озерам, откуда только что прянули на землю. Слышалось мирное мурлыканье крохотного самолетика, плывшего где-то вверху. Воздух был так ясен, так щедры были небеса, что казалось — нет у людей иного призвания, чем жить и быть счастливыми. Но в душе Мерсо все молчало. Чихнув

---

[115] Бальтасар Грасиан (1601—1658) — испанский писатель-моралист, иезуит.

в третий раз, он снова вздрогнул, теперь уже сильнее, и понял, что его лихорадит. Тогда, не оглядываясь по сторонам, он пустился бежать — только поскрипывал чемодан и гудела земля под ногами. А добравшись до дома, зашвырнул чемодан в угол, бросился на кровать и проспал до середины следующего дня.

Глава II

Лето переполняло порт гулом голосов и солнцем. Близился полдень. День раскалывался пополам, обрушивая на набережные свою знойную сердцевину. Перед складами Алжирской торговой палаты грузились «скьяффино», суденышки с черным корпусом и красной трубой. Аромат мельчайшей мучной пыли, исходивший от мешков с зерном, смешивался с тяжелым запахом вспучившегося под солнцем асфальта. Возле крохотной забегаловки, пропахшей древесным лаком и анисовой водкой, толпились выпивохи, арабские акробаты в красных трико кувыркались на пышущих жаром плитах, за которыми море так и искрилось солнечными бликами. Не глядя на них, грузчики с мешками за спиной ступали по мосткам из двух пружинящих досок, поднимаясь с причала на палубу. Дойдя доверху, внезапно прорисовавшись над гаванью, на фоне неба, среди лебедок и мачт, они на мгновение замирали, ослепленные близостью небес,— только поблескивали глаза на лицах, залепленных белесоватой коркой из пота и мучной пыли,— и вслепую ныряли в душный, словно пропитанный парной кровью трюм. В раскаленном воздухе без конца выла сирена.

И вдруг люди на сходнях вздрогнули и остановились. Один из грузчиков оступился и упал. Он не провалился, но защемил ногу в зазоре между досками. С вывернутой за спину рукой, придавленный тяжеленным мешком, он вопил от боли. Как раз в этот момент Патрис Мерсо вышел из своей конторы. Едва он переступил порог, как у него перехватило дыхание от жары. Широко раскрыв рот, он наглотался асфальтовых испарений, ободравших ему глотку, и застыл на месте, глядя на грузчиков. Они уже вытащили раненого, уложили его на пыльные мостки. Губы у него побелели от боли, плетью висела сломанная выше локтя рука, из страшной кровоточащей раны торчал обломок кости. Стекая вдоль локтя, капли крови одна за другой шлепались на пышущие жаром плиты и с шипением испарялись. Мерсо, не отрываясь, смотрел на кровь, когда кто-то тронул его за рукав. Это был Эмманюэль, парнишка, служивший рассыльным. Он указал Патрису на приближавшийся к ним грузовик: «Давай?» Патрис кивнул. Грузовик уже промчался мимо. И они тут же рванулись вдогонку, утопая в грохочущем пыльном облаке, задыхаясь и жмурясь, почти ничего не соображая и чувствуя только бешеный порыв, который сломя голову нес их мимо лебедок к машине, мимо танцующих на горизонте мачт, мимо облупившихся, словно изъеденных проказой, корабельных корпусов. Мерсо первым ухватился за борт грузовика и, щеголяя силой и ловкостью, прыгнул в кузов. Помог забраться Эмманюэлю; они уселись на скамейке, болтая ногами, и, окутанный меловой пылью, озаренный душным солнечным маревом, струившимся с небес, окруженный огромными и фантастическими декорациями порта, ощетинившегося мачтами, и черными стрелами подъемных кранов, грузовик полным ходом умчался, подбрасывая на неровной брусчатке Эмманюэля и Мерсо, которые хохотали, хохотали до изнеможения, а кровь так и бурлила у них в голове.

Добравшись до Белькура, они спрыгнули с грузовика. Эмманюэль пел, пел громко и фальшиво. «Понимаешь,— говорил он Мерсо,— песня так и рвется из груди, когда все у меня в порядке. Или когда я плаваю». Так оно и было. Эмманюэль любил петь во время плавания, и его голос, хрипловатый от одышки, исчезающей на море, вторил взмахам коротких мускулистых рук. Они свернули на Лионскую улицу. Мерсо шагал размашистой походкой, поводя широкими плечами, высоченный, спортивный. Ступал ли он на закраину тротуара, сторонился ли встречных, которые могли задеть его в толпе,— во всех его движениях сквозили молодость и поразительное

здоровье, сулившие их обладателю переизбыток плотских радостей. Отдыхая, он лежал на боку, чуть рисуясь своей гибкостью, словно спортсмен, научившийся ценить собственную телесную красоту. Надбровные дуги, из-под которых поблескивали глаза, были, пожалуй, малость тяжеловаты. Говоря с Эмманюэлем, он машинально теребил ворот, словно тот был тесноват, да то и дело кривил изогнутые подвижные губы. Они зашли в ресторан. Высмотрели себе местечко и молча принялись за еду. В тени было прохладно. Жужжали мухи, слышалось звяканье посуды, доносились обрывки разговоров. Хозяин заведения, высокий и усатый тип — его звали Селест — подошел к их столику, сунул руку под фартук, поскреб себе живот.

— Как дела? — спросил его Эмманюэль.

— Как у всех стариков.

Они обменялись приветствиями, похлопали друг друга по плечу. Завязался разговор.

— Видишь ли,— сказал Селест,— старики — это сущие мудаки. У них считается, что только тот человек, кому стукнуло пятьдесят. И все потому, что сами на шестом десятке. А вот у меня был один приятель, так он чувствовал себя человеком только в обществе своего сына. Всюду вместе ходили. И за ворот заливали тоже вместе. Зайдут, бывало, в казино — мой приятель говорит: «С какой это стати я буду знаться со всяким старичьем? У них только и разговору, что про слабительное да про печеночные колики. То ли дело с сыном пройтись. А подцепит он случаем какую цыпочку, я притворюсь, будто ничего не видел,— и на трамвай. Спасибо и до свиданьица. И все рады-счастливы».

Эмманюэль расхохотался.

— Он мне, конечно, не указ,— продолжал Селест.— Но уж очень я его уважал.— Он подмигнул Мерсо.— К тому же я это самое дело люблю побольше него. Кстати, когда ему повезло, он жутко задрал нос, кивнет, бывало, и все. Теперь-то, когда он все потерял, спеси в нем поубавилось.

— И поделом,— сказал Мерсо.

— А все оттого, что не нужно быть таким сволочным. Но, как ни крути, были у него золотые денечки. Девятьсот тыщ франков — не шуточное дело... Вот бы мне такие деньги!

— И что бы ты с ними сделал? — спросил Эмманюэль.

— Купил бы домишко, капнул себе клею на пупок да пристроил флажок. И поглядывал бы, откуда ветер дует.

Мерсо ел спокойно до тех пор, пока Эмманюэлю не вздумалось в который раз позабавить хозяина своей знаменитой историей о битве на Марне.

— Мы не кто-нибудь были, а зуавы, а из нас простых пехотинцев сделали...

— Брось, осточертело,— миролюбиво заметил Мерсо.

— Командир кричит: «В атаку!» — продолжал Эмманюэль.— И вот поперли мы через какой-то буерак. Нам велят атаковать, а впереди никого не видно. Ну, что делать, топаем да топаем. И вдруг как застрочат пулеметы! И мы давай валиться друг на друга. Столько народу покалечило да поубивало, столько кровищи вытекло, что хоть на лодке плавай. И тут один малый как заверещит: «Ой, мама! Я боюсь!».

Мерсо поднялся, завязал свою салфетку узлом. Хозяин двинулся к двери, ведущей на кухню, чтобы прикинуть на ней мелом, во что обошелся завтрак. Дверь служила ему чем-то вроде расчетной книжки. Когда посетители начинали пререкаться, он молча снимал свой гроссбух с петель, взваливал на спину и уносил. Рене, сын хозяина, примостившись в уголке, ел яйцо всмятку.

— Не повезло парню,— заметил Эмманюэль,— помирает от чахотки.

Что правда, то правда. Рене был обычно молчалив и серьезен. Не то чтобы слишком худой, но с болезненным блеском в глазах. Сейчас какой-то посетитель уверял его, что туберкулез вполне излечим, было бы время, «ну, и остерегаться надо». Тот с важным видом кивал и поддакивал, не переста-

вая уплетать яйцо. Мерсо подсел к нему за стойку, чтобы выпить кофе. Утешитель продолжал:

— Ты знал Жана Переза? Ну, того, что служил в Газовой компании? Так вот, он помер. У него всего одно легкое было затронуто. А он решил раньше времени удрать из больницы и вернуться домой. А там жена. Не жена, а сущая кобыла. А при его болезни, сам понимаешь, так и тянет на это дело. И он с нее, можно сказать, не слезал. Она-то особенного желания не проявляла. А он как с цепи сорвался. Два-три раза на дню — и так всю дорогу. Вот он и отдал концы.

Рене поперхнулся куском хлеба и уставился на собеседника.

— Да,— выдавил он наконец,— болезнь такая штука: входит пудами, а выходит золотниками.

Мерсо принялся выводить свое имя пальцем на запотевшем кофейнике. Глаза у него слипались. Вот так, день за днем, колыхалась туда-сюда его жизнь, пропитанная запахами кофе и асфальта,— то качнет к этому невозмутимому туберкулезнику, то к лопающемуся от песен Эмманюэлю,— колыхалась сама по себе, чуждая ему самому, его сердцу и скрытой в нем истине. Те вещи, которые при других обстоятельствах взволновали бы его, не находили в нем отклика, потому что он успевал изжить их за день, и только вечером, когда возвращался домой, ему приходилось напрягать все силы, чтобы хоть немного пригасить полыхавшее в нем пламя жизни.

— Скажи-ка мне, Мерсо, я правильно посчитал? — обратился к нему хозяин.— Ты ведь у нас парень образованный.

— Правильно,— сказал Мерсо,— можешь не проверять.

— То-то и оно, сегодня ты львиную порцию умял.

Мерсо улыбнулся, вышел из ресторана и, перейдя через дорогу, поднялся к себе в комнату. Она располагалась прямо над мясной лавкой, где торговали кониной. Свесившись с балкона, до которого доносился запах крови, можно было прочесть вывеску: «У благороднейшего из друзей человека». Мерсо растянулся на кровати, выкурил сигарету и заснул.

Он поселился в той комнате, которую прежде занимала его мать. Они долго прожили вдвоем в этой трехкомнатной квартирке. Оставшись один, Мерсо сдал две комнаты знакомому бочару и его сестре, а себе оставил ту, что была получше. Его мать умерла в пятьдесят шесть лет. Смолоду она была красавицей и поэтому считала, что имеет право на кокетство, беззаботную жизнь и блестящее будущее. Но годам к сорока в нее вцепилась страшная болезнь. Ей пришлось забыть о нарядах, косметике и вырядиться в домашний халат, лицо у нее распухло от ужасных нарывов, ноги до того отекли и ослабели, что каждый шаг давался с трудом, вдобавок она почти ослепла и кое-как, на ощупь ковыляла в вечном полумраке по неприбранной квартире. Удар был неожиданным и резким. У матери обнаружили врожденный диабет, не только запущенный, но и усугубленный ее безалаберной жизнью. Патрису ничего не осталось, как бросить занятия и пойти на работу. Но он продолжал читать и раздумывать над прочитанным до самой кончины матери. А она промучилась еще лет десять. Этот крестный путь настолько затянулся, что все окружающие свыклись с ее болезнью и как-то упустили из виду, что жизнь страдалицы висит на волоске. Она умерла в одночасье. Все в округе жалели Мерсо. Вспоминали, как он был привязан к матери. Ждали от похорон чего-то необыкновенного. Упрашивали дальних родственников поменьше плакать, чтобы не растравлять душу Патриса. Умоляли их не оставлять сироту, заклинали принять участие в его судьбе. А он, принарядившись как только мог, держа шляпу в руке, следил за всеми приготовлениями. Шел за гробом, присутствовал при отпевании, бросил в могилу первую пригоршню земли, пожал, как требует обычай, руки всем присутствующим. И только раз выразил удивление и недовольство, когда оказалось, что для приглашенных было заказано слишком мало экипажей. На том все и кончилось. Уже на следующий день в одном из окон дома появилось объявленьице: «Сдается внаем». Теперь он занял комнату матери. Прежде, когда они жили вместе, в их бедности была своя прелесть. Когда они сходились по вечерам и ужинали при свете керосиновой лампы,

эта простота и уединенность были овеяны потаенным счастьем. Окрестные кварталы были молчаливы. Мерсо поглядывал на усталый рот матери и улыбался. Она тоже улыбалась. Он снова принимался за еду. Лампа немного коптила. Мать привычным движением поправляла фитиль, для этого ей не надо было даже наклоняться, только руку протянуть. «Больше не хочется?» — спрашивала она чуть погодя.— «Нет».— Потом он курил или читал. «Опять!» — ворчала она, заметив сигарету. А если он брался за книгу, напоминала: «Сядь поближе к лампе, глаза испортишь». Теперь, когда он остался один, прежняя бедность обернулась для него лютой нищетой. Он мог бы устроиться и получше, но продолжал цепляться за эту квартирку с въевшимся в нее запахом нужды. Здесь он, по крайней мене, мог оставаться таким, каким был прежде. Добровольно стушевавшись перед жизнью, он терпеливо проводил наедине с самим собой долгие часы, исполненные печали и сожаления. Он не решался снять с входной двери разлохмаченный по краям кусочек серого картона, на котором его мать синим карандашом вывела когда-то свое имя. Оставил старую медную кровать, покрытую сатином, и портрет деда: маленькая бородка, светлые, неподвижные глаза. На камине пастухи и пастушки толпились вокруг старых остановившихся часов и керосиновой лампы, которую он теперь почти никогда не зажигал. Сомнительная меблировка из соломенных, слегка продавленных стульев, одежного шкафа с помутневшим зеркалом и туалетного столика с отбитым уголком словно бы и не существовала для него, так он к ней присмотрелся. От жилья осталась одна видимость, да, может, оно и к лучшему, незачем лезть вон из кожи. В другой комнате ему пришлось бы осваиваться заново, а то и менять образ жизни. А он хотел сузить пространство, отпущенное ему в мире, и спать до тех пор, пока все на свете не кончится. Комната матери вполне годилась для этой цели. Одним окном она выходила на улицу, другим — на террасу, вечно завешанную бельем, за которой теснились между высокими стенами маленькие апельсиновые сады. Иногда летними ночами он, не зажигая в комнате света, отворял окно на террасу и темные сады. Из ночи в ночь доносился оттуда сильный апельсиновый запах, овевал его невесомыми струями. Целую ночь его комната и он сам тонули в этом тонком, но густом аромате, и тогда ему казалось, будто он, проведя целую вечность за гранью смерти, наконец-то распахнул окно в жизнь.

Он проснулся с привкусом сна во рту, весь покрытый потом. Было уже поздно. Он причесался, вприпрыжку сбежал по лестнице, вскочил в трамвай. И в пять минут третьего очутился у себя в конторе. Он работал в большой комнате, все ее четыре стены были заняты нишами, в которых пылились документы. Комната не была ни грязной, ни мрачной, она просто-напросто смахивала на колумбарий, где истлевало мертвое время. Мерсо проверял накладные, переводил списки с названиями товаров, прибывших на английских судах, а с трех до четырех принимал клиентов, которым нужно было отправить посылки. Он сам напросился на эту работу, которая ему, в сущности, вовсе не подходила, но поначалу казалась хоть какой-то отдушиной. Здесь мелькали живые лица, толпились завсегдатаи, веяло свежестью, от которой вздрагивало его усталое сердце. Здесь он мог укрыться от трех машинисток и мсье Ланглуа, начальника конторы. Одна из машинисток была довольно хорошенькой, недавно замужем. Вторая жила с матерью, а третья оказалась старой девой, положительной и энергичной; Мерсо нравился ее цветистый язык и мужественное отношение к «своим несчастьям», как выражался мсье Лангуа, который часто вступал с ней в перепалку и неизменно оказывался побежденным. Старая мадам Эрбийон презирала его за пропотевшие насквозь, прилипшие к ляжкам брюки, за то, что он терял голову в присутствии директора и приходил в замешательство, услышав по телефону имя какого-нибудь адвоката или дворянчика. Бедняга тщетно пытался задобрить старую даму, найти путь к примирению. В этот день он распинался, стоя посредине кабинета: «Ну согласитесь же, мадам Эрбийон, что не такой уж плохой я человек». Мерсо

прикидывал, что бы такое значило английское слово «vegetables» [116], смотря поверх его головы на лампочку в зеленом абажуре из тисненого картона. Напротив висел цветной настенный календарь с изображением какого-то религиозного праздника в Канаде. Промокашка, блокнот, чернильница и линейка выстроились в ряд на столе. Окна выходили на огромные штабеля дров, привезенных из Норвегии желтыми и синими судами. Мерсо прислушался. За стеной, над морем и портом, глухо и глубоко дышала жизнь. Такая далекая и такая близкая... Пробило шесть часов: наконец-то он свободен. Сегодня была суббота.

Вернувшись к себе, он прилег и проспал до самого ужина. Изжарил яичницу, поел прямо со сковороды (без хлеба — забыл купить), потом снова улегся и тут же уснул — теперь уже до утра. Проснувшись чуть раньше обычного, умылся и пошел перекусить. Вернулся, решил два кроссворда, аккуратно вырезал из газеты рекламу лекарственных солей и наклеил ее в тетрадку, заполненную снимками престарелых шутников, съезжающих по перилам. После чего вымыл руки и вышел на балкон. День был чудесный. По замусоренной мостовой торопились куда-то редкие прохожие. Он внимательно провожал взглядом каждого, отпуская его только тогда, когда тот исчезал из поля зрения, и тут же переключался на нового. Сперва ему попалась вышедшая на прогулку семья: двое ребят в накрахмаленных матросках и штанишках ниже колен и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними шагала мать в шелковом коричневом платье, этакое страшилище с горжеткой вокруг шеи, и представительный папаша с тростью в руке. Чуть позже появилась группа местных парней: напомаженные проборы, пестрые галстуки, чересчур приталенные пиджаки с вышитыми карманчиками, тупорылые ботинки. Смеясь во всю глотку, они спешили к трамвайной остановке — им нужно было в центр, в кино. После них улица мало-помалу опустела. Утренние сеансы уже начались. Теперь во всей округе не осталось никого, кроме лавочников да кошек. Над фикусами, рассаженными вдоль тротуара, круглилось матовое небо. Владелец табачной лавочки вытащил на улицу стул и уселся на него верхом, ухватившись руками за спинку. Трамваи, в которые только что нельзя было втиснуться, шли почти пустые. В маленьком кафе «У Пьеро» гарсон посыпал опилками безлюдный зал. Мерсо повернул свой стул спинкой к улице, как тот торговец, и одну за другой выкурил пару сигарет. Вернулся в комнату, разломил плитку шоколада и сжевал ее, стоя у окна. Чуть погодя небо потемнело и тут же снова прояснилось. Но мимолетный наплыв облаков подарил улице что-то вроде надежды на дождь. В пять часов снова загрохотали трамваи, облепленные гроздьями болельщиков: те возвращались из предместья, со стадионов, стоя на подножках и цепляясь за поручни. Следующая вереница трамваев привезла игроков, которых можно было узнать по маленьким чемоданчикам. Они вопили что есть мочи и распевали песни во славу своих команд. Увидев Мерсо, помахали ему. А один крикнул: «Мы их раздолбали». «Ага»,— отозвался он и кивнул. Машин становилось все больше. Кое-кто из водителей украсил капоты и бамперы цветами. Потом день продвинулся еще немного. Небо над крышами чуть раскраснелось. К вечеру улицы снова оживились. Появились гуляющие. Усталые дети плакали, их приходилось тащить силком. Из окрестных киношек выплеснулись на улицу толпы зрителей. По решительным и хвастливым жестам парней, выходивших оттуда, Мерсо угадывал содержание боевика, который они только что видели. Чуть позже появились зрители, смотревшие кино в центре. Эти вели себя сдержанней. Перемигиваясь, обменивались грубыми прибаутками, но в их глазах и во всем обличье сквозила затаенная тоска по той шикарной жизни, которая приоткрылась им на экране. Они не сразу разошлись по домам, стали прогуливаться по улице. В конце концов на тротуаре, под окном Мерсо, образовалось два людских потока. В одну сторону шли, взявшись за руки, местные девицы с пышными прическами. А навстречу им

---

[116] Овощи, зелень *(англ.)*.

валили парни, отпуская шуточки, заставлявшие девиц хихикать и отворачиваться. Люди посерьезнéй заходили в кафе или сбивались в кучки на тротуаре; людской поток раздваивался, обтекая эти островки. Теперь улица была освещена, первые звезды, восходившие в ночи, казались бледными из-за электрических фонарей. Тротуар под окном Мерсо напоминал прилавок, полный людей и огней. Лоснилась грязная мостовая, трамвайные фары время от времени бросали отблеск на чью-то напомаженную шевелюру, влажный рот, улыбку или серебряный браслет. Чуть погодя, когда трамваи стали реже, а над деревьями и фонарями сгустилась ночная чернота, квартал незаметно опустел — и вот уже первая кошка медленно перешла безлюдную улицу. Мерсо вспомнил об ужине. У него слегка затекла шея: слишком уж долго он сидел, упершись подбородком в спинку стула. Он вышел купить хлеба и паштета, приготовил себе поесть, а потом вернулся к окну. Люди расходились по домам, в воздухе посвежело. Он вздрогнул, притворил раму, подошел к зеркалу, висевшему над камином. Если не считать редких вечеров, когда к нему заглядывала Марта или он выходил вместе с ней, да встреч с подружками из Туниса, вся его жизнь умещалась в жалкой перспективе этого пожелтевшего зеркала, отражавшего комнату, где засаленная спиртовка соседствовала с хлебными корками.

«Вот и еще одно воскресенье прошло впустую»,— сказал себе Мерсо.

Глава III

Когда Мерсо вечерами прогуливался по улицам, с гордостью поглядывая, как свет и тени скользят по лицу Марты, все казалось ему фантастически доступным, радовали собственная сила и смелость. Он был благодарен Марте за то, что она не стеснялась выставлять напоказ, идя рядом с ним, свою красоту, которая день за днем окатывала его волнами легкого хмеля. Он мучился, замечая обращенные на нее взгляды мужчин, но страдал бы еще сильнее, будь она дурнушкой. Вот и сегодня ему было так приятно войти вместе с ней в кино, незадолго до начала сеанса, когда зал был уже почти полóн. Она шла впереди, окруженная восхищенными взглядами, шла во всей своей победной красе — и лицо ее было как сад, полный цветов и улыбок. А он шагал за ней со шляпой в руке, преисполненный сознания собственной элегантности, чувствуя себя довольным сверх всякой меры. Он принял вид рассеянный и серьезный. С преувеличенной вежливостью посторонился, чтобы дать пройти билетерше, нагнулся, опуская сиденье для Марты. И все это не столько из желания покрасоваться, сколько из признательности, распиравшей его душу, наполнявшей ее любовью ко всему на свете. И чересчур щедрые чаевые он дал билетерше, потому что не знал, как отблагодарить судьбу за свою радость, а еще ему хотелось этим пустяковым жестом почтить свое божество, чья ослепительная улыбка масляным блеском отражалась во взгляде. В антракте он прогуливался по фойе, увешанному зеркалами, в которых множились облики его счастья, наполняя зал изящными и зыбкими фигурами: вот высокий и темный силуэт Мерсо, вот фигура улыбающейся Марты в светлом платье. Что и говорить, ему нравилось собственное лицо, увиденное в зеркале, сигарета во рту, чувственная горячка слегка запавших глаз. Но ведь красота мужчины — это лишь отражение его внутренних практических достоинств. На его лице написано то, что он способен совершить. Совершить ради сияющей бесполезности женского личика. Мерсо отлично понимал это и тешил тщеславие, улыбаясь своим тайным демонам.

Вернувшись в кинозал, он подумал, что в одиночку ни за что не вышел бы в фойе, а сидел бы здесь, покуривая и слушая пластинки с легкой музыкой, которые прокручивались в перерыве. Но в этот вечер игра шла своим чередом. И все средства были хороши, чтобы растянуть ее, придать ей новизну. Когда Марта устраивалась в кресле, ей поклонился какой-то мужчина, сидевший несколькими рядами дальше, и она помахала ему в ответ. Мерсо сделал то же самое, и тут ему показалось, будто губы незнакомца скривились в легкой усмешке. Он уселся, не заметив, что Марта

положила ему руку на плечо, как бы приглашая к разговору, а ведь минутой раньше он воспринял бы этот жест с радостью, как новое доказательство его власти над ней.

— Кто это? — спросил он, ожидая вполне естественного ответа: «Ты о ком? Ах, этот... Да ты же его прекрасно знаешь, его зовут...»

Но вместо этого Марта только вздохнула и промолчала.

— Ну говори же!

— Тебе так уж необходимо это знать?

— Да нет,— сказал Мерсо и тайком обернулся.

Незнакомец с непроницаемым лицом уставился в затылок Марты.

Довольно видный мужчина с ярко-красными губами, вот только глаза, чуть навыкате, какие-то невыразительные. Мерсо почувствовал, как кровь, волна за волной, ударяет ему в виски. Сияющие краски того идеального декора, в котором он прожил несколько часов, внезапно обернулись липкими струями пота, помрачившими его взгляд. А что, собственно, он ожидал от нее услышать? Он и без того был уверен, что она спала с этим типом. Его охватила какая-то паника при мысли о том, что мог думать сейчас этот человек. Наверное, то же, что и он сам: «Можешь хорохориться сколько угодно, дружок...» При мысли, что этот человек в эту самую минуту вспоминает о том, как Марта ведет себя в постели, как она прикрывает глаза ладонью в миг наслаждения, при мысли о том, что он тоже пытался отстранить руку Марты, чтобы разглядеть в ее глазах сумасшедшую пляску сумрачных богов, Мерсо почувствовал, что все в нем рушится, а под сомкнутыми веками набухают бешеные слезы. Раздался звонок к началу сеанса. Мерсо и думать забыл о Марте, которая была всего лишь внешним поводом его недавней радости, а теперь стала источником его гнева. Он долго сидел с закрытыми глазами и лишь спустя некоторое время решился взглянуть на экран. Перед ним лежал опрокинутый автомобиль, одно из его колес продолжало медленно и беззвучно крутиться, как бы вовлекая в свой порочный круг весь стыд и всю униженность, рожденные озлобленным сердцем Мерсо. Но стремление к определенности оказалось сильнее гордости.

— Скажи, Марта, он был твоим любовником?

— Ну да,— ответила она,— только не мешай мне смотреть.

С этого дня Мерсо понял, что начинает привязываться к Марте. Он познакомился с ней несколько месяцев назад и был поражен ее красотой и элегантностью. У нее было чуть широковатое, но правильное лицо, золотистые глаза и столь искусно подкрашенные губы, что она казалась богиней, не чурающейся косметики. Врожденная недалекость, сквозившая во взгляде, только подчеркивала ее неприступность и невозмутимость. До сих пор всякий раз, когда Мерсо делал первые шаги к женщине, не забывая о роковом законе, в силу которого любовь и простое желание внешне выражаются совершенно одинаково, он уже думал о разрыве, еще не успев заключить эту женщину в объятья. Но знакомство с Мартой пришлось на ту пору, когда он начал освобождаться от всего на свете, включая и самого себя. Мысли о свободе и независимости рождаются лишь у того, кто еще живет надеждой. А для Мерсо все это уже утратило всякий смысл. И в тот первый день, когда Марта обмякла в его объятьях, когда он увидел, как на ее придвинувшемся вплотную и оттого расплывающемся лице дрогнули и потянулись к нему губы, бывшие до сих пор неподвижными, словно нарисованные цветы, ему не удалось углядеть будущего в чертах этой женщины: в них сквозила только сила его собственного желания, которая сосредоточилась в ней и приняла ее облик. Потянувшиеся к нему губы были залогом бесстрастного, но разбухшего от страсти мира, в котором найдет успокоение его сердце. И все это показалось ему чудом. Его сердце дрогнуло от чувства, которое он чуть было не принял за любовь. Ощутив на губах вкус пышной и тугой плоти, он впился в нее так яростно, будто впивался в дикую свободу. В тот же день она стала его любовницей. Чуть погодя их любовный союз совсем наладился. Но, узнав ее получше, он мало-помалу утратил ощущение той необычайности, которая сквозила

в ней первоначально, и, клонясь к ее губам, иной раз пытался воскресить это чувство. Вот почему Марта, привыкшая к сдержанности и холодности Мерсо, так и не смогла уразуметь, почему однажды он вдруг потянулся к ней с поцелуем в битком набитом трамвае. Ничего не понимая, она подставила ему губы. И он впился в них так, словно и впрямь был влюблен,— сначала прильнув к ним, потом медленно их покусывая. «Что это с тобой?» — спросила она. В ответ он улыбнулся мимолетной улыбкой, которая так ей нравилась, и сказал: «Люблю побезобразничать», а потом запнулся и замолчал. Не понимала она и некоторых выражений Патриса. После любви, в тот миг, когда в облегченном и расслабленном теле потихоньку задремывает сердце, исполненное той нежности, которую может испытывать хозяин к ласковой собачонке, Мерсо, улыбаясь, говорил ей: «Привет, мой милый призрак».

Марта была машинисткой. Она не любила Мерсо, но привязалась к нему оттого, что он интриговал ее и льстил ее самолюбию. Привязалась с того дня, когда представленный ей Эммануэль сказал о своем друге так: «Вы знаете, Мерсо — хороший парень. Есть в нем что-то такое. Только он не любит раскрываться. Вот все в нем и ошибаются». Тогда она посмотрела на Мерсо с любопытством. Он сделал ее счастливой в любви, а большего она и не требовала, как нельзя лучше приспособившись к этому молчаливому любовнику, который никогда ничего у нее не просил, но с удовольствием принимал всякий раз, когда ей хотелось к нему прийти. Вот только чувствовала она себя немного скованной в обществе этого человека, в котором никак не могла нащупать ни одной слабой струнки.

И, однако, в этот раз, выходя из кино, она поняла, что и его тоже можно кое-чем уязвить. Оставшись ночевать у Мерсо, она целый вечер промолчала. Ночью он к ней не прикоснулся. Но, начиная с этого дня, она стала пользоваться своим преимуществом. Она и раньше говорила ему, что у нее были любовники. А теперь постаралась доказать это.

Зайдя к нему на следующий день, вопреки обыкновению, она не стала его будить, только присела рядом на кровать. Он был в рубашке, из-под закатанных рукавов белели подмышки загорелых мускулистых рук. Ровное дыхание вздымало грудь и живот одновременно. Две складки меж бровей придавали лицу знакомое выражение силы и упрямства, волнистые волосы разметались по сожженному дочерна лбу со вздувшейся на нем жилкой. Широкие плечи, сильные, мускулистые руки, одна нога чуть согнута: ни дать ни взять — одинокий и упрямый бог, попавший в чуждый для него мир и заснувший в нем. Глядя на его полные, припухшие от сна губы, она почувствовала, как в ней нарастает желание. В этот миг он чуть приоткрыл глаза и, снова закрывая их, беззлобно произнес:

— Не хорошо это — пялиться на спящего.

Она бросилась ему на шею, расцеловала. Он даже не пошевельнулся.

— Ну вот, мой милый: еще одна причуда.

— Не называй меня милым, слышишь. Я тебя уже просил.

Она вытянулась рядом с ним, посмотрела на его профиль.

— Никак не пойму, на кого ты сейчас похож.

Он подтянул брюки и повернулся к ней спиной. В театре или кино Марта нередко узнавала жесты и мимику Мерсо у какого-либо модного актера. Обычно это укрепляло его власть над ней, но сегодня эта тешащая самолюбие привычка сравнивать его с кем-нибудь только раздражала. Она прижалась к его спине, ощутив животом и грудью все его сонное тепло. Быстро вечерело, комната погружалась в сумерки. Из глубины дома доносился плач отшлепанных ребятишек, мяуканье, хлопанье дверей. Уличные фонари освещали балкон. Проходили редкие трамваи. С улицы в комнату поднимались тяжелые запахи анисовой водки и жаркого.

Марта почувствовала, как на нее наваливается сонливость.

— У тебя сердитый вид,— сказала она.— Ты и вчера был сердитым... Я потому сегодня и пришла. Ну что ты молчишь?

Она потрясла его. Мерсо не шевелился, поглядывая, как лоснятся в густой темноте под туалетным столиком его башмаки.

— Ты знаешь,— продолжала Марта,— я, в общем, перегнула палку вчера. Этот тип вовсе не был моим любовником.

— Не был? — спросил Мерсо.

— Ну, не совсем.

Мерсо промолчал. Будто он не видел, как они вчера переглядывались, улыбались. Он стиснул зубы. Потом поднялся, распахнул окно и снова сел на кровать. Она прильнула к нему, просунула руку за пазуху, погладила по груди.

— Сколько у тебя было любовников? — произнес он наконец.

— Это совсем неинтересно.

Мерсо промолчал.

— Целая дюжина,— сказала она.

После сна Мерсо обычно хотелось курить.

— А я их знаю? — спросил он, доставая пачку. Вместо лица Марты он видел только белесое пятно. «Как во время любви»,— подумалось ему.

— Кое-кого. Местных.— Она терлась головой о его плечо и говорила девчоночьим тоном, который всегда умилял Мерсо.

— Послушай, малышка,— сказал он, закуривая.— Пойми меня. Обещай мне назвать их по именам. А что касается остальных, которых я не знаю, обещай показать, если мы их встретим.

Марта отпрянула от него:

— Ну уж нет!

Под окнами грубо засигналила машина, раз, второй, третий — без конца. В ночной глубине прозвенел трамвайный колокольчик. На мраморной крышке туалетного столика холодно тикал будильник. Мерсо через силу произнес:

— Я прошу тебя об этом потому, что знаю себя. Иначе такая история будет повторяться с каждым типом, которого я встречу. Начну тебя расспрашивать, навоображаю разных разностей. Тут уж ничего не поделаешь. Слишком я впечатлительный. Не знаю, впрочем, поймешь ли ты меня.

Она поняла как миленькая. Назвала ему имена. Только одно из них было ему незнакомо. Последним оказался один парень, которого Мерсо знал. О нем-то он и подумал в первую очередь: тот был смазливым, бабы на него так и вешались. Что поражало Мерсо в любви, по крайней мере спервоначалу, так это согласие женщины на ошеломляющую близость, то, как бездумно принимала она в свое лоно плоть незнакомого ей мужчины. В этой опрометчивости, в этом головокружительном самозабвении он узнавал распаляющую и темную власть любви. Именно такого рода близость он и воображал себе, думая о Марте и ее любовнике. В этот миг она присела на край кровати и, кладя ногу на ногу, стащила с обеих ног туфли на высоких каблуках; они упали на пол — одна боком, другая — стоймя. Мерсо почувствовал, что к горлу у него подступил комок и что-то заныло внутри.

— Ты и с Рене так делала? — спросил он, улыбаясь.

Марта подняла глаза.

— Что это ты вбил себе в голову? Мы и близки-то с ним были всего один раз.

— А! — сказал Мерсо.

— Я даже туфли не успела снять.

Мерсо поднялся. Представил ее себе — лежащей навзничь, в одежде,— вот на такой же кровати. Готовой отдаться другому.

— Заткнись! — крикнул он и шагнул к окну.

— Ну что ты, милый! — всхлипнула Марта, усаживаясь на кровати; ее ноги в чулках чуть касались пола.

Мерсо понемногу остывал, глядя, как играют на рельсах огни фонарей. Никогда он не чувствовал такой нежности к Марте. Но при мысли о том, что и сам он приоткрылся перед ней больше, чем следует, его ожгла ярость. Он подошел к Марте и, растопырив большой и указательный пальцы, сжал ее теплую шею под самым подбородком. Потом спросил, улыбаясь:

— А этот Загрей, кто он? Он единственный, кого я не знаю.

— С ним я и до сих пор иногда встречаюсь,— призналась Марта, силясь рассмеяться.

Мерсо стиснул пальцы на ее шее.

— Он был у меня первым, понимаешь? Я была совсем молоденькая. А он — чуть старше. Теперь у него отняли обе ноги. Он живет один. Вот я его иной раз и навещаю. Хороший человек, и образованный. Все время читает. И веселый такой. Ну просто потрясающий тип. А говорит точь-в-точь, как ты: «Пойди сюда, мой милый призрак».

Мерсо задумался. Отпустил Марту, она опрокинулась на кровать, закрыв глаза. Чуть погодя он присел рядом с девушкой и, склонившись к ее полураскрытым губам, попытался отыскать в ее обличье приметы животной божественности и того равнодушия к страданиям, которое казалось ему постыдным. Но весь его порыв ограничился поцелуем, дальше дело не пошло.

Когда он провожал Марту, она принялась рассказывать о Загрее:

— Я ему говорила о тебе. Сказала, что мой дружок очень красивый и сильный. И тогда он сказал мне, что не прочь бы познакомиться с тобой. Потому что, как он выразился, ему легче дышится, когда он видит перед собой красивое лицо.

— Еще один помешанный,— отозвался Мерсо.

Тут Марта решила, что сейчас самое время расквитаться с Мерсо, устроить ему маленькую, давно задуманную сцену ревности.

— Помешанный? Да уж не больше, чем твои подружки.

— Какие еще подружки? — спросил искренне удивленный Мерсо.

— Ну, твои старые клячи.

Старыми клячами она называла Розу и Клер, студенток из Туниса, знакомых Мерсо, с которыми — только с ними — он вел переписку. Он улыбнулся и потрепал Марту по затылку. Они шли долго. Марта жила возле военного плаца. Улица была длинной, поверху она светилась всеми своими окнами, а понизу, где все магазины уже закрылись, была темной и зловещей.

— Скажи, дорогой, ведь ты же их не любишь, этих старых кляч? — спросила Марта.

— Конечно, нет,— отозвался Мерсо.

Они шагали вперед, руку Мерсо, лежащую на плечах Марты, обдавало теплом ее волос.

— А меня ты любишь? — без всякого перехода спросила Марта.

Мерсо неожиданно расхохотался.

— Вот уж вопрос так вопрос.

— И все равно отвечай.

— Послушай, в наши годы смешно говорить о любви. Мы нравимся друг другу, вот и все. Любовь приходит позже, когда ты стареешь и теряешь силы. А в наши годы только воображаешь, будто любишь. Вот и все, и говорить тут не о чем.

Марта вроде бы приуныла, но он обнял ее, и она сказала: — Ну, до свиданья, милый.

Мерсо возвращался к себе по темным улицам. Шагал быстро и, чувствуя, как трется о бедра гладкая ткань брюк, думал о Загрее и об его отрезанных ногах. Ему захотелось познакомиться с калекой, и он решил попросить Марту, чтобы она свела его с ним.

После первой встречи с Загреем он был просто взбешен. А ведь тот старался как мог смягчить впечатление от встречи двух любовников одной и той же женщины в ее присутствии. Пытался расположить к себе Мерсо, называл Марту «хорошей девочкой», да еще хохотал при этом, но так ничем его и не пронял. Оставшись наедине с Мартой, Мерсо заявил ей безо всяких околичностей:

— Терпеть не могу этих ополовиненных. Они мне действуют на нервы. Мешают думать. А этот еще и хорохорится!

— Ну, ты даешь,— отозвалась Марта, которая ничего не поняла из его слов,— тебя послушать...

Но со временем беззаботный смех Загрея, так раздражавший Мерсо при первой встрече, увлек и покорил его. И еле скрываемая ревность, поначалу определявшая его поведение, исчезла. Марте, которая то и дело простодушно вспоминала пору своей близости с Загреем, он посоветовал:

— Не лезь ты вон из кожи. Не хватало еще ревновать тебя к безногому. Когда я думаю о вас, он представляется мне огромным червяком, заползшим на тебя. Смех да и только. Так что не стоит усердствовать, ангел мой.

Как-то раз он заглянул к Загрею один. Тот говорил быстро и много, смеялся, потом вдруг умолкал. Мерсо было хорошо в его комнате, среди книг и марокканской бронзы, где отблески от камина играли на непроницаемом лице кхмерского будды, стоявшего на письменном столе. Его поражало в калеке-хозяине, что тот никогда не говорил, не подумав. Со временем сдержанная страсть и горение жизни, сквозившие в этом смешном обрубке, стали все больше и больше привлекать Мерсо, порождая в нем чувство, которое он, понемногу предавая забвению прошлое, пожалуй, мог бы принять за чувство дружбы.

Глава IV

В тот воскресный день, вволю наговорившись и насмеявшись, Ролан Загрей тихо сидел у огня в кресле на колесиках, укутанный белым одеялом. Мерсо, прислонившись к книжному шкафу, смотрел сквозь шелковые занавески на небо и окрестный пейзаж. Он пришел сюда под мелким моросящим дождем и, боясь, что явился слишком рано, битый час бродил по округе. Погода была ненастная, и, не слыша ветра, Мерсо видел, как ветви деревьев беззвучно гнутся под его порывами. Со стороны улицы донеслось скрежетанье железа и скрип досок — проехала повозка молочника. И тут же дождь что есть силы забарабанил по окнам. Густые маслянистые потеки на стеклах, гулкий отдаленный стук ~~конят~~, слышавшийся теперь отчетливей, чем грохот повозки, глухой шум затяжного ливня, обрубок человека у огня и молчание, царившее в комнате,— все это обретало обличье прошлого, чья глухая меланхолия прокрадывалась в сердце Мерсо точно так же, как часом раньше просачивалась вода в его сырые ботинки, а холодок — под легкую ткань штанин. Моросящая влажная пыль, омыв его лицо легкой рукой полудождя-полутумана, подчеркнула глубоко запавшие глаза. Теперь он смотрел в небо, на которое то и дело наползали черные тучи, расплывались и появлялись снова. Складки на брюках разгладились, а вместе с ними исчезли та теплота и доверчивость, которые каждый нормальный человек испытывает к сотворенному ради него миру. Вот почему он подошел к огню и уселся напротив Загрея, укрывшись краешком тени от высокого камина и по-прежнему уставившись в небо. Загрей посмотрел на него, отвел взгляд и кинул в огонь бумажный комок, который был у него в левой руке. От этого движения, как всегда неловкого, Мерсо стало не по себе: невыносимо было видеть это только наполовину живое тело. Загрей усмехнулся, но не обронил ни слова. Отсветы пламени играли только на левой его щеке, но и в голосе, и во взгляде чувствовалась теплота.

— У вас усталый вид,— сказал он.

— Да, я скучаю,— смущенно ответил Мерсо, а чуть погодя вскочил, подошел к окну и добавил, глядя на улицу:

— Мне хочется жениться, покончить с собой или подписаться на «Иллюстрасьон». Словом, выкинуть что-нибудь этакое.

Его собеседник улыбнулся:

— Это все оттого, Мерсо, что вы бедняк. Этим объясняется половина вашего отвращения к жизни. А вторая половина — дурацким терпением, с которым вы сносите свою бедность.

Мерсо продолжал стоять к нему спиной, глядя на деревья под ветром, Загрей сунул руку под одеяло, покрывавшее бедра.

— Вы знаете, о человеке всегда можно судить по тому, как он умеет соизмерить свои телесные нужды с духовными потребностями. Вот вы сейчас и судите о себе, Мерсо, причем очень скверно. Вы плохо живете.

По-скотски.— Он повернул голову к Патрису.— Вы, наверно, любите водить машину?

— Да.

— И женщин любите?

— Красивых люблю.

— Именно это я и хотел сказать.— Загрей отвернулся к огню.

Чуть погодя он начал было:— Все это...

Мерсо обернулся и, прислонившись к раме, которая чуть подалась под его спиной, ждал конца фразы, но Загрей не стал продолжать. Ранняя муха колотилась о стекло. Мерсо повернулся, поймал ее и тут же отпустил. Загрей посмотрел на него и неуверенно произнес:

— Я не люблю вести серьезные разговоры. Потому что серьезно можно говорить только об одном: об оправдании собственной жизни. А вот я не знаю, как оправдать перед самим собой свои отнятые ноги.

— Я тоже,— бросил, не оборачиваясь, Мерсо.

Загрей неожиданно и звонко рассмеялся.

— Ну, спасибо. Вы, стало быть, не оставляете мне никаких иллюзий.— Он сменил тон.— Ваша жестокость понятна. Однако мне хотелось бы вам кое-что сказать...

Он умолк, сохраняя серьезное выражение. Мерсо уселся напротив него.

— Послушайте,— продолжал Загрей,— и посмотрите на меня. Мне помогают отправлять мои естественные надобности. А потом еще подмывают и подтирают. Хуже того, все это делается за деньги. Ну, так вот: я бы никогда не решился оборвать свою жизнь, ибо верю в нее. Я согласился бы и на худшую долю, быть слепым, немым, кем хотите, лишь бы ощущать в чреслах то сумрачное и жгучее пламя, которое и есть мое «я», мое живое «я». Я и тогда благодарил бы жизнь за то, что она еще позволяет мне пылать.

Загрей откинулся назад, чтобы перевести дыхание. Теперь его плохо было видно, только бледный отсвет одеяла играл на подбородке.

— А уж с вашим-то телом, Мерсо,— сказал он,— только жить да жить — и быть счастливым. Это ваш единственный долг.

— Не смешите меня,— отозвался Мерсо.— С моим телом! Да я по восемь часов в день торчу в конторе. Ах, если бы я был свободен!

За разговором он разгорячился и, как это с ним иногда бывало, ощутил прилив надежды, особенно сильный сегодня, когда чувствовал поддержку. Наконец-то он мог кому-то довериться и тем самым обрести веру в себя. Малость успокоившись, он принялся гасить сигарету, ломая ее в пепельнице, и продолжал не спеша:

— Несколько лет назад передо мной было открыто все, со мной говорили о моей жизни, о моем будущем. Я со всеми соглашался. И даже делал то, что от меня требовали. Но уже тогда все это было мне чуждо. Стушеваться, стать безличным — вот чего мне хотелось. Отказаться от такого счастья наперекор всему. Я туманно выражаюсь, но ведь вы меня понимаете, Загрей.

— Да,— отозвался тот.

— И даже теперь, будь у меня время... Только бы вырваться на свободу. А все остальное — это так, вроде дождичка, что поливает камни. Освежило, ну и прекрасно. Пройдет день — и они раскалятся от солнца. Мне всегда казалось, что счастье — оно такое и есть.

Загрей скрестил руки. В наступившей тишине казалось, что дождь припустил еще сильнее; разбухшие тучи слились в одну непроницаемую пелену. В комнате чуть потемнело, словно небеса сбросили в нее свой груз сумрака и тишины. И калека увлеченно заговорил:

— У каждого тела — тот идеал, которого оно заслуживает. Чтобы выдержать, так сказать, идеал булыжника, нужно обладать телом полубога.

— Это верно,— проронил слегка удивленный Мерсо,— только не стоит преувеличивать. Я много занимаюсь спортом, вот и все. Да к тому же неумерен в похоти.

Загрей задумался.

— Так-так,— сказал он наконец.— Что ж, тем лучше для вас. Осознавать пределы своих телесных возможностей — в этом и состоит подлинная психология. Впрочем, все это неважно. У нас нет времени, чтобы стать самим собой. Его хватает лишь на то, чтобы быть счастливым. А не хотите ли вы, кстати, пояснить мне вашу мысль о безличности?

— Нет, не хочу,— сказал Мерсо и умолк.

Загрей отпил глоток чая, отставил в сторону еще полную чашку. Он потреблял совсем мало жидкости, чтобы пореже мочиться. Усилием воли он почти всегда ухитрялся ослабить гнет унижения, которое нес ему каждый новый день. «Малых достижений не существует,— сказал он как-то Мерсо,— это такой же рекорд, как все остальные». Несколько дождевых капель угодило в дымоход. Горящие поленья зашипели. Дождь еще сильнее захлестал по стеклам. Где-то хлопнула дверь. По́ дороге напротив дома проносились машины, похожие на лоснящихся крыс. Одна из них протяжно просигналила; гулкий и зловещий звук, разнесшись по долине, словно бы раздвинул сырые пространства мира, так что даже воспоминание о нем стало для Мерсо составной частью тишины и тоски этих ненастных небес.

— Вы уж простите меня, Загрей,— сказал он,— но о некоторых вещах я так давно не заводил разговора, что и не знаю, как начать. Посмотришь на собственную жизнь, на ее тайный смысл — и в тебе закипают слезы. Как в этом небе. Ведь оно — и дождь, и солнце, и полдень, и полночь. Ах, Загрей! Я думаю о тех губах, которые мне довелось целовать, о бедном ребенке, которым я был, о безумии жизни и о честолюбивых замыслах, которые порой мною овладевают. Все это, вместе взятое, и есть мое «я». Уверяю вас, в моей жизни бывают моменты, когда вы просто не узнали бы меня. Чрезмерность горя, неохватность счастья — вот мой удел, только выразить это я не умею.

— Иными словами, вы играете несколько партий сразу?

— Да, но отнюдь не по-любительски,— запальчиво бросил Мерсо.

— Всякий раз, когда я думаю о таящемся во мне переплетении горя и радости, я с восторгом сознаю, что та партия, которую я сейчас играю,— самая серьезная, самая волнующая из всех.

Загрей улыбнулся.

— Стало быть, у вас есть какая-то цель?

— Устроить свою жизнь — вот моя цель,— резко бросил Мерсо.— Да только этому мешает работа, те восемь часов в день, которые так легко даются другим.

Он замолчал и прикурил сигарету, которую давно уже разминал между пальцами.

— И все же,— продолжал он, еще не успев погасить спичку,— у меня хватает и силы и терпения...— Он дунул на спичку и сломал ее обугленный кончик на тыльной стороне ладони.— Я хорошо знаю, до какой жизненной ступени смогу добраться. Я не собираюсь превращать свою жизнь в опыт. Я сам стану опытом своей жизни... Да, я отлично понимаю, что за страсть может по-настоящему распалить меня. Раньше я был чересчур молод. Во всем держался золотой середины. А теперь понял, что действовать, и любить, и страдать — это и значит жить по-настоящему, но лишь в той мере, в какой твоя душа, став совершенно прозрачной, принимает судьбу как слитный отсвет радужного спектра радостей и страстей, неизменного для всех нас.

— Согласен,— сказал Загрей,— но ведь вы не можете так жить, продолжая ходить на службу...

— Конечно, не могу, потому что постоянно бунтую, а это из рук вон плохо.

Загрей промолчал. Дождь утих, но вместо туч небо заволокла ночь, и комната почти совсем погрузилась в потемки. Только отблески огня играли на лицах калеки и Мерсо. После долгой паузы Загрей, взглянув на гостя, начал было: «Да, много же горя ждет тех, которые вас любят...»,— и тут же запнулся, озадаченный внезапным порывом Мерсо, который гневно бросил, повернув лицо в темноту:

— Их любовь ни к чему меня не обязывает!

— Это верно,— согласился Загрей,— но я лишь сказал что думаю. Настанет время — и вы окажетесь одиноким, только и всего, но присядьте-ка и выслушайте меня. То, что вы сказали, меня поразило. Особенно одна вещь, потому что она подтверждает все, чему меня научил мой человеческий опыт. Я вас очень люблю, Мерсо. Отчасти потому, что у вас такое тело. Именно оно и подсказало вам все это. Теперь мне кажется, что я могу с вами говорить совершенно откровенно.

Мерсо присел, его лицо озарилось красноватыми отблесками уже потухающего огня. Внезапно в прямоугольнике окна, за шелковыми занавесками, в ночи, почувствовалось что-то вроде прогалины. Что-то росло и ширилось за стеклами. В комнату проник молочный отсвет, и Мерсо ощутил на ироничных и безмолвных губах бодисатвы, на узорной марокканской бронзе лунный и звездный взгляд ночи, чей привычный и в то же время неуловимый лик он так любил. Ночь сбросила облачный наряд и лучилась теперь во всем своем спокойном сиянии. Машины на дороге бежали не так быстро. В глубине долины внезапно раскричались готовящиеся ко сну птицы. Перед домом слышались шаги, и каждый звук в этой ночи, пролитой над миром словно молоко, разносился гулко и ясно. В комнате рдел камин, пульсировал будильник, жили непостижимой жизнью обычные вещи, и все это сливалось в зыбкую поэтическую атмосферу, как бы помогая Мерсо доверчиво и дружески воспринимать исповедь чужого сердца. Он откинулся на спинку кресла и, глядя в небо, выслушал странную историю Загрея.

— Я уверен,— начал тот,— что счастье без денег невозможно. Только и всего. Я не признаю ни легких путей, ни дешевой романтики. Я привык смотреть правде в глаза. Так вот, я заметил, что кое-кто из нашей элиты страдает своего рода духовным снобизмом: они думают, будто деньги совсем необязательное условие для счастья. А это глупая, неверная и в ка́кой-то мере трусливая точка зрения.

Видите ли, Мерсо, человеку, родившемуся в приличных условиях, быть счастливым не так уж сложно. Стоит лишь принять свою судьбу, но стремясь при этом не к самоотречению, как делают иные из людей, несправедливо почитаемых великими, а к счастью. Но для того, чтобы стать счастливыми, нужно время. Много времени. Счастье само по себе есть род долготерпения. Мы чаще всего тратим жизнь на то, чтобы заработать деньги, тогда как нам необходимы деньги, чтобы выиграть время. Вот в чем заключается единственная проблема, которая меня всю жизнь интересовала. Вполне определенная, ясная проблема.

Загрей помолчал, закрыв глаза. Мерсо упорно смотрел в небо. Когда шум дороги и звуки, доносившиеся из долины, стали отчетливей, Загрей не торопясь продолжил речь:

— О, я прекрасно понимаю, что большинство богачей лишены какого бы то ни было чувства счастья. Но ведь вопрос не в этом. Иметь деньги — значит иметь время. Я исхожу только из этого. Время покупается. Все покупается. Родиться или стать богатым — значит иметь время, чтобы быть счастливым, если только ты достоин им быть.— Он взглянул на Патриса.— В двадцать пять лет, Мерсо, я уже понял, что любой человек, наделенный чувством счастья, волей к счастью и потребностью счастья, имеет право быть богатым. Потребность счастья кажется мне самым благородным стремлением человеческого сердца. На мой взгляд, все им оправдано. Только было бы это сердце чистым.

Не отводя глаз от Мерсо, Загрей заговорил еще медленнее, холодным и жестким голосом, словно хотел развеять оцепенение, овладевшее Патрисом.

— Я начал сколачивать капитал в двадцать пять лет. Не останавливался перед жульничеством. Да и ни перед чем не остановился бы. И года через три-четыре обратил все свое состояние в наличные деньги. Около двух миллионов, Мерсо, вы только представьте себе. Весь мир открывался передо мной. И вместе с ним — та жизнь, о которой я страстно мечтал

в одиночестве...— Помолчав немного, Загрей продолжал чуть тише:— Ах, Мерсо, что за жизнь была бы у меня, если бы не этот несчастный случай, в результате которого я остался без ног. Сразу же все оборвалось. Я ничего не успел завершить... А теперь и говорить об этом нечего. Вы же понимаете, что вовсе не к такой ущербной жизни я стремился. И вот уже двадцать лет мои деньги без толку лежат здесь, под рукой. Я жил очень скромно. Почти ничего не истратил.— Он коснулся руками век и произнес еще тише:— Нельзя марать жизнь поцелуями калеки.

Потом раскрыл небольшой сундучок, стоявший у камина, и показал массивную шкатулку вороненой стали с торчащим из нее ключом. Белый конверт и тяжелый черный револьвер лежали на крышке шкатулки. Перехватив любопытный взгляд Мерсо, Загрей ответил ему улыбкой. Как все это просто! В те дни, когда он с особенной силой ощущал трагедию, лишившую его настоящей жизни, он клал перед собой это недатированное письмо, в котором говорилось о его желании умереть, потом приставлял револьвер ко лбу, терся о его дуло висками, остужал стальным холодом лихорадочно пылавшие щеки. И подолгу сидел вот так, проводя пальцами по спусковому крючку и поигрывая курком до тех пор, пока все вокруг не затихало, а сам он, погружаясь в дремоту, всем своим существом не сливался с этой ледяной солоноватой железкой, из которой в любой миг могла грянуть смерть. При мысли о том, что стоит лишь поставить дату и выстрелить, испытав абсурдную легкость смерти, его воображение тотчас развертывало перед ним весь ужас отречения от жизни, и, задремывая, он уносил с собой в полусон свою тягу к одинокому и мужественному горению. А потом, внезапно проснувшись с горькой слюной во рту, он лизал ствол револьвера, совал в него язык и хрипел от невозможного счастья, счастья жизни.

— Что поделаешь, жизнь моя не удалась. Но тогда я рассуждал правильно: все ради счастья, вопреки миру со всей его глупостью, со всем его насилием.— Засмеявшись, Загрей добавил: — Видите ли, Мерсо, вся низость и жестокость нашей цивилизации выражена в пошлейшем афоризме: «У счастливых народов нет истории».

Было уже очень поздно. Но Мерсо потерял счет времени. Голова у него гудела от лихорадочного возбуждения. Во рту горело и саднило от выкуренных сигарет. Он все еще держался подальше от света. В первый раз за все это время посмотрев в сторону Загрея, он сказал:

— Кажется, я понял.

Утомленный своим долгим рассказом, калека тяжело дышал. И все-таки нашел в себе силы выговорить:

— Я хотел бы удостовериться во всем этом. Я вовсе не считаю, что в деньгах счастье. А только думаю, что для некоторых людей счастье возможно — при том условии, что у них есть время,— и что иметь деньги значит освободиться от них.

Он съежился в кресле под одеялом. Ночь сомкнулась над ними, и теперь Мерсо почти не видел его. Наступила долгая пауза, и наконец Патрис, желая продолжить разговор, убедиться в том, что его собеседник все еще здесь, сказал, как бы наугад:

— Игра стоит свеч.

— Да,— глухо отозвался Загрей.— Только на карту лучше ставить эту жизнь, а не иную. Со мной, разумеется, все обстоит иначе.

«Он — конченый человек,— подумал Мерсо.— Совершенный нуль». Загрей продолжал: — Вот уже двадцать лет как мне не было дано испытать счастья. Я так и не узнал как следует пожирающую меня жизнь, а в смерти меня ужасает то, что она лишь подтвердит: моя жизнь была прожита без меня. Я остался на ее задворках, понимаете?

И тут же из темноты раздался звонкий смех:

— Это значит, Мерсо, что, в сущности, даже в моем положении еще есть надежда.

Мерсо шагнул к столу.

— Подумайте обо всем этом,— сказал Загрей,— подумайте хорошенько.

Вместо ответа Мерсо спросил:

— Не включить ли свет?

— Если не трудно.

Свет лампочки отразился в выпуклых глазах Загрея, покрыл бледностью крылья его носа. Он тяжело дышал. Когда Мерсо протянул ему руку, он замотал головой и преувеличенно громко рассмеялся.

— Не принимайте меня слишком всерьез. Меня, знаете ли, всегда раздражала трагическая мина, с которой люди смотрят на мои обрубки.

«Он смеется надо мной»,— подумал Мерсо.

— Воспринимайте трагически только счастье. Подумайте об этом хорошенько, Мерсо, ведь у вас чистое сердце. Подумайте об этом.— Загрей посмотрел в глаза собеседника и чуть погодя добавил: — К тому же, у вас еще и пара ног, а это делу не повредит.

Он улыбнулся и дернул за сонетку:

— Мне, знаете ли, пора справить малую нужду.

Глава V

Вернувшись тем воскресным вечером и даже не успев войти в комнату, Мерсо — все его мысли еще вертелись вокруг Загрея — услышал, что в комнате бочара Кардоны кто-то всхлипывает. Он постучал. Ему не ответили. Скулеж продолжался. Тогда он, не раздумывая, вошел. Свернувшись на кровати, бочар плакал, громко икая, совсем как ребенок. В ногах у него лежала фотография какой-то старухи.

— Она умерла,— через силу объявил он Патрису.

Так оно и было, только уж больно давно все это случилось..

Бочар был человек жестокий и грубый, а к тому же глухой, да и языком еле ворочал. Одно время он жил с сестрой, но в конце концов, устав от его злобы и самодурства, она сбежала от него к своему сыну. И он остался один как перст, совершенно выбитый из колеи,— ведь ему впервые в жизни пришлось самому вести хозяйство и стряпать. Встретив как-то раз Мерсо на улице, сестра поведала ему об их ссорах. Бочару было в ту пору тридцать, ростом он не удался, но был довольно смазлив. С детства жил с матерью. Она была единственным человеком, внушавшим ему какое-то суеверное, ни на чем не основанное почтение: он любил ее всей своей дикарской душой, то есть восторженно и в то же время грубо: лучшим доказательством этого чувства была изобретательность, с которой он изводил бедную старушку, осыпая в ее присутствии мерзкой бранью священников и Церковь. Он так держался за материн подол еще и потому, что ни одна женщина до сих пор не обратила на него серьезного внимания. Тем не менее он считал себя мужчиной, поскольку у него бывали все-таки редкие любовные похождения, а кроме того он заглядывал в публичный дом.

И вот мать умерла. Мерсо сдал ему комнату, где тот поселился вместе с сестрой. Так они и мыкались одни-одинешеньки, карабкались кое-как по своей грязной и черной жизни. Говорить между собой им было почти невмоготу, так что они целыми днями играли в молчанку. А потом сестра не выдержала и сбежала. Гордость не позволяла ему жаловаться, просить, чтобы она вернулась: он зажил совсем один. Завтракал в ресторанчике, а вечером пробавлялся колбасой. Сам стирал себе белье и синие рабочие блузы. Но комнату запустил донельзя. В первое время, по выходным дням, пытался еще взять тряпку и навести хоть видимость порядка. Но какая-нибудь засаленная кастрюля, торчащая на каминной полке, которую раньше украшали цветы и безделушки, сводила на нет все его старания и лишь подчеркивала полную запущенность в доме. Навести порядок значило для него только хоть как-нибудь скрыть беспорядок, запихнуть вещи за диванные подушки и разложить на буфете коллекцию всевозможного хлама. Но даже это стало ему со временем не под силу, он перестал менять простыни и спал вместе со своей собакой на грязном и вонючем одеяле.

Его сестра говорила Мерсо:

— Сидя в кафе, он хорохорится. Но хозяйка сказала мне, что видела, как он обливался слезами, стирая белье.

Да, каким бы скотом ни был этот человек, но и его временами охватывала жуть, заставляя постигать всю пропасть своего одиночества. Сестра в свое время опекала его только из жалости,— так она и призналась Мерсо. А брат мешал ей встречаться с человеком, которого она любила. В их годы, разумеется, это не имело большого значения, да к тому же он был женат. Все его ухаживания сводились к тому, что он дарил ей букет полевых цветов, приносил пару апельсинов или бутылку ликера, выигранные на ярмарочных аттракционах. Он был некрасив, но с лица, как говорится, воду не пить, а вот человеком он был очень славным. И потому они изо всех сил держались друг за друга. А разве это не любовь? Она стирала ему белье, старалась держать его в чистоте. Он любил повязывать шею сложенным вдвое платком, она следила за тем, чтобы платки эти сияли белизной, и это была одна из ее радостей.

А брату совсем не хотелось, чтобы она принимала дружка у себя. И им приходилось встречаться тайком. Однажды брат застал их вдвоем и устроил страшный скандал. Сложенный треугольником платок остался после их ухода валяться в грязном углу. Сестра сбежала к сыну. Мерсо вспомнил об этом, глядя на запущенную комнату.

Поначалу одиночество бочара все-таки вызывало жалость. Он говорил Мерсо о том, что хотел бы жениться. Избранница была много старше его: прельстилась, наверное, надеждой на ласки молодого и дюжего парня... Надежды ее сбылись еще до свадьбы, а через некоторое время жених отказался от былых планов, заявив, что она чересчур стара для него. Он был совсем одинок в своем незавидном жилище. Мало-помалу грязь осадила его, пошла на приступ, забралась в постель, и, наконец, он просто потонул в ней. Его жилище стало омерзительным. А для бедняка, которому не в радость собственный угол, всегда готов другой дом — доступный, богатый, ярко освещенный, приветливый: это кафе. На окраине эти заведения выглядят особенно оживленными. В них царит та стадная теплота, которая кажется последним спасением от ужасов одиночества, от его темных порывов. Глухой бочар отыскал там себе пристанище. Мерсо видел его за столиком каждый вечер: он старался вернуться домой как можно позже. Только там он обретал свое место среди людей. Но в этот вечер ему, наверное, не хватило обычной порции. Вернувшись домой, он вытащил фотографию матери, стараясь с ее помощью разбудить отзвуки мертвого прошлого. Снова побыть с той, которую так любил, над которой так потешался. В этом гнусном углу, наедине с бессмысленной жизнью, он из последних сил старался воскресить прошлое, которое и было его счастьем. Должно быть, это ему удалось, потому что от столкновения прошлого с жалким настоящим брызнула искра божья — и бедняга залился слезами.

Мерсо растерялся, как это бывало с ним всякий раз при виде неприкрытого проявления человеческого горя, и в то же время почувствовал уважение к этой тупой боли. Он сел на грязное скомканное одеяло, положил руку на плечо Кардоны. Перед ним на покрытом клеенкой столе в беспорядке громоздились спиртовка, бутылка с вином, хлебные корки, кусок сыра, ящик с инструментами. Потолок был затянут паутиной. Мерсо, ни разу не заглянувший в эту запущенную комнату с тех пор, как похоронил мать, мог теперь судить о пути, пройденном за это время Кардоной. Окно, выходящее во двор, было захлопнуто. Другое — чуть приоткрыто. Керосиновая лампа с абажуром из миниатюрных игральных карт бросала спокойный круглый отсвет на стол, на ноги Мерсо и Кардоны, на стул, чуть отодвинутый от противоположной стены. Тем временем Кардона схватил карточку, впился в нее взглядом и принялся ее целовать, косноязычно приговаривая:

— Бедная мама.

Но было ясно, что ему жалко не ее, а себя самого. Она-то уже успокоилась на мерзком кладбище, в другом конце города. Мерсо знал это место.

Он собрался уходить. Но перед тем произнес, отчетливо выговаривая слова, чтобы глухой понял его:

— Так — жить — нельзя.

— Я остался без работы,— с трудом произнес бочар и, протягивая Патрису карточку, добавил сдавленным голосом:

— Я ее любил.

«Она меня любила»,— понял его Мерсо.

— Она умерла.

«Я остался один»,— понял его Мерсо.

— Это я ей сделал к празднику,— продолжал Кардона, указывая на каминную полку, где стоял игрушечный деревянный бочонок с медными обручами и блестящим краником.

Мерсо отпустил его плечо, и бочар повалился на засаленные подушки. Из-под кровати донесся глубокий вздох, пахнуло жутким зловонием, затем оттуда медленно вылез длинноухий костлявый пес и положил на колени Мерсо морду с золотистыми глазами. Мерсо уставился на бочонок. Сидя в этой запущенной комнате, вслушиваясь в натужное дыхание бочара, чувствуя под пальцами теплоту собачьей шерсти, он пытался справиться с отчаяньем, которое впервые за много дней нарастало в нем словно морской прилив. «Нет»,— говорило его сердце безнадежности и одиночеству. И, противясь великой тоске, заполнившей все его существо, Мерсо чувствовал, что единственной подлинной силой в нем был бунт, а все остальное — это лишь суета и самолюбование. Улица, кипевшая вчера жизнью под его окнами, все еще пузырилась звуками. От садов под террасой поднимался запах трав. Мерсо протянул Кардоне сигарету, они молча закурили. Прошли последние трамваи, полные еще живых воспоминаний о людях, о солнечном свете. Кардона прикорнул на кровати и скоро захрапел, пошмыгивая отсыревшим от слез носом. Пес, свернувшийся клубком у ног Мерсо, иногда подергивался и повизгивал во сне. При каждом его движении Патриса обдавало запахом псины. Он прислонился к стене, силясь подавить бунт, разгоравшийся в сердце. Лампа чадила, коптила и наконец погасла, наполнив комнату удушливой гарью. Мерсо задремал, а проснувшись, тупо уставился на пустую винную бутылку. Через силу поднялся, подошел к окну и замер. Молчаливый зов несся к нему из сердцевины ночи. Где-то на дремотных окраинах мира протяжно прогудела корабельная сирена, призывая людей к отплытию и новым свершениям.

На следующий день Мерсо убил Загрея, вернулся к себе и проспал всю вторую половину дня. Проснулся он в лихорадке. И вечером, не вставая с постели, попросил позвать к себе врача, который обнаружил у него простуду. Потом к нему заглянул посыльный из конторы, справился о здоровье и отправился восвояси, прихватив заявление с просьбой об отпуске. Через несколько дней в газетах появились заметки о смерти Загрея, о ходе расследования. Его самоубийство казалось вполне оправданным. Марта, пришедшая проведать Мерсо, сказала со вздохом:

— Порой мне хотелось бы оказаться на его месте. Но иной раз нужно больше мужества для того, чтобы жить, чем для того, чтобы покончить с собой.

А еще через неделю Мерсо отплыл в Марсель, объявив всем знакомым, что хочет отдохнуть во Франции. Марта получила от него письмо из Лиона с сообщением о разрыве, но не испытала при этом известии ничего, кроме укола самолюбию. Одновременно он сообщил, что ему предложили необычайно выгодную должность где-то в центральной Европе. Марта ответила ему письмом до востребования, полным сожалений и боли. Но оно так и не дошло до Мерсо, который тут же по приезде в Лион почувствовал новый приступ болезни и поспешил сесть в поезд, идущий в Прагу. Между прочим, в том же письме говорилось, что тело Загрея, много дней пролежавшее в морге, было наконец-то предано земле и что потребовалось несколько подушек, чтобы заполнить пустоту в гробу.

Часть вторая

СОЗНАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ

Глава I

— Я хотел бы снять номер,— сказал приезжий по-немецки, глядя куда-то в сторону.

Портье стоял у доски, увешанной ключами, широкий стол отделял его от вестибюля гостиницы. Он внимательно посмотрел на приезжего в мешковатом сером плаще.

— Разумеется, сударь. На одну ночь?

— Нет. Не знаю.

— У нас есть номера по восемнадцать, двадцать пять и тридцать крон.

Мерсо смотрел сквозь застекленную дверь на узенькую пражскую улочку. Руки в карманах, волосы на непокрытой голове взлохмачены. Неподалеку, на бульваре короля Венцеслава, скрежетали трамваи.

— Какой же номер вам угодно, сударь?

— Все равно какой,— отозвался Мерсо, не отрывая глаз от двери. Портье снял с доски ключ и протянул его постояльцу.

— Номер двенадцать.

Мерсо словно очнулся от забытья.

— А сколько это стоит?

— Тридцать крон.

— Слишком дорого. Я бы хотел за восемнадцать.

Портье, не говоря ни слова, протянул ему другой ключ с медной звездочкой, на которой значилось: «Комната № 34».

Оказавшись в номере, Мерсо снял пиджак, слегка ослабил галстук и машинально завернул рукава рубашки. Подошел к висевшему над умывальником зеркалу. Оттуда на него взглянул человек с осунувшимся, чуть загорелым лицом, покрытым многодневной щетиной. Растрепавшиеся в поезде волосы падали на лоб, где глубокие морщины меж бровей придавали взгляду серьезное и трогательное выражение, поразившее его самого. Только теперь он решил наконец осмотреться в этом жалком номере, его единственном пристанище, за пределами которого у него ничего не было. На омерзительных обоях с крупными желтыми цветами по серому полю расплылись грязные пятна: настоящая географическая карта страны, которая называется нищетой. Сор и паутина за огромной батареей центрального отопления. Разбитый выключатель с торчащими из него медными контактами. Засаленный, усеянный дохлыми мухами шнур над кроватью, с которого свисает липкая лампочка без абажура. Только постельное белье оказалось, как ни удивительно, чистым. Мерсо раскрыл чемодан и принялся расставлять на умывальнике туалетные принадлежности. Потом решил было вымыть руки, но, передумав, закрутил кран и, подойдя к окну без занавесок, распахнул его. Оно выходило на задний двор с водоразборной колонкой и на стену с подслеповатыми окошками. В одном из них сушилось белье. Мерсо лег и тотчас заснул. Проснувшись в поту, весь разбитый, он какое-то время бесцельно кружился по комнате. Потом закурил сигарету, сел и принялся тупо разглядывать складки на измятых брюках. Во рту скопилась горечь сна и табака. Почесывая себе подмышки, он снова оглядел комнату, и ему чуть не стало дурно от такого запустения и одиночества. Все осталось где-то там, позади, даже его болезнь, а здесь, в этом номере — только ясное ощущение абсурдности и ничтожности любой человеческой жизни, даже самой благополучной. Но вслед за этим ощущением — стыдливое и смутное чувство свободы, родившееся из сомнений и опасений. Само время, став мягким и влажным, хлюпало вокруг него словно болотная тина.

В дверь громко постучали, и, оторвавшись от своих мыслей, Мерсо вспомнил, что проснулся-то он, оказывается, от точно такого же стука. Он открыл дверь: на пороге стоял маленький старикашка с рыжей щетиной на

щеках, сгибавшийся под тяжестью двух чемоданов, которые на его спине казались особенно огромными. Он задыхался от усталости и раздражения, сыпал ругательствами и проклятиями, брызгал слюной, обнажая редкие гнилые зубы. И тут Мерсо вспомнил, что у самого большого чемодана давно уже оторвалась ручка, так что тащить его было сущее наказание. Он хотел извиниться, он ведь не рассчитывал, что носильщик окажется таким старым, но запаса слов у него не хватило. Старичок перебил его:

— С вас четырнадцать крон.

— За один день хранения? — удивился Мерсо.

Из дальнейших долгих переговоров выяснилось, что старикашке пришлось взять такси. У Мерсо не хватило духу сказать, что в таком случае он мог бы это сделать и сам; он только пожал плечами и расплатился. Когда дверь за стариком захлопнулась, Мерсо почувствовал, что в его груди закипают непонятно чем вызванные слезы. Где-то совсем близко пробило четыре часа. Стало быть, он спал совсем недолго. Теперь он понял, что только стоящий напротив дом отделял его от улицы, где текла, набухая и вспучиваясь, таинственная чужая жизнь. Не мешало бы взглянуть на нее. Мерсо принялся мыть руки, он делал это долго и основательно. Потом присел на край кровати и так же методично стал приводить в порядок ногти. Два или три автомобильных гудка, донесшихся со двора, прозвучали так неожиданно и резко, что Мерсо снова подошел к окну. И тут он заметил крытый переход, ведущий из дома на улицу. Ему показалось, что весь уличный гомон, вся неведомая жизнь по ту сторону окрестных домов, голоса людей, которые где-то живут, имеют семьи, с кем-то ссорятся или мирятся, играют по вечерам в преферанс, болеют или выздоравливают, гул человеческого муравейника, населенного существами, чьи сердца не хотят биться в лад с чудовищным сердцем толпы,— все эти звуки текли по переходу, разливались по двору и, взмывая ввысь, словно мыльные пузыри лопались у него в комнате. Мерсо чувствовал себя таким открытым, таким чутким к малейшему движению извне, будто в нем самом раскрылась глубокая скважина, связывающая его с жизнью. Он закурил новую сигарету и принялся с лихорадочной поспешностью одеваться. Когда застегивал пиджак, глаза у него защипало от дыма. Он промыл их из умывальника, а заодно решил причесаться. Но расческа куда-то пропала. Волосы были всклокочены после сна, ему так и не удалось их пригладить. Он сошел вниз, смирившись и с прядями, свисающими на лицо, и с вихрами на затылке. Ему показалось, что и весь он как-то съежился, стал меньше ростом. Выйдя на улицу, он обошел вокруг гостиницы, чтобы найти тот переход, который заметил из окна. Он вел на площадь старой ратуши, чьи готические шпили четко вырисовывались в небе по соседству с древней Тынской церковью. Вечер, опустившийся над Прагой, был немного душноват. По улочкам, обнесенным арками, сновали толпы людей. Мерсо ждал, что хоть одна из проходящих мимо женщин бросит на него взгляд, который доказал бы ему, что он еще способен участвовать в той сложной и тонкой игре, что называется жизнью. Но люди, находящиеся в добром здравии, ловко делают вид, будто не заметили устремленного на них лихорадочного взгляда. Плохо выбритый, непричесанный, в жеваных брюках, с глазами загнанного зверя, Мерсо утратил ту волшебную самоуверенность, которую придает человеку хороший костюм или шикарный автомобиль. Небо понемногу бронзовело, но солнечные лучи еще играли на золоте барочных куполов в глубине площади. Мерсо направился к одному из них, вошел в церковь и, задохнувшись от спертого воздуха, присел на скамью. Свод тонул в полном мраке, но с позолоченных капителей по желобкам каннелюр стекали волшебные светоносные струйки, омывая лица толстощеких ангелов и ухмыляющихся святых. Да, здесь царила кротость, но она была столь горькой, что Мерсо бросился к выходу и, еще стоя на ступеньках, полной грудью вобрал в себя свежий воздух ночи, куда ему предстояло погрузиться. Мгновение спустя он увидел, как первая звезда, нагая и чистая, засияла между шпилями Тынской церкви.

Он пустился на поиски дешевенького ресторанчика, пошел наугад по темным и малолюдным теперь улочкам. Хотя дождя днем не было, мостовая оставалась сырой, и ему пришлось то и дело огибать черные лужицы среди неровного булыжника. А потом и впрямь заморосил мелкий дождик. Оживленные улицы находились теперь где-то недалеко, с них уже доносились сюда выкрики газетчиков, продающих «Народную политику». А Мерсо все крутился по кругу. Внезапно он остановился. Из недр ночи до него долетел странный запах. Острый, чуть кисловатый, он щекотал ноздри, щипал язык и глаза. Сначала он казался далеким, а потом, на углу, словно по волшебству, пахнул прямо в лицо. Мерсо двинулся на этот запах по грязной и скользкой мостовой, и с каждым шагом тот становился все ощутимей, заполнял всю округу, все сильнее щипал глаза, и без того уже полные слез. Наконец Мерсо увидел старуху, продававшую маринованные огурцы: они-то и были источником этого одуряющего запаха. Какой-то прохожий остановился и купил огурец, который старуха завернула ему в бумажку. Поравнявшись с Мерсо, он развернул ее и впился зубами в зеленую мякоть, из которой брызнул пахучий сок. Почувствовав тошноту, Мерсо прислонился к столбу и долго пытался отдышаться, впивая в себя всю странную атмосферу этого мира, где он чувствовал себя таким одиноким. Потом двинулся дальше и, не раздумывая, зашел в первый попавшийся кабачок, откуда доносились звуки аккордеона. Спустившись на несколько ступенек, он помедлил на середине лестницы, а потом шагнул дальше и очутился в темноватом погребке, освещенном красноватыми отблесками. Должно быть, у него был довольно странный вид, потому что звуки аккордеона стали глуше, разговоры смолкли и все посетители обернулись в его сторону. В углу ужинала девица, шевеля чересчур жирными губами. Кое-кто пил темное и сладковатое чешское пиво. Многие просто курили, ничего не заказывая. Мерсо подошел к довольно длинному столу, за которым сидел всего один человек. Высокий, худой, рыжеватый, он скорчился на стуле, сунув руки в карманы, и с омерзительным хлюпаньем сосал потрескавшимися губами заслюнявленный обломок спички, иногда перебрасывая его из одного угла рта в другой. Когда Мерсо уселся рядом, он только плотнее прижался к спинке стула, нацелил спичку в соседа и чуть заметно прищурился. Присмотревшись, Мерсо увидел в его петлице красную звездочку.

Мерсо ел мало и торопливо, не ощущая голода. Аккордеон звучал теперь громче, а игравший на нем человек не сводил глаз с необычного посетителя. Мерсо дважды пытался вызывающе посмотреть в его сторону, выдержать его взгляд. Но слишком уж он ослаб от лихорадки. А музыкант все пялился на него. Внезапно одна из девиц громко расхохоталась, человек с красной звездочкой еще сильнее зашмыгал спичкой, на которой повисла капелька слюны, а музыкант, не отрывая глаз от Мерсо, оборвал танцевальный наигрыш и принялся выводить медленную, словно припорошенную пылью веков мелодию. В этот миг дверь распахнулась, пропуская нового посетителя. Мерсо не видел его, только почувствовал, как пахнуло острым запахом огуречного рассола. Этот запах разом наполнил весь мрачный погребок, смешался с таинственной мелодией аккордеона, и тут же капелька слюны по спичке начала разбухать, разговоры стали значительней и оживленней: казалось, что сам дух старой Праги, вынырнув из сонных ночных глубин, полных боли и злобы, заглянул в этот подвальчик, чтобы подышать здесь человеческим теплом. Мерсо, уже принявшийся за приторный мармелад, почувствовал, что какая-то сила внезапно отбросила его за пределы собственного существа, что открывшаяся в нем скважина растет и ширится навстречу людской тоске и горю. Он вскочил, подозвал официанта, ничего не понял из его объяснений, расплатился с ним чересчур щедро и, продолжая чувствовать на себе пристальный и неотрывный взгляд музыканта, пошел к выходу. Миновав аккордеониста, Мерсо заметил, что тот по-прежнему глядит на столик, за которым только что сидел он сам. Тут ему стало ясно, что этот человек — слепой. Он поднялся по ступенькам, распахнул

дверь и, вдохнув напоследок стойкий запах огуречного рассола, двинулся по узким улочкам в глубь ночи.

Над домами сияли звезды. Где-то неподалеку струилась река: до Мерсо доносилось глухое и могучее пение воды. Очутившись перед решетчатой калиткой в толстой стене с высеченными на ней непонятными письменами, он понял, что находится в еврейском квартале. Над рекой нависали ивовые ветви, источавшие сладковатый аромат. Сквозь прутья калитки виднелись грузные бурые камни, утонувшие в густой траве. То было старое еврейское кладбище. Мерсо чуть не бегом бросился прочь и через несколько шагов оказался на Ратушной площади. Добравшись до своей гостиницы, он прислонился к стене, и здесь его мучительно вырвало. Сохраняя ту полную ясность сознания, что вызывается крайней слабостью, он без труда отыскал свой номер, повалился на кровать и тотчас уснул.

На следующий день его разбудили выкрики продавцов газет. Погода была по-прежнему сумрачной, но за облаками угадывалось солнце. Мерсо был еще слаб, но ему уже полегчало. Лишь мысль о бесконечном дне, который его ожидает, была невыносима. Когда живешь в полном одиночестве, время растягивается беспредельно и каждый час становится равным вечности. Прежде всего следовало подумать о том, как избежать болезненных припадков, подобных вчерашнему. Если уж осматривать город, то методично, по заранее составленному плану. Не сменив ночную пижаму на костюм, он уселся за стол и наметил себе распорядок прогулок на целую неделю. Монастыри и барочные церкви, музеи и старые кварталы — он постарался не упустить ничего. Потом умылся, заметил, что так и не купил себе расческу, и спустился вниз таким же растрепанным и заспанным, как накануне. При дневном свете в глаза портье бросилась его взъерошенная шевелюра, растерянный вид и пиджак с оторванной пуговицей. Выйдя из гостиницы, он услышал по-детски трогательный наигрыш аккордеона. Вчерашний слепец сидел на корточках на углу старой площади, терзая мехи инструмента с таким блаженно-пустым выражением, словно он отрекся от самого себя, целиком вписавшись в течение жизни, неизмеримо превосходящей все его существо. У перекрестка Мерсо обернулся — и тут его снова настиг запах огуречного рассола, а сердце защемило от привычной тоски.

Этот день прошел точно так же, как и все остальные. Мерсо вставал поздно, осматривал монастыри и церкви, спускался в пропахшие ладаном подземелья, и, выйдя наружу, вновь и вновь испытывал тайный страх, который сочился из торчавших на каждом углу бочек с огурцами. Запах рассола преследовал его в музеях, где он постигал таинственную мощь барочного гения, заполонившего Прагу золотым великолепием. Золотистый свет, тихо струящийся по сумрачным алтарям, казался ему отражением отливающих медью пражских небес, сотканных из солнца и тумана. Глядя на завитки волют и розеток, на все это затейливое узорочье, словно бы слепленное из золоченой фольги и трогательно схожее с игрушечными рождественскими яслями, Мерсо прозревал в этой барочной грандиозности, гротеске и соразмерности подобие некоего лихорадочного, детски-наивного и велеречивого романтизма, с чьей помощью человек обороняется от собственных демонов. Бог, которому здесь поклонялись, требовал к себе страха и почтения, это был совсем не тот бог, который смеется вместе с человеком, следя за пылкими играми моря и солнца. Выйдя из-под сумрачных сводов, где застоялся тонкий запах праха и небытия, Мерсо снова ощущал себя бесприютным, лишенным родины скитальцем. Каждый вечер он навещал обитель на восточной окраине Праги. Там, в садике за монастырскими стенами, часы летели легко, словно голуби, нежный перезвон колоколов тонул в густой траве, а может быть, все это только мерещилось Мерсо, которого все еще изводила лихорадка. И он не замечал, как идет время. Наступал час, когда церкви и музеи уже закрыты, а рестораны еще не открывались. И этот час таил в себе угрозу. Мерсо гулял по берегам Влтавы, где в парках при свете догорающего дня гремели оркестры. От плотины к плотине сновали по реке пароходики. Мерсо шагал вслед

за ними, то оставляя позади оглушительный шум и кипение шлюза и мало-помалу погружаясь в безмятежную вечернюю тишину, то снова приближаясь к грохочущему перекату. Добравшись до очередной плотины, он останавливался, чтобы полюбоваться разноцветными лодками, которые пытались, не опрокинувшись, миновать опасное место, и дожидался того момента, когда одна из них все-таки одолевала бушующую стремнину. Но все эти потоки воды, словно несущие вниз по течению людской гомон, мелодии оркестров и аромат парков, все это речное раздолье, полное бронзоватых отблесков вечереющего неба вперемежку с тенями от статуй Карлова моста,— все это только обостряло в душе Мерсо болезненное и жгучее ощущение стылого одиночества, в котором нет места любви. Когда у него перехватывало дыхание от запаха влаги и листвы, он звал к себе слезы, но их не было. Сейчас ему было бы достаточно присутствия друга, его протянутой руки. И слезы застывали на границе того безжалостного мира, в который он был ввергнут. Иной раз по вечерам он переходил Карлов мост, чтобы погулять по Градчанам, пустынному и молчаливому кварталу высоко над рекой, всего в нескольких шагах от самых оживленных улиц. Он бродил среди огромных дворцов, по необъятным мощеным площадям, проходил вдоль кованых фигурных оград, огибал собор. Его шаги гулко отдавались в тишине меж высоких дворцовых стен. Только неясный шум доносился сюда из города. Здесь не торговали огурцами, но в самой этой тишине, в этом величии было что-то настолько гнетущее, что в конце концов Мерсо всякий раз спешил спуститься вниз, к запахам и мелодиям, с которыми уже успел сродниться. Ужинал он всегда в том самом кабачке, который открыл во время первой прогулки и с которым успел свыкнуться. У него даже появился собственный столик, который он делил с человеком, носившим в петлице красную звездочку. Тот появлялся только к вечеру, заказывал кружку пива и принимался слюнявить спичку. Чуть позже начинал играть слепой музыкант, и тогда Мерсо спешил проглотить ужин, расплатиться, вернуться в гостиницу и забыться там лихорадочным сном больного ребенка: жар не отпускал его ни на одну ночь.

Каждый день Мерсо начинал думать об отъезде, но его воля, к счастью, ослабленная одиночеством и безнадежностью, день ото дня сдавала все больше и больше. Он провел в Праге уже четверо суток, но так до сих пор и не купил расческу, об отсутствии которой вспоминал каждое утро. Он смутно ощущал, что ему чего-то не хватает, но не мог понять, чего именно. Как-то вечером он шел в кабачок по той самой улочке, где впервые почуял огуречный запах. И вот, когда он уже был готов уловить его снова, в двух шагах от ресторанчика, что-то привлекло его внимание на противоположной стороне улицы. Он остановился, потом подошел ближе. На тротуаре лежал человек, скрестив руки и касаясь асфальта левой щекой. Трое или четверо зевак стояли вокруг, прислонившись к стене, и, казалось, чего-то ждали, сохраняя полное спокойствие. Один из них курил, остальные тихонько переговаривались. Зато еще один, с пиджаком, перекинутым через руку, и в сбитой на затылок шляпе, отплясывал вокруг тела дикарский танец, гулко топоча ногами и отчаянно кривляясь. Сцену слабо озарял свет далекого уличного фонаря вперемежку с тусклыми отблесками из окон ресторанчика. Зловещий контраст между недвижным телом и бесконечной буйной пляской, между загадочным спокойствием зрителей и тревожной игрой света и тени был так силен, что на какой-то миг Мерсо почудилось, будто весь мир вокруг готов обрушиться в приступе безумия. Он шагнул еще ближе. Лицо покойника было залито кровью, она текла из раны на левом виске, прижатом к асфальту. В этом глухом пражском закоулке, на залитой жидким светом осклизлой мостовой, куда доносился сырой шелест проезжавших неподалеку автобусов и отчетливый, резкий скрежет дальних трамваев, сама смерть казалась какой-то двусмысленной и слащавой, и не ее ли вкрадчивый зов, не ее ли влажное дыхание почувствовал Мерсо, когда он, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь? И только тут в ноздри ему шибанул забытый запах рассола. Он вошел в погребок, уселся за стол. Сосед был уже там, но без спички в зубах. Мерсо показалось, что взгляд

у него какой-то растерянный. Но он поспешил отогнать от себя неожиданное и глупое подозрение. Все кружилось в его голове. Он не стал ничего заказывать, вскочил, помчался в гостиницу и рухнул на кровать. Что-то острое кололо и жгло висок. Кровь отхлынула от сердца, к горлу подступила тошнота, словно все его тело взбунтовалось против него. Перед глазами замелькали образы прошлого. Как ему не хватало сейчас нежных женских рук, жарких губ! Его лихорадило, из глубины мучительных пражских ночей, пропитанных запахом рассола, пронизанных незамысловатыми мелодиями, проступало тревожное лицо старого барочного мира. Еле переводя дыхание, глядя в пустоту ничего не видящими глазами, он сел на кровать; движения его были четкими, словно у автомата. Ящик ночного столика был выдвинут, там лежала какая-то английская газета. Он прочел от корки до корки целую статью и снова бросился на постель. Голова лежащего на мостовой мертвеца откинулась в другую сторону, открыв рану, в которую можно было сунуть пальцы. Он посмотрел на руки — и в нем зашевелились какие-то ребяческие желания. В груди закипал непонятный жар, набухали слезы, ему так хотелось снова очутиться в городах, полных солнца и женщин, вдохнуть прохладу зеленых вечеров, залечивающих все раны. Слезы хлынули рекой, словно где-то в глубине его существа прорвалась плотина одиночества и безмолвия, над которой реяла теперь печальная мелодия освобождения.

Глава II

Сидя в поезде, увозящем его на север, Мерсо разглядывал свои руки. Поезд мчался под грозовым небом, увлекая за собой клубы низких и тяжелых облаков. Мерсо был один в душном вагоне. Он решился на отъезд внезапно, ночью, и вот теперь, оставшись наедине с наступающим пасмурным утром, впитывал в себя всю мягкую прелесть чешского пейзажа; от предчувствия дождя, готового пролиться над высокими шелковистыми тополями и дальними заводскими трубами, на глаза навертывались слезы. Мерсо взглянул на белую эмалевую табличку с надписью на трех языках: «Nicht hinauslehnen. E pericoloso sporgersi [117]. Не высовываться». Потом снова перевел взгляд на руки, похожие на двух кровожадных зверей. Левая была длинной и гибкой, правая — жилистой и мускулистой. Он сознавал, что это всего-навсего его руки, и в то же время они казались ему самостоятельными существами, способными действовать помимо его воли. Вот одна из них прижалась ко лбу, словно отгоняя клокотавшую в висках лихорадку. Другая скользнула вдоль пиджака, нашарила в кармане сигарету и тут же отбросила ее, как только он почувствовал приступ тошноты. Потом они бессильно, ладонями вверх, упали на колени, и Мерсо принялся вглядываться в эти вогнутые зеркала, где отразилась вся его жизнь, исполненная теперь безразличия и готовая отдаться всякому, кто захочет ее взять.

Он провел в поезде двое суток. Но на сей раз его гнал вперед отнюдь не слепой инстинкт бегства. Он был заворожен самим однообразием движения. Вагон, в котором он пересек добрую половину Европы, как бы удерживал его на грани двух миров. Вчера он сел в него, завтра его покинет. А пока этот вагон уносил его прочь из той жизни, о которой он не хотел сохранить даже воспоминаний, стремясь навстречу новому миру, чьей единственной владычицей будет страсть. Во время поездки Мерсо вовсе не скучал. Забившись в угол купе, где его почти никто не беспокоил, он смотрел то на руки, то на пейзаж за окном и размышлял. Он решил добраться до Бреслау и там найти в себе силы заглянуть на таможню и обменять билет. Ему хотелось еще хоть немного побыть лицом к лицу со свободой. Он так устал, что еле держался на ногах. И только нащупывал в себе крупинки сил и надежд, так и этак перебирал и ворошил их, стараясь переиначить самого себя, а заодно и свою дальнейшую судьбу. Ему полю-

---

[117] Надписи на немецком и итальянском языках.

бились нескончаемые ночи, когда состав, распластавшись на скользких рельсах, вихрем проносился мимо полустанков, где светились только циферблаты часов, а потом резко тормозил на подъезде к россыпи огней большого вокзала, внезапно заливающего внутренность купе щедрым золотом, светом и теплом. Стучали по колесам молоточки обходчиков, паровоз фыркал, выпуская клубы пара, а затем механический жест диспетчера, опустившего красный диск, снова увлекал Мерсо в сумасшедший бег поезда, где вместе с ним бодрствовали только его бессонница и тревога. И снова купе превращалось в кроссворд света и тени, в скрещенье черноты и золота. Дрезден, Баутцен, Гёрлиц, Лигниц. И долгая ночь впереди, сколько угодно времени для того, чтобы наметить контуры будущей жизни, для терпеливой схватки с мыслью, которая внезапно вылетает из головы на повороте к очередному вокзалу, дразнит, мечется, летит перед составом по блестящим от дождя и света рельсам. Мерсо искал слово или целую фразу, в которых воплотилась бы надежда его измученного тревогой сердца. Он так был слаб, что искал опору в четких формулировках. Вся ночь и весь день прошли в упорной борьбе с этим словом, с этим образом, от которого должен теперь зависеть его взгляд на жизнь, радостным или зловещим видением, в котором представало перед ним будущее. Он закрыл глаза. Для того, чтобы жить, нужно время. Как всякое произведение искусства, жизнь требует обдумывания. И пока Мерсо размышлял о жизни, его помраченная совесть и воля к счастью метались по тесному купе, которое в этот миг казалось ему тюремной камерой, где человек познает свою суть, силясь возвыситься над самим собой.

Наутро второго дня поезд заметно сбавил скорость, хотя вокруг тянулись одни только голые поля. До Бреслау оставалось еще несколько часов езды; заря занималась над бескрайней силезской равниной, где не видно было ни кустика, ни деревца, только липкая грязь под пасмурным, разбухшим от дождя небом. Насколько хватал глаз, повсюду носились стаи крупных черных птиц с глянцевитыми от влаги крыльями, они медленно и тяжело кружили над самой землей, словно небо, грузное, как гробовая плита, не давало им подняться выше. Порой одна из них отрывалась от стаи, чиркала крыльями по земле, почти сливалась с нею и потом медленно и словно бы нехотя удалялась, превращаясь в черную точку на бледном рассветном небе. Мерсо протер ладонью запотевшее вагонное окно и стал жадно всматриваться в длинные косые прогалины, оставленные его пальцами. Меж скорбной землей и бесцветным небом высился образ скудного мира, где ему наконец-то было суждено обрести самого себя. Здесь, на этой равнине, погруженной в простодушное отчаянье, чувствуя себя странником, затерянным среди первобытного мира, он мало-помалу воскрешал в себе былую привязанность к жизни и, стиснув кулаки, прижавшись лицом к стеклу, пытался наметить путь к самому себе, а заодно увериться в своих скрытых силах. Ему хотелось распластаться по этой земле, вываляться в грязи, а потом встать во весь рост посреди бескрайней равнины, воздев заляпанные грязью руки к губчатому, томимому испариной небу,— встать живым символом безнадежности и великолепия жизни, утверждая свою связь с миром, как бы отвратителен и неблагодарен тот ни был. Чудовищное напряжение последних дней наконец-то спало. Приникнув губами к холодному стеклу, Мерсо зарыдал. Окно снова затуманилось, равнина скрылась из глаз.

Несколькими часами позже он прибыл в Бреслау. Издалека город выглядел сплошным лесом фабричных труб и соборных шпилей, а вблизи оказался сложенным из кирпича и закопченных камней; по нему слонялись люди в каскетках с короткими козырьками. Он пошел вслед за ними, провел утро в рабочем кафе. Молодой парень играл там на гармонике; добродушные и тяжеловесно-глуповатые мелодии незаметно умиротворяли душу. Мерсо решил отправиться на юг, а перед этим купить себе расческу. На другой день он уже был в Вене. Завалился спать еще засветло и проспал всю ночь. Наутро он почувствовал, что его не лихорадит. Жадно проглотив на завтрак несколько яиц вкрутую и запив их свежими сливками, он, ощущая

легкую тошноту, вышел на пронизанную утренним солнцем и омытую дождем улицу. Вена оказалась обманчивым городом, смотреть в ней было нечего. Собор Святого Стефана, чересчур огромный, навеял на Мерсо скуку. Он предпочел ему кафе напротив, а ближе к вечеру отправился в небольшой дансинг на берегу канала. Днем он прогуливался по Рыночной площади, среди роскошных витрин и элегантных женщин. И какое-то время чувствовал себя просто великолепно среди легкомысленной и шикарной обстановки, которая не дает человеку побыть наедине с самим собой в этом самом неестественном из всех городов мира. Но что и говорить, женщины там прекрасны, цветы в парках пышны и ярки, а вечером на Рыночной площади, в блестящей и безумной толпе, Мерсо вдоволь насмотрелся на спесивый разбег каменных коней, рвущихся с вершин монументов в багровое небо. Тогда-то он и вспомнил о своих приятельницах Розе и Клер. И в первый раз со времени отъезда решил засесть за письмо, излить на бумагу все накопившееся в нем молчание:

«Детки мои,

я пишу вам из Вены. О вас ничего не знаю. Я разъезжаю по Европе, попутно зарабатывая себе на жизнь. Успел повидать много красот, но с тяжелым сердцем. А здесь красота уступила место цивилизации. Это так удобно. Я не хожу по церквам, не осматриваю древности, а просто слоняюсь по Рыночной площади. И когда над театрами и пышными дворцами спускается вечер, слепой порыв каменных коней на фоне багрового заката вселяет в мое сердце странную смесь горечи и счастья. По утрам я завтракаю яйцами вкрутую, запивая их свежими сливками. Встаю поздно, в гостинице ко мне относятся крайне предупредительно, прислуга здесь отлично вышколена, кухня выше всех похвал (особенно свежие сливки). Тут есть на что посмотреть, особенно хороши женщины. Не хватает только настоящего солнца.

А вы что поделываете? Напишите о себе и о солнце бедному бесприютному страннику, вашему верному другу

Патрису Мерсо».

Закончив письмо, он отправился в дансинг, где тут же завязал знакомство с одной из профессиональных танцовщиц; ее звали Элен, она немного говорила по-французски и разбирала его дурной немецкий. В два часа ночи они покинули это заведение, он проводил Элен к ней домой, самым благопристойнейшим образом ублажил ее любовью, а утром обнаружил, что лежит голышом в чужой постели, рядом с женщиной, чьи стройные ноги и пышные плечи не возбудили в нем ничего, кроме платонического и добродушного восхищения. Не желая тревожить сон красавицы, он собрался уходить, а перед тем сунул в ее туфельку крупную купюру. Элен окликнула его, когда он был уже в дверях:

— Да ведь ты ошибся, милый!

Мерсо подошел к постели. Он и в самом деле дал маху. Плохо разбираясь в австрийской валюте, он оставил ей билет в пятьсот шиллингов, тогда как вполне хватило бы и сотни.

— Нет, нет,— сказал он, улыбаясь,— все правильно. Ты вела себя просто потрясающе.

Веснушчатое личико Элен, полускрытое спутанными русыми прядями, озарилось улыбкой. Она вскочила и расцеловала его в обе щеки. Этот поцелуй, единственный, которым она наградила его от чистого сердца, вызвал в душе Мерсо бурю эмоций: Он уложил девушку в постель, прикрыл одеялом и, помедлив у дверей, еще раз улыбнулся:

— Ну, а теперь прощай.

Она стрельнула в него глазками из-под натянутой до самого носика простыни, но не нашла что ответить.

Через несколько дней Мерсо получил ответ из Алжира:

«*Дорогой Патрис,*

ваши детки обретаются сейчас в городе Алжире. И были бы счастливы вас повидать. Бесприютному страннику всегда найдется местечко в нашем Доме. Нам тут хорошо. Капельку стыдно, что и говорить, но ведь

это чистые условности. Или, вернее, предрассудки. Если вы хотите попытать счастья, отчего же не попробовать найти его у нас. Все лучше, чем быть отставным унтер-офицером. Подставляем головки под ваши отеческие поцелуи.

Роза, Клер, Катрин.

P. S. Катрин протестует против слова «отеческие». Она живет с нами. И станет, если захотите, вашей третьей деткой».

Он решил вернуться в Алжир через Геную. Обычно людям необходимо забиться куда-нибудь подальше ото всех перед тем, как принять важное решение и круто переломить свою жизнь; а вот Мерсо, отравленный одиночеством и неприкаянностью, больше всего нуждался в дружбе, доверии и сердечной теплоте, чтобы разыграть новую ставку в своей жизненной игре.

Сидя в поезде, уносящем его в Геную, он вслушивался в тысячи тайных голосов, которые распевали ему о грядущем счастье. При виде первого стройного кипариса на чистой полуденной земле он не выдержал и расплакался. Дали себя знать недавняя слабость и лихорадка. Но что-то в нем смягчилось и расправилось. И по мере того как солнце набирало высоту, море становилось все ближе, а с бездонных, сияющих, охваченных дрожью небес все неистовей струились на трепещущие оливы потоки золотого света, восторг, переполнявший этот мир, все теснее сливался с ликованием в сердце Мерсо. Перестук колес, дурацкая болтовня в переполненном купе, смех и песни вокруг — все это сливалось в радостную внутреннюю мелодию, баюкавшую его, пока он мчался вперед, даже не на юг, а куда глаза глядят, чтобы в конце концов очнуться среди оглушительной генуэзской разноголосицы, в пышущем здоровьем городе на берегу залива, где целыми днями шло нескончаемое сражение похоти и лени. Мерсо мучила жажда, ему хотелось любви, наслаждений, объятий. Одержимый палящими божествами, он прежде всего нырнул в море и, вдохнув полной грудью смешанный аромат смолы и соли, до потери сил плавал в маленькой бухточке неподалеку от порта. Потом пустился наугад по узким улочкам старого квартала, наслаждаясь пестротой красок, нежась под увесистым южным солнцем, отдыхая рядом с кошками среди помоек. Поднявшись на гору, возвышающуюся над Генуей, он увидел прямо перед собой необъятный простор залива, пронизанный свежестью и светом. Смежив веки, он крепко обнял горячий камень, на котором только что сидел, и снова распахнул глаза на этот крикливый город, кипевший избытком взбалмошной, грубоватой жизни. Со временем ему полюбилось сидеть в полуденный час на ступеньках лестницы, ведущей в порт, провожать взглядом девушек, расходившихся по конторам. С бьющимся сердцем он смотрел на их обутые в сандалии ноги, на груди, свободно подрагивающие под легкими цветастыми платьями, и во рту у него пересыхало от страсти, утолив которую он обрел бы заодно со свободой и самооправдание. Вечером он встречал тех же девушек на улицах и шел следом, любуясь их бедрами, меж которых, свернувшись клубком, незримо устроился сгорающий от желания нежный и яростный зверь. Целых два дня его снедало это нечеловеческое возбуждение. На третий день он не выдержал и отплыл в Алжир.

Во время плаванья он с утра до вечера оставался наверху, любуясь игрой волн и света, приучая сердце биться в лад с медленной пульсацией неба и так, мало-помалу, приходя в себя. Но он сознавал, что это выздоровление обманчиво. Растянувшись на палубе, он думал о том, что сейчас самое главное — не поддаться сонной одури, а бодрствовать, быть начеку, не доверять обманчивому покою, к которому тянутся его душа и тело. Он должен создать свое счастье и найти ему оправдание. Теперь эта задача, разумеется, не казалась такой уж тяжелой. Странное спокойствие, овладевавшее Патрисом к вечеру, когда морской воздух внезапно свежел и первая звезда потихоньку проклевывалась в небесах, где зеленоватые отсветы, догорая, начинали отливать желтизной — это спокойствие после великого смятения и бури говорило о том, что все темное и злое, таившееся в его душе, постепенно оседает на дно, и она становится прозрачной и ясной,

исполненной только добра и решимости. Он ясно видел многое. Он долго надеялся на женскую любовь, но оказалось, что это — не его удел. Его жизнь, со службой в конторе, сонным прозябанием в запущенной комнате, с кабачками и любовницами, была посвящена лишь одному — поискам счастья, которое он, подобно всем остальным, считал, в сущности, недостижимым. Делал вид, будто ему хочется счастья, но никогда не стремился к нему осознанно и целенаправленно. Никогда, вплоть до того самого дня...

А начиная с того рокового мига, когда он хладнокровно рассчитанным поступком перевернул всю свою жизнь, счастье стало казаться возможным. Можно сказать, что он сам в муках породил свое новое «я». И не ценой ли осознания той унизительной комедии, которую играл до сих пор? Теперь он понимал, например, что́ привязывало его к Марте: не любовь, а только честолюбие. Даже чудо протянутых к нему губ было всего лишь удивлением перед осознавшей себя и пробудившейся к действию силой. Вся история его любви сводилась, в общем, к тому, что это первоначальное изумление сменилось уверенностью, а непритязательность — тщеславием. Он, в сущности, любил вовсе не Марту, а те вечера, когда они шли в кино, где на нее тотчас устремлялись взоры публики: то был миг, когда он как бы хвастался ею перед всем миром. То была не любовь, а самолюбование, упоение своей силой, удовлетворение тщеславия. Даже его страсть, властное влечение к ее плоти коренились, может быть, в том же первоначальном чувстве изумления: подумать только, он обладает таким неповторимо прекрасным женским телом, может вытворять с ним что угодно! А теперь он сознавал, что создан не для такой любви, а для невинной и жуткой страсти черного божества, которому отныне служит.

Как это нередко случается, все то лучшее, что было в его жизни, кристаллизовалось вокруг самых худших ее проявлений. Клер со своими подружками, Загрей со своей волей к счастью, и рядом с ними — Марта. А теперь настал его черед напрячь волю и сделать шаг к собственному счастью. Но для этого нужно было время, а кому не известно, что обладание временем — это столь же заманчивая, сколь и опасная власть. Праздность вредит только заурядным личностям. Большинство людей не могли бы доказать, что не являются таковыми. Он же завоевал себе такое право. Дело за доказательствами. Изменилось в нем лишь одно. Он чувствовал себя свободным и от собственного прошлого и от того, что было им утрачено. И он принимал это самоутешение, это сжатие душевного пространства, это пылкое, но трезвое и терпеливое отношение к миру.

Ему хотелось, чтобы жизнь уподобилась куску теплого хлеба, который можно как угодно комкать и мять. Это и случилось в те долгие ночи на поезде, когда он, после бесконечных прений с самим собой, настроился жить заново. Обсасывать свою жизнь как леденец, придавать ей новую форму, оттачивать ее и, наконец, любить. К этому и сводилась вся его страсть. Свою принадлежность лишь самому себе он должен был отстаивать перед всем миром, отстаивать даже ценой одиночества, которое теперь давалось ему так нелегко. Но он не собирался отступать. Его опорой была решимость, а наградой — неистовый порыв к жизни — ждущая где-то любовь.

Море лениво терлось о борта корабля. Небо было перегружено звездами. И Мерсо, молча поглядывавший то на море, то на небо, чувствовал, что у него хватит сил любить эту жизнь, чей лик то окрашен слезами, то озарен солнцем, прозревать ее и в соленой волне и в горячем камне, восхищаться ею, ласкать ее изо всех сил своей любви и своего отчаянья. В этом была суть его нищеты и его неповторимого богатства. Он выглядел игроком, проигравшимся в пух и прах и начинающим новую партию с полным сознанием своих сил и с отчаянной, но трезвой готовностью заглянуть в лицо судьбе.

А потом был Алжир, медленное наступление утра, ослепительные потеки зари на стенах Старого города, окрестные холмы и небо над ними, широко раскинутые руки залива, дома среди деревьев и запах уже близкого порта. И тут Мерсо подумалось, что после отъезда из Вены он ни разу не

вспомнил о Загрее как о человеке, которого убил собственными руками. Стало быть, он наделен тем даром забвения, которым может похвастаться лишь ребенок, гений да блаженный. И вот тогда-то, ошалев от радости, этот блаженный понял, что он сотворен для счастья.

Глава III

Патрис и Катрин завтракали на залитой солнцем террасе. Катрин была в купальном костюме, а «мальчик», как его называли подружки,— в трусах и с повязанной на шее салфеткой. Они ели помидоры с солью, картофельный салат, мед и особенно налегали на фрукты. Беря персики из миски со льдом, прежде всего слизывали сладкие капельки, проступившие на их бархатистых боках. Отдавали должное и виноградному соку, пили его, обратив лица к солнцу, чтобы поскорее загореть (по крайней мере именно так поступал Патрис, знавший, что загар ему идет).

— Чувствуешь солнце? — спросил он, протянув руку к девушке.— Оно прямо-таки лижет кожу.

— Конечно,— отозвалась Катрин.— И мне тоже лижет.

Мерсо потянулся, почесывая себе бока. А Катрин улеглась на живот и спустила купальник до самых бедер.

— Это тебя не смущает?

— Да нет,— отозвался он, даже не посмотрев в ее сторону.

Солнце раскалилось и застыло на его лице. Всеми порами своей влажноватой кожи он впитывал этот уже переполнивший его усыпительный жар. Глотнув очередную порцию солнца, Катрин простонала:

— Как хорошо!

— Угу,— подтвердил Мерсо.

Дом цеплялся за вершину холма, откуда был видел залив. В округе его прозвали «Домом трех студенток». Добраться до него можно было по каменистой дороге, начинавшейся и кончавшейся среди двух оливковых рощ. А посредине она расширялась, образуя нечто вроде площадки, вдоль которой тянулась стена, покрытая непристойными рисунками и политическими лозунгами; усталый путник мог перевести здесь дух, разглядывая эти художества. Затем опять шли оливы, меж их ветвей сквозило небо, напоминавшее по цвету подсиненное белье, а с опаленных лугов, где сушились лиловые, желтые и красные полотна, доносился запах мастиковых деревьев. Когда взмокший и еле переводящий дыхание путник добирался до ограды и, стараясь увернуться от когтей бугенвилеи, толкал голубую калитку, ему еще оставалось подняться по страшно крутой, но залитой сизой тенью лестнице, где уже не так мучила жара. Роза, Клер, Катрин и Мерсо называли свое жилище «Домом перед лицом Мира». Открытый на все четыре стороны света, он смахивал на кораблик, подвешенный в ослепительном небе над многоцветной пляской мира. Зародившись в самом низу, на мягко изогнутом побережье, какой-то неведомый порыв трепал залитые солнцем травы и гнал наверх, к самому подножию дома, толпы кипарисов и пиний, пыльных олив и эвкалиптов. В самой сердцевине того жертвенника, к которому они стремились, цвели, сменяя друг друга, то белый шиповник, то мимоза, не говоря о жимолости, чей аромат в летние вечера так и обдавал стены Дома. Залив широко раскрывал объятия его красной черепице и белым простыням на ветру, всему этому бурному торжищу красок и света, что раскинулось под небом, натянутым без единой морщинки от края до края горизонта. А вдали, не давая вконец разгуляться хмельному великолепию округи, залив замыкали крайние отроги высоких сиреневых гор. Кто, увидев все это, стал бы жаловаться на крутую дорогу и усталость? Дом был радостью, которую хотелось завоевывать вновь и вновь, изо дня в день.

Живя вот так, наедине с миром, чувствуя его весомость и значительность, следя, как его лицо то озаряется рассветом, то гаснет, чтобы наутро вновь вспыхнуть во всей своей юной красе, четверо обитателей Дома постоянно ощущали его живое присутствие, которое было для них одновременно

и наказанием и оправданием. Мир представал здесь подобием человеческой личности, чье бесстрастие отнюдь не исключает любви, личности, к которой так и тянет обратиться за помощью и советом. И они нередко призывали его в свидетели.

— Мы вместе с миром никак не можем вас одобрить,— говорил, бывало, Патрис по поводу какого-нибудь пустяка.

Катрин, считавшая загорание нагишом вызовом предрассудкам, пользовалась отсутствием Мерсо, чтобы, раздевшись догола, понежиться на террасе. А потом, сидя за столом и следя за изменчивыми тонами неба, с чувственной гордостью изрекала:

— Я была нагой перед лицом мира.

— Ничего удивительного,— бросал свысока Патрис,— ведь женщины в силу своей натуры предпочитают идеи чувствам.

Катрин тут же вскидывалась: она вовсе не хотела прослыть интеллектуалкой. А Роза и Клер хором восклицали:

— Замолчи, Катрин, ты не права.

Она была всеобщей любимицей, и поэтому все считали своим долгом постоянно ее одергивать. У нее было красиво очерченное литое тело цвета хорошо пропеченного хлеба и прямо-таки животный нюх на все самые важные в мире вещи. Никто лучше нее не разбирался в глубинном языке деревьев, моря и ветра.

— Наша малышка,— говорила Клер, не переставая жевать,— это живое воплощение одной из природных сил.

После обеда все отправлялись на солнышко, чтобы позагорать и помолчать. Человек ослабляет силу человека. Мир укрепляет ее. Роза, Клер, Катрин и Патрис, связанные между собой дружбой и нежностью, жили смеясь и играючи, любовались пляской неба и моря, находя в них тайный отсвет своей судьбы и постигая собственную глубинную суть. Иногда к хозяевам присоединялись кошки. Особенно хороша была Гуля: этакий вечно настороженный вопросительный знак с зелеными глазами и черной шерстью. Худенькая и деликатная, она временами словно сходила с ума и начинала сраженье с собственной тенью.

— Девочку мучают гормоны,— говорила Роза.

Потом она заливалась смехом, откинув кудрявую голову, весело прищурив глаза, скрытые круглыми стеклами очков, и смеялась до тех пор, пока Гуля в знак особой милости не бросалась ей на колени. Нежно поглаживая шелковистую шерстку, Роза понемногу успокаивалась, расслаблялась, сама становилась похожей на огромную ласковую кошку, а вместе с ней затихала и Гуля. Кошки были слабостью Розы, ее дверью в мир, ее «пунктиком», таким же, как нагота Катрин. Любимцем Клер был кот грязно-белой масти по кличке Кали. Уступчивый, простоватый, он терпеливо сносил любые издевательства. Вволю наигравшись с ним, Клер проявляла наконец великодушие и отпускала бедное животное на волю. Лицо Клер походило на старинную флорентийскую медаль. Молчаливая и замкнутая, она могла иногда резко вспылить. Аппетит у нее был завидный. Глядя, как она полнеет, Патрис ворчал:

— Глаза б мои на это не смотрели. Красивая женщина просто не имеет права дурнеть.

— Оставь в покое ребенка,— встревала в разговор Роза.— А ты, Клер, ешь и не слушай его.

А ласковое солнце день за днем обходило всю округу от восхода до заката, сияя то над холмами, то над морем. Обитатели Дома веселились, шутили, строили планы на будущее. Посмеивались над правилами приличия, но делали вид, что подчиняются им. Патрис переводил взгляд с лица Мира на лица своих подруг, то улыбчивых, то серьезных. И временами поражался тому, как же возникла вокруг него вся эта вселенная. Доверие и дружба, солнце и белые дома, намеки, понятные с полуслова,— вот что было источником того чистого счастья, чей отзвук переполнял его душу. «Дом перед лицом Мира,— говорили они между собой,— это не пристанище для забав, а обитель счастья». Особенно хорошо Патрис чувствовал себя

по вечерам, когда вместе с последним ветерком их овевало по-человечески понятное, но опасное искушение не быть похожими ни на кого.

Сегодня, приняв солнечную ванну, Катрин отправилась в контору. А невесть откуда взявшаяся Роза сказала Патрису:

— Дорогой мой, у меня есть для вас хорошая новость.

Патрис валялся на диване с детективным романом в руках.

— Я слушаю, милая Роза.

— Сегодня ваша очередь дежурить на кухне.

— Хорошо,— отозвался Патрис, не трогаясь с места.

Роза ушла, прихватив с собой студенческий ранец, в котором оставшиеся от завтрака перцы соседствовали с третьим томом скучнейшей «Истории» Лависса. Патрис, которому надо было приготовить чечевицу, до одиннадцати часов слонялся по самой большой комнате со стенами, выкрашенными охрой, заставленной диванами и этажерками, увешанной зелеными, желтыми и красными масками и шелковыми тканями с причудливым узором, потом успешно поставил вариться чечевицу, плеснул на сковородку масла, покрошил луковицу и помидор, словом, приготовил приправу, с непривычки устал и накричал на Гулю и Кали, которые громко требовали еды, несмотря на то, что Роза еще вчера пыталась им втолковать:

— Знайте, звери, что летом слишком жарко, а жара отбивает аппетит.

Без четверти двенадцать вернулась Катрин, на ней было легкое платье и открытые сандалии. Ей нужно было принять душ, обсохнуть на солнце и только после всего этого она собиралась сесть за стол.

— Ты просто невыносима, Катрин,— строго сказала Роза.

Из ванны доносился плеск воды, когда появилась запыхавшаяся Клер.

— Вы готовите чечевицу? У меня есть отличный рецепт...

— Я знаю. Нужно взять свежие сливки. Ну, и так далее. Разве не так, милая моя Клер?

Так оно и было, потому что все кулинарные рецепты Клер неизменно начинались со свежих сливок.

— Он, как всегда, прав,— заявила вошедшая в комнату Роза.

— Разумеется,— подтвердил Патрис.— А теперь — все за стол.

Они обедали на кухне, одновременно служившей складом всякой всячины. Там был даже блокнот для записи изречений Розы. Заявив, что нужно держаться попроще, Клер стала есть колбасу руками. Потом с изрядным опозданием притащилась Катрин, у нее была недовольная и жалобная мина, а глаза совсем сонные. Ей не хотелось вспоминать, что она по восемь часов в день просиживает в конторе за пишущей машинкой, отрывая эти часы от жизни. Подружки понимали ее и думали о том, во что превратилась бы их собственная жизнь, если бы им тоже пришлось работать. Патрис помалкивал.

— Да,— сказала Роза, не признававшая никаких сантиментов,— а все-таки работа тебя заела. Ты только и говоришь целыми днями о своей конторе. Мы лишим тебя права голоса.

— Но, позвольте...— вздохнула Катрин.

— В таком случае давайте проголосуем. Один, два, три — большинство против тебя.

— Ничего не попишешь,— подвела итог Клер.

Чечевица оказалась пересохшей, ели ее молча. Когда на кухне дежурила Клер, то, пробуя блюдо за столом, она всегда с довольным видом восклицала: «Просто великолепно», а вот Патрис, желая сохранить достоинство, помалкивал до тех пор, пока все остальные не расхохотались. Тогда Катрин, которая была явно не в духе, заявила, что будет добиваться сорокачасовой рабочей недели и попросила, чтобы ее проводили в местное отделение Всемирной конфедерации труда.

— Нет уж,— возразила Роза,— ты трудишься, ты туда и обращайся.

Вконец расстроенная «природная сила» пошла поваляться на солнышке. Скоро за ней последовали и все остальные. Рассеянно перебирая локоны Катрин, Клер думала о том, что «этому ребенку» не хватает, в сущности, только одного — мужчины. В «Доме перед лицом Мира» было принято

решать за Катрин ее судьбу, думать, в чем она нуждается, а в чем нет. Сама она иной раз заявляла, что она уже большая и т. д., но ее никто и слушать не хотел. «Бедняжке нужен любовник»,— говорила Роза.

Потом все улеглись загорать. Катрин, не умевшая долго хранить обиду, стала пересказывать конторские сплетни относительно некоей мадемуазель Перез, высокой блондинки, которая, собираясь замуж, наводила справки в связи с этим событием и наслушалась таких скабрезных историй от проезжих шутников, что, вернувшись из свадебного отпуска, заявила: «Все это было не так уж страшно». «А ведь ей уже тридцать лет»,— с жалостью добавила Катрин.

С неодобрительным видом выслушав все эти рискованные истории, Роза сказала:

— Послушай, Катрин, но мы-то все еще не замужем...

В это время над городом, поблескивая металлом, пролетел почтовый самолет. Войдя в зыбкое воздушное пространство над морем, он описал дугу, такую же крутую, как и сам залив, и потом резко клюнул носом и словно нырнул глубоко в воду, подняв целый фонтан голубовато-белой пены. Гуля и Кали растянулись на солнцепеке, разинув свои змеиные пасти так, что видно было розовое нёбо. Их бока вздрагивали от напора сладких и соблазнительных грез. Небосвод готов был обрушиться на землю под грузом пылающего солнца. Лежа с закрытыми глазами, Катрин мысленно переживала это бесконечное падение, и ей казалось, будто она сама летит куда-то вниз, где в глубине ее существа тихонько шевелится и дышит зверь, похожий на бога.

На следующее воскресенье у них ожидались гости. Клер должна была заняться стряпней. Роза почистила овощи, приготовила посуду и стол; Клер присматривала за плитой, почитывая книгу. Поскольку прислуга, мавританка Мина, в это утро не явилась — у нее в третий раз за год пропал отец,— Роза взяла на себя уборку дома. И вот, наконец, начали сходиться гости. Первой явилась Элиана, студентка, которую Мерсо звал идеалисткой. «Почему?» — удивлялась она. «Потому что, услышав неприятную для вас, но правдивую историю, вы говорите: это хоть и правда, но нехорошо». Простодушная Элиана считала, что она похожа на «Человека в перчатке», хотя все остальные это сходство отрицали. Так или иначе, но ее комната была сплошь увешана репродукциями с этой картины. Появившись в первый раз в «Доме перед лицом Мира», она заявила, что восхищена «отсутствием предрассудков» у его обитателей. Но со временем это «отсутствие» перестало казаться ей столь уж привлекательным. Ведь оно, в сущности, сводилось лишь к тому, что обитатели Дома считали ее рассказы пустыми и скучными бреднями, да то и дело любезнейшим тоном повторяли: «Элиана, вы настоящая ослица». Заглянув на кухню вместе с еще одним гостем, Ноэлем, скульптором по профессии, Элиана наткнулась на Катрин, которая любила заниматься спряпней в самой необычной позе. Вот и сейчас она, лежа на спине, одной рукой обрывала виноград с грозди, а другой помешивала еще не успевший остыть майонез. А Роза, облаченная в широкий синий фартук, восхищенно поглядывала на Гулю, вспрыгнувшую на крышку кастрюли и показывающую тем самым, как она проголодалась.

— Просто не верится, до чего же умное животное,— повторяла сияющая от восторга Роза.

— Да,— подтвердила Катрин,— сегодня она превзошла самое себя.— И добавила: — До того поумнела, что разбила за одно утро маленькую зеленую лампу и вазу для цветов.

Тем временем Элиана и Ноэль, слишком уставшие, чтобы выражать свое негодование, решили присесть, так и не дождавшись, когда хозяева сами предложат им это. На кухне появилась любезная и томная Клер, пожала гостям руки и, попробовав кипевший на плите буйабес [118], нашла, что пора подавать на стол. Патрис запаздывал, но вот наконец появился и он и принялся скороговоркой объяснять Элиане, отчего у него такое

---

[118] Рыбная похлебка с приправами.

хорошее настроение. Оттого, оказывается, что улицы сегодня полны хорошеньких женщин. Жаркий сезон еще только начинается, а уже появились легкие платья, еле скрывающие тугие трепетные тела. И когда он, Патрис, смотрит на все эти прелести, у него пересыхает во рту, кровь стучит в висках и жаркой волной приливает к чреслам. Стыдливая Элиана не нашлась, что ответить на эти откровения, и промолчала. Неловкое молчание продолжалось и в начале обеда, пока Клер несколько жеманно и очень отчетливо не выговорила:

— Мне кажется, что буйабес отдает горелым луком.

— Ничего подобного,— с неизменным добродушием возразил Ноэль.

И тут Роза, словно пытаясь определить меру его доброты, стала выпрашивать у него разные полезные для дома вещи, такие как колонка для ванны, персидский ковер и холодильник. Ноэль посоветовал ей купить лотерейный билет и как следует помолиться, чтобы он выиграл.

— Так мы и сделаем,— философски заключила Роза.

Было жарко, и эта благодатная густая жара только подчеркивала вкус ледяного вина и поданных на десерт фруктов. Во время кофе Элиана отважилась завести речь о любви. Если она полюбит, то непременно выйдет замуж. На это Катрин заявила ей, что влюбленным прежде всего нужно заниматься любовью, чем заставила ее передернуться от возмущения. Более практичная Роза сказала, что согласилась бы с Элианой, если бы опыт не подсказывал, что брачные узы губят любовь.

Но Элиана и Катрин уже не слушали ее, втянувшись в словесную перепалку и осыпая друг дружку несправедливыми обвинениями, что вполне соответствовало их темпераменту. Ноэль, мысливший, как и подобает скульптору, образно и четко, заявил, что верит в женщину, в детей и в патриархальные истины устойчивой семейной жизни. Тогда Роза, выведенная из себя криками Элианы и Катрин, сделала вид, будто до нее только что дошла истинная причина чересчур частого появления Ноэля у них в Доме.

— Благодарю вас за откровенность,— прошипела она,— но мне трудно даже сказать, до какой степени это открытие меня потрясло. Я завтра же поговорю с моим отцом о «нашем» плане, а вы через несколько дней сможете высказать ему свою просьбу.

— Но позвольте,— пролепетал Ноэль, не понимавший, к чему клонит Роза. А та продолжала, все больше и больше взвинчивая себя:

— Я отлично все знаю, так что вы можете и не говорить. Вы из тех, что помалкивают и ждут, когда другие догадаются, что у вас на душе. И все-таки приятно, что вы наконец-то открылись, а то ведь вы так зачастили к нам, что эти визиты начали бросать тень на мою репутацию.

Заинтригованный и слегка обеспокоенный Ноэль заявил, что очень рад тому, что его старания увенчались успехом.

— Не говоря уже о том,— вмешался в разговор Патрис, закуривая сигарету,— что вам пора пошевеливаться. Состояние Розы таково, что медлить уже нельзя.

— Что-что? — переспросил Ноэль.

— О господи,— вздохнула Клер,— да мы же только на втором месяце.

— И не забывайте,— вкрадчиво проворковала Роза,— что вы уже в том возрасте, когда можно быть счастливым, узнавая себя в чужом ребенке.

Ноэль слегка поморщился, а Клер — вот добрая душа! — поспешила успокоить его:

— Все это просто шутка. Так ее и нужно воспринимать. Пройдемте-ка лучше в гостиную.

А там спор о высоких материях сразу угас. Правда, Роза, делавшая добрые дела потихоньку, успела о чем-то переговорить с Элианой. Патрис подошел к окну, Клер встала у стола, а Катрин улеглась на циновку. Остальные уселись на диван. Над городом и портом сгустился туман. Но буксирные суда продолжали свою работу, и их протяжные гудки долетали сюда вместе с запахами асфальта и свежей рыбы, напоминая о бодрствующем где-то внизу мире красных и черных корабельных корпусов.

проржавевших кнехтов и облепленных водорослями якорных цепей. Как всегда, мужественный и суровый звук гудков казался голосом самой жизни, в котором чувствовалось и искушение, и прямой призыв. Элиана печально сказала Розе:

— Да ведь вы, в сущности, ничем от меня не отличаетесь.

— Нет,— возразила Роза,— я хочу только одного: быть счастливой, как можно более счастливой.

— А любовь — не единственное условие для этого,— вставил Патрис, не оборачиваясь от окна.

Он питал к Элиане самые теплые чувства и корил себя за то, что так огорчил ее. Но в то же время понимал желание Розы быть счастливой.

— Это довольно жалкий идеал,— заметила Элиана.

— Жалкий или нет — не мне судить,— но во всяком случае вполне здравый. А это, видите ли...— Патрис запнулся на полуслове.

Чуть прищурившись, Роза принялась гладить по головке вскочившую к ней на колени Гулю. Казалось, что они обе — неподвижно сидящая женщина и кошка — смотрят на мир одинаковыми глазами. Их грезы прерывались только протяжными гудками буксирных судов. Гуля свернулась клубком и замурлыкала. Веки Розы мало-помалу наливались дремотным теплом, она погружалась в тишину, нарушаемую лишь ударами собственного сердца. Кошки спят целыми днями, зато всю ночь, от первой звезды до рассвета, отдают любовным похождениям. Они знают, что тело наделено своей собственной, особой душой, не имеющей отношения к тому, что обычно именуют этим словом.

— Да,— повторила Роза,— открывая глаза,— нужно быть счастливой, как можно более счастливой.

А Мерсо думал о Люсьене Рейналь. Недавно обмолвившись о встреченных им на улице красотках, он имел в виду именно ее. Он познакомился с ней у друзей. Неделю спустя, погожим жарким утром, они вместе вышли в город и, не зная как убить время, долго слонялись по бульварам вдоль набережных. За все время прогулки она не обронила ни слова, так что Мерсо был даже несколько удивлен, когда она на прощанье улыбнулась и крепко пожала ему руку. Довольно высокая, простоволосая, она носила открытые сандалии и белое парусиновое платье. Когда они шагали по бульварам, в лицо им дул легкий ветер. При этом платье плотно прилегало к ее телу, подчеркивая плоский живот. Зачесанные назад белокурые волосы, короткий прямой нос, великолепная грудь, уверенные движения,— все в ней дышало какой-то таинственной связью с землей, с окружающим миром. Когда она, помахивая сумочкой в правой руке, украшенной серебряным браслетом, который позвякивал о застежку, поднимала левую ладонь к глазам, заслоняясь от солнца, и легко отрывала от земли правую ступню, Мерсо казалось, что все ее жесты неотделимы от гармонии мира.

Он на удивление легко приноровился к походке Люсьены, отчасти, быть может, потому, что на ней были сандалии без каблуков. Но кроме этого он чувствовал, что в их поступи, размашистой и легкой, есть что-то схожее. В то же время замкнутое лицо и упорное молчание Люсьены не ускользнули от его внимания. Он подумал, что она, должно быть, не очень умна, и только порадовался этому. В бездуховной красоте есть нечто божественное, и Мерсо, как никто другой, мог оценить этот парадокс. Именно поэтому он и задержал в тот раз ее пальцы в своих ладонях, а потом они стали встречаться все чаще и так же молча гулять, подставляя загорелые лица солнцу или звездам, купаясь в их свете и ничего, кроме этих прогулок, не требуя друг от друга. Так оно и продолжалось до вчерашнего вечера, когда Мерсо внезапно обрел утраченное было ощущение чуда, прикоснувшись к губам Люсьены. До сих пор Мерсо волновала ее манера цепляться за его одежду, идти рядом, взяв его под руку, ее непринужденность и доверчивость — все это возбуждало его мужское самолюбие. А в ее молчании, благодаря которому выглядело особенно выразительным каждое ее движение, казался серьезным любой ее поступок, мерещилось что-то кошачье. Вчера, ближе к ночи, он прогуливался с ней по набережной.

В какой-то миг, когда они остановились у ограды бульвара, Люсьена прильнула к нему. Во тьме он почувствовал под своими ладонями ее прохладные крутые скулы и нежные, дышащие теплом губы. И тогда глубины его существа потряс безмолвный вопль, отрешенный и страстный. Перед лицом ночи, до отказа набитой звездами, перед лицом города, полного рукотворных огней, под горячим и глубоким дыханием порта, обдававшим его лицо, им овладело неистовое желание сорвать с этих живых губ весь смысл мира, бесчеловечного и сонного, как немота, сковавшая ее уста. Он склонился над ней — и ему показалось, что он коснулся губами птицы. Люсьена застонала. Он впился в ее губы и, миг за мигом, не отрываясь, впивал их теплоту, пьянившую его так, словно он сжимал в объятиях целый мир. А она цеплялась за него как утопающая, то выныривая из бездны и отталкивая его губы, то снова приникая к ним, и погружалась в ледяные черные воды, паливши ее, словно целый сонм богов...

Тем временем Элиана собралась уходить. Долгая послеполуденная пора, исполненная тишины и размышлений, ждала Мерсо в его спальне. За ужином все играли в молчанку. Но потом, словно сговорясь, дружно вышли на террасу. Череда дней непрерывна. Только что над заливом клубился утренний, пронизанный солнцем туман,— и вот уже над тем же заливом спускается тихий вечер. День занимается над морем и меркнет за горами, потому что небо — это всего лишь дорога, пролегающая между морем и горной цепью. Мир извечно твердит только одну фразу, которая поначалу кажется заманчивой, а потом — надоедливой. Но наступает время, когда он покоряет нас этим бесконечным повторением и получает награду за свое упорство. Именно поэтому каждый день, проведенный в «Доме перед лицом Мира», день, затканный роскошным узором улыбок и простых жестов, заканчивался на террасе перед лицом ночи, разбухшей от звезд. Все устраивались в шезлонгах, а Катрин забиралась на низкую каменную ограду.

В серебристом таинственном небе сиял темный лик ночи. Далеко в порту мелькали огоньки, откуда-то доносилось приглушенное скрежетание трамваев. Звезды то разгорались, то угасали, то меркли, то вспыхивали вновь, складываясь в зыбкие узоры, которые тут же распадались, уступая место другим. Объятая тишиной ночь обретала тяжесть и невесомость живой плоти. Пронизанная скольжением звезд, она завораживала взгляд игрой огней, от которых на глаза наворачивались слезы. И каждый, устремляя взор в глубину небес, в ту точку, где сходятся все крайности и противоречия, мучился тайной и сладкой мыслью о своем одиночестве в этой жизни.

Катрин, чуть не задохнувшаяся от внезапного прилива любви, негромко всхлипнула. Чувствуя, что в его голосе звучит фальшь, Патрис осведомился:

— Вам не холодно?

— Нет,— ответила за нее Роза.— И потом, здесь так хорошо.

Клер встала, оперлась руками о стену и обратила лицо к небу. Вглядываясь в первозданное благородство мира, она уже не осознавала, где пролегла грань между ее жизнью и жаждой жизни, где ее надежда вплеталась в хоровод звезд. Резко обернувшись, она сказала Патрису:

— Кто полностью доверяет жизни, тому она волей-неволей отвечает тем же.

— Разумеется,— отозвался, не глядя на нее, Патрис.

Промелькнула падучая звезда. Вслед за тем в непроглядной ночи ярче засиял отблеск далекого маяка. По дороге молча поднималось несколько человек, было слышно только их дыхание и звук шагов. Чуть погодя долетел аромат цветов.

Мир вечно твердит одну и ту же фразу. И на этом терпеливом повторении, на этой истине, ведущей от звезды к звезде, зиждется свобода, избавляющая нас от самих себя. Но вторая ее опора — это столь же упорная истина, ведущая от смерти к смерти. Думая об этом, Патрис, Катрин, Роза

и Клер проникались сознанием счастья, порожденного их слиянием с миром. Эта ночь казалась им символом их судьбы, и они хотели, чтобы судьба эта была и целомудренной, и страстной, чтобы на лице ее блестели слезы и солнце и чтобы их полные скорби и радости сердца усвоили этот двойной урок, ведущий к счастливой смерти.

Было уже поздно, время перевалило за полночь. Чело ночи, таящей в себе покой и мысль мира, слегка потускнело, смутный шепот созвездий уже возвещал близкий рассвет. С переполненной светилами высоты струился трепетный отблеск. Патрис оглядел своих подруг: Катрин сжалась в комочек на ограде, откинув голову назад; Роза забилась в шезлонг, поглаживая Гулю; Клер стояла как вкопанная у стены дома, на ее выпуклом лбу светилось серебристое пятно. Юные, созданные для счастья, они делились друг с другом молодостью, но не душевными тайнами. Патрис подошел к Катрин и поверх ее плеча, слепленного из плоти и солнца, вгляделся в округлость небес. Роза тоже приблизилась к ограде, теперь все четверо оказались перед лицом Мира. Им чудилось, будто свежая ночная роса смыла с лиц приметы одиночества и, освободив этим трепетным и мимолетным омовением от самих себя, вернула миру. В этот час, когда ночь до краев полна созвездий, их жесты запечатлелись на огромном и немом лике небес. Патрис воздел руки в вышину, всколыхнув целые гроздья звезд. Влага небес струилась по его плечам, под ногами спал Алжир, а вокруг искрился темный плащ небосвода, усыпанный драгоценными камнями и цветными раковинами.

Глава IV

Ранним утром Мерсо вел машину вдоль побережья, высвечивая дорогу подфарниками. На выезде из города навстречу ему попалась подвода молочника, и, вдохнув острый запах конского пота, он с особенным наслаждением ощутил всю свежесть наступающего утра. Было темно. Последняя звезда медленно таяла в небе, слышалось только довольное урчание мотора, да порой доносился издалека конский топот и дребезжание бидонов на встречной повозке, а чуть погодя предутренние потемки озарялись искрами, летящими из-под копыт. Потом все снова тонуло в свисте ветра и шуме мотора. Чем быстрее он ехал, тем скорей наступал день.

Из глубин ночи, притаившейся меж холмов вокруг Алжира, машина вырвалась на пустынную дорогу, идущую над морем, где уже круглился рассвет. Мерсо гнал автомобиль на предельной скорости. Шины слегка причмокивали на влажном от росы асфальте, а на каждом повороте пронзительно скрежетали, и тогда ровное пофыркивание мотора на какой-то миг заглушало тихий голос прибоя, плескавшегося где-то внизу. Только в самолете человек чувствует себя еще более одиноким, чем в машине. Целиком предоставленный самому себе, внимательно следящий только за точностью своих движений, Мерсо мог в то же время погрузиться в размышления. Тем временем над дорогой все ярче и ярче разгорался рассвет. Всходило солнце, а вместе с ним просыпались пустынные и молчаливые поля, наполняясь щебетом птиц и стрекотанием насекомых. Иногда навстречу бешено мчащейся машине попадался какой-нибудь крестьянин, тяжело ступавший по вязкой и жирной земле, оставаясь в памяти Мерсо силуэтом с мешком на спине. Автомобиль то и дело взлетал на склон очередного холма, откуда было видно море. Холмы росли на глазах: их очертания, поначалу намеченные вдалеке легкой тенью, стремительно приближались, обрастая деталями, среди которых Мерсо различал оливковые рощи, пинии, выбеленные известковые домишки. А за следующим поворотом машина оказывалась прямо над вздувшимся от прилива морем; оно поднималось навстречу Мерсо, неся ему свои дары: сонную соленую влагу и солнечный румянец. Просвистев по дороге, машина уносилась дальше, к новым холмам над вечно неизменным морем.

Месяцем раньше Мерсо объявил, что решил покинуть «Дом перед лицом Мира». Он хотел сначала попутешествовать, а потом обосноваться

где-нибудь в окрестностях Алжира. Но уже через пару недель он вернулся, убедившись, что путешествия теперь не для него: слишком уж беспокойное это удовольствие. А кроме того, он чувствовал, что в нем копится какая-то темная усталость. Он поспешил воплотить в жизнь давнишнюю мечту: купить себе небольшой домик между побережьем и горами, в Шенуа, в нескольких километрах от развалин Типасы. Вернувшись в Алжир, он прежде всего позаботился о своем статусе в глазах людей. Приобрел себе солидный пакет акций одной немецкой фармацевтической фирмы, нанял служащего, поручив ему финансовые дела, и оправдал тем самым свои частые отлучки из Алжира и свой независимый образ жизни. Впрочем, дела фирмы, с которой он связался, шли не бог весть как, и ему приходилось мириться с дополнительными расходами, воспринимая их как неизбежную плату за свою неограниченную свободу. Ведь главное было достигнуто: он предстал перед людьми в том обличье, которое было им понятно. Лень и малодушие сделали все остальное, ибо порой независимость обретается ценой мнимой откровенности. Затем он занялся судьбой Люсьены.

Родителей у нее не было, она жила одна, служила секретаршей в какой-то конторе при угольной шахте, питалась исключительно фруктами и занималась физкультурой. Мерсо попробовал давать ей книги. Она возвращала их, ни слова не говоря, а на все вопросы отвечала: «Да, мне понравилось» или «Немножко мрачновато». Накануне отъезда он предложил ей сожительство, но уточнил, что она должна, бросив работу, оставаться в Алжире и навещать его только тогда, когда ему этого захочется. Высказано все это было таким тоном, чтобы Люсьена не сочла себя униженной, да, собственно, ничего унизительного в его словах и не содержалось. Люсьена, схватывавшая некоторые вещи не умом, а каким-то животным чутьем, согласилась на его предложение.

— Я могу вам обещать и законный брак,— добавил Мерсо,— если это так уж важно. Но мне лично он кажется бессмысленным.

— Все будет так, как вы хотите,— ответила Люсьена.

Через неделю они поженились, и он тут же собрался уезжать. А Люсьена тем временем купила себе оранжевое каноэ для морских прогулок.

...Мерсо рванул руль в сторону, чтобы не раздавить зазевавшуюся среди дороги курицу. Он думал о недавнем разговоре с Катрин. То был его последний день в «Доме перед лицом Мира» — следующую ночь он провел уже в гостинице.

Тогда, после полудня, он выглянул в окно. Утром прошел дождь, залив был похож на чисто вымытую, сияющую витрину, а небо напоминало свежевыстиранное белье. Продолговатый мыс, замыкавший кривизну залива, вырисовывался с поразительной четкостью, золотясь под солнечными лучами, он уходил в море словно исполинский змей. Патрис кончил укладывать чемоданы и, распахнув оконные створки, жадно вглядывался в новое рождение мира.

— Не понимаю, зачем тебе ехать, если ты так счастлив здесь,— сказала ему Катрин.

— Боюсь, малышка, что здесь меня могут полюбить, а это помешало бы моему счастью.

Катрин свернулась на диване и, чуть склонив голову, поглядывала на Патриса прекрасными бездонными глазами.

— Сколько людей усложняют себе жизнь, измышляют собственные судьбы,— не оборачиваясь, продолжал Мерсо.— Со мной все куда проще. Ты только посмотри...

Он говорил, стоя лицом к миру, и поэтому Катрин чувствовала себя одинокой. И все-таки не переставала любоваться длинными пальцами Патриса, впивавшимися в оконные створки, его стройной осанкой, а больше всего — но уже только мысленно — его взглядом, устремленным на море и небо.

— Мне бы так хотелось...— начала было Катрин, но запнулась на полуслове, не отрывая глаз от Патриса.

Пользуясь затишьем, в море начали появляться парусные суденышки. Проходя по фарватеру, они наполняли его плеском своих полотняных крыльев, а потом устремлялись в открытое море, оставляя за собой пенистые борозды. С того места, откуда на них смотрела Катрин, они казались ей стаей белокрылых птиц, вьющихся вокруг Патриса. Он, наконец, почувствовал на себе ее безмолвный взгляд. Обернулся, взял за руки, привлек к себе.

— Никогда и ни от чего не отрекайся, Катрин. В тебе тьма разных достоинств, и самое драгоценное из них — это чувство счастья. Только не жди, что счастье придет вместе с мужчиной. Сколько женщин совершают такую ошибку! Счастье — в тебе самой, нужно лишь дождаться его.

— Да я и не жалуюсь, Патрис,— тихо сказала Катрин, обнимая его.— Сейчас мне важно лишь одно. Чтобы ты поберег себя.

Только тут он по-настоящему почувствовал, на каком волоске висит вся его самоуверенность. Сердце сжалось от тоскливых предчувствий.

— Не стоило бы говорить об этом сейчас.

Он схватил чемодан и, сойдя по крутой лестнице, зашагал вниз по дороге, вьющейся между двумя оливковыми рощами. Впереди его ждал Шенуа, развалины Типасы, поросшие полынью, а еще — любовь, не отмеченная ни надеждой, ни отчаяньем, да воспоминания о прежней жизни, отдающие уксусом и цветочным ароматом. Он обернулся. Катрин, молча и не шелохнувшись, смотрела на него с высоты холма.

Часа через два Мерсо добрался до Шенуа. В этот миг последние лиловые тени ночи еще скользили по его уходящим прямо в море откосам, а на вершинах уже загорались красные и желтые отблески зари. В этом месте приземистые Сахельские холмы, тянущиеся до самого горизонта, вспучивались подобно хребту огромного зверя, чтобы затем низвергнуться с высоты в морскую пучину. Купленный Патрисом дом стоял на последних отрогах, в сотне метров от золотистой, пышущей жаром воды. Дом был двухэтажный, наверху располагалась всего одна, но зато просторная комната, выходящая с одной стороны на сад перед домом, а с другой — на продолговатую террасу с видом на залив. Мерсо прошел прямо туда. Море уже начало дымиться, его синева становилась все глубже, а ярко-красные плиты, устилающие террасу, с каждым мигом все сильнее рдели и блистали. Выбеленную известкой балюстраду обвивали побеги великолепных роз, украшенные первыми цветами. Розы были белыми, и те из них, чьи распустившиеся бутоны отчетливо выделялись на фоне моря, таили в себе какую-то особенную, почти плотскую упругость и пышность. Одна из нижних комнат выходила на первые отроги Шенуа, поросшие фруктовыми деревьями, а две других — на сад и море. В саду росли две пинии, вздымавшие в небо стволы непомерной высоты, увенчанные желтовато-зелеными кронами. Из дома просматривалось только пространство между деревьями да излучина залива. Мерсо долго следил, как появившийся на горизонте крохотный пароходик понемногу одолевает расстояние от одного ствола до другого.

Здесь-то ему и предстояло жить. Спору нет, красота окрестных мест трогала его сердце. Из-за нее он, собственно, и приобрел этот дом. Но передышка, которую он надеялся здесь обрести, теперь пугала его. Одиночество, к которому он так упорно стремился, оказалось источником тревоги, обострившейся с тех пор, как он успел здесь оглядеться. Деревушка располагалась неподалеку, всего в нескольких сотнях метров. Он вышел из дому. От дороги отходила тропинка, ведущая прямо к морю. Ступив на нее, он впервые заметил, что на другом конце залива виднеется остроконечная вершина Типасы. На ней вырисовывались позлащенные солнцем колонны храма, а вокруг них — древние развалины, заросшие полынью, похожей издалека на облысевшее и поседевшее овечье руно. Мерсо подумал, что июньскими вечерами ветер доносит сюда запах согретой солнцем полыни.

Ему нужно было освоиться, обжиться на новом месте. Первые дни промелькнули незаметно. Он белил стены известью, покупал в Алжире занавески, начал проводить электричество. И за этими трудами, прерыва-

емыми лишь для того, чтобы перекусить в деревенской гостинице да искупаться, он почти забыл, зачем сюда приехал. Его отвлекали усталость, ломота в костях и зуд в ногах, опасения насчет того, хватит ли ему известки, заботы о починке выключателя в коридоре. Ночевал он в гостинице и там мало-помалу перезнакомился со всей деревушкой: с парнями, которые заходили туда по воскресеньям поиграть в русский биллиард или пинг-понг (коротая за этим занятием целые часы, они ровным счетом ничего не заказывали и тем приводили хозяина в бешенство); с девушками, гулявшими по вечерам вдоль берега (они держались за руки и переговаривались, чуть-чуть жеманно растягивая окончания слов); с одноруким рыбаком Перезом, поставлявшим в гостиницу свой улов. Здесь же он повстречал и деревенского врача, Бернара. Когда в доме был, наконец, наведен полный порядок, Мерсо перенес туда свои пожитки и вот тут-то он почти очнулся от забытья. Был уже вечер. Мерсо расположился в комнате на втором этаже, за окнами которой два мира вели спор из-за пространства между двумя пиниями. В одном из них, почти прозрачном, множились звезды. В другом, более плотном и темном, слышался таинственный плеск моря.

До сих пор он был постоянно чем-то занят: то встречал рабочих, которые помогали ему устроиться, то болтал с хозяином кафе. А теперь осознал, что ему некого больше встречать — и завтра и вообще никогда, и что он остался лицом к лицу с тем самым одиночеством, к которому так стремился. В этот миг ему показалось, что завтрашний день неимоверно далек. Но он убедил себя, что именно этого ему и хотелось: остаться наедине с самим собой на бесконечно долгий срок, вплоть до самой смерти. Он решил еще посидеть, покуривая и размышляя, но часам к двум ночи начал клевать носом и улегся спать. На следующий день проснулся поздно, часов в десять, приготовил себе завтрак и перекусил, даже не успев побриться и причесаться: сказывалась легкая усталость. А после завтрака, вместо того чтобы отправиться в ванную, он стал слоняться из комнаты в комнату, листать журналы и в конце концов страшно обрадовался, увидев отошедший от стены выключатель, и принялся его чинить. В это время в дверь постучали. На пороге стоял мальчишка-рассыльный из гостиницы, он принес завтрак, заказанный Патрисом накануне. Делать было нечего: Мерсо снова уселся за стол, нехотя поел, чтобы блюда не успели остыть, а потом развалился на диване в одной из нижних комнат, закурил и сам не заметил, как его сморил сон. Проснулся он, злой сам на себя, когда было уже четыре часа. Умылся, тщательно побрился, наконец-то оделся и сел писать письма: одно — Люсьене, другое — трем студенткам. Когда он покончил с этим, было уже поздно, наступала ночь. Тем не менее он отправился в деревушку, бросил письма в почтовый ящик и вернулся обратно, не встретив по дороге ни души. Поднялся к себе в спальню и вышел на террасу. Море беседовало с ночью на побережье и среди развалин. Он задумался. Воспоминания об этом потерянном дне отравляли ему душу. Но впереди оставался целый вечер: можно было поработать, хоть чем-нибудь заняться, ну, например, почитать или совершить ночную прогулку. Скрипнула садовая калитка, тот же мальчишка принес ему ужин. Мерсо проголодался и поэтому поел с аппетитом, а потом почувствовал, что у него уже нет сил выйти. Решил лечь и подольше почитать. Но с первых же страниц глаза начали слипаться, он заснул и наутро опять встал очень поздно.

Мерсо попытался бороться с этим наваждением. По мере того как тянулись дни, целиком заполненные скрипом калитки и дымом бесчисленных сигарет, он все больше убеждался в несоответствии между решением, приведшим его к такой жизни, и самой этой жизнью. Как-то вечером он собрался с духом и написал Люсьене, прося ее приехать, нарушив тем самым одиночество, к которому так стремился. Отправив письмо, он почувствовал жгучий стыд. Но когда Люсьена приехала, этот стыд растаял в горниле глупой и безоглядной радости, охватившей его при виде близкого существа, при мысли о том облегчении, которое даровало ему само присутствие Люсьены. Он всячески ублажал ее, был

внимателен и предупредителен, а она смотрела на все это с некоторым удивлением, занимаясь главным образом своими полотняными платьями.

Теперь они вместе выходили на прогулки. Обнимая Люсьену за плечи, Мерсо вновь обретал сопричастность миру, избавлялся от терзавших его тайных страхов. Но не прошло и двух дней, как Люсьена ему наскучила. И надо же было случиться, что именно тогда, во время ужина, она и предложила ему жить вместе. Не поднимая глаз от тарелки, Мерсо наотрез отказался.

Помолчав, Люсьена безразличным тоном добавила:

— Выходит, ты меня не любишь.

Мерсо поднял голову. Ее глаза были полны слез. Он смягчился:

— Ну что ты, малышка, я никогда этого не говорил.

— Верно,— сказала Люсьена,— но это лишь подтверждает мои слова.

Мерсо встал и подошел к окну. Между двумя пиниями кишели в ночи звезды. Быть может, никогда до сих пор его не мучила такая тоска и такое отвращение к бесцельно проведенным здесь дням.

— Ты чертовски хороша, Люсьена,— сказал он.— А большего мне и не нужно. И я не прошу у тебя большего. Твоей красоты нам вполне достаточно.

— Я знаю,— подтвердила она. Повернулась спиной к Патрису и принялась водить кончиком ножа по скатерти. Он подошел к ней, положил руки на плечи.

— Не существует, поверь мне, великой скорби, великого раскаянья, неистребимых воспоминаний. Все забывается, даже великая любовь. Это очень грустно и в то же время приносит утешение. Есть только определенный взгляд на вещи, время от времени даруемый нам обстоятельствами. Вот почему все-таки лучше испытать хоть раз в жизни великую страсть, несчастную любовь. В этом — единственное оправдание того беспричинного отчаянья, которое гнетет всех нас.

Помолчав, Мерсо добавил:

— Не знаю, поймешь ли ты меня.

— Думаю, что пойму,— ответила Люсьена, резко повернувшись к нему.— Мне кажется, что ты несчастлив.

— Я буду счастливым,— почти выкрикнул Мерсо.— Должен им быть. И залогом тому — эта ночь, это море и моя рука у тебя на плече.

Обернувшись к окну, он еще крепче обнял Люсьену.

— Неужели у тебя нет для меня даже капельки дружеских чувств? — не глядя в его сторону, спросила Люсьена.

Патрис опустился на колени, прильнув губами к ее плечу.

— Дружеские чувства? Ну, конечно. Такие же, как я питаю к ночи. Ты — отрада моих глаз, и тебе ли не знать, что для этой отрады у меня в сердце всегда найдется местечко.

На следующее утро она уехала. А еще через день, не в силах сладить с самим собой, Мерсо сел за руль и отправился в Алжир. Первым делом побывал в «Доме перед лицом Мира». Студентки обещали навестить его в конце месяца. Потом решил взглянуть на родные места. В доме, где он когда-то жил, теперь был открыт кабачок. Он поинтересовался судьбой бочара, но никто не смог ему сказать ничего толкового: вроде бы тот уехал в Париж искать работу. Мерсо прошелся по кварталам. В ресторане Селеста не было, в общем, никаких перемен, разве что сам хозяин изрядно постарел. В углу, все с таким же важным видом, восседал чахоточный Рене. Они обрадовались появлению Мерсо, да и сам он был растроган этой встречей.

— Кого я вижу! — воскликнул Селест.— Да ты совсем не изменился! Ну ни капельки!

— Угу,— подтвердил Мерсо.

Его восхитила поразительная слепота людей, отлично сознающих перемены в самих себе, но считающих, что все остальные должны вечно оставаться такими, какими они их себе когда-то представляли. Неудивительно, что и о нем они судили по прежним меркам, как о собаке, у которой не

меняется характер. Значит, люди смотрят друг на друга не иначе как на собак. Чем лучше Селест, Рене и все остальные знали Мерсо в прошлом, тем непонятней стал он для них теперь: не человек, а какая-то загадочная, необитаемая планета. Тем не менее расстались они по-дружески. Выйдя из ресторана, он столкнулся с Мартой. Увидев ее, он подумал, что почти забыл о ней и в то же время не оставлял надежды на эту встречу. Она по-прежнему была размалеванной богиней. Он почувствовал к ней глухое, но не особенно сильное вожделение. Они пошли вместе.

— О, Патрис,— пролепетала она,— как я рада тебя видеть. Что поделываешь?

— Ничего, как видишь. Поселился за городом.

— Это же просто шикарно. Я всегда мечтала о такой жизни.— Помолчав, добавила: — Знаешь, а ведь я на тебя нисколечки не сержусь.

— Ну, еще бы,— рассмеялся Мерсо,— ты ведь, наверно, мигом утешилась.

Но тут Марта заговорила с ним таким тоном, которого он от нее раньше никогда не слыхал:

— Послушай, не будь таким злюкой. Я прекрасно понимала, что этим все у нас и кончится. Ты был каким-то странным типом. А я — всего лишь маленькой девочкой, как ты говорил. Ну так вот, когда все это случилось, я прямо сама не своя была от обиды. Но потом сообразила, что ты попросту несчастный человек. И вот еще что, даже не знаю, как лучше сказать. Ну, в общем, я тогда впервые почувствовала, что наш роман обернулся для меня и печалью, и радостью.

Мерсо уставился на нее, не веря своим ушам. И внезапно до него дошло, что Марта всегда очень хорошо к нему относилась. Приняла его таким, каким он был, избавила в какой-то степени от одиночества. А он был несправедлив к ней. Переоценивал ее в силу своего воображения и тщеславия — и в то же время гордыня не позволяла ему по-настоящему воздать ей должное. Только теперь он уразумел жестокий парадокс, заставляющий нас дважды обманываться в тех, кого мы любим: сначала — возвышая их, потом — развенчивая. Он понял, что Марта вела себя с ним совершенно естественно, была такой, какая она есть, и за одно это он должен быть ей благодарен.

Моросил мелкий дождик, в его пелене расплывались и дрожали уличные огни. Глядя сквозь эту искрящуюся сеть на внезапно посерьезневшее лицо Марты, Мерсо почувствовал, что его распирает от какой-то слезливой благодарности, которую он не мог толком выразить, но в иное время принял бы за что-то, похожее на любовь. А сейчас ему удавалось выдавить из себя лишь несколько жалких слов:

— Ты знаешь, я все-таки люблю тебя. И даже теперь, будь это в моих силах...

— Не стоит,— улыбнулась она.— Ведь я еще молода. И, в сущности, ничего не лишилась, ведь правда же?

Ему оставалось только кивнуть. Что за пропасть пролегла между ними, несмотря на всю их тайную близость!

Проводив ее до дому, он стал прощаться. Держа над головой зонтик, она сказала:

— Надеюсь, мы еще увидимся.

— Угу,— отозвался Мерсо. Она печально улыбнулась.

— А ты нисколько не изменилась,— сказал он.— Ни дать ни взять — та же маленькая девочка.

Ступив под дверной навес, она закрыла зонтик. Патрис протянул ей руки и в свой черед улыбнулся:

— До свиданья, милый призрак!

Она порывисто обняла его, расцеловала в обе щеки и бегом пустилась вверх по лестнице. А Мерсо остался под дождем, все еще чувствуя на своих щеках холодный нос и жаркие губы Марты. Этот неожиданный и бескорыстный поцелуй был так же чист, как тот, что он получил когда-то от веснушчатой венской шлюхи.

Все это не помешало ему отправиться к Люсьене, переночевать у нее, а наутро предложить ей вместе прогуляться по бульварам. Было около полудня, когда они вышли. Оранжевые лодки обсыхали на солнце словно четвертушки апельсинов. Голуби и их тени то слетали к самой воде, то ленивой дугой взмывали ввысь. Слегка припекало яркое солнце. Черно-красный почтовый самолет прогудел над их головами и, набирая скорость, понесся прямо к той ослепительной полоске, что пенилась на стыке неба и моря. Они с легкой завистью посмотрели ему вслед.

— Везет же кому-то,— вздохнула Люсьена.

— Да,— согласился Патрис, а про себя подумал, что нисколько не завидует этому везению.

Не то чтобы он был равнодушен к перемене мест, путешествиям, новым начинаниям: просто знал, что все это вызывает представление о счастье только в ленивых и безвольных душах. На самом же деле — это выбор, совершаемый упорной и трезвой волей. «Волей к счастью, а не волей к отречению»,— вспомнил Мерсо слова Загрея. Он обнял Люсьену, его ладонь коснулась ее жаркой и нежной груди.

Тем же вечером, возвращаясь на машине в Шенуа, Мерсо глядел на вздувшиеся от дождя ручьи, на гряду холмов впереди — и чувствовал, как его душой овладевает немая пустота. Он столько раз пытался начать все сначала, осмыслить прежнюю жизнь, что в конце концов осознал, чем он хотел и чем не хотел бы быть. Потерянные, постыдные дни, проведенные словно в спячке, казались ему теперь столь же опасным, сколь и необходимым испытанием. Он мог втянуться в эту спячку и разом потерять единственную возможность самооправдания. Но что поделаешь, нужно было пройти через это.

Переключая коробку скоростей, вертя баранку, Мерсо мало-помалу проникался той унизительной и в то же время бесценной истиной, что диковинное счастье, к которому он так стремился, сводится, в сущности, к раннему подъему, регулярным водным процедурам, сознательным гигиеническим навыкам. Он гнал машину все быстрей, торопясь воспользоваться этим озарением, чтобы именно так и устроиться в новой жизни, которая впредь не потребует от него никаких усилий. Чтобы подчинить свое дыхание глубинному ритму времени и жизни.

На следующее утро он встал пораньше и тут же спустился к морю. Рассвет уже разгорелся вовсю, утро звенело от птичьего щебета и шелеста крыльев. Но солнце едва-едва проглянуло на горизонте, и когда Мерсо вошел в тусклую воду, ему показалось, что он плывет в каких-то неясных сумерках. Но вот, наконец, взошло солнце, и он погрузил руки в струю ледяного и алого золота. Домой он вернулся бодрым, готовым к любым испытаниям. И начиная со следующего утра спускался к морю еще до восхода солнца, набираясь энергии на весь день. Вначале эти купания не только взбадривали, но и утомляли его, вливая вместе с зарядом энергии какую-то блаженную слабость, так что потом он целый день пребывал в состоянии счастливого томления. И все-таки дни тянулись чересчур медленно. Он еще не научился высвобождать время из-под спуда привычек, служивших ему точкой отсчета. Ему ровным счетом нечего было делать — и потому время никуда не торопилось. Каждая минута сама по себе была чудом, но ему пока еще не было дано это осознать. Во время путешествия дни казались бесконечными, в конторе целые недели пролетали мгновенно, а теперь, лишившись привычных мерок, он тщетно пытался отыскать их в этой новой жизни, с которой он не знал что делать. Иногда он брал часы, смотрел, как большая стрелка ползет от одной цифры к другой, и только диву давался, насколько бесконечными кажутся какие-нибудь пять минут. Именно эта забава и открыла ему тернистый и мучительный путь к великому искусству ничегонеделанья. Он приучал себя к прогулкам. Иной раз, шагая вдоль побережья, добирался до развалин на противоположной оконечности залива. Ложился там прямо на землю среди кустиков полыни и, чувствуя под рукой тепло древних камней, открывал глаза и сердце невыносимому величию пышущих жаром небес. Приноравливая биение крови

к яростной пульсации послеполуденного солнца, к сонному стрекотанию цикад, он наблюдал, как выцветшее от зноя небо постепенно наливается чистейшей голубизной, а потом, проветрившись, расцветает зеленью и струит ласковую негу на еще не остывшие развалины. Домой он возвращался рано и тут же заваливался спать. Подчиняясь чередованию рассветов и закатов, его дни приноравливались к их ритму, чья неспешность и необычность стали ему так же необходимы, как раньше была необходима служба в конторе, сон, ресторан. Но теперь, как и тогда, Мерсо вживался в этот ритм почти бессознательно. С той лишь разницей, что сейчас он порой постигал: время целиком принадлежит ему, и за тот краткий миг, когда море из алого становится зеленым, некий отсвет вечности сквозил ему в каждой прожитой секунде. Ни сверхчеловеческое счастье, ни вечность не открывались ему вне круговращения дней. Счастье было вполне человеческим, а вечность — будничной. Главное состояло в том, чтобы смириться, подчинить сердце ритму дней, а не подгонять этот ритм под метания человеческого духа.

Подобно тому, как ваятель должен уметь вовремя остановиться, уловить миг, когда лишний удар резца может испортить готовую статую, причем неразумная воля способна в этом отношении сослужить ему лучшую службу, чем самые изощренные выкладки ума, так малая толика неразумности необходима тем, кто стремится увенчать свою жизнь счастьем, тем, кто не смог это счастье завоевать.

По воскресеньям Мерсо играл в биллиард с рыбаком Перезом, у которого одна рука была отнята выше локтя. Перез орудовал кием на свой манер, прижав его к груди и поддерживая культей. Мерсо не переставал восхищаться ловкостью старого рыбака и по утрам, когда тот выходил в море. Зажав левое весло под мышкой, сильно скособочившись, он толкал его грудью, а правым греб как обычно, причем взмахи обоих весел были на удивление согласованны. Перез отлично готовил каракатиц в собственном соку, под острым соусом. Мерсо охотно разделял с ним трапезу, подбирая куском хлеба с засаленной сковородки черную и жгучую жижу. Кроме того, Перез был великим молчуном, и Мерсо особенно ценил в нем это качество. Иногда на заре, после купанья, увидев, как тот спускает в море лодку, он подходил поближе:

— А можно мне с вами, Перез?

— Валяйте.

Они вставляли весла в уключины и дружно гребли, стараясь не поранить босые ноги о крючки перемета. Потом забрасывали перемет в море, и Мерсо следил за лесками, блестящими на поверхности, зыбкими и черными в глубине. Солнце дробилось в воде на тысячи мельчайших осколков, Мерсо вдыхал тяжкий и удушливый запах, отрыжку пучины. Время от времени Перез снимал с крючка мелкую рыбешку и кидал ее обратно, приговаривая:

— Ступай-ка, малыш, к своей маме.

К одиннадцати часам они возвращались, и Мерсо, с руками, облепленными серебристой чешуей, с распухшим от солнца лицом, спешил домой, где было прохладно, как в погребе, а Перез начинал стряпать очередное рыбное блюдо, которое они вместе уплетали за ужином. Так, день за днем, Мерсо отдавался течению времени — это было ничуть не труднее, чем скользить по морским волнам. Пловец продвигается вперед лишь благодаря дружеской поддержке воды, а для Мерсо такой поддержкой служили сущие пустяки: достаточно приложить ладонь к стволу пинии или пробежаться по пляжу, чтобы почувствовать, что ты еще цел и невредим. Так он сливался с жизнью в ее чистом виде, обретал рай, уготованный либо самым неразумным, либо непомерно мудрым живым существам. И дойдя до той точки, где разум отрицает самое себя, постигал, наконец, собственную истину, а вместе с ней — всю беспредельность своего величия и любви.

Благодаря знакомству с доктором Бернаром Мерсо приобщился ко всему деревенскому обществу. В первый раз он вызвал его по поводу легкого недомогания, а потом они начали видеться просто так и подчас ко взаимному удовольствию. Бернар тоже был неразговорчив, но в его глазах,

скрытых очками в толстой оправе, мерцал отблеск глубокого и горького ума. Он долго практиковал в Индокитае, а в сорок лет переселился сюда, в алжирскую глушь, и вот уже несколько лет мирно жил здесь с женой, вьетнамкой, носившей высокий шиньон и современный европейский костюм, но не знавшей почти ни слова по-французски. Бернар был человеком неприхотливым, мог ужиться где угодно. Он любил своих пациентов, а те платили ему взаимностью, так что ему было легко ввести Мерсо в местное общество. Патрис был уже на короткой ноге с хозяином гостиницы, бывшим тенором, который любил распевать за стойкой арии из «Тоски», а в паузе между двумя фиориотурами успевал пригрозить трепкой жене. Патрису и Бернару было предложено войти в комитет по организации праздников. И теперь по торжественным дням, будь то 14 июля или другая славная дата, они расхаживали по деревушке с трехцветными повязками на рукавах или, рассевшись вместе с другими членами комитета за грязным жестяным столом, уставленным сладкими аперитивами, обсуждали вопрос о том, как должна быть украшена эстрада для музыкантов. Патриса попытались даже втянуть в предвыборные распри. Но он, к счастью, уже успел составить мнение о здешнем мэре. Тот, по его собственным словам, вот уже десять лет «руководил судьбами общины» и в силу столь длительного пребывания на своем посту склонен был мнить себя чем-то вроде Наполеона Бонапарта. Этот разбогатевший винодел отгрохал себе дом в греческом стиле и при первом же удобном случае пригласил Мерсо полюбоваться своим жилищем. Оно состояло всего из двух этажей, но, не отступая ни перед какими затратами, мэр установил в нем лифт. Мерсо и Бернару было предложено опробовать его. «Тише едешь — дальше будешь»,— невозмутимо отметил Бернар. С этого дня Мерсо проникся к мэру глубочайшим восхищением и вместе с Бернаром использовал все свое влияние, чтобы сохранить за ним его безусловно заслуженный пост.

Весной деревушка, чьи красные крыши теснились между горой и морем, утопала в цветах — чайных розах, гиацинтах и бугенвилеях — и дрожала от жужжания насекомых. В послеполуденный час Мерсо выходил на террасу и смотрел, как она зыблется в сонном мареве под щедро льющимися с высоты лучами. Достославная история деревушки сводилась к соперничеству между Моралесом и Бингесом, двумя выходцами из Испании, которые посредством финансовых махинаций выбились в миллионеры. Незамедлительно вслед за этим ими овладела мания величия. Если кто-то из них покупал себе машину, то выбирал самую шикарную. Другой приобретал такую же, но тотчас присобачивал к ней серебряные ручки. В этом смысле Моралес был настоящий гений. Недаром в деревушке его прозвали «Испанским королем». Он по всем статьям опережал Бингеса, не страдавшего избытком воображения. Во время войны Бингес подписался на государственный заем, купив облигаций на многие сотни тысяч франков. Моралес заявил, что обскачет соперника, и послал на фронт сына, хотя тот еще не достиг призывного возраста. В 1925 году Бингес возвратился из столицы, сидя за рулем великолепной «бугатти» гоночного класса. Не прошло и двух недель, как Моралес велел построить себе ангар и разорился на самолет марки «Кодрон». Это воздухоплавательное сооружение до сих пор пылилось в ангаре, куда по воскресеньям пускали посетителей; Бингес обзывал Моралеса «босяком», а тот величал его «ходячим крематорием».

Однажды Бернар привел Мерсо к Моралесу. Тот принял их на огромной ферме, пропахшей изюмом и населенной преимущественно осами,— принял со всеми знаками почтения, но в шлепанцах на босу ногу и в рубашке, потому что терпеть не мог ни пиджаков, ни ботинок. Им показали самолет, машины, медаль, полученную сыном на войне и теперь хранящуюся в гостиной, в специальной витрине, потом Моралес принялся втолковывать Патрису, что всех иностранцев надо гнать вон из Алжира («сам-то я давно натурализовался, а вот этот Бингес...»), и, наконец, потащил их смотреть новую диковину. Углубившись в громадный виноградник, они обнаружили посреди него округлую каменную площадку, на которой красовался салонный гарнитур в стиле Людовика XV из ценных пород дерева

с умопомрачительной обивкой: именно здесь, в центре своих владений, Моралес и принимал посетителей. Мерсо учтиво осведомился, что же делается с этой мебелью после дождливого сезона. «Я ее полностью заменяю»,— не моргнув глазом ответил Моралес и пыхнул сигаретой.

На обратном пути Бернар и Мерсо принялись выяснять, чем нувориш отличается от поэта, каковым, по мнению доктора, и являлся Моралес. А Мерсо подумал, что из него вышел бы неплохой римский император времени упадка.

Вскоре после этого в Шенуа нагрянула Люсьена и, погостив несколько дней, отбыла восвояси. А в следующее воскресенье, утром, появились Клер, Роза и Катрин: они не забыли про свое обещание. Патрис пребывал далеко уже не в том настроении, которое в первые дни затворничества заставило его отправиться в Алжир, однако вместе с Бернаром пошел встречать их на остановку. Они вылезли из огромного автобуса канареечного цвета. День был великолепный, по деревушке так и сновали роскошные красные машины окрестных мясников, среди пышных цветов прогуливался по-воскресному разодетый люд. По просьбе Катрин вся компания на минутку заглянула в кафе. Катрин восхищалась и всем этим блеском, и незнакомой для нее обстановкой, и плеском моря, раздававшимся прямо за ее спиной. Когда они уже собрались уходить, с соседней улочки громыхнула диковинная музыка. Играли вроде бы «Марш тореадора» из оперы «Кармен», но до того шумно и нестройно, что мелодию едва можно было разобрать.

— Это оркестр гимнастического общества,— пояснил Бернар.

Вскоре из-за поворота высыпала толпа музыкантов с самыми разнообразными духовыми инструментами; все они без передышки дудели, свистели и гудели. Толпа приближалась к кафе, а позади нее, в сбитом на затылок котелке, обмахиваясь рекламным проспектом, шагал Моралес. Он нанял этих музыкантов в городе, потому что, как он сам потом объяснил, «жизнь во время экономического кризиса стала слишком печальной». Моралес уселся посреди кафе, вокруг него расположились музыканты и с блеском завершили номер. В кафе повалил народ. Тогда Моралес поднялся и, обведя публику взглядом, важно объявил:

— По моей просьбе оркестр повторит «Марш тореадора».

Выходя из кафе, студентки задыхались от смеха. Но, добравшись до дома Мерсо, где тенистая прохлада комнат только сильнее подчеркивала ослепительную белизну наружных стен, окруженных садом и залитых солнцем, они притихли и успокоились, и Катрин тут же изъявила желание позагорать на террасе. Мерсо пошел проводить Бернара. Сегодня тот во второй раз стал свидетелем кое-каких подробностей из личной жизни Мерсо. Они никогда между собой не откровенничали, Мерсо считал Бернара не особенно счастливым, а тому была непонятна жизнь Мерсо. Они расстались, не сказав друг другу ни слова. Вернувшись к себе, Мерсо договорился с подружками, что завтра поутру они все вместе отправятся на прогулку в горы. Пик Шенуа очень крут, забираться на него нелегко, зато у них впереди чудесный денек, а усталость — сносная плата за такое удовольствие.

Ранним утром они уже карабкались по первым крутым отрогам. Роза и Клер молча шагали впереди, Патрис и Катрин — за ними. Мало-помалу они поднимались все выше и выше над морем, еще белесым от утреннего тумана. Патрис тоже молчал, жадно вглядываясь в горный склон, поросший редким взъерошенным безвременником, в ледяные источники, в чередование света и тени и вслушиваясь в собственное тело, которое поначалу во всем соглашалось с ним, но вскоре принялось артачиться. Они втянулись в сосредоточенный ритм нелегкой ходьбы и, хотя свежий воздух раскаленным железом обжигал их легкие, шли все вперед и вперед, преодолевая склон, а заодно и самих себя. Наконец Роза и Клер, запыхавшись, сбавили шаг. Катрин и Патрис обогнали их и вскоре потеряли из виду.

— Ну, как? — спросил у нее Патрис.

— Нет слов.

Солнце поднималось все выше, и чем сильнее оно припекало, тем

громче становилось стрекотание насекомых, оживавших от его тепла. Скоро Патрису пришлось снять рубашку и он пошел дальше голый до пояса. Пот катил по его плечам, шелушившимся от солнца. Они ступили на тропинку, вьющуюся вдоль склона горы. Трава под ногами становилась все более сочной. Вскоре они услышали журчание воды, а затем увидели бьющий из тенистой расщелины источник. Они окатили друг друга водой, попили немного, и Катрин улеглась на траве, а Патрис, с влажными от воды, прилипшими ко лбу волосами, прищурился, глядя на окрестный пейзаж, пестрящий развалинами, дорогами и блестками солнца. Потом он подсел к Катрин.

— Мы тут совсем одни,— сказала она.— Так скажи мне, счастлив ли ты?

— Взгляни лучше вокруг,— отозвался Мерсо.

Тропинка дрожала в солнечном мареве, над ней плясал целый рой радужных пылинок. Патрис улыбнулся и потер руки.

— Все это прекрасно, но я хотела бы задать тебе еще один вопрос. Если не хочешь, не отвечай.— Она помедлила.— Ты любишь свою жену?

— Это неважно,— улыбнулся Мерсо, обнял Катрин за плечи и, тряхнув мокрой головой, обдал брызгами ее лицо.— Ты напрасно думаешь, малышка, что мы можем выбирать или делать то, что хотим, требовать каких-то условий для счастья. Главное, видишь ли, это воля к счастью, постоянное и напряженное его осмысление. А все остальное — женщины, искусство, успех в обществе — это только предлог. Канва, по которой мы вышиваем.

— Верно,— сказала Катрин, и солнце заискрилось в ее глазах.

— Важно еще и качество счастья. Я могу наслаждаться им только в условиях упорного и яростного противоборства с его противоположностью. Счастлив ли я? А ты не помнишь, Катрин, знаменитую формулу: «Ах, если бы я мог начать жизнь сначала?» Так вот, я ее и начинаю. Но ты, наверное, не понимаешь, что это все значит.

— Нет,— призналась Катрин.

— Как бы это тебе объяснить, малышка? Если я и счастлив, то лишь благодаря своей нечистой совести. Мне нужно было бросить все и уехать вкусить того одиночества, которое помогло бы разобраться в себе самом, понять, где солнце, а где слезы... Да, по-человечески говоря, я счастлив.

Тут их беседу прервало появление Розы и Клер. Они подобрали рюкзаки и двинулись в путь. Дорога по-прежнему вилась вокруг горы среди берберийских смоковниц, оливковых деревьев и зарослей ююбы. Навстречу попадались арабы верхом на осликах. Потом дорога круто пошла в гору. Солнце с удвоенной силой палило придорожные камни. В полдень, выбившись из сил от зноя, опьянев от одуряющих запахов, путники решили сделать передышку и сбросили на землю рюкзаки. Их окружали скалистые склоны, сложенные из кремня. Приземистый корявый дуб приютил их в округлой тени. Они достали съестные припасы и перекусили. Вся гора от подножия до вершины дрожала от напора света и пения цикад. Зной допекал их даже в тени дуба. Патрис ничком повалился на землю, вдыхая ее жгучий аромат. Глухие толчки горы отдавались во всем его теле. Их однообразный ритм постепенно сморил его, и он задремал под оглушительный хор насекомых среди раскаленных камней.

Проснулся он разбитый, весь в поту. Было около трех часов. «Детки» куда-то запропастились, но вскоре смех и крики возвестили об их возвращении. Жара спала. Можно было продолжать подъем. И тут, как раз на полпути к вершине, с Мерсо случился обморок. Очнувшись, он увидел склонившиеся к нему тревожные лица девушек, а между ними — голубизну моря. Они стали потихоньку спускаться. Дойдя до первых отрогов, Мерсо попросил сделать передышку. Море и небо постепенно зеленели, с горизонта веяло свежестью. На холмах вокруг залива наливались чернотой кипарисы. Все помалкивали, только у Клер вырвалось:

— На тебе совсем нет лица.

— Что поделаешь, малышка.

— Мое дело сторона, но мне кажется, что этот край не для тебя. Слишком близко к морю, слишком влажно. Почему бы тебе не поехать во Францию, в горы?

— Пусть этот край не для меня, Клер, но я здесь счастлив. Я сжился с ним.

— И тебе хочется продлить свое счастье?

— Счастье нельзя ни продлить, ни укоротить. Ты счастлив — и все тут. Даже смерть не помеха счастью, это всего лишь случайность, входящая в правила игры.

— Все это не особенно убедительно,— сказала Роза, подумав. Остальные промолчали.

Уже вечерело, когда они дотащились до дому. Катрин вызвалась сходить за Бернаром. Мерсо сидел наверху, у себя в спальне, глядя на белесое пятно балюстрады, на темную волнистую каемку моря и более светлую полосу над ней — беззвездное ночное небо. Он чувствовал себя неважно, но слабость странным образом бодрила и просветляла его. Когда Бернар постучал, Мерсо подумал, что сейчас самое время выложить ему все. Нельзя сказать, чтобы он тяготился своей тайной, да и тайны-то, в сущности, никакой не было. До сих пор он молчал лишь потому, что боялся натолкнуться на предрассудки и непонимание. А теперь, побуждаемый телесной слабостью и глубокой потребностью в исповеди, он был похож на художника, который долго отделывал и шлифовал свое произведение и вот, наконец, понял, что пришла пора выставить его напоказ, открыться людям. Он ждал Бернара с нетерпением, хотя и не был уверен, что в последний миг не отступится от принятого решения.

Из нижних комнат донеслись раскаты задорного смеха — и в этот миг к Мерсо вошел Бернар.

— Что случилось? — спросил он.

— Сам не знаю,— отозвался Мерсо.

Врач выслушал его, но ничего путного сказать не смог. Хорошо бы сделать рентгеновский снимок, а пока судить трудно.

— Успеется,— сказал Мерсо.

Врач присел на край подоконника.

— Я лично болеть не люблю,— сказал он.— Отлично знаю, что за штука болезнь. Нет ничего безотрадней и унизительней болезни.

Пропустив слова Бернара мимо ушей, Мерсо поднялся с кресла, предложил ему сигарету, чиркнул спичкой и, смеясь, сказал:

— А нельзя ли задать вам не относящийся к делу вопрос?

— Валяйте.

— Вы никогда не купаетесь в море, так с какой же стати решили похоронить себя в этой дыре?

— Да я и сам не знаю. Больно уж давно это было,— ответил врач и, помолчав, добавил: — Я всегда поступал наперекор всему. Теперь-то страсти малость поулеглись. А раньше я хотел быть счастливым, делать то, что мне заблагорассудится, ну, например, обосноваться в краю, который мог бы мне понравиться. Но загад не бывает богат. Стало быть, нужно жить как можно легче, не надрываясь. Правило довольно циничное, но его придерживается и моя жена, лучшая из женщин на свете. В Индокитае я брал любого быка за рога. А здесь сам жую жвачку. Только и всего.

— Что ж,— сказал Мерсо, затягиваясь сигаретой и пуская дым в потолок.— Но я не уверен, что любой загад не бывает богат. Просто наши попытки заглянуть в будущее бывают иногда неразумны. Во всяком случае меня интересует лишь такой опыт, чьи результаты полностью сходятся с тем, на что мы рассчитывали.

— Да, судьба — это прежде всего мера,— улыбнулся Бернар.

— Судьба человека,— подхватил Мерсо,— может быть захватывающей, если она сочетается со страстью. А для некоторых и захватывающая судьба кроится по мерке.

— Согласен,— сказал Бернар. Он с трудом поднялся и, стоя спиной к Мерсо, бросил взгляд за окно, в ночь.— Вы и я единственные одиночки

в этом краю. Я не говорю о вашей жене и ваших подружках: это ведь фигуры случайные. И, однако, мне кажется, что вы любите жизнь сильнее, чем я.— Он обернулся к Патрису.— Потому что для меня любовь к жизни не исчерпывается морскими купаниями. Любить жизнь — значить жить без оглядки, напропалую. Менять женщин, страны, стремиться к приключениям. Словом, действовать, что-то преодолевать. Ощущать терпкий и жгучий вкус жизни. И, наконец, поймите меня правильно,— доктор запнулся, как бы устыдившись своей горячности,— я слишком люблю жизнь, чтобы довольствоваться прелестями природы.

Он подобрал свой стетоскоп, спрятал его в чемоданчик.

— В сущности, вы идеалист,— сказал ему Мерсо. У него было такое чувство, будто вся его жизнь, от рождения до смерти, сжалась, обратилась в единый миг, миг осуждения и освящения.

— Допустим,— с какой-то грустью согласился Бернар,— но, видите ли, противоположностью идеалистов слишком часто бывают люди, не способные любить.

— Не верьте этому,— сказал Мерсо, протягивая ему руку.

Бернар крепко пожал ее.

— Думать так могут только люди, живущие либо великим отчаянием, либо великой надеждой.

— И тем и другим, наверное.

— Ну, это выше моего разумения!

— Возможно,— серьезно ответил Мерсо.

Когда Бернар был уже в дверях, Мерсо неожиданно окликнул его.

— Да,— доктор обернулся.

— Вы способны испытывать к кому-нибудь чувство презрения?

— Пожалуй, да.

— А при каких обстоятельствах?

Врач задумался.

— Это довольно просто, как мне кажется. В тех случаях, когда человеком движет корысть или страсть к деньгам.

— Это и в самом деле просто,— согласился Мерсо.— Спокойной ночи, доктор.

— Спокойной ночи.

Оставшись один, Мерсо погрузился в раздумья. В том состоянии духа, которое он обрел, ему было безразлично, презирает его кто-нибудь или нет. Другое дело — доктор Бернар; в нем он угадывал родственную душу. И ему казалось невыносимым, чтобы одна часть его «я» судила другую. Двигала ли им в свое время корысть? Ведь он проникся столь же кардинальной, сколь и порочной истиной, которая гласит, что деньги — это одно из самых верных и быстрых средств достижения независимости. Сумел подавить в себе горечь, которая охватывает всякую благородную душу при мысли о том, сколько низости и подлости приходится совершать человеку, стремящемуся наилучшим образом устроить свою судьбу. Избавился от гнусного проклятья, обрекающего бедняков рождаться и умирать в нищете, сумел натравить деньги на деньги и ненависть — на ненависть. Но даже во время этой чудовищной схватки случалось, что его овевали лучезарные крылья счастливого ангела, порожденного теплым дыханием моря. Жаль только, что он не нашел в себе сил открыться Бернару и тайна навеки останется похороненной в его душе.

На следующий день, часов около пяти, подружки собрались уезжать. Перед тем как сесть в автобус, Катрин обернулась в сторону пляжа:

— До свидания, море!

Мгновение спустя три веселые мордашки уже уставились на Мерсо из окон автобуса, похожего на огромного золотистого жука. Еще миг — и он исчез из виду в ослепительных потоках света. В самой ясности небосвода было что-то гнетущее. Стоя на дороге, Мерсо переживал странное чувство — смесь облегчения и грусти. Лишь сегодня его одиночество стало вполне реальным, ибо он, наконец, понял, что ему никуда от него не уйти. И это смирение перед одиночеством, сознание того, что теперь

он стал полным хозяином грядущих дней, наполняли его душу меланхолией, не отделимой от подлинного величия. Мерсо свернул с дороги и пошел к дому тропинкой, вьющейся у подножия горы среди цератоний и олив. Несколько раз поскользнувшись, он заметил, что вся тропинка усеяна черными пятнами раздавленных оливок. В конце осени над всем Алжиром плывет запах любви, источаемой цератониями, а вечером или после дождя кажется, будто вся земля отдыхает, пресытившись ласками солнца, и лоно ее еще увлажнено семенами, благоухающими, как миндаль. Целыми днями струится с огромных деревьев этот тяжелый, удушливый запах. А здесь, на тропинке, полной вечерней прохлады и облегченных вздохов земли, этот запах казался легким, едва уловимым — так веет духами от женщины, с которой ты провел вместе целый день в духоте, и вот, наконец, вышел на улицу, и она не сводит с тебя глаз, прижимается к тебе плечом среди огней и толпы.

Вдыхая этот аромат любви и ее раздавленных пахучих плодов, Мерсо понял, что лето клонится к концу. Впереди — долгая зима. Но он тоже созрел для того, чтобы достойно встретить ее. С тропинки не было видно моря, зато хорошо виднелась легкая розоватая дымка, обволакивающая по вечерам вершину горы. Тени от листвы перемежались на земле с пятнами света. И подобно приливу, душу Мерсо освежала вечерняя прохлада, спускающаяся по тропинке между оливами и мастиковыми деревьями, по виноградникам и красной земле прямо к тихо плещущему морю. Такие вечера всегда казались ему залогом счастья, путем, ведущим от надежды к свершению. С сердечной невинностью принимал он это зеленое небо и увлажненную любовью землю, принимал с той же дрожью страсти и желания, которая сотрясала его в миг убийства Загрея.

Глава V

В январе зацвели миндальные деревья. В марте покрылись цветами груши, персики и яблони. Еще через месяц вздулись и тут же опали ручьи. В первых числах мая начался сенокос, в конце — с полей уже убрали урожай овса и ячменя. К июню поспели ранние сорта груш. Источники уже засыхали, зной становился сильней. Но кровь земли, иссякшая в одном месте, бурлила в другом, заставляя цвести хлопчатник, наливая сладким соком виноградные гроздья. Налетел суховей, опаляя землю, чуть ли не повсюду вызывая пожары. А потом год разом надломился. Быстро закончился сбор винограда. С сентября по ноябрь хлестали яростные ливни, омывая землю. А едва распогодилось, едва подошли к концу летние труды, как подоспело время сеять озимые. Тогда же стала прибывать вода в ручьях, превращая их в бурые потоки. К концу года на иных полях озимые уже пошли в рост, другие участки только успели вспахать. Чуть позже под холодной голубизной небес снова покрылся белым цветом миндаль. Новый год шел своим чередом меж землей и небом. Посеяли табак, окопали и обработали серой виноградники, привили плодовые деревья. В том же месяце стала поспевать мушмула. И снова сенокос, жатва и прочие летние заботы. К середине года столы уже ломились от сочных и клейких на ощупь плодов: смоквы, персиков, груш. А когда стали снимать виноград, небо нахмурилось. Потянулись с севера черные молчаливые стаи скворцов и дроздов. Как раз к тому времени поспели маслины, но убирали их уже после того, как птицы пролетели дальше. И снова из вязкой земли проклюнулось зерно. Тяжкие облака, тоже прилетевшие с севера, пронеслись над морем и над землей, смахнули пену с воды, и она стала такой же чистой и холодной, как хрустальное небо. По вечерам на горизонте то и дело вспыхивали далекие зарницы. А потом грянули первые холода.

Вот тогда-то Мерсо и слег в первый раз. Приступы плеврита продержали его взаперти целый месяц. А когда он поднялся на ноги, склоны Шенуа уже покрылись кипенью первых цветов, спускавшихся к самому морю. Никогда весна так не трогала его за живое. В первую же ночь выздоровления он отважился на дальнюю прогулку к тем холмам, где

дремала среди развалин Типаса. В тишине, нарушаемой лишь шелковистым шелестом небес, млечным потоком струилась на землю ночь. Мерсо шагал по береговым утесам, завороженный ее задумчивым величием. Внизу тихонько плескалось море, бархатистое, облитое лунным светом, похожее на огромного лоснящегося зверя. И в этот час, когда безучастный к себе самому и ко всему на свете Мерсо остался наедине с ночью, ему показалось, что он наконец-то достиг своего, сподобился безмятежности, порожденной упорным самоотречением, обрел ее при поддержке того самого мира, который бесстрастно отрицал его право на существование. Он шагал легко, и звук его шагов казался ему не то чтобы совсем чужим, но не более привычным, чем звериные шорохи в зарослях мастиковых деревьев, шум прибоя или пульсация ночи в небесных глубинах. И свое собственное тело он тоже ощущал как бы со стороны, подобно теплому дыханию этой весенней ночи и запаху соли и гнили, доносившемуся с моря. Его метания по свету, поиски счастья, ужасная рана на виске Загрея, эта мешанина из мозгов и костей, тихие благодатные часы в «Доме перед лицом Мира», его жена, его надежды и боги — все это предстало перед ним подобием неизвестно почему полюбившейся истории, чужой и вместе с тем близкой, показалось чем-то вроде книги, затронувшей самые сокровенные струны его сердца, но написанной кем-то другим. Впервые в жизни он чувствовал себя причастным к одной-единственной реальности: то была тяга к риску, жажда силы, инстинктивное осознание своего родства с миром. Поборов в себе гнев и ненависть, он больше не знал и сожаления... Прижавшись к скале, чувствуя под пальцами ее корявую щеку, он смотрел, как безмолвно вспучивается озаренное луной море, и вспоминал о щеках Люсьены, о теплоте ее губ. По морской глади струились маслянистые блики, следы от поцелуев луны. Вода, должно быть, была теплой, как женские губы, такой же податливой, готовой расступиться под напором мужчины. Не отрываясь от скалы, переживая немой восторг, сотканный из надежды и отчаяния, Мерсо чувствовал, как недалеко от его счастья до слез. Ко всему внимательный и всему чуждый, пожираемый страстью и совершенно невозмутимый, он сознавал, что здесь завершаются сама его жизнь и судьба, и что теперь ему остается одно: свыкнуться с этим счастьем, встретить лицом к лицу его ужасную истину.

И вдруг ему захотелось сломя голову окунуться в парное море, поплавать в лунном свете, чтобы заглушить в себе голоса прошлого глубокой мелодией нынешнего счастья. Он разделся, спустился по скалам вниз и вошел в море, жаркое, как человеческая плоть. Вода струилась вдоль плеч, цеплялась за ноги неуловимой, но прочной хваткой. Мерсо плыл размеренно, чувствуя, как сокращаются спинные мускулы, толкая его вперед. При каждом взмахе руки он поднимал над морем целый рой серебристых летучих брызг — они казались лучезарными зернами из закромов его счастья. Потом рука снова погружалась в воду, вспарывая ее, рассекая надвое, как плуг рассекает пашню для нового посева. А позади от взбитой его ступнями воды закипала пенная струя и расходились волны, их плеск на удивление отчетливо слышался в пустынной ночной тишине. Зачарованный ритмом плавания, наслаждаясь собственной ловкостью, Мерсо поплыл быстрее и вскоре оказался далеко от берега, в самой сердцевине ночи и мира. И только тогда, вспомнив о разверстой у него под ногами бездне, умерил свою прыть. Глубина влекла его как лицо неведомого мира, как продолжение этой ночи, в которой он обрел самого себя, как солоноватое влажное лоно иной, незнакомой ему жизни. На миг опасное искушение овладело им, но он одолел соблазн и поплыл еще дальше и еще быстрее. И только ощутив во всем теле блаженную усталость, повернул к берегу. Но как раз в этот миг угодил в ледяное подводное течение, сбился с ритма и, лязгая зубами от холода, завертелся на месте. Сюрприз, поднесенный морем, только раззадорил бы его, но холод пронизывал до костей, обжигал леденящей и страстной лаской неведомого бога, отнимая последние силы. Он кое-как добрался до берега и оделся, смеясь от счастья, хотя у него зуб на зуб не попадал.

На обратном пути ему стало плохо. С тропинки, поднимавшейся от моря к его дому, был виден скалистый полуостровок на той стороне залива, гладкие стволы колонн и развалины вокруг. Внезапно все это закружилось у него перед глазами, он пошатнулся, ударился о скалу и очнулся в придорожных кустах, чьи мясистые раздавленные листья источали аромат мастики. Поднялся, с трудом доковылял до дома. Тело, только что казавшееся источником неиссякаемой радости, теперь изнемогало от боли, засевшей где-то в животе, глаза слипались. Он решил приготовить себе чаю, но кастрюлька для кипячения оказалась грязной, напиток получился тошнотворным. Через силу сделал несколько глотков и отправился спать. Стаскивая ботинки, вгляделся в свои бескровные руки: ногти на них были неестественно розовые, широкие, с загнутыми концами. Нет, никогда у него не было таких ногтей, придававших руке какой-то болезненный, неприятный вид. Грудь ломило. Он прокашлялся и несколько раз сплюнул. Слюна была обычного цвета, но во рту остался привкус крови. В постели у него начались судороги, они возникали в ступнях и двумя ледяными струйками пробегали до самых плеч. Его била дрожь, мучила испарина. Дом словно раздался во все стороны, привычные звуки разносились по нему так отчетливо, будто вокруг не было никаких стен. Он слышал плеск моря о прибрежную гальку, пульсацию ночи за окном, лай собак в дальних деревушках. Его бросало из жары в холод, он то натягивал на себя одеяло, то сбрасывал его. Клонило в сон, но какая-то смутная тревога не давала заснуть по-настоящему. Тут-то до него и дошло, что он снова заболел. Ему стало страшно при мысли, что он может умереть в этом полузабытьи, так и не разомкнув глаз. На деревенской церкви пробили часы, но он не смог разобрать числа ударов. Ему совсем не улыбалось умирать от болезни. По крайней мере, от болезни, которая оказалась бы, как это часто бывает, постепенным, облегченным переходом к смерти. Подсознательно он жаждал встречи со смертью во всей полноте своих жизненных сил. Предстать перед смертью уже полумертвым — не дай Бог! Он поднялся, с трудом пододвинул к окну кресло, уселся в него, закутался в одеяло. За легкими занавесками, там, где не было плотных складок, сияли звезды. Он сделал глубокий вдох и вцепился в подлокотники, чтобы унять дрожь в руках. Самое главное — это сохранить ясность сознания. «Надо попытаться»,— подумал он и вдруг вспомнил, что не выключил газ на кухне. «Надо попытаться». Но и тут не обойдешься без долгих усилий. Ничего в жизни так просто не дается, все приходится завоевывать. Он трахнул кулаком по подоконнику. Никто не рождается сильным или слабым, волевым или безвольным. И силу, и ясность сознания нужно выстрадать. Судьба гнездится не в самом человеке, а витает вокруг него. И тут Мерсо заметил, что он всхлипывает. От слабости, от детского страха — болезнь чуть не превратила его в плаксивого ребенка. Руки холодели, к горлу подступила тошнота, Мерсо вспомнил о своих ногтях, потом принялся ощупывать распухшие лимфатические узлы под ключицей. И подумать только, что за красота разлита над миром, там, за окнами! Его мучила неутолимая жажда жизни, ревнивая влюбленность в нее. Он подумал о вечерах в Алжире, когда под зеленым куполом небес звучат фабричные гудки и людские толпы высыпают на улицу. Вспомнил о полыни и полевых цветах среди развалин, домишке, сиротливо ютящемся среди кипарисов в Сахеле,— и перед его глазами возникало видение жизни, чья красота и счастье, казалось, сотканы из отчаянья, из обрывков мимолетной вечности. Вот с чем ему так не хотелось бы расставаться! Неужели жизнь будет идти своим чередом и без него? Задыхаясь от бессильной ярости и жалости к самому себе, он вспомнил обращенное к окну лицо Загрея. Закашлялся, кое-как отдышался. Под одеялом было душно, его снова бросало то в жар, то в холод. Он сгорал от смутного бешенства и, судорожно сжимая кулаки, чувствовал, как кровь тяжело стучит в висках. Вперившись в пустоту, он ждал, что новая волна судорог вот-вот смоет его в пучину лихорадочного забытья. Его и впрямь скорчило, передернуло, и он очутился в липком, совершенно замкнутом мирке, где его глаза волей-неволей закрылись и сам собой угас неукротимый животный

бунт. Но перед тем, как забыться во сне, он успел увидеть, что ночь за занавесками побледнела, и расслышал голос пробуждающегося с зарей мира, властный зов нежности и надежды, заглушавший его ужас перед смертью и в то же время уверявший, что он обретет смысл смерти в том же, в чем состоял весь смысл его жизни.

Когда он проснулся, день был уже в разгаре, за окнами, на припеке, вовсю щебетали птицы и стрекотали цикады. И тут ему вспомнилось, что как раз сегодня должна приехать Люсьена. Чувствуя себя вконец разбитым, он еле дотащился до постели. Во рту остался привкус лихорадки, а в глазах ощущалась такая резь, что все вокруг казалось каким-то колючим, неприветливым. Мерсо велел пригласить Бернара. Тот явился, как всегда, молчаливый и озабоченный, ослушал больного, снял очки, чтобы протереть стекла, и, наконец, пробормотал:

— Да, дело плохо.

Потом сделал Патрису два укола, отчего тот на какой-то миг потерял сознание, хотя особой чувствительностью не отличался. А, придя в себя, увидел, что доктор одной рукой старается прощупать его пульс, а другой держит часы, следя за судорожными скачками секундной стрелки.

— Вы были в обмороке целую четверть часа,— сказал он.— Сердце не выдерживает. Следующая потеря сознания может оказаться роковой.

Мерсо прикрыл глаза. Он совсем обессилел, губы у него посинели и потрескались, воздух вырывался из груди со свистом.

— Бернар,— позвал он.

— Да.

— Это так ужасно — скончаться в беспамятстве. Я хочу встретить смерть в полном сознании, вы понимаете?

— Понимаю,— кивнул Бернар, протягивая ему пригоршню ампул.— Если вам станет хуже, разбейте одну и проглотите. Это адреналин.

Выходя, доктор столкнулся с Люсьеной.

— Вы все так же очаровательны.

— Что с Патрисом? Он заболел?

— Да.

— Серьезно?

— Да нет, все хорошо,— поспешил успокоить ее Бернар. И, уже в дверях, добавил: — Только постарайтесь не утомлять его, оставляйте почаще одного.

Весь день Мерсо боролся с приступами удушья. Дважды к сердцу подкрадывалась холодная и цепкая пустота, угрожая новой остановкой пульса, но оба раза адреналин вызволял его из этой липкой бездны. И весь день он не отрывал помутневших глаз от бесподобного вида за окнами. Часа в четыре на морском горизонте показалась красная точка и, малопомалу вырастая, превратилась в большую лодку, сверкавшую от водяных брызг, солнечных лучей и рыбьей чешуи. На корме суденышка, равномерно загребая веслами, стоял Перез. А вслед за тем почти мгновенно настала ночь. Мерсо закрыл глаза и впервые за целый день улыбнулся. Люсьена, незадолго перед тем заглянувшая в спальню — ее томила смутная тревога,— бросилась к нему, обняла и поцеловала.

— Присядь,— попросил ее Мерсо,— ты можешь побыть со мной.

— Хорошо, только ты помолчи, не трать сил понапрасну.

Так они промолчали до тех пор, пока не появился Бернар; сделав укол, он тут же удалился. Огромные алые облака не спеша плыли по небу.

— Когда я был маленьким,— с трудом произнес Мерсо, откинувшись на подушки и не сводя глаз с неба,— мама говорила мне, что закатные облака — это души умерших, возносящиеся в рай. Вот так чудо, думал я, значит, и у меня душа алого цвета. Теперь-то я знаю, что алые облака просто-напросто предвещают ветреный день. Но и это тоже чудесно.

Наступила ночь, полная видений. Огромные сказочные звери покачивали головами среди пустынных пейзажей. Потихоньку отогнав их подальше, в глубь лихорадочного беспамятства, Мерсо оставил перед мысленным взором только окровавленное лицо Загрея. Смерть скоро породнит их,

убийца и жертва станут братьями. Мерсо озирал свою жизнь таким же ясным, мужественным взглядом, каким смотрел в свое время на Загрея. До сих пор он просто жил, теперь пришла пора подвести итоги этой жизни. Что же осталось от того неистового порыва, который вечно толкал его вперед, от той неуловимой, но созидательной поэзии, которой было преисполнено его существование? Ничего, кроме голой истины, а уж она-то не имеет ничего общего с поэзией. Все мы с самого рождения носим в себе множество несхожих существ, массу переплетенных между собою, но неслиянных зачатков личности и лишь перед самым концом угадываем, что же из них было нашим подлинным «я». Обычно этот выбор делает за нас судьба. А Мерсо осуществил его сам, сознательно и решительно. В этом и состояло все его счастье как в жизни, так и в смерти. Еще недавно он смотрел на смерть с животным ужасом, а теперь понял, что бояться ее — значит бояться самой жизни. Страх смерти можно оправдать только безграничной привязанностью ко всему, что есть живого в человеке. Кто не решался действовать, чтобы вознести свою жизнь на новую высоту, кто малодушно упивался собственной немощью, те не могут не бояться смерти, памятуя о том приговоре, который она выносит их прошедшей впустую жизни. Такие никогда не жили в полную силу, да и жили ли они вообще? Смерть навсегда лишает живительной влаги тех странников, кто не сумел утолить свою жажду при жизни. А для других оказывается роковым и благостным событием, отвергающим и уничтожающим их бытие, но равно принимающим и смирение, и бунт.

Весь день и всю ночь Мерсо провел, сидя на краешке кровати, опершись на ночной столик и охватив голову руками: лежа он уже не мог дышать. Люсьена молча смотрела на него, примостившись рядом. Он тоже иногда поглядывал на жену, думая о том, что, потеряв его, она не устоит перед первым встречным. Отдастся так же, как отдалась ему, и ничего в мире не изменится, когда кто-то другой будет дышать теплом ее полураскрытых губ. А иногда он поднимал голову и смотрел в окно. Теперь его трудно было узнать: воспаленные глаза потускнели и глубоко ввалились, впалые бледные щеки заросли синеватой щетиной.

Он с кошачьей тоской посмотрел за окно, потом вздохнул и перевел взгляд на Люсьену. Теперь он улыбался, и эта жесткая, скупая улыбка придала его исхудавшему, осунувшемуся лицу неожиданное выражение силы и бодрости.

— Ну, как ты? — спросила она упавшим голосом.

— Ничего,— отозвался он и, снова обхватив голову руками, погрузился в свою ночь. И тут, на исходе воли к сопротивлению, ему впервые открылась тайна улыбки Ролана Загрея, так раздражавшей его в первое время их знакомства. Он дышал прерывисто и хрипло; жар его дыхания оседал влажным пятном на мраморной крышке столика, а потом теплым облачком обдавал лицо, и эта нездоровая теплота была особенно ощутима по контрасту с заледеневшими пальцами и ступнями. Сочетание тепла и холода тоже было приметой жизни, оно приводило на память восторг Загрея, благодарившего жизнь за то, что она «еще дает ему возможность гореть». Патриса внезапно охватил порыв яростной братской любви к этому человеку, который когда-то был ему совершенно чужим; теперь он понял, что, убив Загрея, он навсегда связал себя с ним узами более прочными, чем узы любви. И общими были накопившиеся в нем слезы с привкусом жизни и смерти. Вспоминая невозмутимость Загрея, глядящего в лицо смерти, Мерсо прозревал в ней тайный и безжалостный образ собственной жизни. Прозрению помогала лихорадка, а еще — восторженная уверенность в том, что он пребудет в полном сознании до самого конца и встретит смерть с открытыми глазами. В тот далекий день глаза Загрея тоже были открыты — и на них навертывались слезы. Но то была последняя слабость человека, не сумевшего взять свое от жизни. А Патрису нечего было бояться этой слабости. Вслушиваясь в лихорадочные толчки крови, словно рвущейся вон из тела, он знал, что эта напасть обойдет его стороной. Ибо он сыграл предназначенную ему роль, исполнил единственный

настоящий долг человека — быть счастливым. Правда, счастливым он был недолго. Но разве дело во времени? Оно может только служить препятствием на пути к счастью, а в остальном его можно и не принимать в расчет. Мерсо одолел эту преграду, а уж сколько там сумело прожить порожденное им новое и счастливое существо — два года или два десятка лет — это значения не имеет. Счастье состояло в том, что он дал жизнь этому существу.

Люсьена поднялась, чтобы поправить одеяло, сползшее с его плеч. Он вздрогнул от ее прикосновения. Начиная с того дня, когда он чихнул на площади перед виллой Загрея, и вплоть до нынешнего часа, его тело верой и правдой служило посредником между им самим и миром. Но в то же время продолжало собственное существование, не зависимое от воплощенного в нем человека. И все эти годы в нем длился медленный, незримый процесс распада. Теперь оно завершало свой путь и было готово расстаться с хозяином, вернув его миру. Дрожь, внезапно сотрясшая Патриса, была лишним подтверждением их давнего и обоюдного согласия, которое даровало им обоим столько радостей. Будь иначе, Мерсо не воспринял бы эту дрожь с чувством отрады. Не хитря и не малодушничая, он добился того, чего хотел: в ясном сознании остался наедине со своим телом и теперь мог заглянуть в лицо смерти широко раскрытыми глазами. Суть в том, чтобы вести себя по-мужски, ведь оба они были настоящими мужчинами. И больше ничего вокруг — ни любви, ни показных жестов,— только бескрайняя пустыня одиночества и счастья, среди которой Мерсо разыгрывал свои последние карты. Его дыхание становилось все слабее. Он втянул в себя глоток воздуха, и легкие захрипели, словно тубы испорченного органа. Лодыжки сковал холод, кончики пальцев онемели. Занималась заря.

Раннее утро было полно птиц и свежести. Солнце одним скачком поднялось над горизонтом. Земля облеклась в золото и зной. Небо и море обдавали друг друга голубыми и янтарными брызгами, играли в солнечные зайчики. Поднялся легкий ветер, дышавший солью сквозняк ворвался в окно, освежив ладони Мерсо. К обеду ветер утих, и под дружное пение цикад день лопнул, словно перезрелый плод, обдав все пространство мира теплым и душистым соком. Покрытое золотистыми масляными блестками море дохнуло на изнемогшую от солнца землю, и та, в свою очередь, задышала ароматами полыни, розмарина и раскаленных камней. Лежа в постели, Мерсо уловил миг этих дуновений, этого взаимного обмена дарами и пристальней вгляделся в огромное и округлое море, сияющее улыбками богов. Потом он внезапно заметил, что уже не лежит, а сидит, а рядом с его лицом виднеется лицо Люсьены. Что-то похожее на камень медленно поднималось из глубины его существа, подступая к самому горлу. Мерсо дышал все быстрей и быстрей, пользуясь задержками этого тяжелого комка. А тот все поднимался и поднимался. Мерсо взглянул на Люсьену, спокойно улыбнулся,— казалось, что его улыбка тоже идет откуда-то изнутри. Потом откинулся на подушки, не переставая ощущать в себе это медленное, неудержимое восхождение. Посмотрел на припухшие губы Люсьены, на улыбку земли за ее спиной,— посмотрел с одинаковым интересом и вожделением.

«Через минуту, через секунду»,— подумалось ему. Восхождение завершилось. И, став камнем среди камней, он с радостным сердцем обратился к истинам недвижных миров.

Так начинал Камю

После внезапной смерти Альбера Камю в автомобильной катастрофе в первых числах января 1960 года стала складываться легенда, что этого писателя, ставшего в сорок четыре года Нобелевским лауреатом, постигло к концу жизни горькое бесплодие. Да и прежде труды его не были изобильны. Утверждалось, что ничего нового и неопубликованного, ни одного существенного для понимания его творчества отрывка не было найдено в ящиках его письменного стола. Среди недоброжелателей это вызывало снисходительную усмешку, род злорадства.

В последние годы, судя по дневнику, Камю чувствовал себя чужим, или «посторонним», если воспользоваться его определением, в парижской литературной и журналистской среде. Его недолюбливали «левые» во главе с Арагоном за горький скепсис в отношении коммунистов и Советского Союза, его отвергали «правые» за недавнее участие в Сопротивлении и газете «Комба» и не принимал круг католических писателей, в том числе маститый Франсуа Мориак, не прощавший Камю потерю им веры. На автора «Чумы» и «Мифа о Сизифе» досадовал Сартр, чье имя неизменно, через запятую, упоминалось рядом с именем Камю, едва заходила речь о французском экзистенциализме. И откровенно подкусывали мелкотравчатые газетчики, уловившие некое колебание на бирже репутаций вокруг фигуры Камю и раздраженные независимостью его ума.

Словом, многие разочарованно пожимали плечами, указывая на скромное по объему литературное наследие Камю, не оставившего богатой поживы своим посмертным публикаторам. Однако со временем оказалось, что Камю просто слишком взыскательно относился к тому, что выходило из-под его пера. Не хотел печатать то, что было написано в молодости, так же как не спешил оповещать публику о незавершенных замыслах. Роман «Счастливая смерть», написанный, как оказалось, еще в 1938 году, увидел свет во Франции лишь спустя одиннадцать лет после гибели автора, в 1971-м. Дневники с яркими мыслями, афоризмами, набросками новых работ (с ними читатель «Иностранной литературы» познакомится в этом же номере журнала) были опубликованы еще позднее.

«Счастливая смерть» — вполне законченная и отделанная книга, если и несущая на себе порой черты ученичества, то ученичества в высшей школе европейской литературы и философии. Пытаюсь представить себе ее нынешнего читателя: один прочтет эту вещь как детективный роман, другой — как философскую притчу, третий — более тесно знакомый с творчеством писателя — увидит здесь набросок интересных характеров и ростки тех мыслей, что в зрелой силе предстанут в знаменитых романах и эссе Альбера Камю. Тут видна и рука мастера-стилиста: суховатый и точный рисунок, лишенный всякой слащавости и даже гордый своей графической однокрасочностью.

Нетрудно заметить, что ряд мотивов и сцен «Счастливой смерти» в более жестком и выверенном ракурсе предстанет в романе «Посторонний». Но все же, я думаю, Камю не захотел печатать этот ранний роман при жизни не потому, что опасался за его успех и ждал упрека в самоповторах. Существеннее, быть может, что, сохраняя в главном через всю жизнь верность себе, он далеко ушел от некоторых понятий, какие разделял в молодости, или, точнее, они преобразились в ходе внутреннего развития в нечто иное.

Камю созревал в мощном духовном поле, между такими полюсами, как христианский моралистический Достоевского и витальный имморализм Ницше. Само внимание к этим двух именам было предопределено в молодом Камю его склонностью к бесстрашному испытанию жизни. Подобно своему герою Мерсо Камю был начисто неприспособлен к лицемерию, даже того благообразного расхожего вида, каким не брезгует большинство интеллигентных людей. Если на похоронах близкого человека принято плакать — отсутствие слез уже улика бездушия,— вот с чем не мог согласиться Камю. Он не понимал также, как можно креститься и ходить в церковь, не веруя, или соглашаться с нравственными прописями, не обременяя себя их исполнением,— и в философском, и в чисто житейском смысле крайне неудобная прямолинейность.

Однако признаваясь в неверии или подвергая сомнению ходячую мораль, Камю отнюдь не стал воинствующим атеистом, скорее горестным скептиком: человек, что называется, «с Богом в душе», он искренне искал веры, на которой успокоилась бы его мятущаяся натура и «взыскующий Града» ум. Мысль об абсурдности жизнеустройства, мира, оставшегося без санкции Божественного Промысла, тонущего в слезах и крови (на одной первой мировой, скажет герой «Счастливой смерти», «столько кровищи вытекло, что хоть в лодке плавай»), блеснула ему как отчаянная догадка, в оправданности которой он все более убеждался. Это был род «бунта» Ивана Карамазова. А молодые силы души по-прежнему упрямо желали одного — счастья. Вот здесь-то, на этом перекрестке Камю и повстречал Ницше с его презрением к жалости и слабости, культом здоровья и силы. Влияния этой бодрой и безжалостной философии автор «Счастливой смерти» не сумел избежать. Правда, Ницше он корректировал, освобождался на ходу от его крайностей, но след его влияния навсегда остался в нем.

Другое сильнейшее литературное внушение для молодого Камю — Достоевский. Его исследование человеческого подполья открыло для Камю в людях многое, а наказание за атеистическое своеволие было той проблемой, через которую он никак не мог перешагнуть. Вправе ли Раскольников убить «вошь»,

старушку-процентщицу, в притязании на свое право жить и действовать свободно? Справедлив ли этот бунт жаждущей самопроявления личности: «Тварь ли я дрожащая или *право* имею?» Наконец, если Бога нет, разве не «все позволено»? Вопросы героев Достоевского томили, жгли, вонзались в мозг раскаленными иглами.

Все это нашло отражение в раннем романе Камю, который и теперь читается с неувядшим интересом как авантюра беспокойного духа. А для тех, кто любит этого писателя, содержит еще и неоценимое свидетельство об исходной точке его раздумий относительно трагизма человеческого бытия в XX веке.

Ключевое слово романа — счастье. Жажда счастья заполняет все поры существования Мерсо, героя со столь же привычной для Камю фамилией, как Нехлюдов у Толстого. (Напомним, что так же будут звать героя «Постороннего».)

Мерсо претит жизнь умеренного обывателя, мудрость «золотой середины». Он страстно хочет «жить по-настоящему», «действовать, и любить, и страдать», а для этого надо любой ценой выскочить из рамок скудной событиями и впечатлениями повседневности. Но еще нужны и деньги, чтобы не чувствовать себя скованным нуждой.

В романе подвергнута испытанию теория, согласно которой богатство — нечто иное, чем обычно мнит морализирующий рассудок. Калека ницшеанец Ролан Загрей, неподвижно сидящий в своем кресле у камина, развивает мысль, что богатство — это сэкономленное, аккумулируемое время. Деньги — его субстрат, они могут купить время, выиграть его. А поскольку главное стремление человека — счастье как свободное исполнение желаний, путь к счастью без богатства невозможен.

В самом деле, богатый не тратит силы на борьбу с нуждой, его не тяготят вериги мелочной повседневности, он способен победить пространство, путешествуя в любой край света, и выкупить свободное время, необходимое для ощущения полноты и счастья жизни. Такая «осанна» богатству, конечно, не в ладу с христианско-аскетической традицией долга, в том числе русской моральной традицией, согласно которой «бедность — не порок», а богатство — не добродетель. И Камю, вознамерившись оспорить Достоевского, поневоле ступает в его след.

Как иначе понять, что Мерсо, наэлектризованный теориями Загрея, расправляется со своим духовным наставником точно по его слову, доведя тезис ницшеанской теории до кроваво-прозаической реализации,— ну, совсем как наслушавшийся речей Ивана Карамазова лакей Смердяков.

Впрочем, ужас преступления не висит над героем Камю черной грозовой тучей, и в этом его отличие от Достоевского. На первый взгляд французским писателем рассказан сюжет *преступления без наказания*. А все же, может быть, Мерсо наказан? Отчего он не чувствует себя счастливым, преступно завладев чужим богатством? Отчего его гонит по городам Европы и необъяснимо отравляет краткие мгновения радости беспокойная тоска?

Камю не решается произнести слово «совесть» — в самом деле, ну, что это такое? Призрачность, сентиментальный пар! И все же отчего-то счастливой жизнь героя, по-чайлд-гарольдовски скучающего в отелях Праги и Вены, не находящего полной отрады и в объятиях молодых женщин в родном Алжире, не назовешь. Счастливы только минуты одиночества в море. Счастлива только смерть. Почти в лад со знаменитым двустишием:

Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо б мне просить...

Полемика с Достоевским не удалась. Казалось поверженный, антагонист дал сдачи. Не помогли ни ницшеанская воля к жизни, бесстрашное сокрушение моральных идолов, ни заклятие искренностью. «Гони природу в дверь — она влетит в окно». И точно так же: гони совесть за порог, она вернется в другом одеянии — как кара опустошенности, досада на бескрасочность жизни, смутное беспокойство и сознание тщеты погони за счастьем.

Благодаря своей искренности, которая сродни толстовской, Камю не покупается ни на одну фальшивую проповедь добродетели и милосердия, украшенную цветами христианского красноречия. Но вследствие той же безоглядной искренности, острой реакции на любой оттенок фальши естественный и самопроизвольный морализм прорастает сквозь все философские искушения, в том числе и наперекор Ницше с его соблазном безжалостного счастья.

И это при том, что в «Счастливой смерти» Камю лишь на пороге своих главных «экзистенциальных» открытий — о неизбежном выполнении человеческого долга, о сопротивлении злу без надежды на успех, об абсурде бытия, гнетущем, но не парализующем деятельную человечность.

* * *

В последние годы жизни, будучи уже автором прославленной «Чумы», Камю вел, как оказалось спустя годы после его смерти, подробный дневник. Меньше всего это была хронологическая запись внешних событий — по преимуществу летопись жизни внутренней. За плечами автора осталось многое, что было выстрадано и найдено им в 30—40-е годы. Но на страницах своего позднего дневника Камю предстает по-прежнему в исканиях, обретениях нового смысла, сомнениях, борьбе. Его занимают не тщеславие, не внешний успех (как спокойно, будто со стороны, пишет он о присуждении ему Нобелевской премии, опасаясь лишь возбужденной реакции завистников), а главные заботы по-прежнему неутоленного духа, взявшего столько барьеров, многомудрого, но всякий раз начинающего как бы с нулевой отметки.

Читатель этих записей убедится, сколько новых, богатых идеями и красками замыслов (вопреки суждениям зоилов) собирался осуществить Камю-художник, как жадно впитывал все впечатления бытия — от природы, людей, памятников искусства (это видно даже в беглых заметках из последних путешествий по Средиземноморью). Но среди всех описаний, набросков неосуществленных романов, летучих откликов на злобу дня главное, что привлекает и восхищает в этих не предназначенных для печати страницах — неустанная работа мысли Камю. Мысли острой, неожиданной, часто афористичной — в традициях культуры, родившей Блеза Паскаля и Монтеня — и неизменно подкупающей искренней страстью понять жизнь и себя.

В.ЛАКШИН

Записные книжки. Март 1951 — декабрь 1959

Перевод с французского ЯРОСЛАВА БОГДАНОВА

Тетрадь № VII,

март 1951 — июль 1954

Предисловие к И. и Л.

«...именно тогда я и полюбил искусство, причем с такой неистовой страстью, что с возрастом она не только не ослабла, но сделалась воистину всеобъемлющей... К прочим моим оковам эта болезнь прибавила новые, едва ли не самые тяжкие, однако она же в конце концов взрастила в моем сердце ту свободу, ту легкую отстраненность от людских забот и интересов, благодаря которой я не ведал ни горечи, ни злобы. Привилегия (а она таковой и является) просто королевская — я это понял с тех самых пор, как перебрался в Париж. И так уж вышло, что я пользовался ею беспрепятственно: как писатель начинал с восторженного изумления, что в определенном смысле сродни раю земному; как человек никогда не увлекался «борьбой» с кем-либо. Меня влекло неизменно к лучшим или более значительным людям, чем я сам».

*

Творец. Разбогател на своих книгах. Но они ему не нравятся, тогда он принимается за великое произведение. Работает только над ним, без конца переделывает. И вот постепенно в дом заползает нужда, а за ней полная нищета. Все приходит в упадок, а он себе живет в состоянии какого-то жуткого счастья. Дети постоянно болеют. Приходится сдать квартиру внаем и самим ютиться в одной комнате. Он все пишет. Жена становится неврастеничкой. Проходит год за годом, запустение полнейшее, но он продолжает работу. Дети сбегают из дому. Жена умирает в больнице, а он в этот самый день ставит последнюю точку, и человек, сообщивший ему горестное известие, слышит в ответ одно лишь слово: «Наконец-то!»

*

Роман. «Мало кто назвал бы его смерть геройской. В двухместную камеру затолкали двенадцать человек. От страшной духоты он упал в обморок. Остальные изо всех сил тянулись к окну и даже не заметили, как он умер, прижатый к липкой стене».

*

Естественность не дается от рождения: это достоинство приобретенное.

*

Ответ на вопрос, какие у меня самые любимые десять слов: «Мир, боль, земля, мать, люди, пустыня, честь, нищета, лето, море».

*

Человек образца 1950 г.: блудил и читал газеты.

*

Постоянно такое чувство, словно я в открытом море: неизъяснимое счастье с привкусом опасности.

*

Ж., или притворщик: веруя лишь в то, что не от мира сего, делает вид, что живет одними земными интересами. Играет, но играет нарочито. В результате ни у кого и в мыслях нет, что он только играет. Двойное притворство, даже тройное: он не смог бы начисто лишить себя всех плотских наслаждений или сознания собственной власти.

*

Приятие того, что есть: разве это признак силы? Нет, здесь скорее рабство. Другое дело приятие того, что уже совершилось. В настоящем — бороться.

*

Правда не добродетель, но страсть. Отсюда — никогда ей не быть милосердной.

*

Языковые тики у М....: — И все такое — В общем и целом — Хоть отбавляй...— Ну, в общем, вы знаете...— Я не нашла в ней ничего особенного — Она не доверяет ни одной живой душе, ну как так можно — Да что тут говорить! Пока не увидишь, не поверишь — Уникально — Когда она только ложилась на операцию...— Рассыпанные приборы (разрозненные) — Я, говорит, просто так сказала, ладно, думаю, ты у меня еще попляшешь — А еще, помнишь, у нее такой был потрясный...— И ля-ля-ля — Так что вот...— Хватит выпендриваться-то! (обращаясь к мужу, который собрался куда-то идти без свитера).

*

То же. Аугуста. Солдат, ее фронтовой крестник, так выражает ей свою признательность: «Г-жа Пельрен, вы для меня были не просто матерью, а хуже». Ее рассказ о бомбардировке в Нанте. В этот момент она шла по улице с подругой; они вдвоем забились в какой-то подъезд. «На мне лиса была и новый костюм. Когда все кончилось, я осталась в одной комбинации». Подруга исчезает под обломками. «Я ее за волосы вытягивала. Еще бы чуть-чуть и...» «А благоверный мой, видно, настолько был от меня без ума, что даже не побеспокоился, выбралась я оттуда или меня завалило... Причем накануне мне выписывали удостоверение личности. Там графа есть — «особые приметы», я прочерк поставила. А на другой день уже такая рожа...»

*

Именно из-за жестокостей со стороны адмирала Колчака в русской компартии чекисты возобладали над приверженцами более гуманных методов.

*

1920 г. Отмена смертной казни. В ночь перед вступлением декрета в силу чекисты расстреливают заключенных. Впрочем, через несколько месяцев смертная казнь вводится вновь. Горький: «Когда же прекратятся у нас убийства и кровопролития?»

*

Следует вкладывать свои принципы во что-то великое. В малом достаточно просто милосердия.

*

Уайльд. Хотел поставить искусство превыше всего. Однако величие искусства отнюдь не в том, чтобы парить надо всем. Напротив, оно в том, чтобы во все вмешиваться. Уайльд пришел к пониманию этого благодаря боли. Но это время несет на себе вину: непременно нужно пройти через боль и рабство, чтобы открыть истину, которая присутствует и в счастье — если только сердце достойно его. Холуйский век.

*

То же. Не бывает двух талантов: один для жизни, другой для творчества. Одного достаточно и на то и на другое. И можно быть уверенным, что если этого таланта хватило лишь на произведение искусственное, неподлинное, то и жизнь ему была под силу лишь пустая и ничтожная.

*

Я начинал с произведений, в которых время отрицалось. Понемногу мне открылись истоки времени — и понятие созревания. Собственно, произведение и есть не что иное, как медленное созревание.

*

Смерть оскорбительна. История человечества есть история мифов, которыми люди пытались прикрыть эту реальность. Исчезновение традиционных мифов привело к тому, что последние двести лет человечество бьется в судорогах, ибо смерть стала безысходной. И все же никакая человеческая правда невозможна, если в конце концов не признается смерть безо всякой надежды. Речь идет о том, чтобы признать существование предела, но не со слепым смирением, а в напряжении всего своего существа, что и будет означать обретение равновесия.

*

Люди, ставящие принципы превыше личного счастья. Отказываются быть счастливыми, кроме как на условиях, которые они заранее поставили себе для счастья. Если же оно внезапно овладеет ими — теряются: несчастные оттого, что их лишили их несчастья.

*

Бывают такие вечера, после которых еще долго хорошо на душе. Умирать легче, когда знаешь, что и после тебя будут такие вечера на земле.

*

Женщина, которая любит по-настоящему, всей душой, отдаваясь полностью, и становится тогда такой непомерно огромной, что не находится мужчины, который в сравнении с нею не сделался бы посредственностью, ничтожеством, мелкой душонкой.

*

Никто сильнее меня не жаждал гармонии, непринужденности, раз навсегда установившегося равновесия, но идти к этому мне неизменно приходилось самыми крутыми тропами, сквозь смуту, борьбу.

*

Джеймс («Послы»). «Самого себя ненавижу, как подумаю обо всем, что необходимо взять из жизни других людей, чтобы самому стать счастливым, и при этом даже тогда счастлив не будешь».

*

Мориак. Замечательное доказательство возможностей его религии: он пришел к благотворительности, минуя щедрость. И зря он без конца отсылает меня к страданиям Христа. Сдается мне, что я отношусь к ним с бóльшим уважением, чем он, поскольку никогда не считал для себя возможным дважды в неделю толковать о муках Спасителя моего на первой странице газеты для банкиров. Он называет себя раздраженным писателем. Так оно и есть. Вот только в этом его раздражении сквозит неодолимое желание использовать распятие в качестве метательного снаря-

да. Что и превращает его в первоклассного журналиста — и во второстепенного писателя. Этакий Достоевский из Жиронды.

*

Роман. «В такие моменты он закрывал глаза и получал сильнейший удар наслаждения — так налетает в тумане на прибрежную скалу парусник, сотрясаясь всем корпусом до самого киля; дрожь пробегает по всем снастям и ребрам корабля от мостика до фок-мачты, и еще долго гуляет по нему эта дрожь, пока наконец не начинает он медленно заваливаться набок. А потом это уже можно было считать кораблекрушением».

*

Никогда не говорить человеку, что он бесчестный. Таковыми могут быть поступки, группы людей, даже цивилизации. Только не отдельный человек. Ибо если он не сознает, что такое бесчестье, то он не может потерять честь, коей и не имел. Если же он ее имеет, результатом будет страшный ожог — положите раскаленное железо на воск. В человеке все плавится, трещит в огне невыносимой боли, которая меж тем служит залогом возрождения. Это пылает честь, которая как раз не желает исчезать и самоутверждается тем сильнее, чем непереносимее боль. По крайней мере, подобное пережил я в тот день, точнее -- в ту секунду, когда, по недоразумению, вдруг поймал себя на том, что совершил самую настоящую низость. Потом оказалось, что все совсем не так, но одной той секунды уже было достаточно, чтобы я научился понимать состояние человека униженного.

*

Мои выступления по радио.— Слушая себя, я делаю вывод, что не вызываю ничего, кроме раздражения. Таким меня делает Париж, несмотря ни на какие мои усилия. Слишком продолжительное одиночество — со времени исчезновения «Комба» — решительно негде высказаться, изложить свои мысли, что-то поправить при случае. Хотя бы раз ощутить чье-то ответное тепло или, по крайней мере, воочию убедиться в том, что кто-то еще сохранил великодушие. Все закономерно: я леденею и приобретаю тот самый ледяной тон, слишком высокомерный даже для того, чтобы выразить им подлинное пренебрежение, разве только неприятный на слух. Вот если бы я хоть на секунду почувствовал, что кто-то мне по-настоящему доверяет, я бы засмеялся, и все было бы в порядке.

*

Моими представлениями о вульгарности я обязан кое-кому из крупных буржуа, кичащихся своей образованностью и привилегированным положением, как, например, Мориак, в особенности же в те минуты, когда они являют собой зрелище уязвленного тщеславия. Они тогда стараются нанести ответный удар по тому же месту, в которое были ранены сами, и тем обнаруживают действительный уровень, на коем они пребывают в жизни. Тогда в их душе впервые торжествует такая добродетель, как смирение. Бедняги, в сущности, но ведь по злобе.

*

Никогда я не был особенно зависим от окружающих, от чужого мнения. Хотя нет, был до недавнего времени, пусть и незначительно. Но вот позади и последнее, решающее усилие. Теперь в этом отношении моя свобода безгранична. Свободен — значит и доброжелателен.

*

По нескольку дней кряду я бываю о себе самого отвратительного мнения.

*

Для СССР лучшая защита от атомной бомбы — мораль в международных отношениях, которую он и старается оживить разного рода публичными обвинениями. Т. е. он компенсирует это свое единственное отставание тем, что прибегает к помощи морального суждения, отвергнутого его официальной философией.

*

Ни на кого не нападать, особенно в тех вещах, что предстоит написать. Время полемики и критики прошло — Творчество.

*

Полностью устранить всякую критику и полемику — Отныне единственно и непременно — утверждать.

Пойми их всех. Люби и выделяй немногих.

*

Встретил Ф. Вианнэ, с которым ни разу не виделся со времен оккупации и чудесных дней освобождения Парижа. И внезапно нахлынула такая щемящая, до слез, тоска по товарищам.

*

То, что мною было сказано, сказано для всеобщего блага и той частью меня, которая принадлежит обыденности. Но другая часть меня владеет тайной, открыть которую невозможно — и с которой придется умереть.

*

Гений — это здоровье, превосходный стиль, хорошее расположение духа — но на пределе страдания.

*

Творчество. Чем больше дает, тем больше получает — Истратить всего себя, чтобы стать богатым.

*

Все писатели, великие и не очень, непременно заявляют устно и письменно, что современники всегда освистывают гения. Разумеется, это не так, подобное бывает лишь иногда и чаще случайно. Но сама эта потребность для писателя характерна.

*

И для древних, и для классиков в природе преобладала женственность. В нее можно было войти. Для наших художников в ней преобладает мужественность. Она входит в наши глаза, так что разрывает все внутри.

*

Он собственноручно расстреливал их и говаривал при этом: «За все нужно платить лично».

*

Сексуальное освобождение принесло с собой хотя бы то, что теперь появилась возможность сохранить целомудрие и проявить силу воли. Неограниченные возможности, женщины сдержанные или раскрепощенные, пылкие или мечтательные и ты сам, не знающий удержу или осмотрительный, торжествующий или неспособный на сильное желание,— дело сделано. Нет больше ни тайн, ни запретов. Человек почти полностью свободен в своих устремлениях, но и смирить себя можно почти всегда.

*

Глубоко во мне — испанское одиночество. Человек выбирается из него лишь на «*мгновения*», а затем возвращается на свой остров. Впоследствии (начиная с 1939 г.) я пытался воссоединиться, прошел через все этапы того времени. Но второпях, окрыленный криками и подхлестываемый войнами и революциями. Сейчас я на пределе — и одиночество мое переполняется тенями и вещами, которые принадлежат только мне.

*

Мне не уступят даже мою собственную смерть. А между тем мое самое заветное желание на сегодня — тихая смерть, которая не заставила бы слишком переживать дорогих для меня людей.

*

Какой-то частью своей я испытывал глубочайшее презрение к этой эпохе. Ни разу, даже когда случалось поступать наихудшим для себя образом, не расставался я с понятием чести, хотя нередко мужество покидало меня при виде крайнего упадка, в который наш век погрузился почти целиком. Другой же своей частью я сознательно разделил с другими ответственность за этот упадок и включился в общую борьбу...

*

«Медея» — в исполнении труппы Античного театра. Не могу без слез слушать

этот язык, словно человек, который наконец обрел родину. Эти слова мои, мои эти чувства, моя эта вера.

«Какое горе — человек без города». «О сделайте, чтоб не был он без города»,— говорит хор. Я без города.

*

Любовь — это, похоже, единственное, что нас устраивало в боге, ведь мы всегда не прочь, чтобы нас кто-то любил против нашей воли.

*

Они суть бунт, гордость, несокрушимая стена на пути надвигающегося рабства. Никому не уступят они эту роль — а буде кто взбунтуется по-иному, того они отлучат.

И вот, что же? Один такой дожидается, пока самая честная и порядочная газета из всех, что существовали в наше время, созданная самопожертвованием и упорным трудом сотен людей,— он дожидается, повторяю, пока газета эта не перейдет в руки продажного дельца, чтобы тут же, едва из редакции уйдут все свободные люди, предложить свои услуги этому торговцу. Другой подбадривает и науськивает своего старого друга против меня и в то же самое время пишет мне же, что не стóит, дескать, придавать особого значения словам старого поэта, а затем, перепугавшись, пишет снова, умоляя меня не предавать огласке его письмо и мелкое предательство. Третий упрашивает меня оказать ему одну услугу, добивается своего и, не успев вернуться домой, стряпает статейку с оскорблениями в мой адрес, хотя не забывает при этом отправить мне письмо, дабы подсластить пилюлю. Наконец еще один, из опасения, что о нем плохо подумают, поскольку он долгое время представлял издательство, злоупотребившее моим доверием, домогается объяснения со мной, получает письмо, в котором ему сообщается, что его, так уж и быть, впредь не будут путать с его нанимателем,— и, не теряя ни минуты, строчит этакое эссе, в коем сокрушается по поводу того, что моралисты моего пошиба рано или поздно подадутся в полицейские.

Таковы они, наши борцы, наши изгои, удобно укрывшиеся пологом проклятия и вылезающие из-под него лишь для плетения очередной интриги. Это они защитят нашу свободу, они, заявляющие, что славный стяг не будет выбит из их надежных рук надвигающейся бурей. Полноте, первая же полицейская зуботычина швырнет их на колени!

*

Есть такая порода людей, которая точно знает, с кем можно чувствовать себя вольготно. Прежде всего с теми, кто по мере сил ведет себя порядочно — и кому кажется неприличным пользоваться всеми выгодами своего положения.

*

Все и вся на меня, хотят извести, требуя каждый своей доли, и никогда, никогда никто не пришел на помощь, не протянул руку, не полюбил меня, наконец, таким, каков я есть, и затем, чтобы я таковым и оставался. Они полагают, что у меня безграничный запас энергии и что мне следует поделиться ею с ними, чтобы им было проще жить. Но все мои силы я вложил в изматывающую страсть к творчеству, так что в остальном я гол и неимущ, как никто из людей.

*

Я не верю людям, которые говорят, что пустились в удовольствия от отчаяния. Подлинное отчаяние всегда ведет либо к тяжелым переживаниям, либо к бездеятельности.

*

Избыток белых кровяных телец, недостаток красных, и вдобавок одни пожирают других — у Франции лейкемия. Она более не в состоянии ни вести войну, ни сделать революцию. Реформы — пожалуй. И лжец тот, кто предлагает ей что-то иное. Прежде полностью сменить ей кровь.

*

Стиль. Осторожнее с формулировками. Они иногда, как гром: удар есть, а вспышки нет.

*

В Бухенвальде вновь прибывший французик просит оформляющего его чиновника, тоже заключенного, выслушать его: «Видите ли, дело том, что мой случай особый: я ни в чем не виноват».

*

Раньше я очень любил бродить вдоль моря по пляжу. Но потом пустынные пляжи моей юности превратились в какие-то торговые ряды. И сейчас мне хорошо только посреди океана, там, где перестаешь верить в само существование берегов. Но когда я однажды попал на пляжи Бразилии, я снова понял, что нет для меня большей радости, чем идти, ступая по нетронутому песку, навстречу звучному свету, наполненному свистящим шипением волн.

*

Роман. Во время оккупации замечает, до какой степени он стал националистом, по той досаде, которую ощущает, видя бродячего пса, весело бегущего за немецким солдатом.

*

Роман. Различные ритмы у разных людей и также различные ритмы у одного и того же человека. Д. положил глаз на одну женщину, но все почему-то медлит. И вдруг звонит ей по телефону, мчится за полторы тысячи километров, ведет ее ужинать, и той же ночью она у него в постели.

*

Мы хотим пережить определенные чувства еще до того, как в самом деле их испытаем. Мы же знаем, что они есть. И традиция, и наши современники беспрестанно сообщают нам о них — совершенную, впрочем, чушь. Но мы тем не менее переживаем их, как бы по доверенности. И даже используем — так ни единожды не испытав.

*

От того, чтобы окончательно упасть духом, меня неизменно спасало то, что я не переставал, за неимением лучшего, верить в свою «звезду». Но теперь я больше не верю в нее.

*

Трагедия не в том, что ты один, а в том, что ты не можешь быть один. Иногда, кажется, я отдал бы все на свете, лишь бы не иметь никаких связей с миром людей. Но я часть этого мира, а значит, мужественнее всего́ — принять его, и трагедию с ним вместе.

*

Прогресс в материальном положении неизбежно и в весьма значительной степени делает человека лучше. Но за известным пределом, когда приходит богатство, он становится вреден. На этом-то рубеже и балансирует мораль.

*

Кто замолвит слово за нас? Наши произведения. Увы! Кто же тогда? Никто, никто, кроме немногих наших друзей, кто видел нас в минуту самоотречения, когда всю душу отдаешь другому. То есть кроме тех, кто нас любит. Но любовь есть молчание: каждый человек умирает неизвестным.

*

Сентябрь 52-го. Полемика с Т. М. Постоянные нападки: «Ар», «Карфур», «Ривароль». Париж — это джунгли, но хищники здешние больно невзрачны.

*

Духоборы. По-русски, те, кто духом борются.

*

Собственность — это убийство.

*

Практическая мораль.

Никогда не обращаться в суды.

Деньги отдавать или терять. Никогда не делать так, чтобы они приносили доход, не гоняться за ними, не требовать их.

Название: Небольшой трактат о практической морали — или (с вызовом) Об аристократизме в быту.

*

Бывало, когда гулянье у кого-нибудь затягивалось далеко за полночь, когда под воздействием алкоголя, танцев, всеобщего необычайного возбуждения по телу начинала быстро разливаться приятная истома, мне вдруг мерещилось, на пределе усталости, что я наконец постиг, на какую-то секунду, тайну жизни и смогу однажды ее высказать. Но усталость улетучивалась, а вместе с ней и тайна.

*

Роман. «Совсем не ее ненавидел он все эти дни. В ней не было ничего такого, за что обычно ненавидят, и было почти все, за что обычно любят. В ней он ненавидел самого себя — свою ненадежность, свою бедность, неспособность любить то, что вполне заслуживает любви, и жить в таких условиях, которые он сам считал единственно достойными ее и себя...»

*

Порода людей, испытывающих денежные огорчения и сердечные затруднения.

*

Как груда камней, едва отличимая от других таких же по всей пустыне, указывает тем, кто научен бедностью, таинственный путь к местам, где есть вода или высохшая трава.

*

Засуха на юге — и голод — погибло восемьдесят тысяч овец. Люди скребут землю, выискивая какие-то корешки. Бухенвальд под палящим солнцем.

*

Во Франции для каждой специальности предусмотрено определенное соотношение иностранных рабочих. Так, в шахтах их доля тем выше, чем глубже нужно спускаться. Гостеприимный край, вот только требуются здесь прежде всего рабы.

*

Страх как объяснение всех ужасов современности. Атом, процессы в Советском Союзе и т. д. Предательство левой интеллигенции.

*

На злобу дня: 10 французских врачей, из них половина евреев, не имея другой информации, кроме правительственного сообщения из Москвы, подписывают заявление, в коем приветствуют арест своих советских коллег, на 9/10 евреев. Торжество научной мысли. Спустя какое-то время то же самое правительство объявляет о невиновности врачей, хотя они по-прежнему находятся в тюрьме.

*

Гуманизм. Не люблю человечество вообще. Прежде всего я с ним солидарен, что вовсе не одно и то же. Ну, а кроме того, есть несколько человек, кто-то из них жив, кто-то умер, перед которыми я преклоняюсь до такой степени, что стремлюсь с неизменной ревностью или тревогой сохранить, сберечь во всех остальных то, что, чисто случайно или, наоборот, неведомо когда, сделало или только сделает их подобными тем немногим.

*

Социализм, по Зощенко, придет — когда на асфальте вырастут фиалки.

*

15 февраля 1953 г.

Дорогой П. Б.

Начну с извинений за пятницу. Это не была лекция о Голландии, просто в последний момент меня мобилизовали надписывать книги, чтобы собрать деньги для этих беженцев. Подобное занятие для меня внове, и я не счел возможным отказаться, полагая, что вы меня простите за то, что все получилось так некстати. Однако вопрос не в этом, а в том, что, как вы говорите, трудно стало общаться. Мои соображения на сей счет можно выразить очень просто: если бы вы хоть на

четверть были знакомы с моей жизнью и ее обязательствами, вы не написали бы ни единой строки из вашего письма. Но вы ее не знаете, а мне невозможно, да и не подобает объяснять ее для вас. «Высокомерное одиночество», на которое вы жалуетесь вслед за многими другими, из коих отнюдь не все вам ровня, явилось бы в самом деле, буде оно имелось, благословением для меня. Но райское это состояние приписывается мне несправедливо. Правда же заключается в том, что каждый час для работы я просто-таки отвоевываю у времени и у окружающих меня людей, хотя, как правило, безуспешно. Я ни на что не жалуюсь. Моя жизнь такова, какой я сам ее сделал, и сам же я в первую очередь несу ответственность за такой ее ритм и беспорядочность. Но все же когда я получаю письмо, подобное вашему, тогда да, хочется кому-нибудь пожаловаться или, по крайней мере, попросить не торопиться с обличениями. Чтобы везде успеть, мне понадобилось бы сегодня три жизни и в придачу несколько сердец. У меня есть одно-единственное, и судить о нем можно по-разному — я сам часто бываю о нем не слишком высокого мнения. Я физически не располагаю временем, а тем более внутренней независимостью, чтобы видеться с друзьями так часто, как мне бы того хотелось (спросите-ка у Шара, которого я люблю, как брата родного, сколько раз в месяц мы с ним видимся). У меня нет времени, чтобы писать статьи в журналы ни о Тунисе, ни о Ясперсе — даже затем, чтобы лишить Сартра еще одного аргумента. Хотите — верьте, хотите — нет, но у меня нет ни времени, ни внутренней независимости даже для того, чтобы просто поболеть. Стоит мне заболеть, как все начинает идти наперекосяк, и потом требуется несколько недель, чтобы жизнь вошла в обычную колею. Однако серьезнее всего то, что у меня больше нет ни времени, ни внутренней возможности писать книги, и приходится тратить четыре года на то, что при свободной жизни я сделал бы за год-два. Вообще за последние годы писания мои не столько освобождали меня, сколько порабощали. И если я продолжаю этим делом заниматься, то лишь потому, что не могу иначе, ибо предпочитаю его всему на свете, даже свободе, даже великой мудрости или богатству мысли и даже — это так,— даже дружбе. Я, правда, пытаюсь по-всякому сам себя организовать, тяну за двоих и увеличиваю «охват» благодаря определенному расписанию, четкому распорядку каждого дня, все большей отдаче. Надеюсь, когда-нибудь меня хватит на все. Пока же я явно не справляюсь: каждое письмо оборачивается еще тремя, каждый новый человек тянет за собой еще десятерых, после каждой книги — сотня писем и еще два десятка корреспондентов, а жизнь тем временем продолжается, остаются и работа, и те, кого я люблю, и те, кому я нужен. Жизнь идет, а я иной раз проснусь, и от всего этого шума, от необходимости продолжать работу, которой конца не видно, от безумного этого мира, который обступает вас со всех сторон, стоит только взять утром газету, наконец, от уверенности, что я все равно не справлюсь и всех разочарую,— мне хочется просто сесть и сидеть так до вечера. Такое вот желание, и я иногда ему уступаю.

Сможете ли вы понять все это, Б.? Разумеется, вы вполне заслуживаете, чтобы вас уважали и с вами общались. Разумеется, ваши друзья ничем не хуже моих (которые вовсе не такие уж менторы, какими вы их считаете). Хотя мне с трудом верится (и это отнюдь не поза), что мое уважение может представлять для кого-то ценность, можете не сомневаться, что вы его имеете. Но чтобы это уважение переросло в активную дружбу, как раз и требуется приличный запас свободного времени, продолжительное общение. Я встречался со многими замечательными людьми, в этом смысле мне повезло в жизни. Но иметь стольких друзей просто невозможно, и в этом моя беда: я знаю, что обречен многим приносить разочарование. Понимаю, что людям от этого очень тяжко, мне и самому тяжко. Но так уж сложилось, и если я такой кого-то не устраиваю, что ж, пусть оставит меня в одиночестве, которое, как видите, не такое уж и высокомерное, как вы о нем выразились.

Во всяком случае, на ваши горькие слова я отвечаю без горечи. Письма, подобные вашему, приходящие от таких людей, как вы, только лишний раз меня расстраивают и добавляют лишний довод в пользу решения бежать из этого города и той жизни, которую я здесь веду. Пока что, хотя это самое заветное мое желание, оно неисполнимо. Значит, придется продолжать это странное существование и к тому же считаться с назначенной вами ценой, на мой взгляд, несколько завышенной, которую мне надлежит заплатить за то, что я позволил прижать себя к стенке.

Как бы то ни было, прошу простить меня за то, что разочаровал вас, и принять уверения в моем неизменном к вам уважении.

*

Немезида. Любовь может и убить, причем только ради себя же самой. Имеется даже некая грань, за которой любовь к одному человеку влечет за собой убийство остальных. В некотором смысле любовь предполагает одновременно личную вину. Которую к тому же не переложишь на другого. И которая тем тяжелее, чем явственней полное отсутствие разумного алиби. Приходится в одиночку решать, любишь ты или нет, и в одиночку же отвечать за непредсказуемые последствия настоящей любви. Этому чреватому риском одиночеству человек обычно предпочитает не слишком пылкое сердце вкупе с набором моральных принципов. Он боится сам себя и ради самого же себя. Он хочет уберечь себя, отказываясь при этом от своего предназначения. И главнейшей его заботой становится поиск оправдания, которое облегчило бы хоть немного бремя его вины. Раз уж этой вины не избежать, пусть, по крайней мере, она не лежит на тебе одном. Рядовой член партии.

*

Половое влечение: странное, какое-то чужое, словно бы само по себе; всегда самочинно решает, когда ему вдруг пробудиться, и тогда неудержимо остается лишь слепо следовать за ним; или вдруг, после нескольких лет буйства и в ожидании новых лет разгула чувств, замкнется в себе и замрет; процветает в привычном, нетерпеливо ждет чего-то нового и отказывается от своей независимости лишь в тот момент, когда ты соглашаешься ублажить его раз навсегда. Кто из людей, в ком есть хоть крупица гордости, по своей охоте подчинился бы такой тирании? О целомудрие, ты — свобода!

*

Единственное оправдание, которое я нашел для своей жизни,— это мои муки творчества. Почти во всем остальном я банкрот. Если же и это меня не оправдывает, то на отпущение грехов нечего и рассчитывать.

*

Мы терпим сами себя благодаря телу — его красоте. Однако тело стареет. А когда красота уходит, остаются одни лишь причуды психики: они сталкиваются, и нет между ними посредника.

*

Письмо от Грина. Каждый раз, когда мне говорят, что восхищаются мною как человеком, у меня такое чувство, будто я всю свою жизнь лгал.

*

Для некоторых людей требуется больше храбрости, чтобы ввязаться в уличную драку, чем рвануться в атаку на передовой. Тяжелее всего поднять на человека руку и особенно ощутить на себе чужую ненависть.

*

Лопе де Вега пять или шесть раз становился вдовцом. Сейчас умирают реже. В итоге отпадает необходимость сохранять в себе силу возобновления любви; наоборот, ее всячески угнетают, чтобы дать проявиться совсем другой силе — бесконечного приспособления.

*

Забота о долге потому ослабевает, что все меньше и меньше остается прав. Кто непреклонен в том, что касается его прав, обладает и более сильным чувством долга.

*

Нигилизм. Лоботрясы несчастные, любители уравниловки и препирательств по пустякам. Готовы размышлять обо всем на свете, но лишь для того, чтобы все отвергнуть; не имеют никаких чувств, полностью полагаясь в этом на других — на партию или вождя.

*

Порядочность ненавидеть нельзя. Но бесконечные рассуждения о порядочности — можно. Ни в чьих устах они не могут быть уместны и менее всего в моих. А потому всякий раз, когда кто-то вылезает с разглагольствованиями о моей честности (заявление Руа), меня начинает колотить внутренняя дрожь.

*

«Дон Жуан»: Вершина всех искусств. Заканчиваешь его слушать и словно совершил кругосветное путешествие и узнал всех людей.

*

Сосредоточен, никаких посторонних мыслей — Я прошу лишь об одном, прошу нижайше, хотя понимаю, что речь идет о чем-то непомерном: чтобы меня читали внимательно.

*

Роман. Ревность. «Я внимательно следил за своим воображением, не позволяя ему особенно разгуливаться. Держал на привязи».

Супружеская измена влечет за собой состояние обвиняемого по отношению к тому или к той, кому изменил. Вот только приговора нет. Или, точнее, приговор есть, и притом страшный: быть «вечным обвиняемым».

*

Начиная с Колумба, горизонтальная цивилизация пространства и количества приходит на место вертикальной цивилизации качества. Колумб убил средиземноморскую цивилизацию.

*

Без традиции у художника возникает иллюзия, что он сам создает правила. Вот он и Бог.

*

С некоторыми людьми мы строим отношения на правде. С другими — на лжи. И эти последние не менее прочны.

*

В психиатрической лечебнице Бродмур, где содержатся сошедшие с ума преступники, случаются кровавые драки из-за пустой баночки из-под аспирина.

*

Одна из задумок в театре (в том же Бродмуре): когда на сцену выходит злодей, появляется плакат: «Освистывать». Когда герой; «Хлопать».

*

Писать естественно. Публиковать тоже естественно и расплачиваться за все это — естественно.

*

Критика по отношению к творцу — то же, что торговец по отношению к производителю. В эпоху коммерции уже стало не продохнуть от этих комментаторов, посредников между производителем и публикой. И дело отнюдь не в том, что стало меньше творцов, а просто развелось слишком много комментаторов, которые топят ускользающую золотую рыбку в какой-то илистой жиже.

*

Любовь и Париж. Алжир. «Мы не умели любить».

То же. Детство в бедности. Жизнь без любви (но не без удовольствий). От матери ждать любви бесполезно. С той поры самым долгим делом на свете становится обучение любви.

*

Двое встречаются взглядами — и только (скажем, кассирша и покупатель). При первом же удобном случае бросаются друг другу в объятия. Что говорит он? «У тебя есть время?» Что говорит она, что отвечает?

«Я скажу потом, что мне срочно нужно было уйти».

*

Прогресс заключается в оптимальном равновесии двух тождественных сил. Он сознает свои границы и подчиняет все высшему благу. А вовсе не в виде вертикальной стрелы, что предполагало бы его безграничность.

*

Человек, живущий полноценной жизнью, отказывается от многих предложений. Затем, по той же причине, он забывает о том, что кому-то отказал. Однако предложения эти делали люди, чью жизнь не назовешь полноценной, вследствие чего они и помнят обо всем. Тот первый вдруг обнаруживает, что окружен врагами, и немало этим удивлен. Точно так же почти все художники считали, что их преследуют. Вовсе нет, им так платили за их отказ и проучивали за несметное их богатство. Тут нет никакой несправедливости.

*

То, что наши левые коллаборационисты одобряют, о чем умалчивают либо считают неизбежным, все подряд:

1) Депортация десятков тысяч греческих детей.
2) Физическое уничтожение русского крестьянства.
3) Миллионы заключенных в лагерях.
4) Исчезновение людей по политическим мотивам.
5) Чуть ли не ежедневные политические казни за «железным занавесом».
6) Антисемитизм.
7) Глупость.
8) Жестокость.

Список далеко не полный. Но для меня и этого достаточно.

*

Октябрь 53 г. Ничего не скажешь, достойная профессия, при которой приходится покорно сносить оскорбления от какого-нибудь литературного или партийного холуя! В иные времена, о которых сейчас говорят как об упадочных, человек по крайней мере сохранял за собой право вызвать обидчика, не рискуя показаться смешным, и убить его. Глупость, разумеется, но благодаря ей оскорблять было не так уж безопасно.

*

Есть люди, чья религия состоит в том, что они прощают нанесенные обиды, но никогда их не забывают. Я же не настолько благородного покроя, чтобы простить обиду; но забываю ее всегда.

*

Те, кто вскормлен одновременно и Достоевским, и Толстым, кто одинаково хорошо понимает их обоих, не испытывая затруднений, суть неизменно натуры опасные как для самих себя, так и для окружающих.

*

На другой день после великих исторических кризисов чувствуешь себя таким же разбитым и в паршивом настроении, как и наутро с перепоя. Вот только нет такого аспирина, который бы помог от исторического похмелья.

*

Бывают мысли, которых не высказываешь вслух, но которые поднимают тебя высоко надо всем, в вольный свежий воздух.

*

Рассказывают, что Ницше, оставшись после разрыва с Лу в полнейшем одиночестве, по ночам поднимался на горы, которые окружают генуэзскую бухту, раскладывал огромные костры и смотрел, как они горят. Я часто думал об этих кострах, и они отбрасывали свой пляшущий отсвет на всю мою умственную жизнь. Если же мне случалось быть несправедливым по отношению к некоторых мыслям и некоторым людям, с коими я встречался на этом веку, то лишь из-за того, что я непроизвольно ставил их рядом с теми пылающими кострами, и они мгновенно превращались в пепел.

*

То, что он был вынужден скрывать определенную часть своей жизни, придавало ему вид честного человека.

*

Салакру в примечаниях к VI тому своих драматических произведений рассказывает такую историю: «Девочка лет десяти заявляет: «Когда я вырасту, вступлю в самую жестокую партию». И на вопрос «почему» разъясняет: «Если у власти будет

моя партия, мне нечего бояться, а если другая, я пострадаю меньше, потому что преследовать меня будет совсем не жестокая партия». Насчет девочки не очень верится. Но подобные рассуждения мне знакомы. Именно так рассуждает — про себя, но не без пользы для себя — французская интеллигенция образца 1954 г.

*

Письмо к М. «Не проклинайте Запад. Я сам проклинал его в то время, когда он был в полном блеске. Но сегодня, когда он падает под бременем своих ошибок и своей слишком длительной славы, я не стану добивать его... Не завидуйте тем, на Востоке, кто принес ум и сердце в жертву богам истории. У истории нет богов, а ум, озаренный светом сердца, и есть тот единственный Бог, которому испокон века, под тысячью личин, поклонялись в этом мире».

*

Часто бывает, что из вполне добропорядочного человека выходит трусоватый гражданин. В основе подлинной храбрости всегда некое нарушение общепринятых норм.

*

Наши экзистенциалисты считают, что каждый человек сам отвечает за то, каков он есть. В таком случае в устроенном ими мире будут одни лишь сварливые старики и не найдется места состраданию. А ведь они заявляют, что борются против социальной несправедливости. Значит, все-таки есть люди, которые не несут ответственности за то, какие они: нищий не виноват, что он нищий. А калека, а дурнушка, а человек застенчивый? Так что же, вновь сострадание?

*

Когда в разговорах обо мне меня называли «начальником» (под чьим началом работа, в целом, шла успешно), меня так и распирало от дурацкого тщеславия. Но в глубине души все эти годы я просто умирал со стыда.

*

Бывают минуты, когда внезапная искренность равносильна непростительной потере контроля над собой.

*

Термоядерная бомба: в пределе это всеобщая гибель, и под этим углом зрения она тождественна человеческому уделу. Надо только принять правила игры. Вновь перед нами главнейшая и древнейшая проблема. Подойдя к бесконечности, мы начинаем все сначала. Еще одно несовпадение: всеобщее уничтожение исходит не от Бога, а от людей. Люди наконец-то стали богоравными, но лишь в своей жестокости. Значит, снова придется начинать тот древний бунт, но на этот раз против человечества. Уже требуют подать сюда нового Люцифера, который покончит с могуществом людей.

*

...Если сказать «у него нос тыквой» — так не говорят; а «нос грушей» — то, что надо. Выходит, искусство — это правильно рассчитанное преувеличение.

*

Если бы я когда-то не уступил своей страсти, быть может, у меня остались бы силы на то, чтобы вмешаться в жизнь, что-то изменить в ней. Но я уступил, и вот я художник — и только.

*

Тетрадь № VIII

август 1954 — июль 1958

26 октября 1954 г.

Сила, противоположная реакции, это не революция, а творчество. Мир постоянно находится в состоянии реакции, и, значит, ему постоянно грозит революция. Прогресс же, если он в самом деле есть, обусловлен тем, что при любых порядках творцы неустанно отыскивают такие формы, которые одерживают верх над духом реакции и инерции, и поэтому отпадает надобность в революции. Когда творческие люди перестают появляться, революция неминуема.

*

Жимолость: ее запах для меня связан с Алжиром. Он плыл по улицам, которые поднимались круто вверх, к садам, где нас ждали девушки. Виноградники, молодость...

*

Белые розы по утрам пахнут росой и перцем.

*

1-е ноября.

Часто читаю, что я атеист, слышу, как говорят о моем атеизме. Мне же все эти слова ни о чем не говорят, они для меня бессмысленны. Я и в Бога не верую, и не атеист.

*

Павезе: «Дураки мы набитые. Правительство оставляет нам свободы с гулькин нос, так мы и то бабам скармливаем».

*

Рембрандт: слава до 36 лет, т. е. до 1642 г. Начиная с этого года неуклонный путь к одиночеству и бедности. Редкий и весьма показательный опыт по сравнению с банальной судьбой непризнанного художника. О подобном опыте еще не говорилось.

*

В странах с тоталитарным режимом литература погибает не столько потому, что ею руководят, сколько из-за того, что она отрезана от других литератур. Любой художник, от которого исходно скрывают реальность во всей ее полноте,— становится калекой.

*

24 ноября. 10 часов.

Сегодня утром приехал в Турин. Уже задолго начал радоваться от мысли, что вновь окажусь в Италии. Мы не виделись с ней с 1938 года, когда я пожил здесь немного. Потом война, сопротивление, «Комба» и все эти годы серьезных противоречий. Поездки, конечно, были, но ознакомительные, не для души. Мне все казалось, что в Италии меня ждет моя молодость, свежие силы, утраченный свет. Я хотел бежать из этого мира (из дома), который вот уже целый год по клеточке разрушает меня, хотел спастись раз и навсегда. Но вот вчера, когда поезд уже тронулся, я не ощутил прежней радости. Правда, я устал, и еще эта встреча с Гренье — мне-то хотелось поговорить с ним попросту, пообщаться, да вот не вышло,— а к тому же Х. не преминул на прощанье испортить настроение. Ночью спал урывками, но в промежутках, пока засыпал, мерещилось что-то очень хорошее.

В семь утра вдруг мысль: мы ведь уже в Италии. Вскакиваю, открываю штору: за окном снег и туман. Над всей Северной Италией — снег. Я сижу один в купе и хохочу, как полоумный. На улице не холодно. Тем не менее И. А., которая встречает меня на вокзале, уверяет, что она совсем закоченела. Своим милым неуверенным французским, своими спокойными грациозными движениями (чем-то напоминает маму), порозовевшая от холода, как цветок, пробившийся из-под снега, она понемногу возвращает мне Италию. Уже и до этого итальянцы, которые были в поезде, и вскоре те, что были в гостинице, согрели мое сердце. Народ, который я любил всегда и думая о котором я чувствую себя изгнанником среди вечно чем-то недовольных французов.

Из окна моего номера я гляжу, как над Турином идет и идет снег. Я все еще смеюсь над тем моим разочарованием. Но ко мне уже начинает возвращаться смелость.

*

Над Турином снег и туман. В египетской галерее ежатся от холода распеленутые мумии, которых когда-то вынули из песка. Люблю главные улицы, мощенные плиткой и такие просторные. Город, в котором возводили не только стены, но и пространства. Скоро я увижу и дом № 6 по улице Карло Альберто — тот самый, где работал Ницше и где у него окончательно помрачился рассудок. Я никогда не мог читать без слез рассказ Овербека о том, как он приехал сюда, вошел в комнату и увидел безумного Ницще, который что-то выкрикивал в бреду, в потом вдруг, рыдая, бросился в объятия Овербека. Стоя перед этим домом, я пробую думать

о нем, о том, кого я нежно любил и кем одновременно восхищался,— но напрасно. Я лучше ощущаю его присутствие, гуляя по улицам, и мне понятно, несмотря на низкое хмурое небо, почему и за что он любил этот город.

*

Рассказ. Заключенные в концлагере выбирают папу, причем из тех, на чью долю выпало больше всего страданий, и больше не признают того, римского, который живет себе поживает в роскошном Ватикане. Своего они называют *отцом,* хотя он едва ли не самый молодой, во всем его слушаются и идут ради него на смерть, а в конце и он тоже умирает, защищая своих чад (или, наоборот, он всячески избегает смерти и бережет себя, потому что обязан заботиться о других, с этого и начать).

*

25 ноября.

Серенький туманный денек. Брожу по Турину. На холме — головы коронованных мертвецов. В самом городе, там, где широкие проспекты, несутся в туман бронзовые кони. Турин — город застывших в стремительном движении коней, ведь именно здесь Ницше, будучи уже не в своем уме, остановил на всем скаку лошадь, которую отчаянно хлестал возница, и исступленно целовал ее морду. Ужин на вилле Камерана.

*

26 ноября.

Долго гулял по холмам в окрестностях Турина. Со всех сторон в густом тумане то появляются, то исчезают уходящие в небо снежные вершины Альп. В воздухе свежо, сыро, пахнет осенью. Город внизу скрыт туманом. Все где-то далеко, я устал и счастлив, сам не знаю почему. Вечером лекция.

*

27 ноября.

Утром выехал в Геную, вместе с И. А.; поразительная все-таки девчушка — чистая, прямая, отзывчивая и в то же время с характером, даже с какой-то сознательной самоотверженностью, что совсем уже необычно для такого юного существа. Она хочет «смеяться и жалеть». В качестве религии она выбрала веру в «отстраненную любовь». Отчетливое сходство с мамой, о которой я по-прежнему с грустью думаю. Сердце продолжает болеть от этой тяжелой, невероятной потери...

Над всем Пьемонтом и Лигурией — дождь и туман. Мы пересекаем горы, которые отгораживают лигурийское побережье, и повсюду лежит снег. Но вот позади четыре туннеля, и снег исчезает, зато по сбегающим к морю склонам хлещет дождь. Через два часа после приезда — лекция. Ужин во дворце Дориа. Старая маркиза, вся иссушенная, одни глаза и сердце. Выйдя, шагаю по умытой потоками воды Генуе, в которой так давно мечтал побывать. Сверкающий черный и белый мрамор, море огней на улицах, главные артерии — как везде.

*

С VI в. до 1800 г. население Европы никогда не превышало 180 млн. человек. С 1800 до 1914 оно выросло со 180 до 460 миллионов!

*

Гумбольдт. Чтобы человек внутренне обогащался и совершенствовался, необходимо многообразие ситуаций. Поддержание такого многообразия и есть главное устремление подлинного либерализма.

*

В сегодняшней России наблюдается торжество индивидуализма в его циничной форме.

*

Ортега-и-Гассет. История — вечная борьба паралитиков и эпилептиков.

*

Всякое общество держится на аристократии, ибо сутью аристократизма является требовательность к самому себе, а без такой требовательности любое общество гибнет.

*

28 ноября.

Долго гулял по Генуе. Город невероятно располагает к себе и очень похож на тот, что остался у меня в воспоминаниях. Памятники сверкают великолепием в тугом корсете улочек, в которых так и кишит жизнь. Красота здесь рождается прямо на глазах, сама житейская повседневность лучится ею. Какой-то человек на углу распевает тут же сочиненные куплеты на злобу дня. Этакая поющая газета.

Небольшой монастырь Сан-Маттео. Шквальный ветер словно приклеивает потоки дождя к широким листьям мушмулы. На какое-то мгновение чувствую, что я счастлив. Теперь бы и начать новую жизнь.

Вечером: отъезд в Милан под проливным дождем. Прибытие — тоже в дождь. То, что здесь так любил Стендаль, давным-давно умерло.

*

29 ноября.

«Тайная вечеря» да Винчи — начало итальянского декаданса, это очевидно. Монастырь Сан-Амброджо. Лекция. Тем же вечером сажусь в римский поезд, не в силах дольше выносить дурацкую светскую суету, возникающую сразу же после лекций. Не выдерживаю и получаса всех этих кривляний. Не спал ночь.

*

30.

Утром, над полями в окрестностях Рима, наконец-то солнце — неяркое, но настроенное решительно. Тут, невесть с чего, на глаза наворачиваются слезы. Рим. Очередной идиотски-роскошный отель — точь-в-точь такой, как его обитатели. Завтра же перееду. Н., разглядываем с ним вместе рождение Венеры. Прогулка вдоль виллы Боргезе и Пинчо: на небе все как будто прорисовано тончайшей кисточкой. Отсыпаюсь. Последняя лекция. Наконец-то свободен. Ужин с Н., Силоне и Карло Леви. Завтра уже будет все хорошо.

*

С 1-го по 3 декабря.

Бывают города — такие, как Флоренция, небольшие тосканские или испанские городки,— которые сами носят того, кто в них попадает, поддерживают на каждом шагу, даже походку делают более легкой. Другие наоборот, сразу наваливаются, подавляют — как Нью-Йорк,— так что приходится заново учиться ходить прямо и видеть.

Рим из тех, что давят, но груз этот не тяжелый, а просто ощутимый, его носишь на сердце как некое целое, состоящее из фонтанов, садов, куполов, и от всего этого чувствуешь и стеснение в груди, и какое-то непонятное счастье. Этот город, не такой уж и большой,— хотя здесь за каждым углом может вдруг открыться захватывающая дух перспектива,— это чуткое замкнутое пространство дышит, живет не само по себе, но вместе с тобой.

Переехал из гостиницы в пансион на виллу Боргезе. Тут у меня есть терраса, которая нависает над садами и с которой открывается такой вид, что у меня от него каждый раз щемит сердце. После стольких лет, проведенных в городе, где нет света, где по утрам вечно туман, где кругом одни стены, я просто наглядеться не могу на эту линию деревьев на фоне неба между Порта Пинчана и Тринита-деи-Монти, за которой уже Рим раскручивает свои купола и свой беспорядок.

Каждое утро, выходя на террасу, еще не совсем очнувшись от сна, я с удивлением слышу пение птиц, оно настигает меня в сонных глубинах и попадает точно в то самое место, откуда вдруг высвобождается какая-то таинственная радость. Вот уже два дня стоит прекрасная погода, и в чудном сиянии декабрьского солнца передо мной вырисовываются кипарисы и пинии с их [...]

Здесь мне становится жаль тех глупых и мрачных лет, что я прожил в Париже. Это было веление сердца, но я его больше не слушаюсь: для других проку от него никакого, а меня самого оно едва не погубило.

Позавчера на форуме, в его по-настоящему разрушенной части (возле Колизея), а не посреди той несуразной мешанины из вычурных колонн, расположившейся под Кампидольо,— затем на восхитительном Палатинском холме с его безлюдной тишиной, покоем, в окружении вечно рождающегося и вечно совершенного мира, ко мне начала возвращаться уверенность. Величественные картины прошлого — там, где природа смогла вобрать их в себя и приглушить их затаенный шум,— служат именно этому: укреплять силы, сердца, чтобы затем успешнее служить настоящему

и будущему. Особенно это чувствуется на Аппиевой дороге, куда я добрался уже почти к вечеру, но гуляя по которой я ощутил, что сердце мое переполнено настолько, что мне придется вот-вот проститься с жизнью. Однако я знал, что она наверняка продолжится, что есть во мне сила, влекущая вперед, и что даже та остановка еще послужит этому продвижению вперед. (Год, в течение которого я не работал, был не в состоянии работать, хотя сюжетов было с десяток, один лучше другого, это точно, но я ни к чему не смог подступиться. Год уже прошел с того времени, я до сих пор не свихнулся). Неплохо было бы пожить в этом монастыре, в комнате, где умер Тассо.

Римские площади. Пьяцца Навона. Сант-Иньяцио, другие. Все они желтые. Розоватые бассейны фонтанов под барочным извержением воды и камней. Когда все уже посмотрел или, по крайней мере, увидел все, что мог увидеть, какое счастье просто пройтись, не ставя себе цели что-то *узнать*.

Вчера ночью возле Сан-Пьетро-ди-Монторио Рим в блеске огней был похож на порт, суета и шум которого замирали у того берега тишины, где мы стояли.

*

Странно и невыносимо — знать наверняка, что красота в монументальном искусстве неизбежно предполагает рабство, что она тем не менее остается красотой, что красоту нельзя не желать и что невозможно желать рабства; рабство от этого не становится более приемлемым. Возможно, поэтому я превыше всего ставлю красоту пейзажа: она не оплачена никакой несправедливостью, и оттого на сердце ничто не давит.

*

3 декабря.

Великолепное утро на вилле Боргезе. Утреннее солнце, такое же, как в Алжире, просачивается сквозь тонкие иголки пинии, отделяя их одну от другой. Галерея тоже вся залита белесым светом, скульптуры Бернини меня очень развлекли: они очаровывают и ошеломляют, когда в них торжествует грация, как, например, в весьма сюрреалистической Дафнии (как направление в искусстве сюрреализм и был прежде всего контрнаступлением барокко), или же внушают отвращение, когда эта грация исчезает, как в наводящей тоску «Истине, явленной на Страшном Суде». Он еще живописец, притом проникновенный (портреты).

«Даная» Корреджо и в особенности «Венера, надевающая венок амуру» Тициана, написанная им в 90 лет и по-прежнему юная.

Во второй половине дня — картины Караваджо, но не те, что у Св. Людовика Французского, совершенно потрясающий контраст неистовости и немой плотности света. До Рембрандта. Особенно «Призвание Св. Матфея»: потрясающе. К. указал мне на постоянное присутствие темы молодости и зрелости. Моравиа уже рассказывал мне раньше о Караваджо: совершил несколько преступлений, бежал из Тосканы на корабле, там его ограбили и выбросили на пустынном берегу, где он умер, сойдя с ума (1573—1610). Моравиа рассказал мне тогда и истинную историю Ченчи, о которых он хочет написать пьесу. Беатриче похоронили под алтарем собора Св. Людовика Французского. И вот в Риме беспорядки, Французская революция. Какой-то француз художник, санкюлот, участвует в разграблении собора. Снимают могильные плиты. Находят скелет Беатриче, тут же лежит и череп, отдельно от тела. Художник берет череп и, поддавая его ногой, словно мяч, выходит на улицу. Таков последний эпизод ужасной истории Беатриче Ченчи.

Ближе к вечеру возвращаюсь в Джаниколо. Сан-Пьетро-ди-Монторио. Да, этот холм — любимое мое место в Риме. Высоко в нежном небе — стаи скворцов, легкие, как облачка, кружат во все стороны, носятся друг другу навстречу, рассеиваются по небу, затем вновь собираются, ныряют вниз, пролетают над самыми верхушками пиний и снова взмывают ввысь. Когда мы с Н. спускаемся с холма, мы обнаруживаем их уже на деревьях, в кронах платанов на Вьяле дель Ре, на той стороне Тибра, причем в таком огромном количестве, что каждое дерево гудит и стрекочет, так как птиц на нем больше, чем листьев. В наступающих сумерках оглушительный щебет перекрывает все шумы этого многолюдного квартала, смешиваясь с позвякиванием трамваев, и заставляет всех с улыбкой задирать кверху головы, дивясь на огромные эти рои из листьев и перьев.

Высокий римлянин, обслуживающий меня в пансионе: брюнет, черты лица мягкие и благородные, держится просто, но с достоинством. Новелла. Любовь с художником. Полнейшее благородство с его стороны.

Написать текст в стиле барокко о Риме.

*

4 декабря.

Утро. Дворец Барберини. «Нарцисс» Караваджо и особенно мадонна, которую приписывают П. делла Франческа, но которая по манере, более хрупкой, на мой взгляд, принадлежит скорее Синьорелли. В любом случае великолепно.

С Моравиа и Н., обед в Тиволи и вся вторая половина дня на вилле Адриана — замечательное место. Вообще весь день просто чудесный, небо ясное, сочное, изливающее из всех своих уголков равное количество света на изнурительные кипарисы и высоченные пинии вокруг виллы. Так же равномерно освещены и сохранившиеся большие куски стен с их облицовкой в виде сот, из этих цементных ульев свет стекает уже каким-то густым медом. Здесь для меня становится еще нагляднее отличие римского света от любого другого, например, от флорентийского — более размытого, серебристого, короче, более духовного. Римский свет, напротив, полнокровный, лоснящийся, тугой. Сразу представляешь себе тела, довольство дородной плоти, сытость и зажиточность. Задний план кажется еще сочнее. И среди развалин птицы поют. Верх совершенства, перед которым с радостным удивлением понимаешь, что все уже сказано.

Ужин, Пьовене. После трех десятков встреч и разговоров я понемногу уясняю для себя истинное положение дел здесь. Сталкиваются не мнения, а кучки заговорщиков. Либералов мало, нищета, которую используют, и уже появляется безразличие.

В сорок лет по поводу зла уже не вопиют, о нем все известно, и кто как считает нужным, тот так с ним и борется. Тогда появляется возможность, ни о чем не забывая, заняться творчеством.

Движение ввысь, вознесение на фреске «Страшный суд», справа от алтаря, передано у Микеланджело через подчеркнутую тяжеловесность мускулов, отчего возникает неотразимое впечатление легкости. Чем эти тела тяжелее, тем они легче. Вот это и есть искусство.

В апартаментах Борджиа Риторика на картине Пинтуриккио изображена со шпагой.

Сердце немного щемит, как подумаешь, что Юлий II приказал уничтожить фрески Пьеро делла Франческа (и других), чтобы его покой расписал Рафаэль; чем же заплачено за бесподобное «Освобождение Св. Петра»?

«Снятие с креста» Караваджо. Самого креста так и не видно; подлинно великий художник.

*

6 декабря.

День пасмурный. У меня температура. Сижу дома. Вечером виделся с Моравиа.

*

Роман.

Первый Человек заново проделывает тот же путь, и ему открывается его тайна: он не первый. Каждый человек — первый, и никто первым не является. Поэтому он бросается в ноги матери.

*

7 декабря.

Отъезд вместе с Никола и Франческо. Римская Кампания. Ф. так прекрасен, так от всего далек и в то же время прост и открыт. Деревня Цирцея. Прибыли в Неаполь. Обед в Поццуоли, в ресторане, как две капли воды похожем на Падовани. В Неаполе проливной дождь, от которого у меня поднялась температура. Вечером небо прояснилось.

*

8 декабря.

Проснулся с высокой температурой. Вчера вечером не смог закончить эти заметки. Однако довольно долго гуляли по «Барриос», за улицей Санта-Лючия. Точно бидонвиль на задах Елисейских полей. Через открытую дверь видно, например, как трое детей лежат в одной постели, иногда вместе с отцом, причем их нисколько не смущает то, что на них смотрят. Повсюду хлопает на ветру белье, придавая Неаполю постоянно праздничный вид, хотя на самом деле у людей просто не хватает белья и приходится каждый день стирать. Это знамена нищеты. Вечером Н. Ф. Садимся в какую-то мокрую повозку, пахнущую кожей и лошадиным пометом. У мужской дружбы всегда приятный вкус. Н. везет нас в квартал Порта

Капуана. Главная улица поднимается вверх. На каждом балконе стоит лампа с абажуром, из-за чего вся эта нищета имеет вид необыкновенно праздничный. Перед церковью — какая-то процессия. Развевающиеся знамена над небольшой толпой, которая топчется в грязной жиже из капустных листьев, оставшихся от утреннего рынка. Но главное — петарды. В честь каждого святого. Оглушительная пальба предшествует появлению Богоматери. В одном из окон какой-то сумасшедший с остановившимся взглядом механическим движением поджигает и швыряет в толпу одну за другой десятки петард, вокруг которых с визгом носятся дети, до тех пор, пока те не взорвутся. Гостиница для бедных. Весьма познавательно. Это Эскуриал нищеты...

*

8 декабря.

Целый день пролежал в постели, температура не спадает. Теперь уж, конечно, ни в какой Пестум я не попаду. Как только станет немного получше, возвращаюсь в Рим, оттуда в Париж и на этом все. Что-то все-таки есть между мной и греческими храмами. И каждый раз в последний момент что-то мешает мне до них добраться.

Впрочем, на этот раз ничего таинственного нет. Просто меня подкосил последний год. Наивно было надеяться, что я тут отдохну и, вернувшись, примусь за работу. Чем мчаться вдогонку за каким-то светом, который, как выясняется, я не в состоянии впитать, лучше было бы потратить год на укрепление здоровья и воли. Но для этого нужно хоть немного освободиться от всего, что меня угнетает. Такие вот постельно-больничные мысли у некоего путешественника, застрявшего где-то в Неаполе. Но уж какие есть. Хорошо хотя бы, что из постели мне видно море.

Художник, друг Ф., невежда редкостный, должен был изобразить для какой-то радиопрограммы «Страсти Св. Матфея» и выдал им святого в окружении красоток и игриво подмигивающих ангелов.

*

9 декабря.

Проснулся — температура спала. Но во всем теле ломота и голова гудит. Все же решил ехать (как обычно в таких случаях, извлекаю энергию из предположения чего-то худшего: посадили в тюрьму и т. п.). Выезжаем прекрасным солнечным утром. Сорренто (и изумительный сад Кокумеллы), Амальфи, немного похожий на декорацию, там обедаем, затем я сменяю за рулем уставшего Ф.; солнце садится, когда, проехав через какую-то промышленную зону, а затем через любопытную местность, напоминающую Лимбы (высокий тростник, тощие, ощипанные деревца), мы въезжаем в Пестум. Тут сердце умолкает.

(Позднее). Попробую воспроизвести наш приезд, ближе к вечеру. Встретила нас придорожная гостиница, невдалеке от развалин, а в ней — старая добрая комната на три кровати, неоглядные выбеленные стены; грубовато, зато чисто, это уж точно. Ко мне привязалась местная собака. Солнце уже село, когда мы, убедившись, что ворота закрыты, перелезли через городскую стену и очутились среди развалин. Свет шел от моря, оно плескалось совсем рядом и было еще голубым, хотя над холмами на берегу уже стемнело. Когда мы подошли к храму Посейдона, оттуда с невероятным карканьем и хлопаньем крыльев вылетели расположившиеся на ночлег вороны, которые принялись кружить вокруг храма, метаться в разные стороны, а затем улетели куда-то, словно бы предварительно поприветствовав чудесное появление прямо перед нами некоего существа, сделанного из камня, но вполне живого и незабываемого. И поздний час, и эти черные силуэты кружащих ворон, и доносящееся время от времени пение какой-то птицы, и это пространство между морем и холмами, и эти неостывшие чудеса,— благодаря всему этому, а еще от усталости и волнения я был на грани того, чтобы разрыдаться. А потом — один непроходящий восторг, в котором все умолкло.

Вечер, тишина, вороны, как птицы в Лурмарене, а еще кошка, мои слезы, музыка.

Утром, в Типазе, роса на руинах. Сама молодость и свежесть в сочетании с глубочайшей древностью. В этом и заключена моя вера, в этом и есть, по-моему, главный принцип искусства и жизни.

*

10 декабря.

Вчера же, пройдя через тростниковые заросли, городские стены и стадо буйволов, вышли к пляжу. Глухой и все более мощный шум моря. Ночной пляж, теплая вода, серое светлое небо. Когда шли назад, стало накрапывать, а шум моря

постепенно затихал. Буйволы попереминались немного и, опустив головы, застыли, как ночь. До чего же хорошо.

Засыпаю, перед тем наглядевшись в окно на очертания храмов в ночи. В комнате, которая так мне понравилась, с ее толстыми голыми стенами, жутко холодно. Мерз всю ночь. Утром открыл окна, над развалинами дождь. Через час, когда мы выходим из дома, небо уже голубое, все сияет свежестью и великолепием.

Не перестаю восхищаться этим храмом с его огромными колоннами, пористо-розовыми, пробково-золотистыми, его воздушной грузностью, его неотменимым присутствием. К воронам добавились другие птицы, но по-прежнему над храмом нависает их черное беспорядочно хлопающее покрывало и хриплое карканье. Свежий аромат низеньких гелиотропов, которыми укрыто все пространство вокруг храма.

Шумы: вода, собаки, мотороллер вдали.

Сердце сжимается, но это не грусть от созерцания развалин, а безнадежная любовь к тому, что вовек пребудет вечно юным, любовь к будущему.

Все еще среди развалин между холмами и морем. Трудно оторвать себя от этих мест, где впервые после Типазы я ощутил полное забвение себя самого.

*

10 декабря.

Продолжаю. Все-таки мы уезжаем, и спустя несколько часов Помпея. Интересно, конечно, но ничуть не трогает. В римлянах может быть утонченность, но цивилизованность — никогда. Это адвокаты и солдаты, которых, Бог знает почему, путают с греками. Они и есть первые и подлинные разрушители греческого духа. Побежденная Греция, к сожалению, не смогла победить их в свою очередь. Ибо они, заимствовав у великого этого искусства темы и формы, так и не сумели подняться выше холодных подражаний, которых лучше бы и вовсе не было, чтобы наивность и блеск греков явились бы нам без посредников. После храма Геры в Пестуме вся античность, усеивающая Рим и Италию, разлетается на куски, а вместе с ней и вся эта комедия ложного величия. Я всегда инстинктивно чувствовал это, и у меня ни разу не забилось сердце ни от одной латинской поэмы (даже от Вергилия — восхищался им, но не любил), хотя оно неизменно сжимается, стоит сверкнуть какому-нибудь трагическому или лирическому стансу, созданному в Греции.

На обратном пути из Помпеи, этого бережно хранимого Бухенвальда, привкус пепла на губах и растущая усталость. Ведем машину с Ф. по очереди, и к 21 ч. я в Риме, совершенно разбитый.

*

11 декабря.

Почти целый день в постели. Неспадающая температура ко всему отбивает охоту. Здоровье надо поправить, во что бы то ни стало. Мне нужна моя сила. Не хочу, чтобы жизнь казалась мне легкой, наоборот, мне хочется быть ей под стать, если уж она трудна. Если я собираюсь идти туда, куда иду, нужно править самому. Во вторник уеду.

*

13 декабря.

Снова Караваджо. Санта Мария дель Пополо. Да и грустно в Риме, на его слишком высоких, слишком туго натянутых улицах. Потому-то и площади здесь так прекрасны — они освобождают, барокко торжествует над римским стилем. Взять хотя бы эти парные изваяния римской эпохи, у которых есть одна общая черта — все точно аршин проглотили. Сгущающиеся сумерки заползают в пространства между дворцами и облизывают горделивые фасады. Вечером М. рассказывает мне о Бранкати, о его смерти. Ужинаю один.

*

14 декабря.

Экзистенциализм. Когда они обвиняют друг друга, можно быть уверенным, что делается это для уличения всех остальных. Судьи на покаянии.

Подлинная история предательства начинается с Луки, это он заставил умолкнуть отчаянный крик агонизирующего Христа.

*

Мораль. Не брать того, чего не желаешь (трудно).

Я всегда надеялся стать лучше, всегда собирался поступать соответственно. Другое дело, выполнил ли я это.

Был ли для меня брак лишь более утонченной разновидностью чувственного поведения? Был.

Если я распускаюсь, она вянет. Она может жить только отталкиваясь от моего увядания. То есть мы на противоположных психологических полюсах.

Противоположность подпольного человека: незлопамятный. Но катастрофа та же.

Мир сейчас так извивается, точно перерезанный пополам червяк, только потому, что потерял голову. Он ищет себе аристократов.

*

Пе́рвый Человек. С Симоной. Целый год он не может овладеть ею. И вот побег. Она рыдает, и с этого все начинается.

Все из-за моей врожденной неспособности быть просто обывателем, причем обывателем довольным. Едва в моей жизни появляются малейшие признаки стабильности, я прихожу в ужас.

В конечном счете мое основное превосходство над всякими проходимцами заключается в том, что во мне нет страха смерти. Я к ней испытываю отвращение, ненависть. Но умереть не боюсь.

Суть предательства левой интеллигенции. Раз их главная цель — чтобы СССР неуклонно следовал принципам революции, постепенно устраняя их нарушения, то какой смысл русскому правительству отказываться от своих тоталитарных методов, если ему заранее известно, что они так или иначе будут оправданы. На самом деле только открытая оппозиция западных левых способна заставить это правительство задуматься, если оно вообще сможет или захочет это сделать. Но дело опять же в том, что предательство нашей интеллигенции объясняется уже никак не ее глупостью, а кое-чем другим.

Почему не устоять перед удовольствием считается более предосудительным, чем не устоять перед болью? В последнем случае урон иногда бывает несравнимо бо́льшим.

*

Дон Жуан. Безбожник-моралист обретает веру. С этого момента все позволено, ибо есть некто, который способен простить то, что не прощают люди. Отсюда и безоглядное распутство, увенчанное живой верой.

Влечение к творчеству так сильно, что те, кто на него не способен, выбирают коммунизм, обеспечивающий им творчество целиком коллективное.

*

17 февраля.

Прилет в Алжир. С самолета, летевшего вдоль моря, город точно пригоршня сверкающих камешков, рассыпанных у моря. Сад отеля Сен-Жорж. О радушная ночь, вновь я вернулся к ней, и она, как и прежде, верна мне и рада меня принять.

*

18 февраля.

Как прекрасен утренний Алжир. Жасмин в саду Сен-Жоржа. Вдыхаю его запах и наполняюсь радостью, молодостью. Спускаюсь в город, все так свежо, полно воздуха. Чуть вдали поблескивает море. Счастье.

Смерть калеки Франсуа. Из клиники его выписали домой с раком языка. В агонии, один в своей конуре, захаркивает всю стену кровью и все стучит кулаком в эту толстую, в кровавых потеках стену, отделяющую его от соседей.

*

23 февраля.

Проснулся оттого, что солнце заливает мою постель. Весь день как хрустальный кубок, переполняемый непрерывно льющимся золотисто-голубым светом.

*

26 апреля.

Отъезд из Парижа. Грусть и опустошенность из-за Х. Альпы. А на море — острова, медленно выплывающие навстречу один за одним: Корсика, Сардиния с виднеющейся Эльбой и Калабрия. Цефалония и Итака почти не видны в сумерках. Затем берег Греции, но в ночи, мускулистая ладонь Пелопоннеса предстает темным и таинственным континентом, покрытым ковром подснежников со слабо мерцающими вдалеке снежными пиками. Несколько звезд на еще светлом небе и затем месяц. Афины.

*

27.

Когда встаю, ветер, облака и солнце. Кое-какие покупки. Мой очаровательный переводчик, 21 года, такой свежий — просто прелесть (я сказал вам, что буду возле гостиницы, но оказалось, что это не так, и я всю дорогу бежал, чтобы не опоздать, поэтому я так запыхался), он меня обезоружил, и я его усыновляю.

Акрополь. Ветер разогнал все облака, и с неба льется необычайно белый, пронзительный свет. При этом все утро не покидает странное чувство, что я здесь уже очень давно и вообще у себя дома, даже непохожесть языков не смущает. Это впечатление еще более усиливается, когда, поднимаясь на Акрополь, вдруг констатирую, что иду туда просто «по-соседски», без особых чувств.

Наверху — совсем другое дело. Эти храмы и эти лежащие на земле камни, до костей отшлифованные ветром, подставляют себя полуденному солнцу, которое обрушивается на них с высоты, отскакивает, разлетается вдребезги мириадами раскаленных добела клинков. Свет вонзается в глаза, заставляя их слезиться, стремительно и с болью проникает в глубь тела, опустошает его, выскабливая все внутри и одновременно распластывая, точно для прямого, физического насилия.

Постепенно привыкнув, глаза начинают открываться, и необузданная (да-да, именно это меня и поражает — необычная для классицизма дерзость) красота этого места заполняет собой все существо, до самых глубин вычищенное светом.

Тогда и темно-красные маки, каких я никогда раньше не видел и один из которых вырос отдельно от всех прямо на голом камне, и сереневые мальвы, и идеально вычерченные линии всего пространства до моря. И лицо второй Коры, и грациозная поза третьей, на Эрехтейоне...

Здесь постоянно борешься с мыслью о том, что совершенство было достигнуто уже тогда, и с тех пор мир лишь клонился к упадку. И мысль эта подавляет все прочие. Однако нужно продолжать бороться с ней, снова и снова. Мы хотим жить, а поверить в это равнозначно смерти.

Во второй половине дня — Химеттос, благородного лилового цвета. Пентелик. 19 ч. Лекция. Ужин в таверне, в одном из старых кварталов.

*

29.

Утро. Национальный музей. В нем собрана вся красота мира. Я знал заранее, что Коры заденут меня за живое, но они так меня всколыхнули, что я до сих пор под впечатлением. Мне разрешили спуститься в подземные хранилища, куда поместили некоторых из них, чтобы уберечь от разрушения во время войны. И там, в этих подвалах, куда их забросила история, покрытые пылью и соломой, они все так же улыбаются, и эта улыбка, через двадцать пять столетий, согревает, придает сил и мудрости. Надгробные стелы тоже, подавленная боль. На одной из черно-белых ваз безутешный покойник и не в состоянии смириться с тем, что больше не увидит солнца и моря. Выхожу как бы опьяненный и расстроенный этим совершенством.

Затем отправляюсь в Сунион. И в середине дня свет еще не совсем прозрачный, как будто слегка затуманенный, но пейзажи, хотя и не бескрайние, восхищают именно ширью, простором. По мере приближения к Суниону свет точно свежеет, молодеет. Но на мысу, у подножия храма, только ветер и больше ничего. Сам по себе храм оставляет меня равнодушным. Мрамор слишком белый, похожий больше на искусственный. Но мыс, на котором он воздвигнут, выступающий в море, как полуют корабля, с которого острова в открытом море кажутся эскадрой, а справа и слева, набегая на песок или разбиваясь об утесы, пенятся волны,— все это не поддается описанию. Ветер яростно свищет среди колонн, и создается впечатление, что ты в каком-то ожившем лесу. Смешав голубой воздух с морским, добавив к этому все буйство запахов, сдуваемых с холмов, покрытых мелкими, свеженькими цветочками, ветер яростно и неустанно треплет над нашими головами голубые полотнища, сотканные из воздуха и света. Если устроиться у подножия храма и укрыться от ветра, свет сразу же становится более прозрачным и даже похожим на застывший фонтан. Вдалеке качаются на волнах острова. Птиц не видно. Бурунчики на море до самого горизонта. Краткий миг блаженства.

Полное блаженство, если забыть об острове, что напротив,— Макронисос. Сейчас там никого, но когда-то на него ссылали людей, и мне рассказывали об этом страшные вещи.

Обедаем рыбой и сыром, тут же внизу, на небольшом пляже, глядя на большие рыбацкие суда в местном порту. Часам к трем цвета становятся все насыщеннее, острова принимают четкие очертания, на небе спокойствие. Вот она, высшая ясность света, самозабвение, когда *Все — хорошо*. Но надо ехать — лекция. С болью отрываю себя от этих мест, но уезжаю отсюда как бы не совсем.

Покидая мыс и выезжая на дорогу, еще раз видим Макронисос. На всем обратном пути самый изумительный свет, который я здесь видел, над оливковыми рощами, смоковницами с густо-зелеными листьями, над редкими кипарисами и эвкалиптами.

Лекция. За ужином удается узнать кое-что новое о депортации. Цифры вроде бы сходятся. Количество депортированных не превышает 800—900. Этим-то и нужно заняться.

*

Вложенное письмо.

Дорогой мой X.

Мое нынешнее молчание касается меня одного. Оно связано с обстоятельствами слишком личными, чтобы я мог объяснить их вам. Впрочем, вы еще всему этому порадуетесь, узнав, что если бы я собрался высказаться, я говорил бы не те слова, которых вы ждете, и не стремился бы доставить кому-то удовольствие. Да и в деле, вас интересующем, адвокатов набежало даже больше, чем нужно (должен, однако, признать, что в данном случае они смотрелись не очень убедительно). И все же ваше письмо побуждает меня сказать то, что я давно уже собирался вам сказать. А именно: в великом столкновении, расколовшем XX столетие, вы сделали выбор.

Ведь вам известно, например, что Восточная Германия уже давно перевооружается и что в ней действует, как на Западе, кое-кто из бывших нацистских генералов. СССР не раз признавал за Германией право иметь собственные вооруженные силы. На это вы не говорите ни слова. То есть если такое перевооружение проходит под контролем СССР, вы его допускаете, а если речь заходит о Западе, вы категорически против. И так во всем. Вы бы даже согласились (задайте себе этот вопрос) на установление во Франции народной демократии при поддержке Красной Армии (а я вам напомню, что сам я всегда защищал коммунистов от «атлантизма», проявлявшегося во внутренней политике). Всякий раз, когда мне говорили или писали об этих проблемах, мне было и без слов ясно, на чьей вы стороне, ваш праведный гнев неизменно направлялся лишь против преступлений наподобие, скажем, дела Розенбергов, но он уступал место какому-то двусмысленному молчанию, едва речь заходила о том, что коммунистический режим в Германии подавил очередное выступление рабочих (последнее событие особенно важно, оно мне представляется своего рода тестом — болезненным, но окончательно прояснившим позицию левой интеллигенции).

Итак, на мой взгляд, ваш выбор сделан. А раз он сделан, для вас было бы вполне естественным вступить в коммунистическую партию. Я вас за это никогда не упрекну. Я не питаю презрения к коммунистам, хотя считаю, что они совершили смертельную ошибку. Но у меня его в избытке по отношению к тем интеллигентам — на самом деле таковыми не являющимися,— которые режут нас без ножа своими душераздирающими метаниями, точно духовные пастыри в миру, а на поверку успокаивают свою совесть за счет простых рабочих.

Сделайте же наконец то, к чему вас так тянет, будьте последовательны. А там увидите. Вы заняты постоянным сравнением двух вещей, из которых со всей определенностью можете судить лишь об одной, о том обществе, в котором мы живем,— а другую не знаете совершенно. Коммунистическая партия не поможет вам лучше узнать страны народной демократии. Отнюдь нет. Но она поможет вам ближе познакомиться с коммунизмом, о котором вы знаете лишь понаслышке. Если в нем вы обретете мир, если он станет для вас неким жизненным правилом, тем лучше. В противном случае хорошо уже будет то, что вы глубже вникнете в суть проблемы.

Повторю вам еще раз мои соображения, дабы избежать любых неточностей. Перевооружение Германии должно быть осуждено в обоих случаях, иначе это обман и больше ничего. Я по-прежнему считаю, что ничем невозможно оправдать помощь Франко, или «банановую» политику в Южной Америке, или колониализм, а потому я не приемлю эту банановую политику в отношении Франции, уготовляемую для нее Россией при безусловной поддержке французской коммунистической партии. И вообще я принципиальный противник любых начинаний и методов социал-царизма, как я его называю.

Впрочем, все это вам хорошо известно. Просто книги мои значили для вас гораздо меньше, чем вы о том говорите. Более реальной была ваша ко мне симпатия. Но у того, кто уходит в религию, тоже были и друзья, и мать, и все же он оставляет их. В том-то и дело, что я не могу подобрать другого определения, кроме как церковь, для того ортодоксального учения, к которому вы приобщаетесь, вступая в компартию. Здесь не может быть сомнения, напротив, положа руку на сердце, вы непременно признаете, что искушение коммунизмом для интеллигента совершенно равнозначно искушению религиозной верой. Ничего постыдного тут нет

при условии, что вы отдаетесь этому сознательно и честно. Что касается меня, то можете по-прежнему рассчитывать на мою дружбу, пусть и не такую близкую. Если исполните задуманное, прошу лишь об одном: когда вам будут говорить, что объективно — так это называется — я являюсь презренным фашистом, нет, не опровергайте это, все равно не получится, но попробуйте хотя бы так не думать. От всего сердца желаю успехов и остаюсь верный вам...

*

Вечером — танцы в «Безумном Джонни». Изо всех сил пытаюсь вызвать в себе интерес к этим танцам, но слишком уж некрасивы танцоры, особенно женщины.

*

3 мая.

С утра работал. В час дня отъезд в Дельфы. Свет все такой же, но горы гораздо ниже, каменистые, без единого деревца. Здесь особенно ясно чувствуешь, что Греция — это прежде всего пространство, где линии могут быть изогнутыми или прямыми, но они всегда очень четкие. Земля дает очертания небу, но небо, в свою очередь, не стало бы таким без этих изгибов рельефа, которые, изящно замыкаясь, образуют свое собственное пространство. Поэтому каждая миля здесь — граница двух царств: земля является двойником неба. Въезжаем в ложбину, и тут единственное облачко, на глазах раздувшись, лопается и на несколько секунд устраивает бурю. Крупные градины расстреливают машину с оглушительным шумом. Минут через пять, покинув ложбину, мы вновь обретаем ясное небо и весело мчим дальше.

Дельфы. Величие исходит от этих мест, но что поражает прежде всего — могучая темно-зеленая река, несущая через всю широкую долину к морю какие-то мускулистые крупы. Такими сверху предстают оливковые рощи, в которых деревья растут почти вплотную, сливаясь в сплошную, уходящую к горизонту колышащуюся дорогу. Что касается развалин, то они все мокрые — гроза прошла и над Дельфами. Камни словно бы немного ожили среди ставших более яркими цветов и зазеленевшей травы. Высоко в небе пролетает и скрывается из виду черный орел. Дневное напряжение спадает, и с вершин утесов уже стекает нежное спокойствие, предвещая наступление вечера. Вернулся на стадион, откуда вышел счастливым.

Вечер. В бузуки четверо греков вежливо приглашают меня присоединиться к их танцу. Но движения слишком сложные. Было бы время, я бы с удовольствием разучил их. Из моего окна видно, как долина наполняется темнотой, до самого ожерелья огоньков вдоль берега. Луна, словно укутанная в легкую шаль, обсыпает горы и темные впадины тонко рассыпанным светом. Хорошо в этой тишине — как на просторе.

*

5 мая.

Работал. Обед с Тернером и полковником Брамблом (во всяком случае, этот человек очень на него похож). Церкви в византийском стиле. Павлины в небольшом монастыре. Св. Давид, Св. Георгий. Св. Дмитрий. Двенадцать апостолов (Св. София невыразительна). Вообще, надо признать, византийское искусство мало меня трогает. Но мне интересна эта эволюция от V в. к XII в., позволяющая восстановить цепочку между эллинистическим периодом и Кватроченто. Мозаики и фрески в церкви Двенадцати апостолов, например, уже далеки от иератической жесткости, характерной для этого типа искусства в первые века его существования. По ним можно предсказать появление Дуччо. Немного позднее (вечером) расспрашиваю одного специалиста, от которого узнаю, что после падения Константинополя византийские художники переехали в Италию.

Таким образом, влияние Востока понемногу ослабевало.

Вечер. Лекция. Трогательная девушка. Прием в университете. Ночью выхожу на балкон моей комнаты и отдыхаю, глядя на порт, каики, море вровень с набережной и вдыхая чудесный солоноватый запах ночи.

*

6, 7, 8 мая

Обед с Т. с видом на море, на вершине утеса. Блаженство. Т. играет мне из последних своих сочинений. Пора уезжать. Самолет. Спорады проплывают под нами посреди сверкающего моря. Ужин с Мерлье. Ближе к полуночи за мной заходит Д., и мы мчим в Пирей, где нас уже ждет г-н Альгадес со своей симпатичной одномачтовой яхтой. Веселый добродушный толстяк. Выходим из Пирея, пепельная луна озаряет море каким-то нереальным теплым светом. Какое счастье снова слышать, как бьется вода за кормой, видеть, как вспенивается рассекаемая форштев-

нем легкая волна. Однако очень скоро мы замечаем, что прямо из моря появляется туман, ярусами поднимается вверх, плотнеет и понемногу заволакивает горизонт. Становится промозгло. Альгадес уверяет, что такого он на архипелаге еще не видывал. Он меняет курс, чтобы обогнуть два небольших острова. Спускаюсь, чтобы лечь, но не могу заснуть до шести часов. Еще через пару часов просыпаюсь и выхожу на мостик. По-прежнему туман. Альгадес и его матрос простояли на вахте всю ночь, опасаясь наткнуться на скалы. Солнце постепенно поднимается, показывается вначале довольно робко, но потом пробивает туман и в конце концов рассеивает его. К одиннадцати часам мы мчимся (без парусов, так как ветра нет) по застывшей глади моря в искрящемся прозрачном свете. Воздух так чист, что, кажется, малейший шум долетит до самого горизонта. На мостике становится жарко, солнце печет все сильнее. Показывается первый остров. Из-за того, что курс был изменен, мы теперь проходим между Серифосом и Сифаносом. На горизонте виднеется Сирос и другие острова. На фоне неба их контуры четки, как на чертеже. На перевернутых обтекателях островов налипли деревушки, точно ракушки или солевые отложения, оставленные отступившим морем.

Островки желтеют, словно снопы пшеницы на синеве моря.

Мы проплываем среди этих далеких островов по сияющему морю, на котором появляется уже легкая рябь, долго идем вдоль Сироса, затем возникает Миконос, и к середине дня все яснее проступают его очертания, напоминающие голову змеи, повернутую в сторону Далоса, который пока что заслонен Ринией. Заход солнца застает нас почти в центре кольца островов, которые начинают изменять свои цвета. Тускло-золотой, цикламеновый, зеленовато-сиреневый, цвета становятся насыщеннее, но затем переходят в сплошной темно-синий на фоне еще мерцающего моря. Удивительное и необъятное успокоение воцаряется над водным простором. Наконец-то, вот оно, счастье, такое, что ком к горлу подступает. Хочется удержать, не упустить неизъяснимую эту радость, хотя я прекрасно знаю, что она исчезнет. Но уже столько дней она подспудно здесь, и сегодня так явственно сжимает мне сердце, что мне начинает казаться, что теперь я смогу вызывать ее, когда захочу.

Когда мы причаливаем к Миконосу, уже ночь. Церквей здесь не меньше, чем домов. Все белые. Бродим по узким улочкам мимо разноцветных лавок. По темным улицам растекается запах жимолости. В слабом свечении луны белеют террасы. Мы возвращаемся к яхте, и я ложусь такой счастливый, что не чувствую усталости.

С утра над белыми домами Миконоса просто божественный свет. Мы снимаемся с якоря и идем на Делос. Море прекрасно, сквозь прозрачную чистоту виднеются глубины. Приблизившись к Делосу, сразу же замечаем гроздья маков на склонах.

Делос. Изображения львов и быков повсюду на этом острове животных, потому что кроме них есть и змеи (...), и крупные ящерицы, у которых тело темное, а хвост и голова светло-зеленые, и дельфины на мозаиках. Мрамор, из которого сделаны львы, так изъеден, изрыт под воздействием воды и ветра, что стал похож на каменную соль, и вид у львов немного призрачный: кажется, что они растворятся от первого же дождя. Кроме того, этот остров львов и быков покрыт потемневшими хрупкими останками, и среди этих останков-руин попадаются замечательные в своей свежести находки (мозаика «Отдыхающий Дионис»).

Остров руин, но и цветов тоже (маки, вьюнки, левкои, астры). Остров изувеченных богов из музея (небольшой курос). В полдень поднялись на вершину Кинфа — вокруг заливы и бухты, свет, преобладание красного и белого; кольцо Киклад медленно вращается вокруг Делоса в своеобразном танце на месте, среди сияющего моря. Этот мирок островов, такой тесный и в то же время обширный, представляется мне сердцем всего мира. И в самой сердцевине этого сердца возвышается Делос и та вершина, на которой я стою и с которой оглядываю освещенное безукоризненно чистым светом идеальное кольцо — границу моего царства.

Спустя какое-то время возвращаюсь к шлюпке, на причале прелестная, очень просто одетая девушка-гречанка. Отчаливая, машу ей на прощанье рукой, и она сразу же с очаровательной улыбкой машет мне в ответ. Добравшись до яхты, раздеваюсь и ныряю в прозрачную зеленоватую воду. Вода ледяная, и, сделав несколько гребков, я вылезаю. Идем обратно на Миконос. Чувство бесконечной свободы рождается от этого плавания по морю взад-вперед, от одного острова к другому. Причем свобода эта ни в коей степени не становится ограниченней от того, что сам мир островов имеет пределы. Наоборот, в их кольце свобода ликует. Ведь свобода для меня не в том, чтобы прорвать это кольцо и взять курс на Суматру, а в самом бесконечном переплывании от пустынного острова к поросшему деревьями, от скалистого к цветущему.

Прибыв на Миконос, идем за покупками. Ночью город мне больше понравился. Вновь выходим в море уже довольно поздно. Смутная печаль, похожая на ту, какая бывает от любви, при виде Делоса и Кинфа, понемногу скрывающихся за

Ринией. Со мной такое впервые: покидаю землю, которую полюбил, с тяжелым чувством, будто больше ее не увижу в этой жизни. Сердце ноет. Вновь меняющиеся цвета моря и островов. (...) паруса, которые мягко похлопывают от слабого ветра. Не успеваем мы вкусить покоя, воспаряющего от моря к небу, с которого льются последние капли света, как из-за скалистого островка выплывает луна. Она быстро взмывает в небо, и вскоре вся водная гладь освещается. До полуночи смотрю я на эту луну, прислушиваюсь к парусам, внутренне следую биению волн о борт судна. Вольная жизнь моря, счастливые дни. Здесь все забывается и все начинается снова. Чудесные дни, проведенные на воде, в порхании средь островов с их цветами и колоннами, в этом неустанном свете,— я храню их привкус, они в моем сердце, второе в жизни откровение, второе рождение...

Утром — крепкий ветер, паруса хлопают, ход убыстряется, мы мчим к Пирею в шуме воды и скрипе снастей. Световой дождь, чьи крупные капли упруго скачут по поверхности утреннего моря. Я в отчаянии от того, что покидаю архипелаг, но даже само это отчаяние благотворно.

*

13 мая

Когда сейчас в Афинах перед отъездом я оглядываю эти двадцать дней поездок по Греции, они видятся мне одним неиссякаемым источником света, который я буду хранить в средоточии моей жизни. Греция теперь для меня — это один длинный сверкающий день, за который я успеваю побывать везде, и это также огромный остров, сплошь в красных цветах и искалеченных статуях богов, неутомимо дрейфующий в светоносном море под прозрачным небом. Удержать этот свет, вернуться, не поддаваться больше тьме дней...

*

14 мая

Отплываем на Эгину. Море спокойное. Голубое теплое небо. Небольшой порт. Каики. Восхождение на Афайю. Три храма, образующие висящий в воздухе голубой треугольник: Парфенон, Сунион, Афайя. Дремлю на ступенях храма в тени колонн. Долго купаемся в Айя Марина, в уютной теплой бухточке. Вечером в порту продают крупные, с дурманящим запахом лилии. Эгина — остров лилий. Возвращаемся. Солнце садится, прячется в облака, превращается сначала в золоченый веер, затем в огромное колесо, испускающее ослепительные лучи. И снова остаются дрейфовать острова, которые я покидаю теперь уже окончательно. Глупо, но хочется плакать.

Вечером Варигерес и китайский театр теней.

*

16 мая

Отъезд в Париж, с тяжелым сердцем.

*

Роман. Он смотрел на сверкающий в ослепительном солнце снаряд, в котором был спрятан мотор. И вновь в нем начала проклевываться, безотчетно журчать ручейком та таинственная радость. То была радость Делоса, круговое движение, красное и белое, вращающееся кольцо. В самолете, который потерял управление и теперь пикировал в сторону моря, над едва показавшимися всходами, жизнь начиналась сначала, неотличимая от близкой смерти.

*

6 ноября 56 г.

Перед лицом постоянной угрозы всеобщего уничтожения в войне — а, значит, отсутствия будущего — какие моральные принципы могут позволить нам жить только *в настоящем*? Честь и свобода.

*

Я из тех, кого Паскаль потрясает, но не переубеждает.
Паскаль — величайший из всех, и вчера, и сегодня.

*

Джорджоне — художник музыкантов. Его сюжеты, сама его живопись, текучая, без четких контуров, длящаяся, придающая женственность всему, особенно мужчинам. Сладострастие несовместимо с сухостью.

Венеция в августе, стаи туристов, слетающихся вместе с голубями на площадь

Св. Марка, поклевывают впечатления, обеспечивая себе приятный отпуск и круги под глазами.

*

Урбино. Все эти маленькие городки — наглухо закрытые, строгие, молчаливые, ревниво охраняющие свое совершенство. В окружении суровых стен равнодушные персонажи «Бичевания» вечно ждут, расположившись напротив ангелов и высокомерной мадонны кисти делла Франческа. Сан-Сеполькро. Христос воскрес. И вот, уже выйдя из гроба, он стоит рядом в позе несгибаемого борца. Еще несколько фресок Пьеро делла Франческа. Долина Сан-Сеполькро, куда хорошо возвращаться под конец жизни. Просторная, ровная, под спокойным небом, она словно хранит тайну.

Вновь возвращаюсь к морю, теплому и ласковому.

Вес Св. Креста. Мадонна дель Парто.

Под конец моей жизни я бы хотел вернуться на эту дорогу, что ведет в долину Сан-Сеполькро, не спеша пройти по ней, спуститься в долину, глядя по сторонам на хрупкие оливковые деревья и стройные кипарисы, подыскать себе дом с толстыми стенами, хранящими прохладу, а в нем — простую комнату с узким окном, в которое я мог бы смотреть на то, как в долину спускается вечер. Я хотел бы побывать еще раз в саду Прато в Ареццо и как-нибудь вечером пройти по крепостной стене, как это делали часовые, и смотреть на несравненный этот край, погружающийся в ночь. Я хотел бы... Всегда и везде во мне это желание остаться в одиночестве, непонятное мне самому, точно предвестие смерти, которой всегда сопутствует стремление сосредоточиться.

Вновь очутиться в Губбьо на пьяцца делла Синьориа и долго-долго смотреть на долину под дождем. Увидеть Ассизи без туристов и вслушаться на верхней площади Сан-Франческо в мелодию звезд. Увидеть Перуджу, только без трех домов, которые сейчас стоят вокруг, так, чтобы ранним утром от Порта дель Соле были видны хрупкие силуэты оливковых деревьев на холмах.

Но главное, главное — пройти пешком, с рюкзаком от Монте Сан-Савино до Сиенны, по дороге, идущей мимо оливковых рощ и виноградников по холмам голубоватого туфа, тянущимся до горизонта, увидеть, как в лучах заходящего солнца вдруг появится и сверкнет своими минаретами Сиенна, точно маленький изящный Константинополь, войти в нее ночью, одному, без гроша в кармане, заснуть возле какого-нибудь фонтана, чтобы потом первым оказаться на Кампо, по форме напоминающем ладонь, на которой уместилось все самое великое, что создано человеком после Греции.

Да, я хотел бы вновь увидеть покатую площадь в Ареццо, раковину Кампо и Сиенне, а еще — поесть арбуза, вгрызаясь в самую его сердцевину, на дышащих теплом улицах Вероны.

Когда я состарюсь, я хотел бы, чтобы мне было дано еще раз вернуться на эту дорогу в Сиенну, с которой не сравнится ничто на свете, и умереть там, где-нибудь в придорожной канаве, в окружении одной лишь доброты этих незнакомых мне итальянцев, которых я так люблю.

*

Роман. Портрет скорпиона. Он ненавидит ложь и любит тайны. Разрушительный элемент. Т. к. необходимая ложь сплачивает. А тяга к тайне приводит к непостоянству.

*

Роман. Кузнечики — Землетрясение. Атака одиноко стоящей фермы.— Атака Филипвиля — Нападение на школу — Тайфун над Немуром.

*

Чувственный, не знающий неудач, на гребне жизни, полной удовольствий и успехов, он бросает все и становится целомудренным, потому что случайно увидел лица двух пятнадцатилетних подростков, которые впервые прочли любовь в глазах друг у друга.

*

Алжир, 18 января.

Эта тоска, которая все мучила меня в Париже по поводу Алжира, сейчас исчезла. По крайней мере, здесь оказываешься в самой гуще борьбы, трудной для нас, потому что здешнее общественное мнение настроено против нас. Но я всегда обретал душевный покой именно в борьбе. Жизнь интеллигента до мозга костей,

будь он хоть семи пядей во лбу, если он участвует в общественной жизни только своими сочинениями,— это жизнь труса. И он компенсирует это свое бессилие все возрастающим словоблудием. Мысль чего-то стоит лишь тогда, когда связана с риском. И вообще лучше уж быть тут, чем в этой Франции, заранее сдавшейся и обозленной, в этой зловонной трясине. Да, сегодня я проснулся счастливым, впервые за много месяцев. Я вновь обрел звезду.

*

Несмотря на то, что сделала из меня Франция, неустанно трудившаяся надо мной в течение всей моей жизни, сам я пытался пробиться к тому, что оставила у меня в крови Испания и что, на мой взгляд, и является истинным.

*

В искусстве любая доктрина — это алиби, которым художник пытается оправдать собственную ограниченность.

*

Роман. Портрет В. Д. У нее крупные, сильные кисти рук и ступни танцовщицы, заканчивающие тонкое, изящное тело. В ее танце, которому она отдается без остатка, все — действие, страсть, неистовство.

Она ежегодно отмечает день, когда у нее появилась собственная машина. Каждый вечер кладет у постели только что купленное платье, чтобы утром проснуться и обрадоваться, увидев его.

Всегда выражается очень неопределенно. Дескать, ей нужно ехать сейчас в одно место, встретиться там с одним человеком, а потом отправиться еще в одно место по одному важному делу... и т. п. Двойная, тройная, скрытая от чужих глаз жизнь. (Ср. Х.: «У меня сегодня обед с одним...»). «У меня бывают нечистые мысли»,— говорит она. А о том, кто ее на такого рода мысли не вдохновляет: «Телятина тушеная».

Мужчины, с которыми у нее была связь, кажутся ей представителями другой расы. «Зулусы какие-то» — так она выражается. «Умному человеку нельзя не посочувствовать. Все-то он знает, все видит, а другие ничего не знают, не видят и от этого им легче жить». «Женщины, которые все ждут, что мужчина составит счастье их жизни». «Женщины малопривлекательные — всегда скряги в отношении единственного мужчины, который у них есть. Только красивые женщины способны быть щедрыми». «Юнцов не люблю — слишком уж глупы. Мужчине свойственно испытывать превосходство по отношению к женщине, которую он... Я согласна стерпеть такое от человека умного, но не от какого-нибудь желторотого оболтуса». О своем маленьком автомобиле: «Не могу без него обойтись и нежно люблю за ту свободу, которую он мне предоставляет». Держит в машине какие-то старые дрянные тапки со стоптанными задниками, которые надевает, садясь за руль и сняв элегантные туфли в стиле Людовика XV. Впрочем, она снимает туфли везде — в кино, в ресторане и т. д. Изящные ножки — танцовщица как-никак. «В моем квартале одни старушки немощные, так что я на виду».

Когда она останавливается в гостинице, за ней несут целые чемоданы пудры и всякой прочей косметики, а сама она, с распущенными длинными белокурыми волосами (...).

«Не буду скрывать: знаменитость должна быть сексуально привлекательной».

Если бы ей удалось выйти за какого-нибудь миллиардера — скажем, за Онассиса,— она обзавелась бы ванной из золота или платины, это больше пошло бы к ее волосам, и отмокала бы часами в своих любимых духах.

«Свою машину я люблю больше, чем родную мать». Ей ее эпоха нравится.

Обожает смеяться. Хочет все успеть, во всем добиться успеха, все испробовать из того, что сегодня принято считать удовольствиями. Лыжи, море, танцы, светская жизнь, рекламная шумиха. И сохраняет чистоту в этом безудержном желании. Причем именно благодаря ему. «Я могу за себя постоять». Ее словечки: «Она себе омлет вылила на голову» (речь идет о блондинке); «эта и в монастыре бордель устроит»; «там хоть столбом стой, хоть колесом ходи, все равно будут хлопать». Мне, когда я порезался и ходил с перевязанным пальцем: «Плотник нашелся...»

Что мне нравится в В., что делает ее привлекательной: будучи сама по себе совершенно несносной, она умеет подладиться к любому человеку, т. е. она без труда догадалась, что она может дать (развить это). В. и замужество. Если выйдет замуж, будет верной женой. Она просто не сможет поступить иначе с этим бедолагой, который... и т. п.

У нее белоснежные нижние юбки, как у молоденькой девушки; их видно всякий раз, когда она садится.

«Не пойму этих замужних женщин, которые не отлипают от своих мужей. Они получают деньги, отца для своих детей, безопасность, обеспеченную старость и вдобавок требуют еще и верности. Это уж слишком». Или еще: «В браке мужчина только проигрывает, а женщина только выигрывает» и т. д. и т. п.

*

Историю легко себе вообразить, но трудно увидеть воочию — особенно тем, кто испытал ее на собственной шкуре.

У угнетенного нет никакого настоящего долга, поскольку он не имеет прав. Права же достаются ему исключительно через бунт. Но едва завоевав права, он вместе с ними обретает и долг. Таким образом, бунт есть в равной степени источник права и отец долга. Отсюда берет свое начало аристократия. И из этого же состоит ее история. Тот, кто пренебрег своим долгом, теряет и право и становится угнетателем, даже выступая от имени угнетенных. Но в чем состоит этот долг.

*

12 июля. Палермо.

О мистрале. Дни стояли жаркие, и я все ждал, когда он подует. Однажды я поднялся на холм, покрытый ковром из пахучих трав и усеянный мириадами мельчайших улиток. И я увидел, как он накатывается с севера, срезая вершины близлежащих гор, истирая до самой основы полотно неба, раскачивая и продувая насквозь кроны деревьев, наполняя звериным воем поля, загоняя в дома людей и скотину,— одним словом он царил... И т. д. И бросившись наземь, с хрустом давя раковинки улиток, подставляя себя яростному водопаду солнца и ветра... праздник.

*

Основа моего поведения, которая с годами ничуть не меняется,— отказ исчезать из этого мира, из его радостей, удовольствий, страданий, и отказ этот сделал меня художником.

*

Похоже, что в этой стране ни одной партии не удается сколько-нибудь долго поддерживать патриотический подъем. Так, правые дали слабину в 1940-м, а левые 16 лет спустя.

*

Ночью — гроза. Наутро в воздухе легкость, все очертания ясны. Ковер из розовых вьюнков на затопленном сияющей свежестью холме. Аромат молодых кипарисов. Не отрицать больше ничего!

*

Когда твердо знаешь лишь одно: я хотел бы стать лучше.

*

Анекдот из России (скорее всего придуманный): Сталин предупредил Крупскую, что, если она не прекратит всякую критику, он назначит вдовой Ленина кого-нибудь другого.

*

Роман, в конце. Мама. О чем говорило ее молчание. О чем кричала ее немая улыбка. Мы воскреснем.

Ее терпеливость на аэродроме, посреди всего этого машинно-делового мира, молча ждать, как уже много тысячелетий во всем мире старые женщины ждут, пропуская всех вперед. И уже потом, маленькая, сухонькая, начинающая горбиться от старости, по огромному этому полю, к ревущим чудовищам, придерживая ладонью свои гладко зачесанные волосы...

*

Раз уж мы не сможем ничем искупить прожитые годы и совершенные поступки, не следует ли нам вести себя так, словно вокруг не меркнет яркий беспощадный свет?

*

Революция — это хорошо. А почему, собственно? Нужно иметь представление о том, какое именно общество вы собираетесь создать. Уничтожение частной собственности — это не цель. Это — средство.

*

Мир рушится, Восток в огне, вокруг нее самой мучаются и страдают люди, а она, М., где-то на краю Европы, в ветреный день бежит по пустынному пляжу, пытаясь обогнать скользящую по песку тень от облака. Вот оно, торжество жизни.

*

Август 1956.

С. Люблю это озабоченное, несчастное личико, иногда трагическое, всегда прекрасное; совсем маленькая, со слишком широкими для ее сложения запястьями и лодыжками и с лицом, будто бы освещенным неярким, мягким пламенем, в котором чистота, душа. И когда на сцене в ответ на оскорбительную реплику партнера она резко поворачивается и выходит, так ее жалко, и еще эти хрупкие плечи...

Впервые за долгое время такое чувство к женщине, причем никакого желания или намерения или хотя бы игры, а просто люблю ее вот такую, хотя и грустно.

*

Вложенное письмо.

Я стар или скоро состарюсь. Половину своей мужской жизни я провел, защищая одного человека ценой самопожертвования другого и, может быть, принося в жертву часть себя самого. Я не могу, ради нескольких лишних месяцев или лет жизни, отбросить то, что хранил в течение двенадцати лет. Я не могу, точно злой мальчик, ломающий одну за другой свои игрушки, разбить то, ради чего разбил чужую жизнь.

Мне всегда казалось, что любовь, да и вообще любое чувство, сводится к тому, что́ ты сам испытываешь в самый первый момент. Так вот к тебе это была любовь без претензии на обладание, я просто отдал свое сердце. Обладание пришло потом, но это нечто особое, уже не из области чувств...

Может быть, именно здесь между нами мог бы быть заключен некий брачный союз, о котором знали бы только мы двое, некий договор, пакт.

*

Время для меня перестало существовать; по десять часов в день, в полуподвальном зале театра, в скудном и одновременно жестком свете репетиционных ламп я завороженно следил, как на этом маленьком личике, словно подсвеченном еще и изнутри, но тускло, мучительно, сменяют друг друга все оттенки страдания, которые только может придать лицу человека жизнь. Мне были явлены самые глубины души, ее боль, гордость, беззащитность. И когда мы выходили вместе на улицу, то внезапный дождь или ласковое тепло сентябрьской ночи воспринимались такими, какими они были,— выражением вечного, незыблемого порядка, проявлением того, отчего бьется и страдает сердце любого мужчины и любой женщины, чем был полон я сам и что единственное давало мне силы жить в течение многих и многих недель.

*

К., персонаж романа. Молодая еврейка, была депортирована, в лагере служила у эсэсовцев (сестра Х.). *Возвращается.* Становится актрисой: 1) потому что обрела совершенно невероятную способность рассмешить любого; 2) потому что это хороший способ отгородиться от мира; 3) потому что это дает возможность прожить чужие жизни, и все они неизмеримо предпочтительнее того, что ей довелось увидеть и пережить. А на лице у нее: Бельзен и сострадание. Этому все и аплодируют.

Неловкая и рассеянная. Все у нее горит, пачкается, теряется...

После долгой работы ночью, одни в машине, пустынный Париж, и дождь, который все стучал, не переставая, по железной крыше. На ее лице, освещенном доходящим снаружи слабым светом уличного фонаря, мелькали тени от капелек и ручейков, стекающих по ветровому стеклу. Вокруг этих теней — они двое, укрывшиеся в своем железном домике, а вокруг них — улица, безмолвный город, континент, целый пылающий мир, и он все не может оторвать глаз от этого лица, по которому слезинками стекают тени.

«Наши ласковые, тайные, безлюдные каникулы». Он тряс свесившиеся через стену сада ветви деревьев, и капли воды падали дождем на запрокинутое лицо его подруги. Он пил одну за другой эти капли, которые блестели, словно возбужденные нежные глаза.

*

Промышленная цивилизация, уничтожая красоту природы, усеивая огромные пространства промышленными отходами, порождает и взращивает искусственные потребности. Она создает такие условия, что бедным быть просто нельзя, жить в бедности невыносимо.

*

Омоложенный Фауст становится Дон Жуаном. Старый, умудренный жизнью дух в юном теле. Взрывоопасная смесь.

То же. Сцена, в которой Дон Жуан присутствует на собственных похоронах. Дон Фауст или рыцарь Запада.

*

Аврора. Притча. Дон Жуан познания: ни у одного философа, ни у одного поэта нет подобного образа. В нем нет любви к вещам, которые ему открываются, но есть ум и сладострастие, он наслаждается соблазнами и увлекательной интригой познания, в котором он достигает самых высоких вершин и самых далеких звезд, пока не останется больше ничего, за чем он мог бы пуститься в погоню, кроме разве что того в познании, что причиняет боль,— так пьяница кончает тем, что пьет абсент или азотную кислоту. Поэтому-то он в конце концов жаждет ада. Это последнее знание, которое его соблазняет. Вполне вероятно, оно разочарует его, как и все, что он уже познал. Тогда ему придется застыть уже навечно в своем разочаровании. Самому стать каменным гостем, он возжелает последнего пира познания, но попировать ему так и не удастся. Ибо в целом мире вещей не сыщется и крошки, способной утолить его голод.

*

Прогрессивная интеллигенция. Этакие штопальщики-диалектики. Если у кого-то голова уже не выдерживает, они своими рассуждениями подштопывают то, что порвалось под действием фактов.

*

Есть в мире движущаяся параллельно силе смерти и принуждения еще одна огромная сила, несущая в себе уверенность, и имя ей — культура.

*

В Ветхом Завете Бог сам не говорит ничего, словом ему служат живые люди. В них-то я и любил всегда то, что есть в этом мире священного.

*

17 июля.

Корд. Тихо и прекрасно. Безлюдный огромный дом, вымерший город. Я начинаю ощущать, как во мне течет время, вновь обретаю дыхание. Вокруг Корда — идеальное кольцо холмов, на которое опирается небо — ласковое, просторное, одновременно облачное и ясное. Ночью с безумной быстротой на Западный холм опускается Венера, крупная, как персик. На мгновение задержавшись на гребне холма, она внезапно исчезает, точно жетон, провалившийся в щель. Тут же горохом рассыпаются звезды, а Млечный Путь на глазах густеет.

*

24 июля.

Прекрасная и обезлюдевшая деревня, в которой уже что ни дом — то развалина. В выпотрошенных и уже заросших крапивой сараях ржавеют старые колеса бороны, огромные пауки-старики расхаживают, точно привидения, по этому пустынному царству. Все хлынули в города, на заводы, к коллективным удовольствиям. А здесь, рядом с нами, медленно умирает старый уклад, и полуразрушенные дома об этом свидетельствуют. Сказал об этом М., и он мне ответил, что воспринимает это не как смерть, а как ожидание. Ожидание чего? — Мессии.

*

Буддизм — это атеизм, ставший религией. Возрождение *после* нигилизма. Кажется, единственный случай. И стоящий того, чтобы над ним поразмыслить, особенно нам, борющимся с нигилизмом.

*

Нельзя требовать у страдания доказательств его подлинности. Так дойдешь до того, что не сможешь посочувствовать почти никому.

*

Самоубийство старушки-англичанки. В дневнике уже много месяцев она каждый день записывала одно и то же: «Сегодня не приходил никто».

*

Русские старообрядцы считали, что на правом плече мы носим ангелочка, а на левом — чертика. Это может пригодиться для театральной постановки (Дон Фауст?): ангелок и чертик растут в зависимости от того, как их кормят. Обычно *или* один, *или* другой растет гораздо быстрее. Мой герой появляется с двумя маленькими персонажами *одного роста*. Их диалоги, между собой, героя с этими двумя, каждого из них с героем и т. д. и т. п.

*

8 августа 1957 г. Корд.

Перечел «Преступление и наказание» и впервые всерьез усомнился в своем призвании. Раздумываю, не бросить ли все, в самом деле. Всегда считал, что творчество — это диалог. Но с кем? С нашей литературной средой, где в почете злоба и посредственность, а главный прием в критике — оскорбление? С обществом? С народом, который нас не читает, с буржуазией, которая читает одни газеты да пару модных книжек в год? Творец сегодня может быть только одиноким пророком, которого точит, грызет потребность сотворить нечто грандиозное. Творец ли я? Мне казалось, что да. Точнее, казалось, что я способен стать им. Сейчас я в этом сомневаюсь, к тому же велик соблазн отказаться от этих постоянных усилий, которые делают меня несчастным, даже когда я счастлив, от этой никчемной аскезы, от этого слепого следования какому-то неведомому зову. Занимался бы себе театром, писал бы время от времени какие-нибудь пьесы, не особенно усердствуя, и скорее всего чувствовал бы себя свободным. Зачем соваться в уважаемое, честное искусство? Да разве я способен на то, о чем мечтаю? А если не способен, к чему тогда все эти мечтания? Освободиться от этого и заняться разной ерундой! На это шли и более великие, чем я.

*

Комментарий к «Падению», потому что они так и не поняли. Здесь выведены и высмеяны современный тип поведения и эти неуместные, даже неприличные для нерелигиозного человека угрызения по поводу своей греховности. Ср. Честертон: «В XIX веке (как и в XX) полным-полно христианских идей, которые при этом совершенно безумны».

О том, что Ленин никогда не имел дела с массами. Ср. Шпербер: левые силы и четвертый пункт Трумена.

То же. Фрейд совершенно не ощущал себя врачом по призванию, не испытывал никакого «сочувствия к страдавшему человечеству».

Немезида. Глубинное родство марксизма и христианства (развить). Поэтому я против них обоих.

*

Отказаться от блеска, когда вполне можешь блистать, нравиться и т. п. Нужно лишь чуть-чуть искусственности, но в конце концов она пожирает все. Изводить себя (столько, сколько нужно) — занятие в конечном счете более плодотворное, чем все время болтать и куда-то ходить невесть зачем.

Нужно: не просто кого-то любить, ничего он него не требуя, но любить того, кто ничего тебе не даст.

*

17 октября.

Нобелевская премия. Необычное чувство страшной усталости и тоски. В 20 лет, голый и босый, я знал, что такое настоящая слава. Мама.

*

19 октября.

В ужасе от того, что произошло и чего я не просил. А в довершение еще и подлые выпады, от которых сердце ноет. Ребате смеет рассуждать о моей тоске по расстрелам, хотя, когда его в свое время приговорили к смерти, я вместе с другими писателями—участниками Сопротивления просил о помиловании в том числе и для него. Тогда его помиловали, но сейчас он не хочет отплатить мне тем же. Вновь хочется уехать из этой страны. Но куда?

Само по себе творчество, само по себе искусство, его тонкости, каждый день

и этот разрыв... Презирать — это выше моих сил. В любом случае нужно подавить в себе тот ужас, необъяснимую панику, в которую меня повергло это неожиданное известие. Для этого...

«Они не любят меня. Разве это причина для того, чтобы не благословлять их?» Н.

Святые боятся совершаемых ими самими чудес. Они не могут любить ни их, ни себя в них.

*

В течение месяца три приступа удушья, усугубляемых панической клаустрофобией. Постоянная неуравновешенность.

Усилия, которые я неустанно прилагал, чтобы соединиться с другими на почве всеобщих ценностей, чтобы самому обрести равновесие, оказались не совсем тщетными. Сказанное или найденное мною может, даже должно пригодиться кому-то. Но не мне, увязшему сейчас в каком-то безумии.

*

5 марта.

Беседа с де Голлем. На мои слова о возможности беспорядков в случае потери Алжира и о ярости алжирских французов в самом Алжире: «Ярость французов? Мне 67 лет, и я ни разу не видел, чтобы француз убивал французов. Сам я не в счет».

Сравнивая Францию с остальным миром. «По большому счету,— сказал он,— лучше Франции ничего пока не придумано».

*

Те, кому действительно есть что сказать, никогда этого не высказывают.

*

Марсель.

В Алжир на «Керуане». Двойной слой водяной пыли. Первый образует вспенивающаяся, шипящая волна, которая разбивается о борт корабля — и тут же ее уносит яростный порыв ветра, бешено раскручивая и распыляя; второй, менее напитанный влагой, скорее похожий на тонкое кружево пара, поднимается легким туманом.

Чайки с крыльями, переломленными точно посередине, как двускатные крыши.

Солдаты на палубе, на ветру — кто забился в щель между снастями, кто накрутил на голову несколько платков, кто завернулся в бесформенную шинель. Те минуты, когда человек отбрасывает все показное и съеживается, чтобы что-то переждать,— это и есть история.

Неподвижно стою на верхней палубе, а чайки спускаются все ниже и продолжают терпеливый свой полет совсем рядом со мной. Упрямые чайки — глаза-бусинки, клюв, как нос у колдуньи, мышцы, не знающие усталости. Морской птице сесть некуда. Разве что в качающуюся впадину между волн или на крестовину мачты.

*

Власть неотделима от несправедливости. Хорошая власть — это здоровье и осторожное управление несправедливостью.

*

Никогда не говорить о своей работе.

*

Для меня: если бы любое из моих чувств было единственным, я подчинился бы ему. Мною всегда владеют одновременно два противоположных чувства.

*

Алжирцы. Их жизнь, в тепле и тесноте друзей, родных. В центре всего — тело, его достоинства — и глубокая печаль, когда оно дряхлеет. Жизнь без иных горизонтов, кроме ближайшего, очерчивающего круг того, что принадлежит плоти. Гордые своей мужественностью, способностями по части выпивки или еды, своей силой и храбростью. Уязвимые.

*

Поэтапное выздоровление.
Усыпить волю. Прочь разные «надо».
Полная деполитизация ума и затем гуманизация.

Описать клаустрофоба — и еще комедии.

Уладить отношения со смертью, т. е. принять ее.

Согласиться выставлять себя напоказ. Умирать от этой тоски не буду. Если умру, все кончено. Если нет, все равно не избежать опрометчивых поступков. Нужно всего лишь соглашаться с чужими мнениями. Смирение и приятие — чисто медицинские средства от тоски.

Мир движется к язычеству, но пока отвергает языческие ценности. Их нужно восстановить, сделать веру языческой, Христа сделать греком, и тогда придет равновесие.

Не от избытка ли ответственности все мои страдания?

Раз уж я и так завял, точно в пустыне, нужно довести это иссушение до конца, достичь предела и перейти его, так или иначе. Либо безумие, либо большее самообладание.

Метод: при первых признаках тоски ускорять дыхание, когда тревога — замедлять. *Сочетать* с этим немедленную приостановку *любых действий* и любых жестов.

К этому добавить: полное расслабление.

На будущее: перенос и накапливание энергетического заряда, содержащегося в любом хотении или желании, путем кратковременного пресечения этого хотения или желания.

В отношении общества признать, что я от него ничего не жду. Любое участие станет тогда просто даром, за который ничего не ожидаешь взамен. Хула и похвала станут тогда тем, чем они и являются: ничем. В конце концов упразднение стадного чувства.

Отбросить пережеванную мораль абстрактной справедливости.

По отношению к людям и вещам держаться реальности. Как можно чаще возвращаться к личному счастью. Не отказываться признавать то, что есть на самом деле, даже когда это противоречит желаемому. Напр.: Признать, что и сила тоже — и даже больше, чем все остальное,— убеждает. Правда стоит любых мучений. Только на ней зиждется радость, венчающая затраченные усилия.

Собрать энергию — в центре.

Признать необходимость врагов. Любить их за то, что они есть.

Избавляться от всех автоматизмов, начиная с самых ничтожных и кончая самыми высокими. Табак, еда, секс, защитные реакции (или нападающие — одно и то же) *и даже творчество*. Аскеза не по отношению к желанию, как таковому — оно должно быть неприкосновенно,— но к его удовлетворению.

*

Обрести огромную мощь, но не для того, чтобы подавлять, а чтобы отдавать.

*

3 мая.

Почти полностью восстановился, надеюсь, сил даже прибавилось. Лучше осознаю теперь то, что знал всегда: тот, кто влачит свою жизнь, сгибается под ее тяжестью, не сможет помочь никому, какие бы обязанности он на себя не взвалил. Тот же, кто владеет собой и владеет жизнью, в состоянии быть по-настоящему щедрым и отдавать без усилий. Ничего не ждать и не требовать, лишь бы хватало сил, чтобы отдавать и работать.

Дневник.

*

Конец апреля 1958 г. Канны.

Целыми днями в море. Поплавки сетей (бутылка со свинцовым язычком внутри, укрепленная на пробковом кружке) вечерами позвякивают, словно колокольчики пасущегося в море стада. Ночью яхты в порту поскрипывают и постанывают мачтами и сходнями.

Свет — свет — и тревога отступает, хотя не исчезает совсем, а только глухо ворчит, сморенная жарой и солнцем.

*

30 апреля.

Мартен дю Гар. Ницца. Он еле ползает со своим ревматизмом в суставах. 77 лет. «Над смертью ничто не властно, даже то, что я создал. Ничто, ничто...» «Да, это хорошо, когда не чувствуешь себя одиноким» (и на глазах у него появляются слезы). Уславливаемся встретиться в июле *в Тертре*. «Если доживу». А сердце-то прежнее — до всего ему есть дело.

*

29 мая 1958 г.

Моя профессия заключается в том, чтобы писать книги и сражаться, когда возникает угроза свободе дорогих мне людей и моего народа. Вот и все.

*

Художник — как Дельфийское божество: «Ни открывает, ни скрывает — лишь означает».

*

Музиль: великий замысел, предполагающий применение всевозможных приемов искусства, которыми он владеет. Отсюда и такое произведение — трогательное благодаря тому, что оно не удалось, а не благодаря своему содержанию. Бесконечный авторский монолог, в котором местами видны проблески гения, но который в целом не озарен светом искусства.

Музиль. «У каждого из нас есть вторая натура, для которой любой наш поступок оправдан».

«Обыкновенная жизнь есть составляющая всех наших возможных преступлений».

*

Мама. Если бы в нас было достаточно любви к тем, кого мы любим, мы помешали бы им умереть.

*

9 июня 1958 г.

Вновь еду в Грецию.

*

10 июня.

Акрополь. Впечатление менее сильное, чем в первый раз. Я был не один и был занят своими спутниками. К тому же встреча с О., с которым я чувствую себя неуютно. Акрополь не то место, где можно лгать. В два часа самолет на Родос. Под крылом проплывают острова, скалы, торчащие из моря. Распыление континента. В Родосе приземляемся посреди полей низкой цветущей пшеницы, которую ветер гонит волнами к голубому морю. Роскошный, цветущий остров. Ночная прогулка среди франкской архитектуры. Встреча с пр. о. Брюкбергом, который сообщает мне о своем намерении порвать с Церковью, но сохранить сан. Я по-прежнему очень к нему расположен. На яхте с Мишелем Г. и Прассиносом с женой.

*

11 июня.

Рано утром, один, покидаю яхту и иду купаться на пляж Родоса, в двадцати минутах отсюда. Вода светлая, ласковая. Солнце еще невысоко, греет, но не печет. Восхитительные мгновения, которые возвращают меня на двадцать лет назад, в те утра в Мадраге, когда я, еще сонный, вылезал из палатки и, пройдя несколько шагов, нырял в дремлющую утреннюю воду. Увы, плавать я разучился. Точнее, не могу дышать так, как раньше. Но все равно не хочется уходить с этого пляжа, где я только что был счастлив.

В десять часов покидаем Родос, огибаем северную оконечность острова и подходим к Линдосу.

*

12 ч. 30 мин. Линдос.

Небольшой естественный порт, почти закрытый. Превосходная бухта. Бросаем якорь в абсолютно прозрачную воду. Вверх по склону от бухты поднимаются белые деревенские домики, а на вершине виден Акрополь, обнесенный средневековыми укреплениями, из-за которых возвышаются стволы дорических колонн.

До пляжа добираемся на ялике. Купаемся. Ближе к вечеру поднимаемся на Акрополь. Наверху широкая лестница с высокими ступенями выводит нас на просторную площадь под открытым небом, с одной стороны которой внизу виден порт, где мы причалили, а с другой, под отвесной скалой — еще одна бухточка, куда некогда пристал Св. Павел. Над этим простором, опьяненным светом, кружат ласточки, бесстрашно ныряют в пустоту и вновь взмывают ввысь с пронзительными криками. Вечер спускается на эти колонны, на обе бухты, на острые скалы, виднеющиеся там и тут до самого горизонта, и на огромное море перед нами. Чувство бессилия оттого, что невозможно передать, выразить эту красоту. И одновременно

признательность перед тем совершенством, которое царит в мире. Возвращаемся в город; ослики, вечером прогулка на лодке... Ночью истошный ослиный рев.

*

12 июня.

В шесть часов выхожу на палубу, чтобы в последний раз взглянуть на полюбившуюся мне бухту. На борту все, кроме капитана, спят. В утренней легкости запах Линдоса — запах пены, тепла, ослов, трав, дыма...

*

Родес, 8 ч. 30 мин.

Идем в ущелье поглядеть на только что вылетевших бабочек. Они повсюду — в траве, на деревьях, в пещерах, вылетают прямо из-под ног тихими дрожащими облачками. Страшное пекло. Возвращаемся. В 15 часов выходим в Мармарис, турецкий порт. Прибываем в 17 часов. Бросаем якорь посреди довольно красивой, но темноватой бухты. Городок издалека кажется весьма невзрачным. Приближаясь, видим, что на причале понемногу сгрудилось все население. На борт поднимаются турецкие полицейские и таможенники. Бесконечные выяснения всякого рода формальностей. Затем сходим на берег, где нас сразу же окружает и повсюду сопровождает толпа ребятишек в лохмотьях. Нищета, запустение на улицах и в домах производят тягостное впечатление, так что мы очень скоро поворачиваем назад. После ужина вновь визит местных властей. Опять выяснения (они не говорят ни на одном из западных языков), бесконечные. Забрали паспорта и пр. Отдадут завтра в шесть утра. Капитан протестует... В самом деле, заберем их завтра утром.

*

13 июня.

Отплываем в семь. В одиннадцать — остров Сими. Восхитительная греческая чистота. Даже самые бедные дома свежевыбелены известью, украшены и т. д. Просто невероятно и возмутительно, что турки смогли так надолго поработить этот народ. Купание. Клаустрофобия все-таки усиливается. Но в целом состояние превосходное. В 15 часов отправляемся в Кос.

*

1 июля.

Афины. Жара. Пыль. Дурацкая гостиница. Усталость. 2. Дельфины. Вновь этот необыкновенный подъем по световым площадкам. Иду по своим собственным следам. Запах вечера на маленьком стадионе. 3. Обратно в Коринф. До Патраса. Один, купание, вода... Патрас — большой пыльный Оран, неприглядный и полный жизни. 4. Олимпия. 5. Микены, Аргос. Треск цикад на высоких пиниях Олимпии. Греция — это эхо далеко разносящихся криков в долинах, на склонах островов.

*

Павезе. Насчет того, что единственная причина, по которой мы постоянно думаем о себе, заключается в том, что наедине с собой мы проводим гораздо больше времени, чем с другими. О том, что гений означает плодовитость. Быть значит выражать, выражать без конца. О том, что праздность замедляет часы и убыстряет годы, а деятельность ускоряет часы, но замедляет годы. О том, что все развратники сентиментальны, ибо для них отношения мужчины и женщины есть предмет чувства, а не долга.

Там же. «Когда женщина выходит замуж, она начинает принадлежать другому, а раз она принадлежит другому, ей больше нечего ему сказать».

Там же. Старуха Ментина, в течение семидесяти лет не знавшая, что творится в истории. Прожила «статичную, неподвижную жизнь». Павезе бросает в дрожь от этого. А если бы старая Ментина была его матерью?

*

Жить ради правды и только в ней. Прежде всего правда о самом себе. Перестать подлаживаться под других. Правда того, что есть. Не пытаться перехитрить реальность. Признать свою непохожесть на других и свое бессилие. Жить согласно этой непохожести до полного бессилия. В центре — творчество вместе с огромными силами наконец-то признанного бытия.

*

Десять дней прошло после возвращения из Греции. Сила и радость тепла. Сон души и сердца. В глубине спит монастырь, мощные голые стены, в которых молчание созерцает.

*

Ложь усыпляет или погружает в мечты, иллюзия тоже. Правда — это единственная настоящая сила, бодрая, неистощимая. Вот если бы мы могли жить только правдой и ради нее одной: юная и неумирающая энергия внутри нас. Человек правды не стареет. Еще усилие — и он никогда не умрет.

Тетрадь № IX

июль 1958 — декабрь 1959

22. 24.

Ничего. Записывал на свой магнитофон «Падение». Письмо от Ми («бурные чистые ночи»). Вчера вечером бродил по Сен-Жермен-де-Пре — с чего бы это? Разговорился с каким-то пьяным художником. «Чем занимаетесь — не сижу в тюрьме — это плохо — да нет, хорошо» — и, проглотив пяток крутых яиц, залил все это коньяком. В отчаянии оттого, что не могу работать. К счастью, «Живаго» и нежность, которую я испытываю к его автору. Отказался от поездки на юг.

*

25.

Ничего. Записывал «Падение». «Одержимые», раздача. Н.Р.Ф. Обедал с А. К. Ее любовь с М., который со своей женой уже ничего не может и доверился ей. «Ему лучше»,— говорит она. «В каком смысле?» — «Ну, это еще не мужчина, но уже и не старик». Эта зона тени над людскими жизнями. Над каждой жизнью. Проводил ее, гуляю по Сен-Жермен-де-Пре. Чего-то жду, как дурак. Эх! Вернулись бы силы для работы, тогда наконец появился бы какой-то просвет. Шпана всякая слоняется, одеты под Джеймса Дина, в очень обтягивающих джинсах, и без конца что-то чешут и поправляют спереди. Вспомнились загорелые обнаженные тела, далеко в прошлом, в моей навсегда потерянной стране. Они были чисты.

*

30 июля.

Весь день один. Работал, но ничего путного. Вечером у Набокова Нарайан, которого прочат в преемники Ганди и который объясняет нам суть движения сельского социализма в Индии (Виноба). Восхищаюсь, но от меня это далеко. По дороге домой иду мимо Орленка и замечаю на освещенной афише фамилию А. М. Захожу. Я был с ней счастлив, одиннадцать лет назад. Сейчас она замужем за стюардом Эр-Франс, ездит с ним на рыбалку. А вечером поет.

*

1 августа.

Обедал в Шамбурси у Барро. На небе мрак и непрекращающаяся гроза. Б. вновь предлагает ассоциацию Данченко-Станиславского. Во второй половине дня Колин Уилсон — Совсем еще ребенок, видимо, Европа наконец-то завоевала Англию. «Теперь нужно, чтобы все поверили в (...)» — я и сам это знаю. Это и есть моя вера, и она никогда меня не покидала. Но я пошел туда, куда повело меня мое время, через все беды, ни от чего не увиливая, чтобы иметь возможность, после страданий и отрицаний, нечто утверждать,— во всяком случае, тогда я воспринимал это так. А сейчас нужно как-то преобразиться, и это-то меня и мучает, не дает приступить к задуманной книге. Вероятно, запечатлевание в образах состояния некой подавленности отняло у людей моего поколения слишком много сил, и мы уже не сумеем выразить нашу истинную веру. Мы лишь подготовим почву для молодых ребят, идущих за нами. Говорю об этом К. У., и «если у меня ничего не получится, то по крайней мере из меня выйдет интересный свидетель. Если получится, выйдет творец».

Вечером ужинаю с А. Е. и Карин, потом вдвоем с Карин гуляем по Монмартру. Ночные сады, влажные в лунном свете, но темные. Карин 18 лет. Родители развелись. Она зачем-то уехала из Швеции и зарабатывает на жизнь, работая манекенщицей в каком-то второразрядном доме моделей, где ее эксплуатируют, как хотят. Тридцать пять тысяч франков при семичасовом рабочем дне без выходных. Меня переполняет восхищение перед смелостью этих девушек середины века. Несколько мальчишеская красота, сама же медлительная, словно отсутствующая. Возвращаемся. Ее естественность. Без лишних слов подставляет свои свежие губы, затем поворачивается и уходит, строгая и сдержанная.

*

2 августа.

Заставляю себя вести этот дневник, с трудом преодолевая отвращение. Теперь я понял, почему этим не занимался: жизнь для меня — тайна. Как по отношению к другим (это-то и угнетало Х. больше всего), так и в моих собственных глазах: я не имею права выдавать эту тайну в словах. Для меня богатство жизни именно в том, что она такая глухая, несформулированная. А заставляю я себя только из панической боязни потерять память. Хотя сам не уверен, что смогу продолжать. Впрочем, я и так забываю упомянуть об очень многом. И ничего не пишу о том, что думаю. Например, мои долгие размышления о К.

*

15, 16, 17 августа.

На самом деле весь этот период, начиная со 2-го числа, совершенно пустой. Нельзя писать, не обретя вновь волю к жизни, энергию. Здоровье души, даже если то, что собираешься сказать, трагично. Даже именно поэтому. Закончил «Живаго» с чувством нежности к автору. Неверно, что он продолжает традиции русского искусства XIX века. Эта книга сделана так умело, но она современна по фактуре, с этими постоянными моментальными снимками. Однако в ней есть и нечто большее: воссоздана русская душа, раздавленная сорокалетним господством лозунгов и бесчеловечной жестокости. «Живаго» — книга о любви. Причем о любви, распространяющейся на всех людей сразу. Доктор любит свою жену, и Лару, и еще многих других, и Россию. И погибает он потому, что оказывается оторван от жены, от Лары, от России и от всего остального.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

И смелость Пастернака в том, что он вновь открыл подлинный источник творчества и спокойно занимался тем, что не давало ему пересохнуть среди воцарившейся там пустыни.

Что еще? Два вечера, 16-го и 15-го, записывал на магнитофон вместе с М. стихи Шара. Ночью 15-го гулял по набережным Сены. Под Новым мостом молодые люди, иностранцы (скандинавы): двое что-то импровизируют на трубе и банджо, а остальные улеглись парочками прямо на мостовой и слушают. Немного дальше, на лавочке возле моста Искусств растянулся какой-то араб, пристроив за головой радиоприемник, из которого доносятся арабские мелодии. Мост Ситэ, под теплым туманным небом августовского Парижа.

Для «Юлии». Гибер — прогрессист из дворян. Мора — представитель старого мира.

*

23 августа.

Умер Роже Мартен дю Гар. Я отложил поездку к нему в Беллем, и вот вдруг... Вспоминаю, как еще в мае, в Ницце, беседовал с этим нежно мной любимым человеком, который говорил мне о своем одиночестве, о смерти. Как он переносил свое грузное, переломленное пополам тело от стола к креслу. А его прекрасные глаза... Его можно было любить, уважать. Печально.

*

2 сентября, в Иль-сюр-Сорг. Наилучший принцип ведения дневника — время от времени резюмировать (два раза в неделю) самые важные события за истекший период. В субботу 30-го виделся с Жамуа и договорился с ней о том, что в Монпарнасе пока не будут ставить «Одержимых». Несмотря на ее внешнюю недоброжелательность и сухой тон, она по-своему привлекательна, в строгих сандалиях, с маленькой изящной ножкой, вытянутым телом и прекрасными грустными глазами. Тут же позвонил Барро и подтвердил мое согласие. Лег рано. Полночи ворочался, заснул часа в три, проснулся в пять, плотно поел и выехал, несмотря на дождь. Одиннадцать часов подряд за рулем, время от времени грызя какое-нибудь печенье; дождь не прекращался до самого Дрома, затем начал постепенно ослабевать, а примерно на уровне Ньона навстречу хлынул запах лаванды, разбудив и взбодрив меня. Знакомый пейзаж влил в меня свежие силы, и приехал я уже совершенно счастливый. В Иль, в убогом номере гостиницы «Сен-Мартен», ко мне вдруг возвращается чувство покоя и защищенности.

В Иль встретил Рене Шара. С грустью узнал, что его выгнали из его дома и парка (где будет теперь отвратительный квартал дешевой массовой застройки)

и загнали в комнатушку гостиницы «Сен-Мартен». В Камфу, у Матье; г-жа Матье, постаревшая Клитемнестра в очках. Сам же г-н Матье из крепкого управляющего превратился в немощного старика, который даже за собой следить не в состоянии. Занимаюсь домом, который они снимают,— немного унылый, но в общем приятный, с видом на Люберон. Х. он точно не понравится. Но я все же стараюсь сделать его более удобным. 3-го долго гуляем с Р. Ш. по дороге вдоль склонов Люберона. Пронзительный свет, бескрайние просторы приводят меня в восторг. Вновь захотелось поселиться здесь, найти себе подходящий домик и наконец осесть. В то же время много думаю о Ми, о ее жизни здесь. Г-жа Матье поведала за ужином: «Даже ласточки и те поглупели. Нет бы брать ил для своих гнезд, так они таскают землю с полей. И вот, впервые за много лет, из тридцати гнезд в Камфу двенадцать упали и разбились вместе с отложенными яйцами». Шар на это: «А мы-то надеялись, что хотя бы птицы нашу честь спасут».

4-го ждал телеграммы или звонка от Х., чтобы узнать, когда она с детьми приедет. И тут г-жа Матье сообщает мне, что она пробудет здесь всего дня четыре, а семья ее останется в Париже. Приступ отчужденности и злости — и на нее, и на себя: ну сколько же можно ждать проявления нежности там, где ее нет и быть не может.

*

30 сентября.

Целый месяц провел в Воклюзе в поисках дома. Купил тот, что в Лурмарене. Затем выехал в Сен-Жан, чтобы повидаться с Ми. Сотни километров сквозь аромат собираемого винограда, в состоянии радостного возбуждения. Затем пенящееся море, сколько хватает глаз. И наслаждение, как эти волны, вечно бегущие, сдирающие старую кожу. Утром выехал в Париж, к розовым зарослям вереска в сосновых лесах. Снова двенадцать часов за рулем и — Париж.

*

Я. де Беер. «Адюльтер должен был бы караться смертью. Тогда настоящих любовников можно было бы по пальцам перечесть». Отнюдь нет. Слабоволие часто пересиливает страх.

*

7 ноября, 45 лет. День в одиночестве и размышлениях, как я того и хотел. Немедленно начать это отстранение от всего и закончить его к пятидесяти. Ну а сегодня правлю я.

*

Демократия — это не власть большинства, а защита меньшинства.

*

20 марта.

Маму оперировали. В субботу утром получил телеграмму от Л. В три часа ночи самолет. В семь утра в Алжире. Каждый раз, когда выхожу на поле Мезон-Бланш, впечатление одно и то же: моя земля. Хотя небо серое, воздух нежный и волглый. Устраиваюсь в клинике, на алжирских высотах.

В безукоризненно-чистой комнате с голыми белыми стенами: ничего. Платочек и маленькая расческа. На простыне: ее узловатые руки. За окном — чудесный вид на город, спускающийся к заливу. Но от света и пространства ей хуже. Она просит, чтобы в комнате был полумрак.

*

Она рассказывает о Филиппе, с которым только что обручилась Поль: «Отец у него хороший, мать хорошая, сестра хорошая. Все люди старых правил. Он сам уже отслужил. С Поль они на нефтяном встретились и (соединяет вместе указательные пальцы). Ну, и ладно».

«После, когда я уже дома буду, доктор мне даст, чтобы поправиться». Говорит «спасибо господину доктору». Делать ничего не может: ни читать — не умеет, ни шить или вышивать — из-за пальцев, ни слушать что-нибудь — потому что глухая. А время еле течет, тяжело, медленно...

Губы у нее исчезли. Однако нос все такой же прямой, тонкий — лоб высокий, исполненный благородства, глаза черные и блестящие, в гладких костяных аркадах.

Она страдает молча. *Послушно*. Вокруг нее сидит вся семья, в тягостном молчании, и ждет... Ее брат Жозеф, который младше ее на несколько лет, тоже ждет — но так, как если бы он ждал, когда придет его черед,— покорный и грустный.

*

Эта странная привычка ставить перед своей фамилией слово «вдова», которое сопровождало ее всю жизнь и сейчас тоже фигурирует на каждом больничном документе.

Она прожила в незнании всего — кроме разве что страдания и терпения,— и даже теперь так же кротко продолжает впитывать физические страдания...

Существа, не тронутые ни газетами, ни радио, никакой другой техникой. Они были такими и сто лет назад, и любой социальный контекст бессилен их изменить.

Из меня как будто кровь течет. Нет? А, ну тогда ладно.

Запах шприцев. Холм, покрытый акантами, кипарисами, пиниями, пальмами, апельсиновыми деревьями, мушмулой и глициниями.

*

Ницше. «Никакое страдание не могло и не сможет вынудить меня лжесвидетельствовать против жизни,— *такой, какой я ее знаю*».

Там же. «Шесть разных одиночеств он познал,
но море одиноким не считал он...»

Об использовании славы в качестве прикрытия, за которым «наше собственное «я» незаметно продолжало бы играть само с собой и смеяться само над собой».

«Завоевать свободу и духовную радость, чтобы иметь возможность творить, не поддаваясь угрозам чуждых идеалов».

Чувство истории есть не что иное, как замаскированная теология.

Н., человек с севера, оказавшись под небом Неаполя, однажды вечером: «И ведь можно было умереть, так этого и не повидав!»

Письмо Гасту от 20 августа 1880 г., в котором он жалеет, что был дружен с Вагнером: «... какой мне толк от споров с ним, если почти во всем прав я?»

Человеку большой души, если у него нет своего Бога, нужны друзья.

Люди, обладающие «волей большой дальности».

Оказывается, Ницше открыл для себя Достоевского в 87-м году по «Запискам из подполья» и сравнил это с открытием «Красного и черного».

*

28 апреля.

Приехал в Лурмарен. Пасмурно. В саду чудные розы, отяжелевшие от дождя, как налитые соком плоды. Цветут розмарины. Гуляю, и даже в сумерках видны фиолетовые пятна ирисов. Разбитость.

*

Много лет я жил, следуя всеобщей морали. Заставлял себя жить, как все, походить на всех. Произносил слова, служившие объединению, даже когда чувствовал свою отделенность. И вот, как завершение всего этого, катастрофа. Сейчас я брожу среди обломков, неприкаянный, разорванный пополам, одинокий и смирившийся с одиночеством, равно как и с моей непохожестью на других и с моими физическими недостатками. И мне надлежит восстановить истину — после того, как вся жизнь прожита во лжи.

*

Хоть театр выручает. Пародия все-таки лучше, чем ложь: она не так далека от истины, которая в ней обыгрывается.

*

Май.

Снова приступил к работе. Продвинулся с первой частью «Первого человека». Благодарен этим краям, их уединенности, красоте.

*

13 мая.

Поездка в Арль. Как ослепительно молода М. Троицын день, поездка в Тулон.

*

Телевизионная передача. Не могу «показаться», не вызвав всемозможных толков. Запомнить, зарубить на носу, что я должен отказаться от всей этой ненужной полемики. Хвалить то, что того заслуживает. Об остальном молчать. Если я не буду придерживаться этого правила, то при нынешнем положении вещей придется расплачиваться и быть наказанным. См. «поэтапное выздоровление». Оберегать ту драгоценную внутреннюю дрожь, ту глубокую тишину, которую я обрел здесь. Остальное не существует.

*

Последние пять лет я критикую себя самого, то, во что верил, чем жил. Поэтому те, кто разделял те же идеи, считают, что я имею в виду их, и очень на меня обижаются; но нет, я веду войну сам с собой и либо уничтожу себя, либо смогу возродиться, вот и все.

*

Марсельские любовники. Дивное небо, сочное море, крикливый пестрый город всякий раз возобновляют их желание, так что первоначальное изнеможение сменяется непрерывным хмельным угаром... Целомудренны лишь уютные бухты, белые камни да жгучее от света море.

*

Гренье. Маронитские отшельники («Одно лето в Ливане»). В том же гроте можно увидеть почти стертое, к сожалению, очень и очень древнее маленькое распятие, на котором Христос изображен с согнутыми в коленях ногами и в шароварах, какие носят здешние жители, а рядом надпись на странджело (что такое это странджело?). Написать какой-нибудь странноватый рассказ и назвать «Странджело».

*

21 мая.

Красное время года. Вишни и маки.

*

Полдень, где-то в поле, за Лурмареном тарахтит трактор... Как мотор у яхты тогда, в палящий зной, в хиосском порту, а я сидел в прохладной кабине и ждал; да, совсем как сегодня, переполняемый какой-то беспредметной любовью.

Люблю маленьких ящерок, таких же сухих, как камни, по которым они снуют. Они похожи на меня: кожа да кости.

*

Париж, июнь 59 г.

Я отказывался от моральных оценок. Мораль ведет к абстрагированию и несправедливости. Она порождает фанатизм и ослепление. Праведник должен рубить головы всем остальным. А что говорить о том, кто провозглашает высокие моральные принципы, но сам по ним не живет. Головы летят, а он издает закон за законом — для всех, кроме себя. Мораль разрубает пополам, разделяет, истощает. Нужно держаться от нее подальше, согласиться быть судимым, но не судить, со всем соглашаться, превыше всего ставить единство — а пока страдать и агонизировать.

*

Венеция, 6—13 июля.

Тяжелая мертвящая жара огромной губкой придавила лагуну, отрезала пути к отступлению со стороны моста Свободы и, зависнув над городом, закупорила все проходы по улицам и каналам, заполнила собой малейшие свободные пространства между стоящими почти впритык домами. И никакой потайной дверки, никакой лазейки — духовка-западня, в которой пришлось жить, беспрерывно мечась из угла в угол. Так же метались и дивизии гнусных туристов — ошалевших, злых, потных, одетых в какие-то немыслимые тряпки, точно взбесившаяся труппа огромного цирка, вырвавшаяся на свободу и пришедшая от нее в ужас. Весь город опьянел от жары. В утренней «Гадзеттино» можно было прочесть о венецианцах, которые по-настоящему спятили и были препровождены в соответствующие заведения. Кошки — все как одна — лежали бездыханные. Иногда какая-то из них, встав на лапы, отваживалась сделать несколько шагов по раскаленному кампо, но тут же, настигнутая злым упругим ударом солнца, падала замертво. Крысы, не успев выползти из канала, через две-три секунды шлепались обратно в стоячую жижу. Одуряющий палящий зной словно задумал обглодать все в этом одряхлевшем городе — облупившуюся роскошь дворцов, раскаленные камни площадей, покрытые плесенью фундаменты домов и сваи причалов. Спасаясь от него, Венеция все глубже погружалась в воды лагуны.

Что касается нас, то мы бродили без всякой цели, не в состоянии даже думать о еде, питаясь исключительно кофе и мороженым — не в состоянии спать и потеряв способность отличать закат от рассвета. Утро заставало нас то на пляже в Лидо, в теплой и липкой утренней воде, то в какой-нибудь гондоле, блуждающей по

лабиринту каналов, в то время как небо становилось уже розовато-серым, а черепица вдруг начинала отливать бирюзой. Город был пуст, но жара не спадала ни в этот час, ни вечером, оставаясь такой же испепеляющей и влажной; и Венеция не могла вырваться из ее душных объятий, да и мы тоже, потеряв всякую надежду сбежать хоть куда-нибудь, думали лишь о том, сумеем ли мы сделать еще вдох, потом еще один, сумеем ли пережить это странное время, лишенные точек отсчета, лишенные отдыха, с натянутыми, как струна, нервами благодаря кофе и бессонным ночам, выброшенные из жизни. Существа не только вне времени, но и ни для кого и ни для чего на свете не желанные и годные лишь для участия в этом неподвижном лупоглазом сумасшествии, среди застывшего пожара, который час за часом без устали пожирал Венецию, и казалось, что вот-вот этот город, еще мгновение назад сиявший красками и красотой, рассыплется в золу, которая даже никуда не разлетится ввиду полного отсутствия ветра. И мы все ждали, повиснув друг на друге, не в силах расстаться, и сгорали, хоть и с какой-то непонятной неисчезающей радостью, на этом костре красоты.

*

Роман. Любовь вспыхивает в них обоих страстью и тела и души. День за днем в постоянном трепете, в полнейшем слиянии, когда тело обретает ту же чувствительность и восприимчивость, что и душа. Повсюду вместе на парусник, и каждый раз возрождающееся желание. Для него это борьба со смертью, с самим собой, с забвением, с нею, со своей собственной слабой натурой, и в конце концов он сдается, вверяет себя в ее руки. После нее у него никого не будет, он это твердо знает, он дает клятву в том единственном месте, где обнаруживает хотя бы остатки чего-то священного,— в храме Св. Юлиана Бедного, в котором дух Греции соединяется с Христом. Он решает сдержать свою клятву во что бы то ни стало, ибо за этим существом, которое он прижимает к себе, зияет пустота, и его объятия становятся все крепче, он как бы сливается с ней, хочет войти в нее, чтобы там укрыться, навсегда обрести убежище в этой наконец-то найденной любви, там, где сами чувства излучают сияние, пройдя очищение то ли в пламени негасимого костра, то ли в ликующих потоках воды,— и увенчиваются не знающей пределов благодарностью. Это час, когда исчезают границы тел, когда беззащитно-нагой в своей чистейшей искренности дар оборачивается рождением нового единого существа.

*

Перед тем как приступить к роману, я на несколько лет полностью отключусь от всего. Попытка ежедневной концентрации, умственной аскезы, полнейшей собранности.

*

Как поживает ваша дражайшая матушка? К прискорбию моему, я потерял ее три месяца назад. О, я не знал этой подробности.

*

Левые, среди которых числюсь и я,— против своей и их воли.

*

Наибольшие усилия требовались от меня тогда, когда приходилось наступать на горло собственной песне ради того, чтобы заставлять себя служить более высоким целям. И лишь иногда, очень редко, мне это удавалось.

*

Продлить молодость зрелому мужчине может только счастливая любовь. Любая другая мгновенно превращает его в старика.

*

Физическая любовь всегда была для меня неотделима от чувства безгрешности и радости. Любовь для меня не слезы, но восторг.

*

Море, божество.

Целые века над древней землей шел непрекращающийся дождь.

Жизнь зародилась именно в море, и в течение всего того невообразимого количества времени, пока жизнь двигалась от первой клетки к первому живому организму, континент, не имевший ни растительной, ни животной жизни, представ-

лял собой каменистое пространство, наполненное только шумом дождя да воем ветра среди необъятного безмолвия, в котором не было никакого движения, кроме проносящихся теней огромных облаков да сбегающих к океану водных потоков.

Миллиарды лет прошли, прежде чем первое живое существо выбралось из моря на сушу. Оно было похоже на скорпиона. Это было триста пятьдесят миллионов лет назад.

Летучие рыбы устраивают гнезда и мечут икру на огромных глубинах.

В Саргассовом море — два миллиона тонн водорослей.

Большая красная медуза, поначалу размером не более наперстка, к весне становится величиной с зонтик. Передвигается она толчками, сзади у нее болтаются длинные щупальца, а под ее колоколом укрываются стайки мальков трески, всюду ее сопровождая. Рыба, которая поднимается выше своей глубины обитания, пройдя невидимую границу, разрывается и выбрасывается на поверхность.

Глубоководные кальмары, в отличие от живущих близко к поверхности и выбрасывающих чернильное пятно, выпускают светящееся облако. Они прячутся за светом.

В конечном счете суша представляет собой всего лишь тонкую пленку на поверхности моря. Придет время, когда всем завладеет океан.

Бывает, что волна от мыса Горн доходит до нас, пройдя расстояние в десять тысяч километров. Сильнейший прилив 358 г. начался в Восточном Средиземноморье, затопив все острова и низкие берега и оставив после себя корабли, застрявшие на зубцах крепостных стен Александрии.

*

Я — писатель. И за меня все делает перо — думает, вспоминает, открывает.

*

Я не могу долго жить с людьми. Мне требуется хоть немного одиночества, частица вечности.

*

Что мне еще помогало — справедливость — трудное согласие с собой и с другими, это творчество. Но с тех пор, как я нахожусь в кризисе, в состоянии бессилия, мне стало понятнее это мерзкое желание обладать, которое вечно выводило меня из себя в других людях. Раз уж не завоевывают тебя, можно самому кого-нибудь завоевать. И действительно, в тот момент я нуждался в этом чувстве обладания, которое мне подарила ты. Вот почему я страдал не просто оттого, что ты ушла, но еще больше оттого, что ты солгала мне. Но и это пройдет. Еще немного пессимизма, и даже несчастье засияет: я снова стану самим собой.

*

Да, мне было больно от того, что я от тебя узнал. Но ты не должна грустить потому, что грущу я. Я знаю, что не прав, но хотя и не могу помешать сердцу быть несправедливым, я все же рано или поздно сумею призвать его к объективности. Мне будет не очень трудно преодолеть несправедливость, угнездившуюся в моем сердце. Я знаю, что сделал все, чтобы отдалить тебя от себя. Со мной так было всю жизнь: едва кто-то привязывался ко мне, я делал все возможное, чтобы отпугнуть его. Разумеется, свою роль сыграли и моя нынешная неспособность брать на себя обязательства, моя привычка быть всегда с разными людьми, мой пессимистический взгляд на самого себя. Но, вероятно, я все же не был настолько легкомысленным, как я сейчас об этом говорю. Первая моя любовь, которой я был верен, ускользнула от меня, предпочтя наркотики и предательство. Видимо, многое идет именно оттуда, в том числе и эта суетная боязнь новых страданий, хотя их-то на мою долю всегда хватало. Однако с тех пор я неизменно ускользал от всех и, наверное, втайне желал, чтобы и от меня все ускользали. Даже X.: чего только я не сделал, чтобы охладить ее чувства ко мне. Не думаю, однако, чтобы она в самом деле от меня ускользнула, чтобы она, пусть мимолетно, отдалась другому. Я в этом не уверен (...). Но если бы она так не поступила, то речь здесь шла бы исключительно о проявлении ее внутренней готовности к героизму, а вовсе не о такой любви, которая стремится все отдать, ничего не прося взамен. Так что мною сделано решительно все, чтобы ты ускользнула от меня. И чем сильнее завораживал тот сентябрь, тем более укреплялось во мне желание вырваться из-под действия этих чар. В общем, можно сказать, ты от меня ускользнула. Таков закон этого мира, пусть иногда ужасный. На предательство отвечают предательством, на притворство в любви — бегством от любви. К тому же в данном случае я, требовавший

и испытавший на себе все виды свободы, признаю справедливым и правильным, чтобы и ты в свою очередь испытала одну-две ее разновидности. Причем список далеко не закончен.

Что же касается того, чем мне можно помочь, я постараюсь помочь себе сам, и не только водворением в мое сердце холодной объективности, но и той симпатией, той нежностью, которую я к тебе испытываю. Иногда я виню себя за неспособность любить. Вероятно, так оно и есть, но все же я оказался способен выбрать нескольких людей и честно отдать им лучшее, что во мне было,— как бы они ни повели себя потом.

Критика

ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА
ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОРУЭЛЛ

Диалог

Перед вами — последний большой диалог с замечательным публицистом и ученым Викторией Атомовной Чаликовой, ушедшей из жизни совсем недавно.

Чаликова, как никто, на мой взгляд, долго и серьезно занималась антиутопиями. Занималась как политолог, как исследователь и вдумчивый аналитик и этим необычным жанром литературы, и явлениями жизни, которые за ними стояли. Во всяком случае, мне, рискнувшему в начале восьмидесятых писать диссертацию об антиутопиях, это имя — Виктория Чаликова — говорило уже тогда о многом. Ее статьи, комментарии, исследования немало сделали для приближения к нам писателей — ныне известных самому широкому кругу людей: Олдос Хаксли, Артур Кёстлер, Джордж Оруэлл, Энтони Бёрджесс.

Именно об этом — об антиутопиях и о тех, кто их создавал на Западе, и состоялся год назад наш разговор с В. А. Чаликовой. Профессиональный интерес свел нас у микрофонов Центрального радио. Остались на пленке ее страстный голос, ее торопливая речь, словно она боялась не успеть высказать все передуманное и известное только ей, ее тонкие наблюдения, которые, как мне кажется, не только не утеряли своего значения, но даже стали еще актуальнее в наше безумное, а подчас просто антиутопическое время.

Беседа публикуется с любезного разрешения дочери покойной — Галины Чаликовой.

В. НЕДОШИВИН

В. Недошивин. Мне кажется, что говорить об Оруэлле сегодня чрезвычайно сложно. Согласитесь, этот английский писатель для нас и сейчас — фигура неизвестная, как и сорок лет назад. Он неизвестен, сколь это ни парадоксально, хотя уже опубликован на русском его главный труд — роман «1984».

Специалисты знают, например, что в Англии в 50-х годах многие как бы обиделись на писателя, к тому времени уже умершего от туберкулеза, что он описал в романе именно Англию, Лондон, свой кабинет на радиостанции Би-би-си, который был — вы это хорошо знаете — под номером «101», и пыточная камера в книге тоже была под этим номером. Некоторые восприняли роман как оскорбление «старой английской демократии». Но разве писатель не доказывает и своей книгой, и своим творчеством, что с любой демократией можно сделать все, что хочешь, если есть для этого условия и подходящие люди? Вот почему, думается, роман как следует неизвестен и у нас...

В. Чаликова. Несколько лет назад в Англии появилась его первая биография. Так что, если уж на то пошло, Оруэлл в каком-то смысле долго был неизвестен и на своей собственной родине. Всех волновал вопрос, кто был тот человек, который писал под псевдонимом Джордж Оруэлл? Совместим ли он со сквозным героем своих романов? А сквозной герой всех его романов, начиная с «Бирманских дней» и кончая его последним романом «1984»,— это интеллигент-неудачник. Человек физически слабый, больной, одинокий, скрытный, озлобленный, внутренне готовый вступить в бой с целым миром и погибающий физически и духовно в этом бою. Всегда один и тот же человек.

Разумеется, английская литературная, как у нас говорят, общественность, литературный круг, круг журналистов, писателей, политиков-лейбористов хорошо знали Эрика Блэра, писавшего под псевдонимом Джордж Оруэлл. Как личность в этом кругу он был известен даже до того, как написал свои шедевры. Еще не обретя мировой славы, еще будучи писателем среднего ряда, он был высоко уважаем как нравственный авторитет, крупный и очень известный документалист. Кроме того, во время войны он вел колонку в «Трибюн». «Я вижу это так» называлась колонка, и по этой колонке его знали и любили читатели.

Но если говорить о массовом читателе, особенно о последующем поколении, которое его лично не знало, то, конечно, вопрос такой существовал. Это кажется странным:

писатель с мировым именем, о котором написана целая библиотека литературы, рядом с ней его собственные книги — всего лишь небольшая стопочка,— и вдруг неизвестен... Ведь по всем опросам среди читателей он наиболее популярный писатель; кроме того, его книги и переведены на все языки, и экранизированы, и телеэкранизированы... И вдруг — эта первая биография, вышедшая недавно...

В. Недошивин. Да, он просил не писать биографий...

В. Чаликова. Именно! Оруэлл в завещании просил друзей не писать ничего о человеке по имени Эрик Блэр. Он объяснял, что ему не хотелось бы, чтобы создавали легенду, а если написать правду, то,— как он считал,— ничего отрадного в этой правде не будет, ибо вся его жизнь, если посмотреть на нее изнутри, есть только цепь унизительных компромиссов и неудач. При такой блистательной литературной карьере, которую он сделал, при безупречной репутации (даже названия книг о творчестве «Кристальный дух», «Беглец из лагеря победителей» говорят об этом) — при всем при этом у него, оказывается, было чувство, что, если написать его истинную биографию, то ничего хорошего в его жизни не найдешь.

Запрет этот друзья соблюдали. Но они писали о его творчестве и постепенно, по кусочкам, восстанавливали его жизнь. И только профессор Криг, известный политолог, решился создать его академическую биографию буквально по годам и не так давно представил читателям свою версию. Версию, которую, кстати, не всегда принимают. Так что «неизвестный Оруэлл» — это проблема для всего мира.

Сейчас в Соединенных Штатах готовится сборник, который называется «Оруэлл, прочитанный заново». В нем, насколько мне известно, будет собрано все, начиная от детства и кончая последними днями писателя.

В. Недошивин. К западному читателю Оруэлл возвращается через 45 лет, а когда он вернется к нам? Пока он один из модных ныне авторов. Модных в смысле раскупаемых, читаемых, автор, о котором только ленивый не вспоминает при случае, пользуясь его политическим словарем, терминами «Большой Брат», «двоемыслие», «внутренняя партия», «новояз», употребляя его гениальные «лозунги»: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Все животные равны, но некоторые — равнее» и т. д.

Я же имел в виду неизвестность Оруэлла в другом плане. Неизвестность как незатронутость, невосприимаемость чрезвычайно глубоких идей, размышлений, заложенных в его последних произведениях, даже в его последних статьях, скажем, в эссе «Заметки о национализме». Это ведь не только мысли, предвосхищавшие роман «1984» (помните, именно в этом эссе было сказано, почему в обществе рождается двоемыслие, почему одни в государстве заинтересованы в сокрытии правды от других и т. д.), но это то, что сегодня разворачивается на наших глазах в межнациональных отношениях. То, во что превращается национализм в тоталитарном обществе.

В. Чаликова. Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы наше общество прочитало и осмыслило Оруэлла до дна. В массовом порядке это может произойти только тогда, когда общество убедится: та альтернатива, какую сегодня предлагает идейный авангард этого общества, альтернатива прошлому тоталитаризму, описанному Оруэллом в его книге, она тоже не гуманистична, не человечна, она не даст простому человеку того, что он хочет. Вот когда это будет не только осмысленно, но прожито, тогда, может быть, люди начнут искать в романе Оруэлла еще что-то. Пока же я бы предпочла, чтобы его читали, схватывая сюжет, а глубинно пусть читает пока лишь верхний слой общества, специалисты. Это обычная история.

Люди пока читают этот роман и удивляются, как где-то далеко, за морем, живя в нормальной стране, как у нас говорят сейчас (таксисты спрашивают: вы из соцлагеря или из нормальной страны?), нормальный англичанин взял и «один к одному» описал всю нашу жизнь. Вот как думают! Я вынесла это впечатление из встреч, из разговоров с читателями. Как же так, откуда Оруэлл все это знал? Другая точка зрения: считается, что после того, как опубликовали «лагерную литературу» — Солженицына, Гроссмана, Гинзбург,— Оруэлл уже ничего не скажет людям. Это я слышала от прилежных, но неискушенных читателей. Да, они все это прочитали, ужаснулись тому, что узнали из «Архипелага», но и у них не мог не возникнуть вопрос: а как сложилось такое общество, как работало оно? И в этом романе, у Оруэлла, они, по словам многих, нашли технологию, механизм, который лежал в основе нашего вчерашнего общества.

В. Недошивин. Да, да, в романе О'Брайен прямо говорит Уинстону Смиту: «Ты знаешь **как**, но ты не знаешь **почему**». И объясняет, как вы выразились, «интеллигенту-неудачнику», на чем основывается и это общество, и эта система. Но это и связывается в какой-то степени (простите, что я вас перебил, причем, возможно, на самом интересном месте) с моим представлением о неглубоком чтении.

Мне лично кажется, что идеи, которые Оруэлл еще в 1948 году высказал на бумаге, и вчера и сегодня вплотную подходят к воплощению, в том числе и в нашем обществе. Мне думается, что если сегодня не разобраться в том, что «напророчил» миру Джордж Оруэлл, мы достаточно быстро можем скатиться в новую пропасть.

Возможно, я здесь не прав, но вы сами в комментарии к роману приводите мнение американского критика Лайонела Триллинга: «Мы привыкли думать, что тирания проявляется только в защите частной собственности, что жажда обогащения — источник зла... Но Оруэлл говорит нам, что последняя в мире олигархическая революция будет совершена не собственниками, а людьми воли и интеллекта — новой аристократией бюрократов, специалистов, руководителей профсоюзов, экспертов общественного мнения, социологов, учителей и профессиональных политиков».

Потрясающе актуально для сегодняшнего дня у нас в стране. Сталинский период вырубил в России подлинную культуру, людей духа, интеллигенцию, дав взамен просто образование, которое обозвал «культурой». Теперь на смену сталинщине приходят люди образованные, люди интеллекта, которым их интеллект дает веру в то, что они вершина человеческой эволюции. Но зачастую эти люди без духовного импульса, без интеллигентности, без культуры. Разве это не люди «воли и интеллекта», которые создадут нам новый «оруэлловский рай»? Разве нынешние съезды и конференции не свидетельствуют о появлении таких людей — малокультурных, но решительных и волевых? И как жаль, что большинство народа не понимает, не ощущает этой опасности.

Вот отчего необходимо глубокое прочтение книг Оруэлла...

В. Чаликова. Это будет возможно, когда опубликуют его другие вещи. Сейчас, насколько мне известно, издательство «Радуга» готовит к печати его третий шедевр — «Памяти Каталонии». Это первая по времени книга, в которой Оруэлл заявил о себе как писатель мирового класса, но она, в отличие от двух последних, не была оценена современниками, оказалась незамеченной и отвергнутой. Это художественно-документальная проза об испанской войне 36-го года. А на самом деле она и есть та главная исповедальная книга, в которой Оруэлл говорит сам с собой, осознает себя... Все последующее в его творчестве раскручивается уже на этой почве.

Интересно вообще, что эта книга была заказана одним издательством, а появилась в другом. Книгу заказало «красное» издательство (было такое прокоммунистическое, просоветское издательство). И в Испанию поехал Оруэлл как бы «слева». Да и как он еще мог ехать? «Справа» — означало тогда фашизм. Тогда все было просто. Поэтому он поехал «слева», и поехал корреспондентом, а стал солдатом, иначе он не мог. И он провалялся в окопах Каталонии, был тяжело ранен, попал в ловушку, потом — в службу безопасности, бежал, словом, испытал все приключения сполна. Там, в Испании, он впервые почувствовал, что «справа» он не может, не может с фашистами. Но и «слева» — как он понял — не может тоже, потому что в левом стане были коммунисты, а коммунисты контролировались из Союза, непосредственно из нашей службы безопасности. Писатель видел, что одни антифашисты умирают на фронте, под пулями франкистов, а другие — тоже антифашисты — умирают в застенках службы безопасности, обвиненные в том, что они троцкисты, ревизионисты, «пятая колонна». Кроме того, он узнал, что было уничтожено целое воинское соединение, а также независимые профсоюзы и все анархисты, т. е. все те, кого Сталин подозревал в связи с Троцким. Оруэлл видел, что на деле «троцкистами» были полуграмотные каталонские крестьяне, которые вряд ли могли знать работы Троцкого или вообще кого-нибудь, но они погибали. Эту двойную трагедию он и изобразил в своей книге, утверждая, что идут сразу две войны. Одна война между республикой и фашистским путчем, а другая — между человеком и теми, кто по разным причинам стремится подавить его. Чтобы прийти к власти, чтобы осуществить идею свою.

Оруэлл попытался все это рассказать, но оказалось, что и это невозможно, что люди столько сразу услышать не могут. Они хотели услышать что-то одно — или про фашистов, или про антифашистов, а писатель обрушил на них сталинизм в Испании. Короче, книгу оценили очень немногие, а заказчик вообще отказался печатать ее, хотя именно этот издатель первым угадал талант Оруэлла, помогал ему и очень боялся потерять авторские права. Все так, но он не мог печатать антисоветскую книгу и после долгих мучений нашел для Оруэлла другого издателя. Такая вот история.

В. Недошивин. Оруэлл писал однажды, кстати, сразу после испанской войны, что он опасается, что истина вообще перестает кого-либо интересовать, исчезает из мира. Об этом примерно в те же годы писали очень многие философы, мыслители. Это и Ортега-и-Гассет с его работой «Восстание масс», и Артур Кёстлер, и Олдос Хаксли.

Но я вспоминаю ваши слова насчет

высокого морального авторитета Оруэлла. Если хотите, моральный авторитет в какой-то степени создавался и позицией, о которой вы сейчас рассказали. Насколько я знаю, вся жизнь писателя отмечена этой особой позицией. И, видимо, моральный авторитет Оруэлла — и как писателя, и как человека, и как борца — всегда был, действительно, безупречен, если иметь в виду его поступки.

Например, этот его поступок после окончания Итона — уехать в Индию, наняться работать в полицию и четыре года, вместо блестящей карьеры, которая могла бы его ожидать в Лондоне, работать там. Потом, после возвращения из Индии, труд в книжном магазине, работа посудомоем в одном из ресторанов в Париже. Более того, Ричард Рис, о книге которого вы упомянули, прямо пишет, что он сознательно уходил в низы, стеснялся своего относительного благополучия. Не это ли создавало ему безупречный моральный авторитет? Или то, что он писал и что высказывал на бумаге?

В. Чаликова. Нравственный авторитет ему создавало очень редкое качество — всегда в любом случае говорить то, что он думает. Только это. Так говорил в надгробном слове один из его друзей. Он заметил, что в этом смысле с Оруэллом было очень трудно, что иногда хотелось, чтобы он не был столь жестким в своих суждениях и оценках. Но Оруэлл просто иначе не мог. Обо всем на свете он говорил то, что думал, и в первый момент это людьми воспринималось тяжело. Зато впоследствии, накапливаясь, и возникал тот нравственный авторитет, о котором пишут почти все, кто знал его.

Но нравственный авторитет, вернее — нравственные качества не создают искусства. Человек может быть сколь угодно чист, кристален и при этом писать совершенно бесталанные вещи. И наоборот. Искусство создает нечто другое. И вот если говорить о глубинном прочтении Оруэлла (я набрела на это, даже не собираясь этого специально искать, поскольку начинала работать с его вещами и как политолог, а не только как литератор), то я увидела, что художественное открытие Оруэлла было следствием какого-то большого внутреннего конфликта, может быть — даже духовного несчастья, какой-то внутренней глубинной беды, о которой никто, может быть, и не подозревал, но о которой сам он знал. Может, потому, кстати, он и не хотел, чтобы писали его биографию. Без этого конфликта, думаю, не возникла бы его книга о тоталитаризме.

В наших газетах в 84-м году, когда уже нельзя было скрывать от читателей, что вообще такая книга существует, сообщалось, что ЮНЕСКО объявило год Оруэлла. Это феноменальный факт — он не родился, не умер, ничего не написал в этом году, он просто назвал свою книгу, написанную в 1949 году,— «1984». И вот тогда было дано задание, чтобы хотя бы в «Известиях» появилось упоминание, что есть такая книга. И оно появилось, написал статью Мэлор Стуруа, что да, есть такая книга, и мировая слава у нее, потому что это очень выгодный жанр — сатира, антиутопия...

Это и впрямь выгодный жанр. Если утопия — жанр сам по себе скучный (и надо сказать, что читать утопию, в которой описывается идеальное, «блаженное» общество, в наше время довольно трудно), то пародия, сатира — даже бездарная, слабенькая — всегда будет прочитана, поскольку приятно поиздеваться, посмеяться, посмотреть в кривое зеркало.

По библиографии утопической литературы, с которой я работала, видно, что поток антиутопий начал идти с середины тридцатых годов. Как только возник фашизм, пошел поток антиутопий; едва стала известна практика сталинизма — пошел снова. По жанру своему книга Оруэлла совсем не оригинальна, сама идея высмеять современное общество — тоже. Но почему же сияет это имя — Оруэлл? В этом и для нас вопрос.

И здесь придется вновь вернуться к личности автора, потому что если говорить о комплексе идей, о композиции и сюжете книги, то Оруэлл ничего не изобрел. Мир помнит и другие негативные утопии, которые написал и его соотечественник Олдос Хаксли, и Евгений Замятин. Оруэлл, например, написал три рецензии на Замятина, он очень высоко ставил его роман «Мы», архетип антиутопии. Хаксли и Оруэлл перекликаются во всем, вплоть до особого языка, да и вообще книга Оруэлла впитала в себя все достижения сатирической литературы. В ней находим даже слово «прол», которое явно взято у Джека Лондона из его «Железной пяты». А «заговор» интеллектуалов против простой, непосредственной жизни повторяет в какой-то степени честертоновский роман «Человек, который был Четвергом», там даже имена перекликаются.

Особенность же романа Оруэлла состоит в том, что он, кроме всего прочего, результат не только исследовательской позиции, не только мученической жизни, жертв, стремления все взять на себя и на собственной шкуре испытать великие беды века: экономическую депрессию, фашизм, войну, тюрьму, но это еще и результат того, что писатель с ранних лет беспрерывно исследовал самого себя.

В романе «1984» жестокий эксперимент ставится писателем над самим собой. Он берет чрезвычайно близкого себе героя, похожего на него в каких-то деталях, вплоть до некото-

рой неловкости в обращении с сигаретой, и вместе с тем человека упорного, наделенного волевым стремлением делать работу ручную, физическую, с мучительным кашлем, с кожными болезнями,— и над этим человеком ставит жестокий эксперимент. Он помещает своего героя, обладающего от природы огромным чувством собственного достоинства, желанием свободы и независимости, сильной памятью, которая ничего не может зачеркнуть, т. е. человека, рожденного для свободы и для истории, писатель помещает в мир, где свободы нет и история отменена, потому что каждый день она переписывается заново, и каждый человек, от пробуждения и до засыпания, находится под контролем всевидящего ока.

Что с ним будет? — спрашивает писатель. Способен ли он сохранить в этих условиях человеческое достоинство, память, духовность свою, умение любить? Один ответ, который дает просветительская культура и то христианское мирочувствие, в котором Оруэлл был воспитан (а он был крещен и венчался), писатель знает. Личность превыше всего, ее духовный мир — высшая ценность, и все внешнее должно отступить. Но Оруэлл в своем романе доказал и показал, что это не всегда так. Что свободная, независимая личность — это ведь очень условное понятие. Что если человека сильно бить и сильно мучить, издеваться над ним долго и упорно, он превращается в груду костей и кожи, которая молит только об одном — о прекращении физической боли. И для того чтобы боль прекратилась, он, человек, способен действительно на все. Не только оговорить и послать на смерть и пытки массу знакомых, но и предать любимое существо.

Это потрясающее открытие, которое с такой силой звучит в финале романа, имеет, по-моему, необычайно гуманистический смысл. Жестокость системы, в которой живет мир, состоит в том, что к человеку предъявляются по существу нечеловеческие требования. На него возлагается вся вина, то есть он должен быть выше потребностей собственного тела, выше собственных идей. Он должен голодать, он должен жить в неуюте, терпеть пытки. Мы, например, воспитывались в детстве на литературе о молодогвардейцах, которые хранили свою тайну, даже когда их жгли раскаленным железом, и нам казалось, что это возможно. И я только позже узнала, что в других, нормальных, цивилизованных странах человеку, признавшемуся во всем под пыткой, никто этого в вину не ставит. Что пленных встречают на родине как лучших друзей, и т. д.

А почему у нас было по-другому? Да потому, что вся ответственность за пытки, за плен возлагалась не на палача — на жертву. Мы столкнулись с этим, когда начали публиковать правду о процессах 30-х годов. Мы видели, что люди оговаривают себя, подписывают наветы. Мне приходилось слышать, как наши не только молодые, но и не очень молодые люди говорили при этом: если бы у них действительно были убеждения, они бы не сломались, они бы терпели. И мало кто задумывался над тем, что, таким образом, оправдывается палачество, которое как бы превращается в экзамен. Выдержал человек этот экзамен, значит, он человек. Оруэлл, на примере близкого ему героя, доказал: это не так. Он, может быть — впервые в литературе, вывел образ диссидента; этот диссидент испорчен тем, что живет в испорченном мире. В нем много ненависти, он видит в каждом ближнем врага, предполагает коварство в окружающих и готов к унижению. Уинстону Смиту хочется сблизиться с О'Брайном, потому что это человек высшей касты, и герой, не задумываясь о его нравственности, дает, вступая в тайное братство, клятву, если понадобится, облить серной кислотой ребенка, убить женщину. Именно это его подтачивает, он бы погиб, даже без ареста и пыток...

В. Недошивин. Я согласен, что Оруэлл ставит эксперимент на себе. Героя романа пытают, скажем, страхом перед крысами. И сам писатель ненавидел крыс. Известно даже, вы сами об этом пишете, что он однажды ночью на фронте в Испании выстрелил в крысу, разбудив своих соратников по борьбе. Но все-таки романные пытки — это пытки воображения.

Другое дело, что Оруэлл заложил в своей книге и ответ на вопрос о пытках. Ведь Уинстон Смит не выдерживает этих пыток только потому, если следовать логике романа, что предал свою человеческую сущность — согласился ради высоких целей борьбы с бесчеловечным государством пытать других, обливать кислотой детей и т. д. и т. п.

Может быть, я здесь и не прав, но мне кажется, что и с обществом, и с людьми, и с каждым конкретным человеком любая власть может сделать все, что угодно, только тогда, когда этот человек отступится от своих нравственных, моральных убеждений. И предметный урок этому достаточно убедительно дает в романе Оруэлл.

В. Чаликова. Я с последним утверждением не согласна, мне кажется, что эти две линии существуют в романе параллельно, как в электричестве бывает параллельное и последовательное подключение.

Дело в том, что даже если бы Уинстон не давал этой дурацкой клятвы, если б не был

разложен, разрушен за годы до испытания, все равно выдержать то, что ему прдлагалось, невозможно. Оруэлл как раз хочет реабилитировать в романе человеческую плоть, которая не может превратиться в железо и не рассчитана на это. А линия на какие-то разоблачения героя, она, если хотите, составляет душу всего творчества Оруэлла.

С раннего детства в нем живет душевная драма, какая-то беда внутренняя. Состоит она в его конфликте с миром по поводу именно той идеи, за которую в истории совершено столько всего доброго и злого и вокруг которой строятся все утопии и антиутопии. Идеи справедливости и равенства. Для Оруэлла это не умозрительные понятия, это личный опыт. Он — очень тонко организованное существо, и не случайно ему всю жизнь хотелось быть простым. Во всем быть простым: в одежде, привычках, поведении. В этом смысле в одной из западных книг его сравнивают с Пастернаком, который тоже писал: «всю жизнь я быть хотел как все». Вот это желание быть как все, быть похожим на всех обычно характерно для людей очень сложных, необыкновенных.

Сложность Оруэлла состояла в том, что у него была высокая чувствительность на любую несправедливость. Он болезненно воспринимал неравенство, независимо от того, касалось ли это его или человека совершенно постороннего. Это порождало и слезы в детстве, и страдания, и сны, этим было наполнено его творчество. Но одновременно, как человек одаренный, честолюбивый, он мог жить только будучи во всем лучше других... поднимаясь над ними. И этот внутренний конфликт писатель очень сильно переживал. В школе он, с одной стороны, самое презираемое существо, поскольку, любимый матерью, он попадает именно в английскую школу с ее жесткими законами. Помните, еще Уинстон Черчилль говорил, что самым страшным в его жизни был колледж, потом ничего страшнее не было, даже война была не страшна. А здесь, повторяю, был нервный ребенок, да еще рано оторванный от семьи. Нервная система расшатана, по ночам он мочится в постели, его за это начинают пороть, что и больно, и унизительно, и — главное — несправедливо. Кроме того, за всех родители платят, а он на стипендии, потому что денег у семьи не было. После каникул товарищи возвращаются, рассказывают об охоте, об Африке, а он страдает, страдает за себя и за всех таких же.

Но, с другой стороны, он должен учиться лучше всех, чтобы попасть потом в Итон, и он учится лучше всех. И эта его раздвоенность внутренняя усиливается тем, что он едет в Бирму, где работает полицейским, где осуществляет власть над людьми, поскольку по природе он человек исключительно добросовестный и, при всех своих анархических импульсах, вышколенный. Меня, например, поразил факт, что, когда Оруэлл стал писателем и у его бывшего сослуживца по Бирме брали интервью о нем, тот никак не мог поверить, что этот обыкновенный и вполне ортодоксальный полицейский и есть знаменитый бунтарь Оруэлл.

Подобное продолжалось всю жизнь. Он — судомой, он опустился на самое дно и написал, что судомой есть раб современного мира, потому что жить хуже и быть более несвободным уже нельзя. Он — бродяга и опять пишет об этом. Он едет к шахтерам, но вместе с тем он знает, что он не просто так едет, что он когда-то об этом напишет, напишет лучше всех. И станет знаменитым, богатым, прославленным. И это идет сквозь всю жизнь.

Криг разыскал среди его стихов (Оруэлл писал стихи и, по-моему, очень хорошие, я даже перевела какое-то его стихотворение) одно из самых сокровенных произведений. В нем эпизод детства, который мучает его всю жизнь. Он маленький мальчик, и есть девочка, которую он любит. И эта девочка ему предана, и у них там детская любовь; но мать говорит ему, что он не должен с ней играть, потому что она из простонародья. И он, Эрик, предает ее, перестает с ней играть; но всю жизнь это воспоминание мучает его.

На этом внутреннем конфликте, на сознании, что человеку надо дать волю своей натуре, таланту, что возможно только при неравенстве, а с другой стороны, на понимании несправедливости такого положения — на этом и построено все его художественное творчество.

В. Недошивин. Среди всех идей, высказанных Джорджем Оруэллом, одна из наиболее интересных и важных для нас, сегодняшних,— проблема власти. Проблема человека в мире власти, в мире, разделенном на сферы влияния. Известный профессор Густав Наан из Тарту писал в свое время, что интеллигент как таковой не может быть человеком власти или должен перестать быть интеллигентом.

Мне кажется, Оруэлл достаточно хорошо показал это в своем романе, потому что герой, которые находятся в романе у власти,— это те же свиньи из его всемирно известной сказки «Скотный двор». Эти «герои» обладают совершенно определенными чертами. И в первую очередь они не переносят людей духа, мысли, души. Интеллигента в том высоком и большом значении, в каком в России привыкли понимать это слово. Я думаю,

Оруэлл разделял интеллектуалов и интеллигентов. Интеллектуалы у него — это люди, способные властвовать, способные давить других, в то время как интеллигенты, люди духа, это те, кто может только сопротивляться подобному давлению. Эта проблема, одна из главных на протяжении всей жизни Оруэлла, так или иначе повлияла и на его социалистические убеждения. Он ведь при всем при том остался верным «демократическому социализму», как он сам понимал его...

В. Чаликова. Некоторые критики Оруэлла высказывают предположение, что он свихнулся на идее власти, властолюбия. Они утверждают, что к нему самому следует отнести то, что он высказал о Свифте: Оруэлл считал, что Свифт подсмотрел в человеке нечто низкое, некую грязную, темную, постыдную тайну. И остался этой тайной заворожен, поскольку возвращался к ней всегда. Эти же слова, пишут некоторые критики, можно было отнести и к Оруэллу. Он открыл в современном человеке жажду власти, доказал, что власть сама по себе доставляет наслаждение, независимо от возможностей, которые открывает человеку. Завороженный этой тайной, этим открытием, Оруэлл, дескать, построил и всю схему исторического развития. Строго говоря, всякий автор, который должен что-то построить, должен строить вокруг некоего стержня, иначе его построение рассыплется.

В. Недошивин. Он поразительно ухватил главную проблему XX века. Смотрите, XIX век, XVIII век — у власти были тираны, монархи, военачальники, кто хотите, но не люди из массы. XX век впервые привел к власти человека массы. Этот человек массы, если повторить слова Ортеги-и-Гассета, не только не комплексует по этому поводу, но более того, он свою обыденность, свое среднее бескультурье возводит в право, считает, что может гордиться именно своей обыденностью. И Джордж Оруэлл педантичнейшим образом исследовал и власть и равенство.

В. Чаликова. Давайте вспомним тогда политическую теорию Оруэлла и посмотрим, так ли это. Мне кажется, Оруэлл действительно создал теорию не власти вообще, а теорию власти XX века. Но она построена как раз на том, что к власти приходит не человек из массы. Наоборот, XX век, по Оруэллу, отличен от предыдущих веков тем, что к власти приходит обязательно человек элиты, интеллектуальной элиты. Почему? Потому что в предшествующие века власть была наследственной, это, может быть, и несправедливо, потому что ребенок мог родиться какой угодно: слабоумный, порочный, но все равно он принц, он будет управлять. Но, с другой стороны, в этом были определенные защитные механизмы, это как бы удерживало остальных от борьбы за власть.

XX век открыл новые возможности рационального построения общества, создал науку об управлении, разработал психологическую основу управления. Разумеется, еще не было кибернетики, но то, из чего она должна была родиться, уже было при Оруэлле. Интеллектуальная элита уже уловила, что некоторая закономерность есть во всем. Некий алгоритм, его осталось только закодировать. Тот, кто уловил это нечто, рассчитал на уровне психологии, математики, при желании может получить ключ к пульту управления обществом. Но вопрос в том, во благо или во зло он стал бы это делать. Утописты считали, что человечество избавится от всяких глупых предрассудков, вроде царей и королей, и передаст управление ученым, потому что они умны и будут знать что делать. А Бакунин, например, высказывал точку зрения противоположную. Он считал, что когда до власти дорвутся ученые и вообще интеллектуалы, то хуже деспотии не будет, потому что они-то знать будут действительно все, действительно будут управлять тотально.

Оруэлл склонялся к бакунинскому взгляду, тем более что он был поклонником ума и прозрения Бернхейма, человека, который проиграл весь будущий сценарий развития человечества в книге «Революция управляющих». Да, миром будет управлять интеллектуал, и это будет деспотия, но не традиционного, а новейшего типа. И масса, пожалуй, согласится на это, потому что, хотя она и будет жить бедно, хотя у нее не будет никаких прав и свобод, зато она сможет полагаться на тех, кто станет управлять. В силу этого общество станет по-своему стабильным.

Оруэлл сложно относился к такого рода сценариям, он считал, что в мире есть еще нечто кроме власти. И когда фашизм капитулировал, Оруэлл торжествовал по поводу провала этой идеи. Известно, что Гитлер, так же как Сталин, был большим поклонником Макиавелли, и Оруэлл победно писал, что макиавеллизм проиграл.

Вспомним политическую теорию писателя. Он говорит, что история развивалась как борьба за власть. Причем за власть борются всегда средние слои, поскольку низшие — это люди, которым хватает заботы о том, как прокормить семью. Больше их ничего не волнует и не интересует, власть им не нужна. Высшие тоже не борются за власть, потому

что она у них есть, и они самонадеянно полагают, что так будет всегда. А средний класс хочет власти, но понимает, что не может взять ее, поскольку слаб количественно. Ему остается пообещать низшим все блага, если они помогут средним победить. Низшие охотно помогают, сбрасывают власть высших, а после того, как средние становятся высшими, они управляют с не меньшей жестокостью. Потом все повторяется вновь. И так было всегда.

Но художественное открытие Оруэлла состоит в другом. Во-первых, считал он, возникла наука об управлении, а во-вторых, в мире появилось ядерное оружие, которое позволит его владельцу контролировать уже весь мир. Круговорот власти, благодаря этим факторам, должен прекратиться. Он считал, что найдутся такие средние, которые будут достаточно умны для того, чтобы понимать — власть надо охранять бдительно, круглосуточно. И что не надо давать власть одному, надо управлять коллективом. Одного надо сделать символом, чтобы он был всем известен как Большой Брат, а на самом деле — должен быть коллектив, мафия, банда, клика. Она должна управлять, причем внутри нее вырабатывается своего рода альтруизм, т. е. их групповые интересы выше личных, они способны жертвовать не только друг другом, но и собой. Они принимают эту игру ради удержания власти, и они к тому же способны к корректировке, исправлению собственных ошибок. И эти средние, ставшие новыми высшими, понимают, что главное — управлять мышлением, памятью, речью, что надо отменить историю, чтобы человек не помнил, как было вчера, запретить ему мечтать о будущем, отнять у него детей. В этом уникальность открытия Оруэлла.

Он не только не считает утопию, проект идеального мира, причиной зла, он, напротив, думает, что тоталитарный строй может оформиться лишь тогда, когда утопия исчезнет, когда людям запретят мечтать. Им запретили вспоминать, им запретили мечтать, им запретили говорить обычным языком, они стали говорить языком, в котором осталось очень мало слов, выражающих самую элементарную примитивную реакцию на указания сверху; и такое общество контролируемо. Правда, оно должно обязательно быть нищим. Оно будет жить впроголодь, оно постоянно будет бояться внешнего врага. Тут Оруэлл действительно вышел за пределы того круга, который очертила антиутопия до него. Поэтому его роман уже не антиутопия. Ведь и Хаксли, и Замятин, у которых Оруэлл учился, нарисовали мир, где все прекрасно кроме одного — там нет уникальной личности. Все живут одинаково. Но все остальное прекрасно: люди сыты, одеты, румяны, нет войн, нет нищеты, нет горя, нет пороков. Такой цветущий мир, но, правда, скучный, пресный для бунтаря, анархиста, мятежника, чудака, поэта. А так вроде бы все ничего.

Оруэлл же считал, что это нереально. Что если люди будут хорошо жить материально, то терпеть тотальное управление они будут очень недолго. Они сбросят власть. Чтоб человек не сбросил узду власти, он должен быть полуголодным, он должен быть замордованным, затурканным, униженным, плохо одетым, вечно ищущим в магазинах шнурки для ботинок и принимающим все как подарок. Вот это прозрение писателя подтвердилось, и я согласна с теми критиками, которые говорят: если нас действительно ждет всемирный Чернобыль или всемирный СПИД, то лучше уж мир, который изобразил Хаксли или Замятин. Этот мир не самое плохое. А вот в мире Оруэлла никогда, ни при каких условиях никто жить не захочет.

В. Недошивин. Это все очень проецируется на наш сегодняшний день. Средние интеллектуалы, захватившие власть, держащиеся за нее, в конечном итоге создают условия как бы вечного правления. Оруэлл в этом смысле предсказал многое — это так! — но при всем том, я бы сказал, не доказал фундаментально. Мы же знаем, что есть американская демократия, которая функционирует более или менее стабильно 200 лет. Та же самая демократия в Англии. Человечество выработало уже какие-то механизмы, с помощью которых мир балансирует на грани, не сваливаясь ни вправо, ни влево. С этой точки зрения можно назвать его роман не столько пророчеством, сколько предупреждением. Не так ли?

Вообще это интересный вопрос сам по себе. Проблема жанра. Сегодня утопии и антиутопии смешивают. Патрик и Негли, два исследователя этой проблемы, утверждают, что «описание определенного государства или сообщества, политической структуры его» — вот опознавательный признак утопии и антиутопии. Наша же литература, даже научная, готова зачислить в этот жанр едва ли не все книги — от Данте до Аксенова.

В. Чаликова. Надо сказать, что Оруэлл сам был задет, что его роман воспринимают исключительно как пророчество, причем того, к чему приведет всемирный социализм. Писатель прожил всего 7 месяцев после выхода в свет своей книги, увидел триумф, восторги, но вместе с тем был несколько ошеломлен,

что самая правая пресса, по тем временам, благодарила его и восхищалась, что он дал такую отповедь лейбористам. У Оруэлла же все друзья были лейбористами, он сам был когда-то членом лейбористской партии и вышел из нее как раз потому, что видел, что интеллигенты, становясь политиками, скатываются в безнравственность. Поэтому он вынужден был заявить, что своим романом он не хотел задеть социалистов, а всего лишь предупреждал, что тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде. И если с этим не бороться, то любое общество потеряет иммунитет к этой бацилле. Поэтому,— писал он,— я и поместил действие не в Россию, не куда-либо еще, а именно в Лондон.

Тут интересны две вещи. Во-первых, то, что тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде, хотя эти слова и задевают многих. Напрасно задевают, хотя бы потому напрасно, что идея вообще может жить только в мозгу достаточно изощренном. А во-вторых, ни у какого общества нет заведомого иммунитета против тоталитаризма. На самом деле он так, видимо, не считал, потому что все его патриотические эссе как раз говорят о том, что он верил: национальный английский характер противостоит тоталитаризму. Он писал об английском языке: английскому языку свойственна грубость, но не деформации, не лукавство, не хитрость, не извращенность. Английский язык не склонен к идеологическим оскорблениям. Заметьте, доказывал он, когда у нас мелькают идеологические клише, это всегда перевод с немецкого или с русского, своих у нас нет. Словом, у него было чувство, что Англия иммунна. Но он считал своим долгом, как англичанин, как патриот, тем не менее предупредить и свою страну. Вот откуда романные реалии: Лондон военных лет, убогий, нищий, с неработающими лифтами, запахом капусты, джин «Победа», был такой джин — «Виктория» — в столовых во время войны, кабинет на Би-би-си под номером «101» и т. д.

Его спрашивали: неужели он видит мир таким? Оруэлл отвечал: это предупреждение, а не пророчество. Я имел в виду, что такое может быть, но я не имел в виду, что такое будет.

В. Недошивин. Ричард Рис в своей книге о нем пишет поразившие меня вещи. Он говорит, что Оруэлл после войны утверждал: правительство не отменит в Англии затемнения, хотя война и кончилась, потому что ему, правительству, это выгодно. Над этим даже смеялись в круге, близком Оруэллу. Далее, Оруэлл утверждал, что продуктовые карточки оно также не отменит после войны, потому что для правительства карточки удобны. А когда их все-таки отменили, он, тем не менее, считал это некой ловушкой...

Мне лично это не кажется смешным, я думаю, что это свойство ума глубокого и, может быть, пессимистического. Разве не так?

В. Чаликова. Вообще «левые заскоки» ему были свойственны, и нет никакой нужды это скрывать. Заскоки эти — они для него самого были уроками — он все-таки преодолевал.

Вот его позиция, например, когда началась война. В одной из своих статей, в раннем отклике, он пишет, что вместе с группой лейбористов встанет на пацифистские позиции, т. е. ни Англия, ни Германия. Почему? Потому что фашизм плохо, а английский империализм — лучше, что ли? Конечно, сейчас дико все это читать, как будто это не Оруэлл, а какой-нибудь слабоумный левак пишет, но у него было такое ощущение, как у человека, который еще в Бирме понял, что такое империализм. Он видел, что для белых людей аборигены были людьми второго сорта. Он говорил, что все английское благосостояние основано на угнетении колоний, жизни за счет тех, кого за людей не считают. И защищая Киплинга от радикальных критиков, он подчеркивал: Киплинг хотя бы так прямо и говорил. Да, империя, да, мы — первый сорт, а они — второй. Он так говорил, и он был честен. А вы говорите, что все люди равны, а между тем лейбористы никогда в жизни не откажутся от своих колоний.

Он был пацифистом и говорил, что ничего нет хуже империализма, пока в Марокко, куда он поехал отдохнуть, полечиться в санатории, ему вдруг не приснился сон, что Германия напала на Англию. И во сне он уходил на войну, уходил счастливым, потому что шел защищать свою любимую Англию. Оруэлл пишет: я проснулся и понял — все, что мы говорим, все это ерунда. Наступает час, когда тебе все равно, правая твоя страна или левая — не важно. Остается одно: что́ сделаю я для тебя, Англия, моя Англия. Я понял, что весь мой пацифизм — ерунда, что я не могу быть объективным наблюдателем, что я буду воевать до последней капли крови. После этого он встал и спустился за газетой. А там опубликован пакт Молотова — Риббентропа, который изменил все отношения в мире. Значит, пишет он, глубочайшие движения нашей души, наши истинные позиции, нам открываются подсознательно. Так же и в романе, помните, Уинстон видит во сне и свою будущую любовь, и свою вину перед матерью, и О'Брайена — встречу в застенке.

В. Недошивин. Даже чья-то рецензия называлась «Оруэлловские сны», потому что это характерно для него, и он, видимо, доверял подобным вещам.

Впрочем, меня интересует проблема, которую вы вскользь затронули в нашей беседе, проблема национального характера. В Англии это невозможно, считал Оруэлл, а где-то возможно, но наполовину. Недавно я наткнулся на мысль Ткачева, который задолго до Ленина, задолго даже до Нечаева сказал трудную вещь, трудную для моего понимания. Он сказал, что русский народ по инстинкту социалистичен. По инстинкту! Честно говоря, я опасаюсь, что это, может быть, и правда. Это известная соборность, какая-то общность. Но если социалистичен, да в понимании Ткачева, который был еще и предтечей Нечаева, то нам из наших проблем сегодняшних еще долго не выбраться.

В. Чаликова. Меня это тоже очень занимает. Я не могу объяснить почему, но эту идею какой-то врожденной запрограммированности именно русского, славянского человека на тоталитаризм принять не могу.

Я очень болезненно отношусь к такого рода высказываниям, хотя и понимаю, что они часто диктуются как раз побуждениями добрыми, желанием понять, разобраться. Вы знаете этот термин «гомо советикус», знаете, что советский человек — это не человек, а некое существо, недочеловек. Оруэллу это не понравилось, это задевало его инстинкт равенства и справедливости. И он сказал: я думаю, что там живут такие же люди, как и мы, и неизвестно, кем бы были мы, если бы жили там.

Но тут — некий порочный круг. С одной стороны, действительно, какими должны быть люди, которые могут жить при таком строе? Ведь надо только удивляться, что они такие еще хорошие, умные. А с другой стороны — зачем же они, хорошие и умные, живут при таком строе и почему терпят его? Тут очень трудно выйти из положения, во всяком случае, то, что Оруэлл отвергал идею «гомо советикуса», проявилось бессознательно и в его романе. Ведь сначала получается, что в книге все кругом тоталитарные единицы, и лишь Уинстон — человек, личность. Но потом узнаешь: это не так — даже сосед, дурак ортодоксальный, и тот, оказывается, мятежник и бунтарь в душе. То есть получается, что никакой тоталитарной личности на самом деле нет, а есть всего лишь тоталитарный строй. Значит, если этот строй будет разрушен, то, может быть, исчезнут и все «личности». Надежду на разрушение этого строя Оруэлл возлагал не на Уинстона, а на то, что есть масса рабочих, которыми идеология не занимается. Она в них видит просто грубую, тупую, физическую силу. Это — пушечное мясо. Но Оруэлл считает, что они живут человеческой жизнью и раньше или позже сметут этот строй, такая, знаете, народническая установка.

В. Недошивин. Вообще-то Оруэлл нечасто говорил о Советском Союзе, но тем не менее говорил. Он сказал, например, что, возможно, простой человек и не будет возражать против диктатуры пролетариата. Но навяжи ему диктатуру самонадеянных невежд, и он уже готов драться. Мне кажется, здесь Оруэлл уловил сущностную вещь.

Но, заканчивая разговор, может быть, есть смысл нам остановиться на том, как он понимал идеал. Идеал равенства, справедливости, идеал человека. Это можно вычленить из романа, из его сказки, из его многочисленных эссе. Ведь идеал, на каждом этапе развития истории, наполняется чем-то новым, в зависимости от привнесенной в него действительности. Может быть, я фантазирую, может быть, я не совсем прав, но Оруэлл ухватил идеал современного ему человека, человека конца 40-х годов. Как вы думаете, идеал Оруэлла и идеал сегодняшнего человека, человека 90-х, это слишком разные понятия?

В. Чаликова. Я думаю, что особенность его творческой судьбы состоит в том, что он жил в первую половину века (ровно поместился), а принадлежал — второй половине. Все то, что в нем было чудачеством, сегодня для значительных кругов западной интеллигенции и частично для нашей интеллигенции становится нормой.

Например, Оруэлл был чуток к экологической беде, тогда еще слабо обозначенной. Он посвятил этому роман «За глотком свежего воздуха». Там простой человек, страховой агент, который жил в хорошем прочном мире до войны 1914 года (в мире, где было много рыбы в воде, ягод в лесу, когда люди любили танцевать), оказывается в конце романа в мире, где все разрушено. Он приезжает на места своего детства и видит: осквернена природа, а люди, как сумасшедшие, носятся по митингам. Словом, предчувствует всемирную катастрофу.

Это же чувство — что-то сломалось в самом механизме — существовало и у Оруэлла. Парадоксально, но его, вроде бы левого лейбориста, называли консерватором...

Действительно, была такая вещь: радикальный левый, он был консервативен во всем, что касалось личной жизни. Он отапливал свой дом углем, предпочитал свечи электричеству, у него был свой огород, была коза. Сейчас это довольно широко распространено, но тогда это считалось страшным чудачеством. Мода на иконоборчество, безбожие его совсем не захватили, оба брака его были церковными, хотя он в церковь почти не ходил. Он не был богемным человеком совер-

шенно, он начал вырабатывать такую прозрачную кристальную прозу, прозу открытого окна, прозрачного стекла, которая сейчас становится модной.

В этом смысле он вырабатывал тот идеал, к которому приходят люди конца XX века, пережив результаты технологического взлета и сексуальной революции, внутренней свободы. Есть интересный мотив в его романе — он описывает государство, в котором официально запрещена сексуальная жизнь, это карается смертью, казнью, поэтому люди должны пребывать вне секса. На самом деле все этим занимаются, и на самом деле это можно; вот случай, когда и нельзя и можно. И Уинстон, и Джулия поняли, что погибли лишь тогда, когда захотели быть семьей, потому что иметь настоящую семью — это несовместимо с тоталитаризмом. Вопреки тому, что считалось в левых радикальных кругах, Оруэлл настаивал, что настоящая «мещанская» семья — это не только не опора тоталитаризма, это единственное, что может противостоять ему.

Если же, возвращаясь к вашей мысли, говорить о том, что́ Оруэлл может значить для нас, то, я думаю, писатель далеко не во всем оказался прав. Советский Союз, получив атомное оружие, не учредил вселенскую диктатуру. Зато в следующем поколении, как и предсказывал писатель, правители наши могут оказаться (и оказались) либеральными и все в мире изменится — разве это не поразительное предсказание? Откуда у него взялась мысль, что может произойти либерализация? Потому что Оруэлл не рассчитывал, что в СССР к власти придет интеллектуальная элита. Он знал, что интеллигенция ничтожна, что возникает массовое общество, но он думал, что здравый смысл, человечность, которая сохранилась в низах, она в конце концов поднимется до верхов. В ком-нибудь из тех вождей, которые придут обычным путем к власти, в ком-нибудь вдруг, помимо их воли, заговорит обыкновенный инстинкт самосохранения и захочется, чтобы мир выжил. То есть он предсказал то, что мы видели: пробудился инстинкт самосохранения, желание просто выжить, а отсюда уже — и некоторая попытка восстановления.

У него сохранялась надежда на то, что несмотря на тоталитарную диктатуру и идеологический режим, люди в этой стране остались людьми, и рано или поздно они, низы, поднимут, доведут до верхов свое желание просто жить...

Правовое государство

Во втором выпуске рубрики «Правовое государство» [1] мы помещаем статью В. Савицкого «Такая ускользающая справедливость» и главы из книги Т. Паркера «Жизнь после жизни». Два эти материала, казалось бы такие разные по жанру и теме, не случайно объединены в одном номере. Стержень любой цивилизованной системы правосудия — беспристрастная и надежная защита прав личности — понятие для отечественной юриспруденции все еще довольно экзотическое. В статье В. Савицкого говорится о праве человека на справедливый суд (именно это право призвана обеспечить сильная и независимая судебная власть); в книге Т. Паркера речь идет о праве оступившегося, но осознавшего и искупившего вину гражданина на полноценное возвращение в общество.

Профессор Валерий Савицкий, известный ученый и общественный деятель, один из создателей нового российского законодательства, опираясь на международный опыт, излагает самые основы устройства нормального правового общества, которое немыслимо без взвешенного, строгого баланса всех трех систем власти — законодательной, исполнительной и судебной. Последняя, как известно, никогда в советском государстве полноправной и независимой не являлась и сейчас находится в стадии формирования. От результатов этой работы во многом зависит будущее всех нас.

Книга английского писателя Тони Паркера посвящена теме более узкой, но весьма актуальной для нашего изъязвленного преступностью общества, где по лагерям и тюрьмам сидит полтора миллиона заключенных, а более половины из тех, кто однажды угодил за решетку, становятся рецидивистами, то есть людьми, для общества потерянными. Возможна ли нравственная и психологическая реадаптация человека, совершившего тяжкое преступление? При этом автор берет крайний случай, самое страшное из злодеяний — убийство без смягчающих, а то и с отягчающими вину обстоятельствами. За этот вид преступлений в нашей стране приговаривают к смертной казни. Британцы отказались от узаконенного умерщвления своих сограждан, там высшей мерой наказания является пожизненное заключение. Но и у «пожизненника» остается надежда на возвращение к нормальной жизни благодаря институту пробации, то есть условного, поднадзорного освобождения. В книге «Жизнь после жизни» показано, как действует эта система — рассказывают сами убийцы.

Тони Паркер работает по методу знаменитого Стадса Теркела, создателя жанра «устных историй». Автор встречается с людьми, записывает беседы с ними на магнитофон, и получаются живые, удивительно достоверные книги-документы о человеческой природе, социальных и политических явлениях, целых странах. Произведения Т. Паркера включены в учебные программы многих факультетов социологии и психологии. Наиболее известные из его книг — рассказ о британской армии «Солдат, солдат», зарисовки провинциальной Америки «Местечко под названием Берд», вышедший в прошлом году сборник интервью о перестройке «Русские голоса».

---

[1] См. № 10 за 1991 г.

В. САВИЦКИЙ

ТАКАЯ УСКОЛЬЗАЮЩАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Недавно ко мне пришел на прием с жалобой очень старый человек. Во время беседы он не раз повторял: «Вот в мирное время все было по-другому». Я спрашиваю: «А когда это — в мирное время?» «Как когда? — отвечает он,— до революции, конечно...» В его представлении все, что после 17-го года,— это уже не мирное, а военное время. И ведь старик прав. История советского периода — это постоянная, бесконечная борьба то с белыми, то с кулаками, то с врагами народа, то с космополитами, то с диссидентами... Борьба, борьба... А когда же жить нормально? И десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад нам говорили, что мы переживаем сложный, тяжелый период, а потом будет легче. Ничего, увы, не меняется. Все время мы живем в состоянии изнуряющей, рутинной борьбы и за свою жизнь, и за кусок хлеба. И самое ужасное: сегодня никто — ни Горбачев с Ельциным, ни Собчак с Поповым — не в состоянии ответить на вопрос вопросов: когда же наш измученный народ станет жить нормальной жизнью? Ведь она, жизнь, действительно дается каждому лишь один-единственный раз, и вместо парадно-идеологизированной декларации: «и прожить ее надо так...», затверженной нами со школьной скамьи, усвоим, наконец, что прожить ее надо просто по-человечески, обычно, со всеми людскими радостями и горестями, которые составляют это великое таинство — жизнь.

За последние три года я получил более семи тысяч различных жалоб от людей, разуверившихся в возможности найти правду. Жалуются на судебные решения, на плохие жилищные условия, отказ в прописке, волокиту и т. д. Ответы на жалобы отнимают много времени. Но главное, конечно, не это. Парадокс в том, что, пройдя множество инстанций, люди обращаются затем к научному сотруднику, не имеющему никаких властных полномочий, надеясь на его помощь. Когда я спрашиваю своих зарубежных коллег, ученых-юристов, получают ли они жалобы от граждан, они просто не понимают, о чем идет речь,— там есть продуманная, четко функционирующая и известная каждому система органов, рассматривающих жалобы. Почему же у нас в стране нет учреждения, которое было бы надежным гарантом прав человека в его споре с должностным лицом, государственным органом или общественной организацией? Заботу о человеке, я убежден, надо начинать с создания именно такого учреждения.

В развитом цивилизованном государстве этим важным делом занимается суд. Более того, суду принадлежит центральное место во всей правовой системе. Именно суд олицетворяет истинное право, истинную справедливость. Не случайно в некоторых иностранных языках понятия правосудия и справедливости выражаются одним словом. Чем выше роль, авторитет суда и правосудия в целом, чем большей самостоятельностью и независимостью пользуется суд по отношению к органам власти и управления, тем выше в стране уровень законности и демократии, тем надежнее защищены от возможных посягательств права и свободы граждан.

С сожалением приходится констатировать, что в нашей стране роль суда пока еще крайне низкая. Так же как и квалификация судей. Мы уже привыкли: что ни газета, то новая судебная драма. В одном случае невиновных отправили в места, куда по доброй воле никто ехать не хочет, лишь потому, что они признались в преступлении, о котором на самом деле и не ведали. Признались под воздействием, как у нас принято это интеллигентно обозначать, «недозволенных» методов ведения следствия. Так было, например, несколько лет назад в печально знаменитом «витебском деле» (Белоруссия), когда осудили по обвинению в убийствах и изнасилованиях 14 человек (причем одного из них по приговору суда расстреляли), а впоследствии все они были реабилитированы. В другом случае осужденный упорно и настойчиво не признавал себя виновным, но на все жалобы ему так же упорно и настойчиво отвечали, что он преступник и осужден правильно, пока вдруг, уже сломленный и отчаявшийся, он не получил извещение о своей реабилитации. В третьем случае... Впрочем, к чему пересказывать варианты судебных ошибок — их слишком много. Вопрос в другом: как быстрее избавиться от этого опасного социального зла, творимого под видом правосудия?

Конечно, нуждается в существенном улучшении работа органов милиции, следствия, прокуратуры, адвокатуры. Истоки многих ошибок кроются в медлительности, безынициативности или, напротив, в чрезмерной обвинительной активности следователя, за-

давшегося целью во что бы то ни стало доказать правильность выдвинутой им версии совершения преступления. Не всегда на высоте и прокурорский надзор за исполнением законов милицией и следователями. Общеизвестна вялость адвокатуры, утратившей веру в возможность что-либо доказать в пользу обвиняемого при расследовании дела. Но ведь вслед за этим непременно наступает важный фильтрующий, контролирующий этап — разбирательство дела в суде. Вот где, казалось бы, должны обнаружиться все изъяны следствия, его натяжки и пробелы, все явные и скрытые злоупотребления должностных лиц.

Увы, из множества публикаций известно, что такой контроль часто отсутствует и суд просто повторяет в приговоре выводы обвинительного заключения. Почему же он не замечает ошибок следователя и прокурора? Почему забывает, что кроме обвинительного есть еще один вид приговора — оправдательный? [1] Где же без конца декларируемая судейская объективность и беспристрастность?

Причин тому много. Из-за культивировавшегося прежде пренебрежения к регулирующим возможностям права, подмены юридических актов волевыми решениями, голым администрированием суд оказался низведенным до уровня обычного управленческого учреждения. Несмотря на ряд серьезных практических мер, принятых в последние годы, наш суд в роли защитника прав человека выступать не в состоянии — он задавлен, принижен, им командуют все, кому не лень: и партийные функционеры (до августовского путча), и местная советская власть, и прокуратура, и МВД, а в последнее время даже толпа на улице. Этот суд боится всех — кого же он может защитить? Разве человек пойдет туда жаловаться на неправильное решение, скажем, исполкома районного Совета, если он знает, что все — от помещения для суда и квартир для судей до талонов на продукты — суд получает от того же исполкома! И «телефонное право» — это не миф, как некоторые пытаются представить, а самая настоящая реальность. Не думайте, что судье грубо диктуют: осудить на столько-то лет или оправдать — нет, сейчас все делается более тонко: не приказывают, а лишь просят «внимательно разобраться в деле», «не спешить с выводами» и т. д. Но услышав по телефону начальственный баритон, судья чутко улавливает все его интонации, ибо фактически он полностью зависит от этого баритона.

Командный стиль по отношению к суду утвердился не только в его контактах с местными органами власти и управления, но проник и в законодательство. В соответствии с законом судьи должны *отчитываться* о своей работе перед избирателями или органами, их избравшими (мы настолько привыкли к этой формуле, что становимся в тупик, когда нас спрашивают, а совместимы ли вообще такие отчеты с независимостью суда). Прокуратура *координирует* деятельность судов, а министерство юстиции до недавнего времени осуществляло организационное *руководство* ими. Где уж тут суду, «обложенному» со всех сторон указаниями и предписаниями, сохранить приличествующую его конституционному статусу независимость! Причем степень давления на суд все более возрастает. Если в 70-х годах лишь 10% опрошенных судей (опрос, естественно, был анонимным) заявили, что подвергались всякого рода незаконным воздействиям, то в начале 80-х годов на это указали уже 25%, а в 1987 г. — больше половины.

Так дальше продолжаться не должно. Суд обязан быть именно Судом — авторитетным, самостоятельным, подлинно независимым. Люди хотят видеть в нем не бюрократическое учреждение, долгое на разбирательство и скорое на расправу, а настоящего защитника их интересов, какое бы важное кресло ни занимал нарушитель, какие бы влиятельные связи ни пускал он в ход.

Чтобы изменить сложившееся положение, нужен комплекс мер — политических, правовых, организационных, материальных. Косметики и раньше было предостаточно, а вот на серьезные преобразования решимости не хватало. Между тем к успеху могут привести лишь радикальные меры, осуществляемые совокупно и одновременно.

Что я имею в виду? Прежде всего — человеческий фактор. Классический вопрос: «А судьи кто?» заставляет более пристально взглянуть на систему подготовки будущих стражей закона. Здесь далеко не все отвечает сегодняшним требованиям. Мне нередко приходится читать копии приговоров, которые граждане присылают вместе с жалобами. Читаешь — и диву даешься. Документ, которым определена судьба человека (и, бывает, на долгие годы), иногда просто невозможно понять — настолько несуразно описаны в нем доказательства, отсутствует логика изложе-

[1] До недавнего времени оправдательные приговоры выносились буквально в единичных случаях. В делах о политических преступлениях (диссидентских и т. д.) их не было вовсе. Сейчас положение меняется. И все же оправдательные приговоры в 1989—1991 годах составили лишь 0,3 процента всех вынесенных судами приговоров. Когда на недавнем симпозиуме в Париже я с гордостью назвал эту цифру (все-таки прогресс!), в зале засмеялись. Вначале я не понял причину. Потом выяснил: французские суды, оказывается, оправдывают более 10 процентов привлеченных к уголовной ответственности. *(Здесь и далее прим. автора)*

ния, наконец, корявый, далекий от правил грамматики язык. Малограмотный судья — более страшный нонсенс трудно придумать. Но такое, к сожалению, встречается. И виной тому не только вуз, но и школа.

Пока школа будет перестраиваться, необходимо установить тщательный, с участием опытных судей и психологов профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в юридические вузы. Часть из них со студенческой скамьи нужно готовить к выполнению нелегких судейских обязанностей. Должна быть значительно усилена специализация будущих судей: сейчас они весьма поверхностно, если не сказать большего, знакомы с формальной логикой, судебной этикой и психологией, юридической социологией и деонтологией, теорией принятия решений и т. д. И, конечно, нужно полностью отказаться от выдвижения на должность судьи юристов, получивших высшее образование заочно. Только дневная, стационарная форма обучения в состоянии дать студенту тот минимум знаний, который позволяет ему приступить к судебной работе. Заочная же подготовка кадров (а сейчас ею охвачено 70% будущих юристов) столь же бесплодна, как заочная любовь: дети от нее не возникают. В данном случае не возникают новые идеи и подходы, навыки распутывать сложные клубки человеческих отношений и поступков, принимать справедливые и юридически безупречные решения.

Далее. Чтобы занять должность судьи, юрист с высшим образованием должен, на мой взгляд, не менее трех лет проработать следователем, адвокатом, судебным исполнителем или по какой-либо другой юридической специальности. Затем ему предстоит сдать особый государственный экзамен. Это должен быть экзамен на жизненную зрелость, нравственную безупречность и, конечно, на умение правильно разбираться в сложнейших правовых ситуациях, которые ставит перед судьей повседневная действительность.

Думается, слишком мал нынешний возрастной ценз для судьи. Когда юноша или девушка 25 лет от роду садится за судейский стол, откуда же тут взяться опыту и знаниям, чтобы решать судьбы других? Не полезнее ли было бы определить минимальный возраст для народного судьи в 30 лет, а для членов вышестоящих судов — 40 лет? [2]

Но вот подобран кандидат, отвечающий всем этим требованиям. Теперь надо официально возвести его в высокий ранг судьи. Речь идет не о формальном акте, а о такой юридической процедуре, которая гарантировала бы будущему судье полную самостоятельность при решении дел, настоящую, а не призрачную декларативную независимость. Если ее не будет, если судья станет постоянно оглядываться на представителей власти, как они реагируют на принятое им решение,— грош цена такому правосудию! [3]

За всю свою долгую историю человечество не смогло придумать сколько-нибудь значительного разнообразия способов формирования судейского корпуса. Отвлекаясь от частностей, все они в конечном счете могут быть сведены к двум: либо назначение судей, либо их выборы. Долгое время у нас господствовал стереотип, что выборы непосредственно населением в наибольшей степени олицетворяют социалистическую правовую систему. Но при этом почему-то забывали, что, например, в большинстве штатов США местные судьи избираются населением. Да и опыт бывших социалистических стран Восточной Европы не подтверждал этого стереотипа. Так, в Польше сперва предполагалось судей выбирать, но в 1976 г. внесли изменение в Конституцию и они стали назначаться Государственным советом. В Венгрии все суды выбирались Президиумом республики, причем без указания сроков полномочий, то есть фактически пожизненно. В Чехословакии выборы всех судов сроком на 10 лет были прерогативой не населения, а парламентов федерации и республик.

Особенно привлекательной казалась в свое время болгарская модель формирования судов. Если в СССР непосредственно населением избирались лишь районные суды, то в Болгарии таким путем избирались не только районные, но и вышестоящие (окружные) суды. Вот на кого бы равняться! И вдруг в 1982 г. болгары принимают закон, на основании которого ни один суд населением не избирается: все судьи получают свой мандат сроком на 5 лет от высшего органа власти страны — Народного собрания. «Вы же сделали шаг назад, отступили

[2] Эти положения я отстаивал в комиссии по подготовке Закона о статусе судей в СССР (принят в 1989 году). Часть из них реализована, например, о сдаче кандидатом экзамена, о необходимости стажа работы по юридической специальности (хотя указанный в законе 2-х летний стаж мне представляется недостаточным). Другие предложения поддержки не получили: об обязательности для судьи очного юридического образования, о повышении возрастного ценза (для всех судей сохранен прежний возраст — 25 лет).

[3] Среди многочисленных проявлений социальной апологетики, которая составляла суть, ядро советской юридической науки, было и утверждение, что главной и самой эффективной гарантией независимости суда является сакраментальная формула: «Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону» (ст. 112 Конституции СССР 1936 г., ст. 155 Конституции СССР 1977 г.). Этим утверждением обычно и ограничивался весь анализ проблемы. Любая попытка хоть чуть-чуть затронуть тему о вопиющем разрыве между официальным лозунгом и реальной практикой немедленно пресекалась цензурой. По этой причине осталась неизвестной широкому читателю в общем-то абсолютно лояльная режиму книга проф. Р. Д. Рахунова «Независимость судей в советском уголовном процессе». Она была с трудом опубликована в 1972 г., но снабжена грифом «для служебного пользования».

от демократии!» — раздались встревоженные голоса. «Нет,— отвечали болгарские коллеги,— мы отказались от видимости демократии, зато сделали судей более самостоятельными и независимыми по отношению к местным органам...».

Вывод ясен: однозначного рецепта, как сконструировать правосудие, нет и быть не может. Все зависит от конкретных условий каждой страны (ее административно-территориального деления, уровня правосознания населения, традиционной престижности суда и т. д.). Но ясно и другое: в прежних условиях, когда подбор кандидатов в народные судьи фактически находился в руках партийного аппарата, выборы населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права служили лишь квазидемократическим оформлением уже состоявшегося решения нескольких руководящих лиц. И даже если бы кандидатов на одну судейскую должность было несколько — все равно при монопольном положении одной партии выбирать приходилось бы из тех, кто заслужил начальственное благословение и, значит, будет стараться быть угодным, иначе долго в судейском кресле ему не просидеть.

Где же выход? Этот вопрос был поставлен в июне 1988 г. на XIX Всесоюзной партийной конференции, которая провозгласила курс на построение в СССР социалистического правового государства. Поскольку правовое государство покоится на теории разделения властей — законодательной, исполнительной и судебной, то судебная власть должна обладать определенной самостоятельностью, быть автономной. И вот тогда на партийной конференции впервые наконец открыто и честно было сказано, что наш суд не имеет той самостоятельности и независимости, которые необходимы для нормального выполнения функции правосудия. Это признание чрезвычайно важно, так как оно сняло табу с обсуждения проблемы о постоянном партийном вмешательстве в деятельность суда и необходимости коренной перестройки всей судебной системы, сложившейся еще в сталинские времена.

Надо сказать, что в официальной печати и раньше встречались окрики в адрес местных партийных руководителей, которые позволяли себе слишком нахально и прямолинейно давать судам указания, как им рассматривать и решать дела. Вскоре после смерти Сталина ЦК КПСС принял даже специальное постановление с осуждением фактов вмешательства Зареченского райкома партии г. Тулы в деятельность прокуратуры и суда (1954 г.). О недопустимости вмешательства в расследование и судебное разбирательство конкретных дел сказано и в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан» (1986 г.). Но в нем же внимание партийных комитетов обращалось «на необходимость усилить политическое руководство правоохранительными органами, осуществлять контроль за их деятельностью». Это внутренне противоречивое и практически невыполнимое требование — руководить и контролировать, не вмешиваясь — отражало традиционный стиль отношения КПСС к суду и другим правоохранительным органам: держать их на коротком поводке, одновременно, ради элементарного приличия, создавая видимость их самостоятельности и независимости. Естественно, что местные партийные руководители всерьез не реагировали на предписания не вмешиваться. Все понимали, что это — одни красивые слова. Когда вся власть принадлежит сцементированному воедино партийно-государственному аппарату, почему же ему не пользоваться этой властью вдоволь и по своему усмотрению? Проблема не сводится к отдельным случаям. Чтобы устранить вмешательство (следствие), надо прежде всего устранить зависимость судей (причину) — эта простая истина только недавно стала общепризнанной.

Итак, XIX партконференция решила, что судьи районных народных судов должны избираться на сессиях областных Советов народных депутатов, а судьи областных судов — на сессиях Верховных Советов соответствующих союзных республик. То есть избирает орган власти, стоящий на одну ступеньку выше, чем суд — чтобы оторвать судей от «мобилизующего и направляющего» влияния местного партийного и советского аппарата. Причем все судьи избираются не на 5, как раньше, а на 10 лет.

Такое решение, конечно, не более как паллиатив, однако это был все-таки маленький шаг вперед. Но когда в октябре 1988 г. в печати появился для всенародного обсуждения проект Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР, то все увидели, как бесцеремонно авторы проекта отступили от резолюции партконференции: проект предлагал избирать суды органам власти того же уровня, то есть районные суды — районными Советами, областные суды — областными Советами. В отношении областных судов это топтание на месте, в отношении районных — шаг назад по сравнению с прежним избранием их непосредственно населением. Итак, на самом «верху» сочли возможным не посчитаться

с решением партконференции и поставить суд в полную зависимость от местного Совета, да еще такого, который, по замыслу, будет возглавляться человеком, концентрирующим в своих руках и партийную, и советскую власть. Да ведь это означало бы полное закабаление суда! Тогда был целый шквал гневных выступлений против в печати, на радио и телевидении. В результате удалось вернуться к рекомендации партконференции. Это хорошо. Но сам эпизод — яркая иллюстрация того, как у нас относятся к созданию подлинно независимого суда: его не хотят, его боятся, потому что сильный, авторитетный суд станет серьезной помехой на пути всякого всевластия — партий, советов, депутатов, исполкомов, мэрий и т. д., не позволит обходить законы. В этом эпизоде проявилась недооценка (а, может быть, просто нежелание?) истинно правового государства.

Но вернемся к способам обеспечения судейской независимости. Утверждают, что теперь, когда судьи будут избираться на 10 лет, их независимость перестанет быть иллюзорной. Очень сомневаюсь в этом. Такая система до недавнего времени существовала, например, в Чехословакии, но судьи никогда не чувствовали себя там независимыми. Срабатывала психологическая установка: полномочия даны судье лишь на определенное время, а дальше — как повезет.

В 1987 г. в одной из журнальных публикаций я предложил другой порядок формирования судов — назначение судей пожизненно, точнее, до достижения определенного возраста (65 или 70 лет). Всех судей, действующих в республике, будет назначать Верховный Совет соответствующей республики, судей Верховного Суда СССР — Верховный Совет СССР (или Президент). Назначаться они должны по представлениям квалификационных коллегий судей, образованных в соответствии с Законом о статусе судей, и министров юстиции Союза и республик. Судьи должны пользоваться правом несменяемости. Они не могут быть освобождены от должности, кроме случаев, точно оговоренных в законе (совершение преступления, тяжелая болезнь, желание перейти на другую работу и т. д.).

Предложив такой порядок, я не изобрел ничего нового. В большинстве стран мира судьи назначаются пожизненно главой государства. Иногда этому предшествует конкурс (Греция, Бразилия) либо рекомендация высшего совета магистратуры (Франция, Италия), сената (США, Бельгия), лорда-канцлера (Великобритания). Бывает, что назначение или выборы зависят от ранга суда, в котором открывается вакансия. В январе 1991 года мне довелось беседовать с сенатором Эдвардом Кеннеди, в то время возглавлявшим юридический комитет сената. На вопрос, что он считает главным для независимости судей, Кеннеди, не задумываясь, назвал их пожизненное назначение и несменяемость. Я напомнил ему, что во многих штатах судей избирают на определенный срок, на что он отреагировал: «Да, это неизбежные издержки демократии. Зато в моем родном штате Массачусетс все судьи назначаются губернатором пожизненно». Не буду ссылаться на колоссальный авторитет и реальную власть членов Верховного суда США, назначаемых пожизненно президентом с согласия сената,— это общеизвестно.

Нередко спрашивают: где гарантии, что пожизненно назначенный судья обязательно будет компетентным, умным, справедливым? На это я отвечаю: таких гарантий нет, как нет их и для любой другой должности или профессии. Но необходимо еще и еще раз продумать механизм подготовки, отбора и назначения судей, чтобы ошибки свести до минимума. Возможно, первые 3 года после назначения будут для судьи как бы испытательным сроком. Если он не зарекомендует себя должным образом, то Верховный Совет (Президент) вправе в этот период сместить его с поста. Ну, а если испытание выдержано, значит, судью ожидает прочное и стабильное, ни от кого не зависимое высокое должностное положение.

Когда я излагаю свои идеи о радикальной судебной реформе, то нередко слышу упреки в том, что, с одной стороны, обижаю честных судей своими обобщениями о неспособности их противостоять давлению, а с другой — идеализирую их, предлагая назначать пожизненно.

Что на это ответить? Конечно, есть честные и неподкупные судьи, и их огромное большинство. Однако убежден: сейчас выявление недостатков в сфере правосудия, пусть даже гипертрофированное, полезнее, чем прежняя лакировка и попытка выдать плохое за «отдельные эксцессы». Да, есть честные судьи, и среди них, например, народный депутат СССР Кудрин, который оставил судейское кресло и ушел разгружать вагоны, потому что не захотел подчиниться партийному диктату и несправедливо наказать людей за несанкционированный митинг. Но неужели такой поступок должен стать нормой? Не лучше ли в корне изменить ситуацию и дать судьям реальную возможность решать по закону, по совести, не боясь вызова «на ковер»?

Относительно профессионализма судей

у меня нет никаких иллюзий. Надо резко повысить качество юридического образования, которое для судей, как уже говорилось, должно быть только очным. Стыдно, когда выпускник-заочник, будущий судья, не может ответить на вопрос, какая разница между Верховным Судом и Верховным Советом. Стыдно читать безграмотные приговоры. Но ведь, повторяю, нужно сделать так, чтобы судьи до назначения проходили многоступенчатую процедуру отбора, тщательной проверки. И утверждать судей Верховный Совет должен со всем вниманием и пристрастием, персонально каждого и в таком же порядке, как он утверждает министров.

Разумеется, пожизненное назначение на должность предъявляет к кандидату в судьи очень высокие, по сути эталонные требования. Можем ли мы сейчас найти достаточное число судебных работников такого уровня? Видимо, нет. Но ведь ниоткуда не следует, что переход от системы выборов к системе назначения должен быть осуществлен повсеместно в один день. Для этого потребуется определенное время, в течение которого будут параллельно функционировать обе системы. Постепенно, по мере подготовки и переподготовки кадров, пожизненное назначение судей станет преобладающим, а затем и единственным способом комплектования состава судов.

Предвижу «гвоздевой» вопрос: предположим, судье удалось пройти все испытания, но потом выяснилось, что он все же недостаточно образован, груб и вообще тугодум, неужели до конца жизни он останется на своем посту? Вопрос непростой. Да, согласен, какое-то число судей — пусть это будет 3—5 процентов — могут оказаться плохими. Но с этим придется мириться ради того, чтобы остальные 95—97 процентов были на высоте положения, вершили суд только по закону, убеждению и совести, защищали интересы граждан, искореняли несправедливость. В таком непростом деле издержки неизбежны — слишком большие ценности лежат на весах правосудия.

Когда четыре года назад я выступил в печати с предложением назначать судей пожизненно, никто меня не поддержал. Слишком глубоко укоренилось в сознании, что только выборы на определенный срок соответствуют социалистической идее. Но шло время, менялись представления. Социалистическая идея в том виде, в каком ее пытались внедрить на одной шестой части суши, оказалась скомпрометированной до основания и утратила значение ориентира общественного развития. Серьезнейшие поправки в прежние взгляды внесла практика выборов народных и областных судов, которые начались в середине 1990 года. Начались, но... в ряде мест до сих пор не закончились. В чем же дело? Судей выбирали, естественно, по правилам нового закона, то есть того, который, как я уже отмечал, внес в декабре 1988 года дополнения и изменения в Конституцию СССР. И когда на сессиях областных Советов народных депутатов стали обсуждать кандидатуры судей районных судов, то выяснилось, что эта процедура отнюдь не демократична. Депутаты не всегда прислушивались к мнению квалификационных коллегий судей, безмотивно отводили кандидатов, ставили перед ними условия, неприемлемые для судей (например, закончить к определенному сроку рассмотрение конкретного дела, вынести решение, благоприятствующее одной из сторон в деле, применить не этот закон, а другой), давали свою оценку уже принятым решениям и т. п. Вмешательство в судебную деятельность было настолько серьезно, а протестующая реакция судей столь взрывоопасна, что в ряде мест, в том числе Москве и Ленинграде, руководство Советов решило приостановить выборы и дать возможность судьям прежнего состава продолжать работать. В этой ситуации предложение назначать судей пожизненно высшим органом власти уже перестало казаться таким бессмысленным и одиозным. У него появляется все больше и больше сторонников. Оно нашло поддержку, к примеру, в проекте Конституции Российской Федерации, в резолюции I Всероссийского съезда судей (октябрь 1991 года), а также у руководства Верховного суда СССР и Верховного суда РСФСР. Надеюсь, что в скором времени идея пожизненного назначения судей восторжествует не только в общественном сознании, но и на практике. Это будет чрезвычайно важной вехой на пути становления действительно независимой, сильной и авторитетной судебной власти.

Я не случайно написал «вехой». Да, это будет именно вехой, то есть позитивным знаком, отметиной, но вовсе не завершением многотрудного и разнопланового процесса конструирования судебной власти. Независимость для суда — не самоцель, а лишь необходимое условие достойного выполнения возложенной на него функции. А вот какова эта функция, что именно ждут от суда, каковы масштабы его деятельности — это главные вопросы, когда речь заходит о судебной власти. Если суду доверено лишь рассмотрение дел о гражданских спорах и о возможных уголовных преступлениях, то есть та материя, которую мы традиционно называем осуществлением правосудия, то независимость, конечно, нужна и здесь — без нее наивно ожидать

от суда объективного и беспристрастного решения судьбы обвиняемого или спора между истцом и ответчиком. 70 лет советский суд худо-бедно (скорее худо) занимался разбором конкретных гражданских и уголовных дел. И никому не приходило в голову называть это судебной властью. Такого понятия просто не было в нашем политическом и научном лексиконе.

Но когда после долгих лет самоизоляции мы наконец поняли, что приобщиться к мировой цивилизации можно, только усвоив и приняв за точку отсчета общечеловеческие ценности, что одной из таких ценностей является концепция правового государства, что суть этой концепции — разделение всей власти на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную, что эти ветви должны быть самостоятельными, но в то же время взаимосдерживающими и взаимокорректирующими,— вот когда посттоталитарное общественное сознание восприняло эти идеи как свои собственные, тогда мы вплотную подошли к необходимости дать исчерпывающий ответ на вопрос, из каких же элементов состоит судебная власть и как «встроить» ее в систему нашей сегодняшней государственности.

В конце 1990 г. Верховный суд страны и Институт государства и права Академии наук СССР задумали провести научно-практическую конференцию. Долго ломали голову, как сформулировать ее тему. Предложение ученых — «Проблемы становления судебной власти в СССР» судьями было отвергнуто: что значит «становление», разве сейчас у нас нет судебной власти, разве не ее мы представляем? Кончилось тем, что слово «становление» из названия конференции было выброшено. Росчерком пера судебная власть из эмбриональной превратилась в оформленную, зрелую. Если бы так просто все происходило в реальной жизни...

Судебную власть как одну из основных структур правового государства нельзя сводить к рассмотрению конкретных дел. Такой подход себя изжил. Он был ориентирован на прежний суд, послушно выполнявший все указания партаппарата и не игравший никакой серьезной роли в театре абсурда, сценой которого, по несчастью, оказалась вся страна. Настоящая судебная власть может возникнуть в результате приобретения судом качественно новых функций, отнюдь не сводимых к правосудию. В контексте системы сдержек и противовесов судебную власть характеризует не столько правосудие (в традиционном смысле), сколько юридическая возможность оказывать активное влияние на решения и действия законодательной и исполнительной властей, «уравновешивать» их. Вот эти-то полномочия, когда они предоставлены суду, превращают его в мощную стабилизирующую силу, способную защищать права и свободы граждан, оберегать общество от разрушительных социальных конфликтов.

К сожалению, о судебной защите у нас пока много риторики, а дела фактически нет. Когда в 1977 году приняли довольно неплохую Конституцию СССР, то в ней оказалась одна очень важная для каждого из нас статья (58-я). Она впервые разрешила гражданам жаловаться в суд на действия должностных лиц, ущемляющие их права. Жалуйтесь, пожалуйста! Правда, было только одно условие: подавать жалобы «в установленном законом порядке». А закона такого нет... Знаете, сколько времени его писали? Ровно десять лет! Десять лет люди не могли воспользоваться правом, которое они имели, если, конечно, верить Конституции. А когда в 1987 году закон все же приняли, то он оказался столь ущербным, что уже спустя три месяца в него внесли существенные поправки. Но и это не исправило уродца. В 1989 году прежний закон отменили и вместо него утвердили новый. Вы думаете, лучший? Отнюдь. Произошло то, что обычно происходит при классической торговой операции, в просторечии именуемой «обменом шила на мыло». И в новом законе откровенно сказались консерватизм мышления, боязнь перемен, подогреваемые чиновничьими амбициями. Как это передать суду споры, которые испокон века разрешались самими ведомствами? Это же лишняя огласка внутренних проблем, подрыв авторитета органов управления, покушение на их самостоятельность! Так считали и продолжают считать многие депутаты-хозяйственники, особенно руководители предприятий военно-промышленного комплекса. И это мнение буквально блокировало работу комиссии, вынужденной вместо детальной шлифовки законопроекта заниматься бесконечными увязками и согласованиями.

Разумеется, закон от 2 ноября 1989 года «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан» приоткрыл людям путь к судебной защите от произвола и волокиты. Но только приоткрыл. Вне судебного контроля остаются действия и решения руководства предприятий, вузов, больниц и т. д., ибо они не относятся к органам государственного управления. Нельзя жаловаться в суд на нормативные акты министерств и ведомств (инструкции, правила и т. д.), хотя они затрагивают интересы отдельных лиц, на незаконные решения общественных объединений, в том числе политических партий,

на правительственные распоряжения [4]. Прежде чем обратиться в суд, надо, видите ли, обязательно подать жалобу начальнику того должностного лица, на кого жалуешься. Да и пошлину придется платить, если вздумаешь жаловаться в суд. В общем, совсем непросто воспользоваться своим конституционным правом на судебную защиту. Думаю, именно из-за этих неоправданных ограничений течет в суды малюсенький ручеек жалоб вместо огромного потока, который со страхом ожидался после провозглашения в Конституции права каждого на жалобу в суд. Можно, конечно, пофантазировать и предположить другое: чиновники стали уважительнее относиться к людям, меньше шпынять их, кормить «завтраками». Только уж слишком фантастична эта ненаучная фантастика...

Я убежден: по какому бы поводу ни возникало явное или еще не прорвавшееся наружу напряжение между гражданином, обществом и государством — заключение человека под стражу, обыск или осмотр в его жилище, ограничение свободы передвижения, выезд из страны или въезд в нее, отказ в регистрации партий и иных общественных объединений, приостановление или запрещение деятельности средств массовой информации, запрет митингов и демонстраций, нарушение предпринимателями договоров, споры по поводу регистрации кандидатов, проведения и итогов выборов — во всех этих и во многих других случаях единственным арбитром между спорящими сторонами должен выступать суд. Мне кажется, что Конституция государства, в котором нам предстоит жить и которое, надеюсь, будет стремиться стать правовым, должна содержать общее правило: любые решения и действия любых государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, ущемляющие права граждан, могут быть обжалованы в суд. Возможность беспрепятственно обращаться в суд за защитой от любых актов исполнительной власти — первое условие всякой свободы.

Как бы внешне благоприятно ни обставлялась для граждан возможность обжаловать решение должностного лица в вышестоящий орган управления (удобные часы приема, мягкие кресла для посетителей, вежливый клерк, принимающий жалобу и выдающий расписку на фирменном бланке с печатью, и т. д.), отношения, складывающиеся в результате подачи жалобы, всегда будут оставаться административно-правовыми, то есть такими, в которых на одной стороне гражданин со своими бедами, а на другой — орган административный, управленческий, нередко орган государственной власти. Надо ли говорить, что гражданин чувствует себя далеко не уверенно, обращаясь с жалобой к начальнику того, чье действие или решение он считает незаконным. А рассматривающее жалобу начальство не очень-то склонно признавать ошибку, допущенную работником подчиненного ему (и руководимого им) аппарата. Вот и идет поток жалоб по восходящей, порождая справедливые нарекания и отнимая уйму времени у самых различных инстанций.

Другое дело — подача жалобы в суд. Судебное разбирательство имеет огромные преимущества перед административной проверкой. Независимость суда (пусть пока й очень относительная), отсутствие у судей какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, широкая гласность обсуждения, устное и непосредственное исследование всех доказательств — общепризнанные достоинства судебной процедуры. Гражданин и орган управления (должностное лицо) предстают перед судом в качестве сторон, имеющих равные процессуальные возможности доказывать правильность своих утверждений и оспаривать доводы противоположной стороны. Не робкий спор униженного «просителя» с всесильным хозяином служебного кабинета, а открытое состязание равноправных участников судебного разбирательства. Добавьте к этому возможность участия в суде прокурора и адвоката — и картина будет полной. Ясно, что именно судебный контроль может стать серьезнейшим заслоном от бюрократических извращений, задевающих права и законные интересы личности. Но пока, к сожалению, этого еще не произошло...

Что касается судебного контроля за законодательной деятельностью, то здесь у нас полный вакуум. Никакого влияния на законотворчество судебная власть не имеет и при нынешнем положении суда иметь не может. Это там, у них, в Соединенных Штатах, конгрессмены, разрабатывающие законопроект, постоянно прикидывают в уме, как к этому закону отнесется могущественная «девятка» — члены Верховного суда США. Учитываются все личные качества каждого верховного судьи: его политическая ориентация, симпатии и антипатии, голосование по

---

[4] Что касается последних, то хочу напомнить мытарства генерал-майора О. Калугина, тщетно пытавшегося с помощью этого закона защитить себя от Президента, руководителей Совмина и КГБ, необоснованно лишивших его государственных наград, воинского звания и пенсии. Ему, народному депутату СССР, удалось дойти до высшей судебной инстанции – Пленума Верховного суда страны, но решение было не в его пользу. Сказались и несовершенство закона, и робость судей. Лишь августовские события заставили власти предержащие восстановить опального генерала во всех правах. К сожалению, суд не имел к этому никакого отношения.

предыдущим решениям, черты характера и даже цвет кожи. Ибо от Верховного суда в конечном счете зависит быть или не быть закону. Судьи могут согласиться с ним или признать его неконституционным со всеми вытекающими из этого последствиями.

У нас же все попытки установить контроль за законотворчеством привели лишь к учреждению Комитета конституционного надзора СССР, роль которого, как показал полуторагодовой опыт, свелась к публикации чисто символических «заключений», ни для кого не обязательных. Кроме того, само существование этого комитета в условиях разваливающегося прежнего Союза поставлено под сомнение. При таких обстоятельствах представляются очень перспективными три важных положения, предусмотренных проектом Конституции Российской Федерации. Первое. Учреждается Конституционный суд, члены которого назначаются Верховным Советом по представлению Президента России [5]. Они несменяемы и увольняются в отставку по достижении возраста, установленного законом. Второе. Законы Верховного Совета, указы Президента и нормативные акты Совета министров, признанные Конституционным судом не соответствующими Конституции, утрачивают силу со дня опубликования решения Конституционного суда. Третье. Если суд (любой суд, в том числе районный) при рассмотрении конкретного гражданского или уголовного дела признает, что закон, который надо применить, противоречит Конституции, он приостанавливает производство по делу и вносит в Конституционный суд представление о признании этого закона неконституционным. В последнем случае не совсем ясен механизм действий суда (в частности, как долго производство может быть приостановленным, особенно если подсудимый находится под стражей), но важно подчеркнуть другое: впервые суд юридически и фактически становится органом, контролирующим законодателя, впервые законодателю придется считаться с мнением суда. Это существенно еще и потому, что полномочия Конституционного суда России сформулированы в проекте более радикально, чем полномочия, которыми располагал Комитет конституционного надзора СССР. А вообще-то, на мой взгляд, для контроля за качеством законов вовсе не обязательно создавать специальный конституционный суд. Эту функцию успешно мог бы выполнять, подобно американской модели, Верховный суд республики.

Есть у меня голубая мечта — дожить бы до того дня, когда Президент моей страны, вступая в должность, станет давать клятву верности народу на Конституции, которую будет держать в руках Председатель Верховного суда. Дожить бы...

---

[5] Такой суд избран Съездом народных депутатов РСФСР в октябре 1991 года.

ТОНИ ПАРКЕР

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Интервью с двенадцатью убийцами

Фрагменты

Перевод с английского О. АЛЯКРИНСКОГО

Абсолютно нормальный, самый обыкновенный человек: Пол Эрроусмит

Это абсолютно нормальный, самый обыкновенный человек,— говорил мне его надзирающий инспектор [1],— на улице пройдете мимо него — не заметите. Он убийца, освобожден из тюрьмы по ордеру [2] чуть меньше года назад. Если, допустим, вы кому-то скажете: вот этот парень, который едет с вами в автобусе,— убийца, вам никто не поверит...

Он был высокого роста, хорошего сложения, у него бледное лицо, короткие светлые волосы и карие глаза. Одет в полинялую голубую футболку в полоску, старенькие кроссовки и заплатанные джинсы. Он сидел в кабинете надзирающего инспектора в вертящемся кресле и во время нашего разговора медленно поворачивался то влево, то вправо, обхватив затылок ладонями и широко расставив локти.

— В прошлую субботу я проснулся утром часов в семь. Мы остановились в небольшом загородном мотельчике. Дженнифер еще крепко спала. Я решил ее не будить: накануне ей всю ночь пришлось сидеть за рулем. Я оделся и спустился вниз. Там еще никого не было, ни в баре, ни в вестибюле. Я отпер входную дверь и вышел на воздух. Там так было здорово: прозрачный свежий воздух, чистое небо, солнышко сияет. Я пошел по проселку до моста, перешел через него, потом взял вправо по тропинке вдоль речки. Шел я по лесу — вокруг птички поют, потом через луг с овцами, потом на холм взобрался и спустился по откосу с другой стороны к озеру — верно, Дервентвотерскому. Потрясающий вид открылся: никогда в жизни ничего красивее не видел. Небо голубое — ни облачка, а воздух можно на вкус попробовать. Чистый, свежий, казалось: возьми и пей. Вокруг озера горы отливали зеленым, коричневым и серым, отражались в воде — неподвижной, плоской, блестевшей в лучах солнца. Очень красивый пейзаж, просто замечательный, как в книжке.

Но мне было как-то не по себе, меня даже дрожь пробрала да потом прошибло. Потому что я вдруг подумал: Господи, что же я ему скажу во вторник? Как я буду об этом рассказывать? Вот так просто, словно я какой-то хладнокровный бессердечный человек, так и буду говорить — спокойно, как ни в чем не бывало, словно во мне ничего человеческого не осталось. Вот такое чувство меня весь уик-энд преследовало.

Погода была отличная и в субботу, и в воскресенье. Мы ездили кататься по здешним местам. Дженнифер все останавливалась то там, то здесь, мы вылезали из машины, гуляли. Она все время повторяла: как красиво, как красиво — здорово, как никогда. А я для нее был неподходящим кавалером. За эти два дня почти ни слова не проронил. Она знала, что у меня бывают периоды депрессии и все понимала, и как обычно ничего не говорила — ни вопросов не задавала, ни объяснений не требовала. А я думал только о том, что сегодняшний день все ближе и ближе. И все повторял про себя: Господи, как же я это расскажу? Ну да ладно, ладно. Вот мы сидим, вот оно и наступило. Это я хотел вам сказать в самом начале, чтобы груз с души снять. А теперь давайте начнем.

Начать, с чего хочу? Ладно, мне тридцать пять лет, во мне шесть футов росту, начинаю полнеть в талии, у меня светлые волосы, каре-зеленые глаза, на мне старая футболка, поношенные джинсы, на ногах весьма непрезентабельные кроссовки. Я работаю клерком в одной конторе и сегодня у меня выходной. Когда я хожу на службу, я надеваю чистую рубашку, галстук, костюм — я их ненавижу, потому что не привык к такой одежде и, как только возвращаюсь домой, тут же переодеваюсь во что-нибудь более привычное — вроде того, что на мне сейчас. Я уже два года как из тюрьмы вышел — или пять месяцев, смотря что понимать под нахождением в тюрьме. Два года назад я все еще сидел в камере, но потом меня перевели в общежитие [3], где я должен был находиться вплоть до самого дня освобождения. Я ходил на службу из общежития и вечером туда же возвращался. И вот пять месяцев назад меня освободили вчистую. Я переехал из общежития в собственную квартиру.

Вот так и живу. Не знаю, интересно ли вам слушать про тюрьму и общежитие — я лучше о чем-нибудь другом расскажу. О работе. Я работаю, значит, клерком в небольшой инженерной фирме. Там не очень много платят, но работа нетрудная: перекладываю бумажки, входящие-исходящие, веду картотеку и кое-что еще в том же духе. Место для меня нашло тюремное начальство, как только я переехал в общежитие. В нашей конторе рабо-

© Tony Parker, 1990

[1] Должностное лицо министерства внутренних дел, осуществляющее надзор за условно освобожденными осужденными. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Освобождение по ордеру — производится досрочно по специальному решению (ордеру) министерства внутренних дел.

[3] Имеется в виду «открытая тюрьма» — место жительства осужденных, где они содержатся в ожидании даты полного освобождения. Они могут устраиваться на работу, но обязаны ночевать в общежитии.

тает шесть человек. Менеджер — мужчина лет пятидесяти, который всем там руководит, четыре замужние женщины — они работают неполную неделю — и я. Кто из них в курсе, откуда я взялся и какое у меня прошлое — что я получил пожизненный срок и тэ дэ и тэ пэ,— я не знаю. Иногда мне кажется: никто ничего не знает. Они такие веселые, приветливые, держатся со мной вполне естественно, а то вдруг бывают дни, когда в конторе чувствуется какое-то напряжение — то ли из-за меня, то ли еще из-за чего-то, кто их разберет. Это, кстати, характерно для всех пожизненников: если что не так, или почувствуешь к себе враждебность на работе, или в автобусе, или в магазине — так первая твоя мысль: это все из-за меня, они все видят печать Каина у меня на лбу. Или Авеля? Нет, кажется, правильно — Каина.

Господи, какую чушь я несу! Мой надзирающий инспектор сказал мне однажды, что я люблю почесать языком, да все впустую. Я у него каждую неделю отмечаюсь. Кроме этого пожизненного срока у меня не было судимостей. Нет, если говорить точнее, то одно дело за мной все же есть — не очень серьезное, я тогда еще был подростком. А может, если уж быть предельно точным, то это только я так считаю, что это не слишком серьезное преступление, но кто-то, наверное, посмотрит иначе. Случилось это девятнадцать лет назад — мне тогда было шестнадцать. Как и многие мальчишки в этом возрасте, я любил похулиганить — особенно если в компании с друзьями. Мы с ума сходили по мотоциклам: я не мог ни спать, ни есть, ни думать ни о чем — только о мотоцикле. В конце концов меня задержали на улице за езду без номеров, а потом через неделю еще раз — за то, что угнал мотоцикл и ездил на нем без прав, без страховки; словом, меня засадили на три месяца в колонию для несовершеннолетних, после чего дали три года условно.

Мой надзирающий инспектор оказался хорошим человеком, он меня научил уму-разуму: заставил пройти курс автодела, сдать экзамен на права, а потом определил на курсы телемехаников и нашел мне работу в фирме по прокату телевизоров. Я был подростком-преступником, который осознал свои провинности, получил шанс искупить вину и — исправился.

Господи, что-то у меня ничего не выходит. Я хочу сказать, что кроме этого проступка, который можно считать чистой случайностью — ну, оступился мальчишка, с кем не бывает — да, так вот, в моей биографии нет ни одного намека на то, что потом со мной произошло. Я однажды в тюрьме прочитал книгу про убийц — в тюрьме всегда много времени для чтения. Там было написано, что почти у каждого из них в прежней жизни было нечто такое, что неизбежно подводило их к преступлению. Можно было даже проследить, как все к этому шло. Но ко мне это совсем не подходит. Вы бы ни за что не сказали, что убийство было как-то предопределено — нет, ни за что. Вот почему это было таким шоком. Да и теперь еще — шок, для меня то есть. Теперь, когда прошло уже тринадцать лет и я об этом вспоминаю, я не могу понять, как все случилось. Словно это было не со мной, а с кем-то другим. И я задаю себе вопрос: «Как же он мог такое сделать?» И только потом понимаю, что «он» — это я сам. Но мне-то кажется, что это вовсе не я, а «он», какой-то «он». Господи, как же это трудно... Можно, я подумаю минутку, соберусь с мыслями?

Ладно, ладно, давайте попробуем снова. Я попробую подойти с другого конца. Детство. Ребенок — это зеркало взрослого человека, так говорят? Детство... что же мне сказать о детстве? Я родился в Суиндоне, там пошел в школу...

Нет, что-то опять не так. Ну же, парень, давай! Может быть, все не так уж и ужасно, как кажется, но могло бы получиться и лучше. Давайте представим себе, будто мы два приятеля, сидим где-нибудь в пабе, пьем пиво и беседуем. Мы давно не виделись. Я спрашиваю, чем вы теперь занимаетесь — и вы мне рассказываете. Потом вы меня спрашиваете — ну, просите рассказать о моей жизни. И я вам рассказываю — просто, без всяких там выкрутасов, свою историю. И что же я вам говорю? А вот что.

Тринадцать лет назад мне было двадцать три года, и я монтировкой забил до смерти человека. Я его совсем не знал, мы не ссорились, не дрались, я никогда не встречался с ним до того случая, и вообще он жил в своей комнатенке на первом этаже в том же доме в Нортхэмптоне, где и я снимал комнату, только в другом крыле. Как его звали, я и сейчас не знаю, не знаю, сколько ему было лет — наверное, мой ровесник. И я его убил только потому, что у меня под кроватью стоял старый чемодан, где я держал все свои вещи. Там была какая-то одежда, ботинки, гаечные ключи, отвертки — ну, в общем, обычный хлам, который всегда под рукой у работяги. Всю неделю до того я работал на стройке в соседнем городке и в пятницу вечером пошел, как обычно, посидеть в баре. Может быть, я слегка перебрал в тот вечер. Но ведь это не оправдание. Если я и напился, так не в первый же раз, я все помню, что делал тогда — что уж тут отрицать. Когда я вернулся домой, было уже часов десять, ну, может, чуть позже. Не помню, зачем, но мне вдруг захотелось достать из чемодана разводной ключ, который я накануне купил. Смотрю: нет ключа. И в ту же самую секунду я понял, кто его стащил — сукин сын из той дальней комнаты. Конечно, он ко мне ни разу не заходил, я ему этот ключ не показывал и не говорил, что купил его. Но тогда я об этом просто не подумал. Я был уверен, что он-то его и украл. Я вытащил монтировку из чемодана и пошел по коридору к его двери.

Дверь была незаперта, я ее распахнул, вошел и включил свет. Он лежал на кровати спиной ко мне и крепко спал. Я не стал его будить, не стал ничего выяснять о своем ключе, а просто взял и ударил его по голове этой железной штуковиной и потом еще раз и еще, не знаю, сколько раз, но, кажется, на суде сказали, что я ему нанес более дюжины ударов.

Потом я пошел в уборную и там меня вырвало. Я мгновенно протрезвел. Все руки у меня были в крови. Я смыл кровь, вернулся к себе, переоделся. Потом сел в кресло и уснул как убитый. Несколько раз я просыпался и засыпал, а наутро снова пошел туда — убедиться, что мне это все не приснилось. Нет, не приснилось. Он был мертв, с размозженной головой, вокруг все в крови: лицо, голова, постель, стены. Я выдвинул два ящика в комоде и разбросал одежду по полу, потом раскрыл его чемодан и все оттуда вытряхнул — чтобы все выглядело как ограбление.

Все утро я не мог себе места найти. Просто слонялся по городу, словно в бреду. Помню, увидел где-то рекламный щит с приглашением на праздник в какое-то загородное имение. Потом выпил пива в пабе, помотался еще немного по городу, да и поехал туда.

Там все было как это обычно и бывает на таких праздниках: толпы народа, лотерея, лотки с сувенирами, карусели, циркачи, катание на пони, детская железная дорога и еще, кажется, воздушный шар. Светило солнышко, люди веселились, родители покупали детям мороженое, все галдели, смеялись. Помню самый веселый аттракцион: актеры, переодетые пушистыми зверями, в смешных масках и колпаках. Кажется, это представление называлось «Уимблдонские чудаки». Я стоял в толпе детей и смотрел вместе с ними. И вдруг почувствовал, что мое лицо все мокрое от слез: я плакал! Больше я там оставаться не мог. Я вернулся в город и поехал к себе. Решил проверить еще раз и пошел туда. Я только заглянул к нему в комнату — все было так, как я оставил. Он все еще лежал на кровати весь в крови, ящики были выдвинуты и вещи раскиданы по полу. Внизу в вестибюле был телефон-автомат. Я пошел и позвонил в полицию. Я им сказал, что только что вернулся и что, кажется, в соседней комнате была драка и ограбление и что кто-то лежит там сильно избитый. Мне сказали, чтобы я ничего не трогал, возвращался в свою комнату и ждал полицию.

Они приехали и повезли меня в отделение, усадили в кабинете, дали чаю и начали задавать вопросы. Потом вошли двое в штатском, и один из них сказал: «Это ведь ты сделал, парень?» Я кивнул и ответил: «Да, я». Вот и все. Больше мне добавить нечего.

— Я думал, что мне будет легче, если я вам все сразу выложу, как вчера. Но что-то лучше не стало, в том смысле, что душу я не облегчил. Но как бы то ни было, все самое ужасное вы уже знаете, так что остальное не важно. Во всяком случае, теперь мне не так что бы очень об этом страшно вспоминать — вот что я вам скажу. Рассказать кому-то, каким зверем ты был, как вел себя, словно маньяк-убийца, даже если это случилось с тобой очень давно, все равно это не меняет дела, потому что всю оставшуюся жизнь я буду думать об этом. Я уж давно потерял всякую надежду понять, почему же я это сделал. Но теперь меня больше тревожит другой вопрос, на который я не могу себе ответить — а именно: смог бы я снова такое совершить? И если честно, то тут может быть только один ответ: не знаю. Но что я точно знаю, так это то, что жить с этой мыслью очень и очень тяжело. И хватит рассказывать об этом. Если честно, то должен сказать, что это не просто тяжело, а невыносимо тяжело.

Когда я вчера вернулся в свою конуру и вспоминал о нашем разговоре, я вспомнил, что, кажется, сказал вам, что в тот вечер пил и перебрал — но ведь это не оправдание. Я когда говорил об этом, я имел в виду, что, мол, да, это не оправдание, но причина! Но и это ерунда. Никакая это не причина! Тысячи, десятки тысяч мужиков напиваются в пятницу вечером. Но ни один из десяти тысяч, из ста тысяч не возвращается домой и не забивает незнакомого человека насмерть. Может быть, в подобных обстоятельствах другой пошел бы к нему, разбудил и спросил: «Ты почему, гад поганый, украл мой разводной ключ?» Вот так. Но это ведь не то, что я сделал. Вот что ужасно. Ну, вот видите, я опять за свое. Постой, парень. Надо вот что сказать: не просто ужасно это, а невыносимо ужасно.

Да, вот еще что мне вчера пришло в голову. Я стал думать, как часто происходят такие вещи, ну хотя бы что-то похожее. Я вам сказал, что не знал человека, которого убил, и, может быть, он вел такую же неприкаянную бродячую жизнь, как и я. Мне кажется, он был ирландец. Не знаю почему, но мне так кажется. Я стал вчера вечером об этом думать и решил, что все могло случиться как раз наоборот. Знаете, ведь на его месте мог и я оказаться — меня мог убить незнакомый человек. Во время следствия в газетах обо мне не написали ни строчки — это дело просто не заметили. В суде я признал себя виновным, и все дело решилось в две минуты. В зале никого не было кроме полицейских и юристов. Ни врачей, ни свидетелей, медицинское заключение даже не зачитывали. Меня во время следствия освидетельствовал психиатр, когда я сидел в КПЗ. Он сказал, что не обнаружил никаких признаков отклонения от нормы. Я был абсолютно здоров психически и полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Вот так. Случившееся было самым заурядным делом. Я долго вчера не мог заснуть, все думал: как же такое ужасное дело — человек убил человека — могло остаться незамеченным, как же о нем все так быстро

забыли, будто ничего не произошло. Когда я об этом думаю, мне дико, просто дико.

Но знаете, вот даже теперь я-то об этом рассказываю, а о нем ведь никто и не вспомнит. Только подумайте: ведь его судьба мало чем отличается от моей.

После того как я освободился после первой отсидки, я ушел из дома и закрутил с одной девчонкой, мы вместе мотались по всей округе. Я даже не знаю, знали ли ее родители, где она, что она, но мои — точно не знали. Потому что я не удосуживался сообщать им о себе, я им даже не звонил. Однажды, я уж теперь и не припомню, когда и где, я узнал, что моя мать умерла — мне об этом сообщил малознакомый человек. Я поехал домой. Только из этого ничего хорошего не вышло. Еще мальчишкой я знал, что мать с отцом не ладили, но это не помешало отцу отругать меня за то, что я был к ней невнимателен. Целый год они не знали, что со мной, и она очень переживала. Он говорил об этом, словно хотел взвалить на меня всю ответственность за ее смерть. Наверное, то, что я говорю, покажется жестоким. Если так, то поймите: это все от того, что в нашей семье никогда не было особенной любви и привязанности. А очень скоро я узнал, что и отец умер. А потом я с той девчонкой поссорился, и она от меня ушла к какому-то парню. Я рассказываю об этом так, словно это все не со мной произошло, словно я об этом где-то прочитал, да? Знаете, мне ведь все это именно так и казалось — словно все это произошло с кем-то другим, и ко мне не имело никакого отношения.

Были ли у меня с кем-то серьезные отношения? Хоть раз за всю жизнь, говорите? Господи, да это трудный вопрос. На него так сразу и не ответишь. Подумать надо. Я не совсем понимаю, что значит серьезные отношения — длительные, глубокие? Да, были, конечно. Господи, не могу припомнить: нет-нет, надо еще подумать. Знаете, как ни странно, тут надо иметь в виду тюрьму. Мы ведь о тюрьме еще не говорили. Да-да, в тюрьме было, только в тюрьме и было. Но не могу я сразу об этом — надо постепенно, ведь одно с другим связано. Тут еще кое о ком речь пойдет, мне надо там сначала посоветоваться...

— Когда я попал в тюрьму, в самом начале срока у меня было такое ощущение, что это случилось не со мной. Что это с кем-то еще произошло, а ко мне никакого отношения не имеет. Вам, наверное, кажется, что я говорю как шизофреник. Мне об этом никто никогда не говорил, и я не хочу себе ставить диагноз...

За те несколько месяцев, что я провел в КПЗ, мне никто не писал, никто меня не навещал — так что можно сказать, что никто не хотел знать о моем существовании. Могло показаться, что всем совершенно все равно, жив я или нет, существую ли я вообще на белом свете. Я сидел в тюрьме, там у меня были имя и номер — все. Когда судья вынес мне приговор: пожизненное заключение — мне было наплевать. Я скажу вам: это как будто не обо мне шла речь. Я ждал пожизненного заключения и был уверен, что его получу. Но я никогда об этом не думал, как о каком-то определенном количестве лет. Да и зачем? Для меня жизнь — это жизнь. И точка. Если мне суждено умереть, скажем, в сорок лет — значит, это и есть мой срок. Если я умру в сорок пять — значит, мой срок кончится, когда мне исполнится сорок пять. А иначе я и думать не мог.

Не знаю, как бы это поточнее объяснить. Это было похоже на то, как если бы меня переселили в другую страну и сказали, что больше я оттуда не уеду, что мне там предстоит жить всю жизнь. И эта другая страна, куда я уехал, была тюрьма, и мне предстояло быть гражданином тюрьмы, мне надо было выучить язык и обычаи тюрьмы, вжиться в образ тюремной жизни и никогда не знать ничего другого. Я не горевал и не жалел об утрате прошлой жизни, я все принял как есть...

— Тогда я этого не знал, но позднее понял, что на самом деле это обычное состояние большинства заключенных в начале большого срока. Многие так себя ведут в течение первых пяти-шести лет. Я где-то читал, что это называется «периодом адаптации». Это время, которое проходит, прежде чем заключенный начинает осознавать, что это только начало срока, и вот с этого момента его мышление начинает меняться. Говорят, это как-то связано с природой человеческой психики. Начиная с какого-то момента, в мозгу у заключенного происходит какой-то сдвиг, его постоянно гложет надежда, ну, что-то вроде того.

Со мной все точно так и было. В первые четыре или, может, пять лет я жил словно в раковине. Я никогда не пытался с кем-то заговорить — ни из начальства, ни из заключенных. Долгосрочники так себя и ведут, как правило. У кого два или три года — те держатся так, словно заглянули в тюрьму на денёк-другой. А я просто существовал: спал, просыпался, ел, выполнял поручения, мел двор, мыл посуду, стирал, чинил, подстригал траву на тюремном дворе — потом ужинать и спать. Были там еще часы «общения», как их называли — пара часиков после вечернего чая, когда ты можешь выйти из камеры, посмотреть телик или просто почитать, сыграть в пинг-понг или качаться на тренажере в спортзале — все, что захочешь. А я только телевизор смотрел, в течение трех или четырех лет я ни с кем даже словом не перекинулся, ну, во всяком случае, ни о чем существенном не говорил.

Должен сказать, что это была только половина моего существования. Была, конечно, и другая моя половина — совсем другой человек, не похожий на того парня, который спрятался в своей ракушке. Тот другой был

великий спорщик и забияка, который вечно устраивал скандалы, орал, распускал кулаки и с заключенными, и с тюремными властями. Я, конечно, не дрался в буквальном смысле — я неважный драчун, но как только начинался какой-нибудь шум, спор или кто начинал буянить — не важно по какому поводу,— я был тут как тут. Меня лишали поощрений, штрафовали, грозили, что откажут в праве на помилование, сажали в карцер, ну, в общем делали со мной все, что только можно. А мне на все было начхать, я все равно находил повод, чтобы поскандалить. Самое простое объяснение моему поведению — сказать, что я таким образом самоутверждался — как скандалист. Если повода не было, я все равно его находил, чтобы все знали: я — скандалист.

И в то же самое время я продолжал держаться особняком, наблюдал за тюремной жизнью как бы со стороны и считал, что все это ко мне не имеет ни малейшего отношения. Я думаю, потому-то я так долго и сумел продержаться: я же считал, что они наказывают вовсе не меня, а другого человека. И так продолжалось четыре года. Бог его знает, сколько бы это еще тянулось, если бы кое-что не случилось. Меня переводили из одной тюрьмы в другую, я побывал во всех — в Гартри, в Бристоле, в Гулле, в Престоне, в Бланстоне, в Льюисе и так далее — все не перечислишь. И куда бы я ни попадал, я продолжал со всеми спорить, нарушать режим, дерзить начальству — по любому поводу. Время от времени какому-нибудь очередному начальнику тюрьмы взбредало в голову, что он — единственный человек в мире, кто может образумить меня. Многие пытались, да ничего у них не вышло.

Ну, я мог бы о тюрьме еще много чего порассказать. Но вот что случилось в одной из тюрем, куда я попал — теперь уж и не припомню, в какой из многих. Словом, однажды мне предложили пойти на прием к психологу. Не то что бы мне предлагали там какую-то помощь, а просто у них проводилось какое-то исследование и им надо было получить какие-то данные. Сто мужчин шести футов росту, из них восемьдесят два — правши, родившиеся между 10 июня и 21 июля — что-то в таком духе. Я тогда был совершенно свободен, это, знаете, не нарушало моих планов провести летний отпуск в Швейцарии — и я согласился: отчего бы не пойти. Прошло несколько дней, а может, и неделя, и меня повели к психологу — меня и еще двух ребят. Посадили нас за столы и стали проводить тест на мгновенную реакцию. «Если на ваших глазах паровой каток задавил кошку — что вы сделаете: разрыдаетесь, расхохочетесь, рассердитесь на водителя катка, сочтете это деянием Божиим, просто пожмете плечами и пойдете дальше?» Нужно выбрать один из вариантов, наиболее подходящий для вас. Второй вопрос: «Если на ваших глазах паровой каток задавил старушку...» ну, и так далее. В тюрьме часто проводятся подобные викторины — заключенные к ним быстро привыкают и могут отвечать на вопросы без запинки, чтобы в результате получилось что-нибудь забавное. Потом все ответы собирают, закладывают в компьютер, и машина выдает ответ: в слесарной мастерской стены надо перекрасить в ярко-зеленый цвет.

Я тогда серьезно к этому не отнесся. Но прошла неделя, и меня опять вызвали к психологу. Я, естественно, послал их куда подальше и сказал, что уже все для них сделал и, мол, пойдите найдите себе другого идиота. Но мне говорят: нет, это следующая стадия. Трех участников предыдущего теста вызывают для дальнейшего обследования. Ну, пошли мы опять. На этот раз нас троих посадили в кружок в кабинете психолога, и она начала нам задавать вопросы и записывать ответы на отдельных листочках. Ну, думаю, ладно, время-то идет — в камере скукотища, а тут хоть какое-то развлечение. Так я тогда и думал — не более того. Но вот меня вызывают в третий раз. Теперь только меня одного, чтобы задать новые вопросы. И тут я не выдержал — хватит, думаю, больше я с ними в эти игры не играю. И я до сих пор не пойму, почему я все-таки передумал. Могу только сказать: чистая случайность. Когда подошел срок идти на прием, я все решил в самый последний момент. А так я думал: нет, не пойду, точно не пойду — и потом: а, ладно, все равно ведь делать нечего...

Наш с ней разговор был какой-то неинтересный, я и не вспомню, о чем, я отвечал на вопросы, заполнял какие-то диаграммы — какая из пяти фигур выглядит необычно и тому подобное, не более. В конце она сказала, что эксперимент закончен, что она собрала все необходимые ей данные и спасибо, мол, вам за помощь. И потом, уже когда я выходил из ее кабинета, она вдруг сказала — просто так,— что если мне захочется с ней поболтать, я могу зайти в любое время. Это был просто знак вежливости с ее стороны, как обычно говорят: до встречи, мол, или — теперь я ваша должница.

Прошло недели две, сижу я как-то после ужина, делать нечего, и вдруг я подумал: знаю, что сделаю — пойду-ка к ней поболтать, она же сама предложила. И пошел к ее кабинету, но она была занята, кто-то у нее был. Тогда я заглянул к ней на другой день, мы поговорили — как-то очень натянуто — обо всем и ни о чем, весь разговор длился минут десять. На следующей неделе я опять к ней зашел и через неделю — опять.

Нет ничего странного в том, что мужчины-заключенные влюбляются в женщин — да и не только в женщин. Я бы сказал, это настолько обычно, что происходит с каждым вторым в тюрьме. Другой вариант — это влюбиться в мужчину, стать на какое-то время «голубым», или, как там говорят, иметь «тюремную слабость». Я знал ребят, которые на свиданиях замечали, скажем, чью-нибудь сестру и влюблялись в нее до потери созна-

ния, даже не зная ее имени, и потом предлагали ее брату целое состояние — горы табака — только за то, чтобы узнать ее имя и адрес. У нас с Дженнифер все было по-другому. Долгое время она была просто моей знакомой, к которой я изредка заходил поболтать о том о сем, и я себе говорил: это только так, чтобы время убить. Мы никогда не говорили ни о чем личном — она не спрашивала о моем прошлом, я — о ее. Только одно я про нее знал, что она замужем: на пальце у нее было обручальное кольцо.

Очень скоро мы оба поняли, что случилось. Мы полюбили друг друга. И не стеснялись в этом друг другу признаться и говорить об этом — и с тех пор наши отношения были такими откровенными... Мы считали себя любовниками — так ведь оно и было, и все это продолжалось примерно год. Я думаю, когда любишь, бывают куда более трудные ситуации, но только сейчас что-то ничего не вспомню для примера. Но мотать пожизненный срок и влюбиться в женщину, которая в тюрьме появляется два раза в неделю, да еще и замужем,— такое случается не каждый день. Нет, мы не были любовниками в физическом смысле — потому что там это было невозможно, но во всем остальном, да, мы были любовниками. Мы продолжали встречаться, потому что знали, что когда-нибудь ситуация переменится и мы будем вместе полностью. И эта надежда не позволяла нашему роману превратиться в печальную безысходную историю. Это было лучшее из возможного в тех условиях, и мы оба принимали все как есть и решили набраться терпения и ждать. Во время наших встреч мы, конечно, осторожничали, даже старались не прикасаться друг к другу. Но для нас тогда это не имело большого значения.

Потом меня перевели в другую тюрьму, на север. Моя первая мысль была: ну, вот и все. А получилось совсем иначе. Ничего не кончилось, и во многом даже нам стало легче: теперь мы хоть могли переписываться. Она мне сообщила, что ушла от мужа, взяла опять свою девичью фамилию, и я мог писать ей на ее лондонскую квартиру. Она ко мне не приезжала, правда. Для нее это было рискованно — навещать меня, ведь кто-то из тюремного персонала мог ее узнать. В письмах мы выражали свои чувства куда свободнее, мы только не вспоминали о том, при каких обстоятельствах познакомились.

Здорово было! Это было хорошее время, потому что во мне что-то проснулось — чувства, любовь, я любил, меня любили... Нельзя сказать, что это меня полностью изменило, потому что все эти чувства, надо думать, изначально были в моей душе. Я только хочу сказать, что, конечно же, Дженнифер их разглядела. Она знала об их существовании и помогла им проявиться. Она помогла раскрыться доброй половине моей души. В тюрьме внутри меня как бы два человека сидели: один был вредным скандалистом, а другой — полюбил. Оба соединялись во мне, они противоречили друг другу, но оба уживались в одном человеке.

Вот вам и ответ на ваш вопрос о серьезных отношениях. Это были — и остаются — отношения с Дженнифер. И она мне посоветовала, чтобы я вам об этом рассказал, потому что она со мной согласна. Я вот только что сказал: «полюбил» — и для многих людей это может означать просто влечение, симпатию, а вовсе не настоящую любовь, особенно если речь идет о тюрьме. Но если бы это была просто симпатия, я думаю, мне бы это сразу стало ясно, как только меня перевели в открытую тюрьму и назначили дату освобождения через год. Тогда я мог получать увольнительные домой на уик-энд, если мне было с кем провести время. И я уезжал к Дженнифер. Она уже тогда развелась, ушла из тюремной системы и получила место где-то в Средней Англии. У нее была квартира, куда я и приезжал на увольнительные. Мы ничего не обсуждали с ней заранее, но знали, что для обоих это будет важным испытанием. У нас было романтическое увлечение, роман, а теперь нам предстояло столкнуться с реальностью: два человека должны были жить бок о бок постоянно... Мы поняли, что нам надо попробовать, и если у нас что-то не получится — ну, что ж...

Но никаких осложнений не возникло — наоборот, все оказалось довольно просто. Все было совершенно нормально и естественно, ни в чем никаких трудностей. Ведь бывает же так — тебе кажется, все будет так сложно, так сложно, а потом выясняется: никаких проблем. Вот так и у нас. И когда я ушел из общежития и переехал к ней, нам казалось, что мы прожили вместе уже много лет. Думаю, еще может возникнуть одна проблема, но пока мы об этом не задумываемся. И ведь опять — может возникнуть, а может, и нет, кто знает? Могут сказать: вы обязательно расстанетесь! Потому что у нас большая разница в возрасте: мне тридцать шесть, а ей пятьдесят семь — это много, конечно. Так что поживем — увидим.

Задира Билли: Уильям Дэвенпорт

Грузный мужчина в поношенной футболке и джинсах, ростом в шесть футов четыре дюйма и весом почти в 130 кг с трудом умещался на двухместной кушетке, стоявшей в углу гостиной на первом этаже его небольшого дома. Он говорил тихо, с северным акцентом и время от времени потягивал апельсиновый сок из высокого стакана в зеленую и красную полоску. Ему было тридцать два года.

— В школе меня все боялись. В двенадцать или тринадцать лет я, представляете, был самый здоровый парень не только в классе, а и во всей школе. Мне было наплевать на учебу. По мне, это было совсем не обязатель-

но — при моей-то славе. Я был большой и сильный и мог свалить с ног кого угодно — стоило только локтем двинуть. В школе это все знали, и я знал, и свою репутацию подтверждал регулярно — раза два в неделю обязательно. Подойду к какому-нибудь старшекласснику и начинаю его задирать — ищу повод подраться. Я в голове целый список всегда держал — чья сегодня очередь. А если кто передо мной ни в чем не провинился, так я придумывал, будто мне передали, что он обо мне плохо отзывался. «Задира Билли» — это мое прозвище было, и оно мне нравилось. Как-то, помню, отец одного парня пришел к директору школы пожаловаться на меня за то, что я его сына обижал. Директор меня вызвал, и когда я вошел к нему в кабинет, этот папаша встал — собирался, наверное, всыпать мне. Он был не малого роста и довольно крепкий мужик, но когда поднялся, то достал мне только вот до сих пор. Так что он только посмотрел на меня да ни слова не говоря сел обратно. Потом он ушел, а директор мне говорит: «Дэвенпорт,— таким, знаете, строгим, рассудительным тоном...— Дэвенпорт, говорит, ты же не хочешь, чтобы тебя в школе все считали отпетым хулиганом?» Я отвечаю: «Нет, сэр, что вы, сэр, не хочу» и изо всех сил стараюсь, чтобы у него не создалось впечатления, будто я этого как раз и хочу.

Мне было плевать, что меня не любили. Я думаю, в школе самые приметные те, кто отличается от других, выбивается из общего строя. Можно быть большим умником, выиграть все школьные призы да впридачу стипендию в университет, а мне на это надеяться не приходилось, я был тупица и ни о чем таком выдающемся и не мечтал. Можно было еще стать звездой спорта — лучшим футболистом школьной команды, местным Бобби Чарльтоном, или если не футболистом, так легкоатлетом, бегать, прыгать, взять все медали в День спорта. Но и это было не для меня. У меня плохая координация движений, я не мог ни бегать, ни прыгать из-за своей комплекции. Так что я и не пытался. И мне ничего другого не оставалось, как слыть здоровенным бугаем, с которым лучше не связываться — и от меня все держались подальше. Сейчас-то, конечно, ясно, что этим нечего гордиться, но тогда я думал по-другому. Ведь даже некоторые учителя меня побаивались из-за моих размеров и репутации.

Хотя это плохое оправдание, но я никогда не пускал в ход свои кулаки по-серьезному. Я ведь только задирался. Почему? Да потому, может, что моя школа была в Рокдейле, довольно далеко от Манчестера и Ливерпуля — там-то куда больше возможностей у подростка вляпаться в какую-нибудь криминальную историю. Может быть, и со мной что-нибудь этакое могло случиться. А может, мне просто повезло, что я не встретил никого, кто мог втянуть меня в историю. Меня никогда не тянуло совершить какое-нибудь преступление: там, украсть что-нибудь или еще что-то. И еще одно обстоятельство: в моей семье не было преступников. Мой отец — честный трудяга, он работает инженером-электриком. Брат у меня — нормальный парень, еще есть замужняя сестра с двумя детьми. Никто из них, насколько я знаю, ни разу не совершил ничего противозаконного. А моя мать такой человек, что если заметит, что ей в магазине дали больше сдачи, чем надо, так она вернется и отдаст. И отец тоже никого не обманет. Только одно меня с самого детства раздражало: мои брат и сестра отлично успевали в школе, мне до них было далеко — и я это чувствовал.

Но потом меня вдруг осенило: да зачем мне это дурацкое образование! Я и без него прекрасно обойдусь куда лучше, чем они — в смысле заработка. После школы сестра устроилась в банк на приличную должность и зарабатывала ровно столько, чтобы позволить себе раз в неделю сходить в киношку и раз в году съездить в Блэкпул, а братец продолжал учиться в технологическом колледже — хотел получить сертификат электронщика, так что и у него было туговато с деньгами. А я зарабатывал больше, чем и брат, и сестра, и отец вместе взятые — без всякого образования.

Я еще в школе учился, когда пристрастился ходить на местные барахолки — знаете, где торгуют всякой рухлядью: старинными часами, лампами, фарфором, серебром — тем, что многие люди выбрасывают как ненужное старье. Я там часами торчал после школы, по уикэндам — все высматривал, чем там торговали, и изучал цены — за сколько можно купить, допустим, черепаховый гребень в Олдеме и потом продать его же в Бери. А окончив школу, я уже неплохо разбирался и в ценах, и в ценности этого старья, и решил заняться куплей-продажей. Открывать собственный лоток где-нибудь я не собирался. Я все время менял места, заключал сделки и все изучал, изучал. У меня все было честно: я не скупал краденого по бросовым ценам, всегда интересовался, откуда что. И не занимался дорогими вещами — антиквариатом там всяким: с этим хлопот не оберешься. Мне нравилась свобода: я ведь работал на себя — сам решал, в какие дни и часы буду занят. Смешно, ей-Богу. Я был без всякого образования, еле-еле тогда считать умел и имя свое написать не мог без ошибок, но в то время уже появились в продаже дешевые калькуляторы, а для меня это оказалась бесценная вещь: ведь все время приходилось подсчитывать доходы, скидки, да все в процентах. Я не хотел становиться большим дельцом, не хотел открывать свой бизнес. Я был доволен тем, что имел. Часть заработка я отдавал матери на хозяйство и каждое утро решал, куда пойду на торги.

Я был простой парень, нешибкого ума — в смысле образования, но с деловой сметкой. Вот так бы я себя оценил, и когда я начал

по-настоящему взрослеть, мне кажется, я и как человек стал лучше, в смысле — перестал нарываться на скандалы, вел себя спокойнее, ответственнее, по-взрослому. К примеру, я никогда не демонстрировал свою силу, не стремился в сделках припугнуть партнера, никому не грозил, никого не задирал. Мне хотелось нравиться моим клиентам, хотелось, чтобы они отзывались обо мне как о приятном, надежном человеке и главное — честном. Мне тогда было восемнадцать лет, и я был, наверное, самым молодым рыночным торговцем во всем Ланкашире, и мне льстило, что покупатели куда старше меня держались со мной на равных. Все меня звали по имени — это мне тоже нравилось. Женщины относились ко мне с материнской теплотой, когда я к ним приходил с товаром, предлагали мне чай, угощали пирогами, расспрашивали о родителях. В общем, все было хорошо.

Я часто тогда думал: как странно — вся жизнь может разом перемениться, как это случилось со мной, по чистой случайности...

— На чем мы остановились в прошлый раз? Ах да, вспомнил — сейчас я не слишком-то часто разговариваю с людьми, так что в голове ничего не держится. У меня было много друзей, с которыми я знакомился на барахолках,— и моего возраста, и старше, и мужчин, и женщин. Я называл их «друзьями», но на самом деле ни с кем из них не был особенно близок, так что лучше их назвать знакомыми. Не знаю, известно вам или нет, но на севере Англии все — особенно молодежь — мечтают попасть в Лондон. Молодые ребята не то что жить там хотят, но просто у них такое идеальное представление о Лондоне — для них это предел мечтаний, центр вселенной. Я такой же был — я ведь в то время Лондона в глаза не видел.

И вот однажды, это был вторник, кажется, я поехал в Болтон на авторынок и встретил там одного парня — Кийт его звали. Мой ровесник, и занимался тем же, чем и я. Мы стояли около огромного лимузина — старый «моррис», и пока стояли и болтали, я заметил, что хозяин оставил ключ в замке зажигания. Я говорю Кийту: смотри, какие люди рассеянные, не думают, что делают. Пошутил, в общем. Кийт тогда и сказал — тоже в шутку, со смехом: интересно, говорит, хватит ли бензина нам с тобой до Лондона доехать? И я говорю, тоже в шутку: давай проверим. И проверили — сели в машину. Кийт снял с тормоза, и мы выехали на шоссе. Угонять этот «моррис» мы не собирались, ни в коем случае, а хотели только так, покататься чуть-чуть.

Но все вышло по-другому. Выехали мы из Болтона и направились к Манчестеру, а потом поехали еще дальше — Стокпорт, Хейзел-Гров, Бакстон. И все шутили, что, мол, если бензина хватит, доедем до Лондона. Мы проехали Дерби, Стаффорд, потом Рагби, и тут уж дело приняло серьезный оборот: мы заехали слишком далеко и в конце концов бензин и впрямь кончился. Так что мы припарковались на стоянке и зашли в кафе чайку выпить. За столом с нами сидел шофер трейлера, он спросил нас, куда мы путь держим. А мы сглупили и говорим: в Лондон. Он предложил нас подбросить и высадил где-то в северном пригороде — то ли в Барнете, то ли в Энфилде. Уже стемнело, и мы здорово проголодались, в кармане у нас — ни пенни. Но мы увидели большой отель — такая здоровенная современная башня. Около отеля на стоянке было полно машин, мы решили в одну забраться переночевать. Наутро мы просто умирали с голоду. Потом видим: к дверям кухни подъезжает продуктовый фургон. Мы стали вокруг него слоняться, пока наконец не улучили момент — забрались внутрь и стащили коробку пирогов с мясом и молока. Все это мы делали по глупости, без всякого злого умысла и о последствиях не задумывались. Но уж коль мы оказались в Лондоне, то решили провести день в центре, поглазеть на людей, а потом отправиться к себе домой на север. Мы даже не представляли себе, какой это огромный город. Нам, провинциалам, казалось, что все эти достопримечательности — Пиккадилли, Букингемский дворец, Тауэрский мост и все прочее — можно обойти за десять минут. Что-то мы, может, и увидели, да я только одно помню: мне в тот день зверски хотелось есть. Несколько раз нас подвозили попутные грузовики в разные концы Лондона, но все не туда, куда надо. Ну, понятно: мы — деревенщина, толком не могли назвать даже улицу, на которую хотели попасть. К вечеру мы очутились в каком-то парке на юго-западной окраине — то ли в Илинге, то ли еще где-то. Зашли выпить чаю в забегаловку перед входом в парк и разговорились там с парнем — он тоже был с севера. Он нам сказал, что живет в Лондоне четвертый год, и предложил проводить нас в рабочую ночлежку, где можно было задешево получить койку на ночь. Мы, естественно, согласились.

Странное это было местечко. После там разразился громкий скандал, в который влип владелец этой ночлежки. Он мухлевал с пособиями по социальному обеспечению — получал деньги на несуществующих постояльцев. И его заведение прикрыли. Но при нас он процветал — его тогда еще не подловили на этих махинациях. Он сказал нам, что его общежитие переполнено, но рядом есть еще одно, где менеджером его компаньон. Пошли мы туда. Это было, мягко говоря, очень невзрачное и довольно грязное заведение. Кровати стояли повсюду — не только в комнатах, но даже в коридорах и в подвале. Так называемый менеджер был ужасный сквернослов — кокни. На нем, как потом выяснилось, висело не одно разбойное нападение и целая куча других преступлений. Но как я уже сказал, мы тогда ничего не понимали и были рады хоть где-то приткнуться на ночь.

Тем более что он пообещал достать нам немного денег через службу соцобеспечения. Он дал нам заполнить какие-то анкеты, и я очень хорошо помню, как он нас предупредил: мол, не дурите и не вздумайте написать свои настоящие имена.

Мы провели там три или четыре дня, но никаких денег, естественно, не получили, и нам оставалось только сидеть и ждать. Этот кокни дал нам несколько фунтов на карманные расходы и сказал, что мы сможем их отработать, если выполним кое-какие поручения. Я же говорю вам: я тогда мало что соображал и пообещал ему все что угодно...

На другой день он позвал нас с Кийтом, дал нам фургон и велел поехать к главному зданию ночлежки и привезти к нему одного парня — он назвал имя — поговорить о делах. Мы ничего не подозревали — я, во всяком случае, и поехали туда, вызвали того, кого надо, и сказали ему, что нам нужно доставить его к кокни. А я-то и не думал, что это все было подстроено и меня просто использовали, с моим-то внушительным видом, чтобы его припугнуть и чтобы он с нами безропотно поехал. Он согласился и сказал, что не станет пытаться бежать. А я и взять в толк не мог, чего это он так сказал. Мы отвезли его в свою ночлежку, привели к кокни. Я только потом узнал, что этот парень знал, где можно было найти одного человека, и кокни хотел его припугнуть, чтобы он раскололся.

Этот номер у него прошел, а я все ни сном, ни духом... Вот дурак-то! На следующий день кокни мне говорит: есть для тебя еще работа. Поедешь туда-то с двумя парнями и привезешь такого-то. Кокни сказал, чтобы я в машине сидел на заднем сиденье вместе с тем, кого надо привезти, и не спускал с него глаз. Кажется, он еще сказал, что этот мужик может отколоть какую-нибудь штуку. Но я тогда решил показать себя крутым парнем и заверил его, что не подведу. Мне все еще не было ясно, что происходит и куда меня втянули — а был я, говоря по-простому, наемным пугалом. Словом, взяли этого мужика, усадили на заднее сиденье рядом со мной — и тут-то я начал кое-что понимать. Это был ирландец, средних лет, небольшого роста, он очень нервничал и все меня спрашивал, чего это Бенни — так звали кокни — от него хочет.

Мы за ним проехали почти пол-Лондона, и вот едем мы обратно полчаса или около того и вдруг ирландец говорит: умираю, говорит, хочу писать, остановите на минутку. Мы остановились на обочине возле леса, ирландец вылез, встал к нам спиной, постоял так с минутку — делал вид, что писал у дерева. Уже стемнело. Вдруг шофер кричит мне: «Билли, держи его!» Ирландец махнул в канаву, а я за ним — потерял равновесие и рухнул прямо на него. Тут же двое других подоспели — навалились на нас.

Я себя не оправдываю. Все обычно говорят: ничего не помню. Верно? А я и правда — ничего не помню. Скажу только, что это все напоминало потасовку на школьном дворе: только руки-ноги в воздухе мелькали, все друг дружку мутузили. И вот откуда-то появился нож. Не мой, у меня не было ножа. Не знаю, ирландец ли его достал или кто-то из тех. Нож все время падал на землю, его подхватывали, и вот этим-то ножом ирландца и убили. Да не просто убили, а искромсали: у него на теле было тридцать колотых ран — так потом на суде сказали.

Мы вернулись в ночлежку и стали ждать. Не знаю, как другие, а я всю ночь не спал. Так и просидел на своей кровати, не поел, даже не переоделся. А рано утром, только светать начало, кто-то снизу заорал: «Полиция!» — и я помчался по коридору в подвал, открыл раму и стал вылезать через окно на улицу. А там уже стоял молодой полицейский прямо у меня над головой. Говорит: «Ну, парень, стой, где стоишь, ладони на затылок — ты арестован!» Он был на две головы ниже меня, и я мог бы его одной левой придавить, но я стоял, как он мне приказал — ладони на затылок.

О тюрьме... Что вам рассказать о девяти годах тюрьмы, такого, что другие не рассказывали... Мне было девятнадцать, когда я получил срок — к тому времени я уже просидел почти год в камере предзаключения. Мои домашние меня не позабыли. Хотя я сидел в Брикстоне — дожидался там суда, а они жили здесь, на севере, меня регулярно навещали. Они знали — и я знал,— что мне грозит пожизненное и никакого иного варианта быть не может. Нас только одно волновало — скоро ли состоится суд, и потом — сколько мне предстоит сидеть. Очень трудно сейчас описывать свои ощущения после того, как мне огласили приговор. Наверное, облегчение: ожидание кончилось. Родители были просто убиты, хотя я им сразу сказал, что надеяться не на что. А я смирился. Я был соучастником бессмысленного убийства. Убили человека, которого я не знал, не ссорился с ним, даже почти и не разговаривал. Так если честно — какое наказание я должен был понести? На этот вопрос ответить невозможно: все, что можно здесь сказать,— так это то, что я заслуживал куда более суровой кары!

Я с самого начала отсидки твердо решил, что постараюсь сделать все, чтобы моя жизнь в тюрьме была хотя бы сносной. Это покажется странным, но ведь я вышел не из криминальной среды и в уголовника превращаться не собирался. Я не говорю, что я не был преступником — был, как раз был! Ужасным преступником! Но, помню, один пожизненник, с которым я там почти сразу познакомился, говорил мне: «Постарайся, сынок, сохранить человеческое достоинство — никогда не знаешь, может, что хорошее тебя и ждет». Он был одним из тех немногих долгосрочников, с кем я там сдружился. Он мне здорово помог. Я старался держаться подальше от

молодых прохвостов и драчунов, не втягиваться в тюремные привычки — знаете: драки, наркотики, гомосексуализм, конфликты с начальством и тому подобное. Я послушно выполнял все, что мне поручали, был тише воды, ниже травы, не выступал, старался как можно лучше себя вести. И это помогло. Я повзрослел, возмужал. В тюрьму я пришел мальчишкой, а вышел — мужчиной.

Вы, наверное, знаете, что в тюрьме кое-кому удается окончить среднюю школу и даже получить диплом «открытого университета». Я-то знал, что мне для этого не хватит мозгов, но по крайней мере решил, что хоть немножечко подучусь — а то ведь совсем был безграмотным. Я подал заявку на получение среднего образования, прошел вступительный тест и мне сказали, что я нахожусь на таком низком уровне, что сначала мне надо пройти подготовительный курс, чтобы дотянуться до нужного уровня, с которого можно было бы продолжать учебу...

В некоторых тюрьмах можно получить очень хорошее образование, но есть и такие, где обучение поставлено из рук вон плохо. В этом смысле мне повезло: сначала я был в Лестере, а потом в Ноттингеме. Там дают так называемый лингафонный курс языка — берешь учебник, кассеты с записями уроков и работаешь самостоятельно, так что можно продвигаться в силу своих способностей и не бояться выглядеть дураком перед всем классом.

Еще я написал своим родителям, чтобы они просили тех, кто будет обо мне спрашивать, присылать мне интересные книги. Мне было все равно, что читать — вестерны, триллеры, биографии, художественные, документальные — все, что угодно. Я им написал, что хочу получить образование, что только выучился как следует читать и мне нужны любые книги — чем разнообразнее, тем лучше. Я получил огромное количество посылок — в моей камере скоро накопилось больше книг, чем в нашей тюремной библиотеке.

Если вы спросите, что произвело на меня самое сильное впечатление, то это была книга, о которой я бы никогда, наверное, не узнал, не попади в тюрьму. Ее мне прислали, когда я уже отсидел пять лет. Прислала сестра приятельницы моей матери, монахиня. Она отправила ее мне без всякого письма, просто так, только вложила открытку с надписью: «С наилучшими пожеланиями». Это была поэма Т. С. Элиота «Четыре квартета» — четыре поэмы, каждая из которых называлась по имени какого-то места. Не знаю, почему он так их назвал — наверное, потому, что думал об этих местах, когда сочинял стихи. Первая поэма называется «Бернт Нортон», а другие три — «Ист Коукер», «Драй Сэлвейджис» — это скалы на северо-восточном побережье Америки, и еще «Литтл Гиддинг» — это, я думаю, в Лестершире или Линкольншире. Когда я в первый раз попытался их прочесть, я ничего не понял, и во второй, и в двадцать второй тоже ничего. Но потом вдруг в один прекрасный день меня словно ослепило ярким светом — я начал улавливать смысл и понял, что он хотел сказать. Ничего подобного я за всю свою жизнь не читал. Он не то, что бы разговаривает с вами, а просто кладет на бумагу свои мысли и предлагает следить за их ходом.

Я перечитал поэму много раз и скоро выучил отдельные куски наизусть. Не то что я садился и специально их зубрил, а просто они продолжали звучать у меня в голове — так, наверное, они и у него звучали. Я помню начало «Бернт Нортона»:

Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступило в
прошедшем...[1]

Я же говорю, надо раз двадцать прочитать, чтобы понять смысл, и когда смысл становится ясен — ты уже идешь вслед за его мыслью. Или вот еще, мой любимый кусок из «Литтл Гиддинга»:

Что мы считаем началом, часто —
конец,
А дойти до конца означает начать
сначала.
Конец — отправная точка...

Для меня, когда я вышел из тюрьмы, в этих словах было сконцентрировано все мое отношение к жизни. Мне повезло: со мной обошлись по-божески и я отсидел только девять лет — это нормально, тем все и кончилось. Я собрался начать новую жизнь. И можно с уверенностью сказать, что после тюрьмы я стал другим человеком. Ну, во-первых, если учесть, что я получил образование, и, во-вторых, я изменился к лучшему как личность. Ужасно, что это случилось ценой человеческой жизни — об этом тоже надо сказать. Это уже не исправить, но такое больше не повторится. И если бы меня решили держать в тюрьме вечно, то я вам точно говорю: это было бы вполне заслуженно.

— По крайней мере, мне было куда возвращаться — в родной дом, в свою семью. Это очень много значит, спросите у любого бывшего заключенного. Мне попался хороший надзирающий инспектор — женщина, она до сих пор меня курирует. Она мне здорово помогала. Я знаком с ней пять лет: три года на свободе, и до этого она несколько раз меня навещала, готовила к освобождению. Она предупреждала, что мне трудно будет найти работу,— и оказалась права. Но она мне посоветовала, еще когда я работал и жил в тюремном общежитии, что мне следует скопить немного денег и устроиться на курсы автовождения и получить права — потом пригодится.

Я сдал экзамены через неделю после выхода. Потом начал искать работу. Я обошел десятки мест, но все без толку. Меня это ужасно удручало. Я сказал своей инспекторше, что хочу, чтобы на моей будущей работе

[1]Здесь и далее перевод стихов А. Сергеева....

все заранее знали обо мне всю правду — откуда я вышел и что я натворил. И вот я начал думать, что из-за этого-то у меня и возникли трудности с трудоустройством. Я до сих пор не знаю точно, так ли это — никогда ведь не знаешь. Тогда и Шийла — это моя инспекторша — задумалась, но ведь я решил говорить о себе все как есть и не хотел отступать. Тогда она, видя, что у меня ничего не выходит с работой, помогла мне устроиться на общественных началах развозчиком продуктов для пенсионеров. Так я перестал сидеть сиднем да горевать о своей судьбе. Я не пью, друзей у меня не было, а я не умел знакомиться с новыми людьми, кроме как на барахолке. А возвращаться туда у меня не было желания — потерял я всякий интерес к этому делу.

Говорят, если терпеливо чего-то ждешь, то все придет. Так и со мной — по крайней мере, две хорошие вещи со мной случились. Я начал ходить в нашу церковь и нашел там для себя довольно широкий круг общения — людей своего возраста, тридцатилетних. В основном это были семейные пары, но мне посчастливилось встретить там одну молодую женщину, Марианну, теперь она моя жена. Это тихий, робкий человек, и мне понадобилось черт знает сколько времени, чтобы набраться смелости и пригласить ее сходить куда-нибудь. Она все обо мне знала, потому что в церкви я все сразу о себе рассказал — так же, как делал, когда пытался устраиваться на работу. Представьте: никто из них от меня не отвернулся. Мне казалось, что молодая незамужняя женщина вряд ли захочет пойти в кино или на дискотеку с таким, как я. Но все обошлось, будто я был самый обыкновенный человек. Она стала для меня лучом света — не позволила мне совсем пасть духом. Как и Шийла, она все настаивала, чтобы я искал работу.

А другая моя удача вот в чем. Поездив по округе в продуктовом фургоне, я начал кое-что соображать. Я познакомился со многими людьми, которым надо было в разные места отправить то посылку, то сверток, и я стал наводить справки в местных фирмах, не нуждаются ли они в подобных услугах. Многие заинтересовались, и я решил открыть дело... Я отправился в банк и попросил ссуду в две тысячи фунтов на покупку фургона. К моему удивлению, я эти деньги получил, купил симпатичный подержанный фургончик и начал.

Сначала было трудно, но я до сих пор этим занимаюсь и ничуть не жалею. Я очень много работаю, иногда по одиннадцать часов в день, даже по субботам и воскресеньям, но я приобрел много нужных связей в своем районе — это здесь, в городе, и в окрестностях. В общей сложности примерно двести квадратных миль. Мои клиенты знают, что меня всегда легко вызвать и я всегда доставляю посылки в течение суток. Я уже заключил несколько контрактов. Словом, у меня хорошая постоянная работа.

Два года назад мы с Марианной поженились, а в прошлом году, когда она забеременела, начали подыскивать себе дом и вот нашли этот. Теперь мы живем достаточно близко и от моих, и от ее родителей. Это самый дешевый из тех, что нам предлагали: две комнаты наверху, две внизу, уборная и ванная в пристройке сзади. Мы купили его семь месяцев назад, как раз перед тем, как родился Энтони. Мы были на седьмом небе от счастья, когда строительная компания продала нам этот дом под закладную. Я и не рассчитывал на такую удачу: ведь я мог им предложить очень скромную сумму в счет первого вклада. Но они согласились. Все-таки мне в жизни везет — больше, чем кому-либо. Я это себе часто говорю.

Вот я уже четыре года на свободе. Шийла говорит, что пора ей подавать в министерство внутренних дел бумагу о снятии с меня надзора. Но сказать по правде, мне все равно — причем дело не в ней. Теперь уже не важно, надо туда ходить отмечаться или не надо. Она мне очень помогла в самом начале, здорово поддержала. А вообще-то самое главное, что было в моей жизни,— это, во-первых, тюрьма. Там я получил хорошее образование. Второе — это мои родители, к которым я вернулся. Третье — работа, которая всегда обеспечит меня куском хлеба. И четвертое, самое главное,— это семья. Марианна и Энтони — для меня все. И мы надеемся, что когда-нибудь накопим достаточно денег, и у Энтони появится братишка или сестренка.

Мы живем просто, как все. Я в основном работаю. Когда выдается несколько свободных часов, провожу время с ними. Марианна хозяйничает дома, занимается с ребенком. Кому-то такая жизнь покажется скучной, но в тюрьме я только об этом и мечтал. И я могу сейчас повторить то, что сказал вам позавчера: я такого счастья ничем не заслужил.

Теория устрашения: Алан Робинсон

— Я живой пример, как говорится, теории устрашения. Послушайте, люди, историю моей жизни, чтобы не совершить такую же ошибку! Я убил полицейского, а если вы убьете полицейского, вам крышка! Потому что за вами начнут охотиться, и пока не сцапают, не успокоятся. А они не успокоятся — уж будьте уверены! Можно убить старушку, можно убить ребенка — и вас не найдут. Ведь сколько таких случаев, да? То ли не могут найти, то ли просто не знают, кто убил. Но если ты убил полицейского — все, тебе каюк, Господи ты Боже мой! Это же как пить дать. Ежели укокошишь одного из них, они все дела забросят, и ежели нужно, поднимут на ноги всех постовых по всей стране, всех поставят на уши. Тут уж для них задача номер один — сцапать тебя. И будут за тобой гоняться круглые сутки, днем и ночью. Сколько потребуется — столько и будут гоняться, тебя искать. И в итоге тебя схватят, осудят, засадят в тю-

рягу и будешь ты там гнить всю жизнь, пока не сдохнешь. Я вам сказал, что я живой пример этой теории устрашения? Нет, я неправильно сказал. Я подыхающий ее пример.

В возрасте девятнадцати лет Алан Робинсон убил полицейского — молодого парня, которому тоже было девятнадцать. Оглашая приговор — пожизненное заключение,— судья особо отметил, что это было «ужасное и прискорбное дело, где мы имеем не одну, а две загубленные жизни, ибо этот молодой человек, несомненно, проведет бóльшую часть своей жизни в тюрьме». Он уже отсидел одиннадцать лет. В прошлом году ему сказали, что он не может рассчитывать на помилование в ближайшие девять лет.

Массивный обрюзгший мужчина, темноволосый и кареглазый, в тюремной робе и фланелевой рубашке апаш, сидел за столом в небольшом складском помещении и говорил низким голосом, сжимая и разжимая ладони, чтобы унять дрожь в руках. Снаружи в коридоре раздавались крики и грохот — звуки тюремной повседневности, шумливой и бессмысленной.

— Вы извиняйте, ладно? Я чего-то волнуюсь. Ко мне никто не приходил уж с позапрошлого ноября, так что тут забудешь, как с людьми разговаривать. Понимаете, да? Здесь знаете как — ежели хочешь чего-то сказать, чтобы другие услыхали,— так надо орать, иначе никто внимания не обратит, орать, да по три раза, чтобы услыхали.

Да я, конечно, с радостью — будем с вами говорить по два часа в день. Я уж много лет ни с кем толком не разговаривал. Да я вижу, что вы не из отдела помилования. Ясно, что то, чего я вам тут порасскажу, не повлияет на дату выхода — ни приблизит, ни отдалит. Ведь о нашем разговоре никто не узнает, да? Это ясно. Для книги, говорите? У меня частенько возникала мысль чего-нибудь тоже написать. Наверное, многие хотели бы, да? Помню, я еще был на воле и частенько слышал, что многие хотят чего-нибудь написать, да времени нет. Смешно, да? Здесь-то полно ребят, у кого свободного времени навалом. Делать им нечего, пойти некуда — чего же они не пишут-то, а? В школе-то их, поди, научили и писать, и документы заполнять, и они говорят: «я умею писать», да? А оказывается, просто могут писать слова, да? Это все равно что выучить арифметику и говорить, что ты — классный бухгалтер, все равно, да? А когда по-настоящему пишешь, там, книгу, скажем, как надо начинать?

Ну, ладно, потом так потом — давайте обо мне поговорим, а после вы мне расскажете о писателях, ну и ладненько.

Обо мне, значит. Да только о чем говорить тридцатилетнему разжиревшему мужику, который сел в тюрягу девятнадцатилетним? Это вопрос. Ничего ведь нового я вам не сообщу. Тюрьма она и есть тюрьма — вчера, и на прошлой неделе, и в прошлом месяце, и в прошлом году, и такой же тюрьмой она будет и завтра, и через неделю, и через месяц, и через год. А что было вчера — я и не помню. В связи с ненадобностью завтрашний день упраздняется! Вот и все, что можно сказать. Иногда, знаете, такая тоска нахлынет: а в другой раз сидишь как пень, ни о чем не думаешь. Все одно и то же, одно и то же. И никакой возможности что-либо изменить. Правда, теперь, когда я об этом думаю, кажется, что все не так. Я раньше — теперь-то нет, а раньше я «кидался» — так время и проводил. «Кидаться» — значит по-здешнему скандалить, нарываться на наказания. Я все время этим баловался — до прошлого года. Худшее наказание здесь в тюрьме — вот это ужасно обидно — когда у тебя отбирают часть ремиссии. Ежели у тебя определенный срок, то автоматически его могут скостить с начала отсидки — на треть за хорошее поведение, так что ежели тебе дали год, то ты реально — по ремиссии — можешь отсидеть восемь месяцев. Ежели ты скандалишь с начальством, то сидишь девять месяцев, то есть один месяц из твоей ремиссии снимают — это много, да? Ты вот сидишь и думаешь, что к рождеству дома будешь, а тут бац! — и ты уже не выйдешь до середины января. Обидно!

Но это бывает, только ежели у тебя определенный срок, а не пожизненное. Тут же нет точной даты освобождения, а есть какой-то день в неопределенном будущем, когда тебя могут выпустить по ордеру. Так что им у тебя нечего отбирать. Они только и могут пригрозить: ежели будешь буянить, то сделаем тебе отсрочку освобождения по ордеру. В моем случае это когда? В двухтысячном году? «Ежели ты, Робинсон, будешь себя плохо вести, мы тебя выпустим не в двухтысячном, а в две тысячи первом году!» Смешно, да? Смешно ведь.

Так что я и «кидался», набрасывался с кулаками на первых встречных, задирал всех подряд. Я это делал сознательно — расчетливо — так ведь надо сказать? Меня вызывали к начальнику тюрьмы, и он говорил: «Робинсон, отправляйся в карцер — отдохни маленько». Я ему: «Хорошо, сэр, спасибо, сэр, хоть какое-то разнообразие». Один — звали его, кажется, Большой Лартин — мне сказал однажды: «Робинсон, я не знаю, что с тобой сделаю!» Я отвечаю: «А я знаю — вы меня в карцер засадите, мать вашу...» Он говорит: «Да, именно так я и сделаю». Я говорю: «Засадите меня снова в карцер — что вы еще можете?»

Сволочная это работенка — начальник тюрьмы. И чего это они сюда идут? Понятно, кто́ идет в надзиратели — эти болваны ни на что другое не годны, ни на какую пристойную работу. А начальники — многие из них с высшим образованием. Кто их поймет, что их заставляет командовать этой кучей дерьма — гюрягой то есть. Многие из них — я точно знаю! — думают, что делают нужное дело, служат на благо обществу. Это — да, ежели они держат под замком таких, как я,— чтобы

уж никому не причиняли вреда. Но ведь за мной тут могут присматривать и эти дрессированные мартышки — надзиратели, а так стоит ли университеты кончать, чтобы потом зеков караулить? Какое уж тут удовлетворение от работы для интеллигентного человека? Я чего-то этого не понимаю, никак. Э, а вот и звонок на шамовку — пойду-ка я возьму свой гуляш, пока его не слопали. Завтра во сколько — в два часа? Ладно, увидимся. Я уж не буду так нервничать.

— Вы спрашиваете о моей репутации. Вот недавно подходит ко мне один хмырь в столовке — новенький — и говорит: «Ты Алан Робинсон — мне тут на тебя показывали». «Да,— говорю,— и что?» Тут всегда надо держать ухо востро. Он говорит: «Я был в Скрабсе, блок Д, ты там тоже был, но мы не встречались, потому что ты все время сидел в карцере». Я говорю: «Правильно, и что?» Он говорит: «Ты, парень, полицейского убил? Ну, держи пять, молодец, всегда приятно встретить парня, который укокошил одного из этих гадов». А я ему: «А ты когда-нибудь убивал полицейских?» «Нет,— говорит,— мне дали шесть месяцев за кражу со взломом». «Так чего ж я молодец — что просижу тут двадцать лет?»

Иногда трудно понять, о чем только люди думают. Он вот не думает о том, что жила на свете мать-старушка, у которой был единственный сын, ее гордость, который пошел служить в полицию, служить государству... Я не собираюсь тут нюни распускать, я не к тому. Я о нем ничего не знал — только имя и возраст, но как бы там ни было, он этой смерти не заслужил. Как сказал судья: «Это была трагически погубленная жизнь». Общество должно строго воздавать по заслугам — тут вопроса нет. Но ведь это было случайное стечение обстоятельств, и этот риск — неизбежен при его профессии — и в моем случае отчасти тоже неизбежен. Когда я говорю, что это было случайностью, я не имею в виду, что не хотел его убивать. Конечно, не хотел, но ведь и не мог не убить — иначе бы он меня сцапал... Мне надо было от него удрать, и я удрал, да только при этом у него жизнь отнял. И в результате и у себя тоже жизнь отнял, вот так. И, наверное, многие скажут: ну и поделом тебе, дураку. Но попробуй расскажи все это тому гребаному чудаку, который подходит к тебе после ужина и «дает пять». «Кража со взломом». Господи, чего он знает о жизни? А сам небось залез в магазин игрушек с водяным пистолетом — только и всего.

— Да, наверное, вы правы — тут дело в моем росте. Люди много напридумывают себе. Они, верно, считают, что я отчаянный головорез, которого брал целый взвод полицейских, а я им сказал: «Ежели меня возьмете, я кого-нибудь из вас замочу», а потом схватил того, кто поближе стоял, бросил через плечо, за горло взял да и придушил — и остальные на меня набросились и повязали...

Да не так все было, совсем не так. Я влез в ювелирный магазин — дело было в полночь в одном из новых торговых центров в пригороде, влез с черного хода и радовался, что ухитрился систему сигнализации не задеть. А сам не знал, что система-то была новой конструкции, она не гудит, а следит инфракрасным лучом и высвечивает тебя на экране в полицейском участке. Там только на кнопку нажимают, и полицейская машина через две минуты уже на месте происшествия, а ты ничего не подозреваешь. Сперва я услышал какой-то шум за спиной — там, где забирался с улицы. Я думаю: «Э, тут что-то не так, надо делать ноги». Выскочил на аллейку, а там уже этот юнец с фонариком. «Эй ты, говорит, ни с места. Ты арестован». Я его оттолкнул и дал деру. Он, наверное, попросил по рации о подмоге и побежал за мной. Прыткий оказался паренек, слышу: догоняет меня. Я выскочил на дорогу — было темно, одна луна в небе. Вижу невдалеке ручей и лес на другой стороне. Я не знал, глубоко ли там, прыгнул, и вода дошла мне только до щиколоток. Он за мной — ясное дело: хочет догнать. Выбрался я на другой берег, повернулся, и мы встали лицом друг к другу. Я это хорошо помню: ужасно все было. Луна светит, этот светловолосый парень — меньше меня — стоим, тяжело дышим. Он свой шлем потерял, пока бежал за мной. Я чувствую: под ногами у меня камни, я нагнулся, взял один. Он не испугался — я же говорю: явно хочет меня сцапать, шагнул прямо на меня. Я его по голове камнем — и он упал ничком в воду.

Я не стал смотреть, что с ним, взобрался по косогору и — бежать, сколько есть сил. Ох и перепугался я. На суде говорили, что он хорошо плавал, а захлебнулся на мелководье, потому что потерял сознание, когда упал лицом вниз. Это было убийство — тут спорить нечего. Но я-то не знал тогда. Я понимал, что ударил полицейского кирпичом — сильно ударил. Всю ночь я слонялся по всему пригороду, шел дождь, я прятался в подъездах. Наутро я пошел выпить чаю в одну из придорожных забегаловок. У официантки там был приемник на полке. Передавали местные новости — об этом полицейском, которого убили ночью. Я знал, что будет: где бы ни убили полицейского, всю полицию поднимут на ноги разыскивать убийцу. Я не допил свой чай, потому что увидел в окно, как подъехал междугородный автобус — я побежал на остановку и запрыгнул в него. Когда так напуган, совершаешь разные глупости, ведь да? Ну, как я — оставил недопитую чашку чая, побежал на автобус, а официантка в баре не такая уж идиотка, чтобы не понять, ведь да? Она же слышала, что ищут мужчину, который убил полицейского.

Я не знал, куда шел этот автобус, не посмотрел. Но он ехал без остановок миль семнадцать и остановился на рыночной площади в каком-то городке. Там уже стояли пять полицейских машин и тьма полицейских. Вот

и все. Ничего особенного, без фейерверка и фанфар. А я, между прочим, тогда уже был в бегах — я ж сбежал из колонии для несовершеннолетних. А этот — «Дай пять, молодец!» Вот сука!

— Что-то я вчера все маялся. Обычно после ужина я смотрю телик, играю в «точные стрелы» или читаю. А тут как засел в своей камере — и все думал о нашем разговоре. Веселенькую историю я вам рассказал, да? Иногда я сам себе противен — честно. Не скажу, что я был уж совсем отъявленный негодяй. Ну, негодяй, конечно, но уж не самый последний, нет. Я и еще несколько ребят моего возраста из Ист-Энда — у нас было общее «дело» — мы вместе работали: «брали» магазины, склады, воровали из автофургонов. Но никаких драк и убийств — мы были просто мелкие воришки. Может, потом мы бы и до этого докатились, но тогда мы были зеленые юнцы и для нас это было больше забавой, чем способом разбогатеть. Трудно сказать, почему я в это дело втянулся. Семья наша развалилась, мать с отцом развелись, теперь она живет где-то с другим. Но ведь то же самое произошло и с моей сестрой и братом, а они совершенно нормальные. Она машинистка в конторе в Сити, а он работает в банке.

Я всегда был переростком, все меня знали. Наверное, все дело в росте. Мои друзья хотели появляться на людях в моей компании — особенно девчонки. Не то что я любил подраться — совсем нет. Я вообще не люблю кулаки распускать. И всегда старался быть в стороне от всяких потасовок, пока сюда не попал. У людей вообще странные представления: они думают, раз большой — значит, лучше не связываться. В какой-то мере это спасает от лишних проблем и здесь, и на воле,— кто станет на такого, как я, тянуть. Но ежели говорить о настоящей серьезной драке, то советую всем бояться коротышек — вроде вас,— вот те опасные. Есть тут один хмырь — я с ним пару раз сталкивался, Стэн Норфолк его зовут. В нем и росту всего метр пятьдесят и сам такой, что дунешь — рассыпется, легкий как пушинка, но опаснее этого парня я в жизни не встречал. Как и все тут, я только завижу, что он идет — маскируюсь под окурок. Чем опасен? Ну, можно сказать, так: он как сжатая пружина, никогда не знаешь, когда он сорвется. Вдруг ему покажется, что ты над ним подсмеиваешься, или за его спиной злословишь, или сквозняк устроил. Ему все равно что — лишь бы зацепить. И начнет молотить тебя кулаками, и ногами, и локтями, и лбом, и чем угодно. Говорю вам: ужасен! Я тут только появился — он меня в коридоре останавливает,— стоит подбоченясь, руки в боки. И говорит мне: «Ты, видно, думаешь, что ты здоровый мужик?» «Я? — говорю.— Нет, думаю, вряд ли. К тому же, Стэн, я перешел в новую веру недавно — называется набожная трусость». «Ладно,— говорит,— ты крепко в это дело верь, и у тебя будет нормалек». Он стопроцентный... как это... психопат.

— Смешно, слышите, я хорошенько подумал после того, как вы спросили, и чего это я ничего не могу припомнить из детства? Смешно, а? Помню улицу, где мы жили в Каннинг-тауне. Помню, что отец работал в автобусном парке, помню школу — смутно, потому как половину уроков прогуливал,— да вот и все. Я, наверное, жил без головы — понимаете? Шатался по улицам с дружками, таскал конфеты в кондитерских лавках, угонял автомобили — и все. Старикан мой, сколько я помню, все дрых — не то что лодырь был, а все в ночных сменах работал, и в доме должно было быть тихо, пока он спал.

Сестрица моя сидела дома, за ним ухаживала да за братом, потому что отец с матерью развелись, и она жила у своего второго мужа. И я помню, сестрица нас все время из дома гнала, чтобы отец мог отдыхать. Думаю, вот почему я в школу так мало ходил: ей было все равно, где я — лишь бы дома не торчал, понимаете? Она была хорошая девчонка и делала все что могла. Но своей личной жизни у нее никакой не было. Как она умудрилась школу окончить и как на работу устроилась — ума не приложу...

Свою мать, знаете ли, я, пожалуй, и не узнал бы, войди она вот сейчас в дверь. Она ушла от отца, когда мне было... не знаю, лет пять или шесть, наверное. Я ее потом видел всего один раз. Ну, ежели говорить точно — полтора раза.

Меня перевели в специнтернат, когда мне было, наверное, лет десять. Я уже сейчас не помню точно возраст, но знаю, что в специнтернаты принимают с десяти лет. И не помню, какие мне там были обвинения предъявлены — прогулы в школе, воровство, ну, я вам рассказывал. Я помню, что не очень-то расстроился по этому поводу. Мне было даже интересно школу поменять. Знаю, часто говорят, что эти специнтернаты являются рассадниками преступности и все такое, но насколько помню, мой интернат был совсем не такой. Большой старый дом в сельской местности где-то в Эссексе. Там у них были козы, куры, всякая другая живность, коровы — что-то вроде небольшой фермы. Персонал там был очен приятный, никто не придирался, ничего такого. Ежели подумать, зачем меня туда направили, то, скорее, в надежде, что я исправлюсь. Ну, ясное дело: мать ушла, отец в ночную работает, воспитанием занимается сестренка, которой только четырнадцать, а парень торчит на улице, ворует, бездельничает. Словом, это была попытка вытащить меня из дурной компании.

И вот как-то мне говорят, что ко мне приехал посетитель — повели меня в комнату для свиданий, а там моя мать. Я ее, конечно, не узнал, потому что в последний раз до того видел ее, когда еще совсем крохой был. Она хорошо выглядела. Сказала мне, что все устроила и теперь я из специнтерната перееду жить к ней и к дяде Джеффри, в Клэктон. Я подумал: вот здорово — буду жить у моря!

Она сказала, что сначала я поеду домой. И через несколько дней мне говорят, чтобы я готовился к отъезду.

Прошла неделя, может, две, в общем, еду я домой — рад, конечно. Мой отец говорит, что они обо всем переговорили и решили, что так оно лучше будет. Я, говорит, буду скучать, но приеду тебя навестить, и сестра сказала примерно то же самое. Она пообещала мне помочь упаковать вещи. А мать должна была приехать в пятницу.

Знаете, какие дети странные: сестра стирает и гладит мою одежду, а я только и думаю, как бы не забыть футбольный мяч и аэродром с пластмассовыми самолетиками. Был у меня конструктор и еще какие-то железки, коллекция плакатов «Вест Хэм» [1], пластинки и всякий другой хлам. Об одежде я и не думал — в моем списке тряпки были на последнем месте. Я набрал такую кучу вещей, что у нас не нашлось чемодана все это уложить. Отец пошел покупать. Не очень дорогой — он не мог купить дорогой — такой, знаете, из крашеного картона. Огромный чемодан! Сестра сказала, что такой как раз подойдет. Мы сложили в него все мои вещи, но свободного места не осталось.

Помню, мы собрали все задолго до того дня, как мать должна была за мной приехать, и все об этот чемодан спотыкались, так что пришлось его запихнуть под стол на кухне. Я его потом то и дело доставал, чтобы засунуть в него что-нибудь и выкинуть то, что казалось ненужным. Помню, на нем были металлические петли и такие же на замках спереди. Я затянул ремни на последнюю дырочку, и сестра мне говорила, что ежели я еще что туда положу, то ящик не закроется. Очень она на меня сердилась.

И вот наступил великий день. Я проснулся с петухами и стал ждать, когда мать приедет за мной. Короче, думаю, было часа два, когда она, наконец, приехала. Когда сестра отперла ей дверь и она вошла, я вижу... не знаю, как сказать... ну, была она очень холодна и неприветлива. Она сказала, чтобы я шел в гостиную, закрыл дверь и подождал там, пока она поговорит с сестрой на кухне.

Причем на меня она даже не взглянула, а говорила это все сестре: «Скажи ему, чтобы он пошел, посидел, подождал...» Вот так.

Я пошел в гостиную и слышал, как они там с сестрой о чем-то говорили, только не очень громко, так что я не разобрал слов. Так я стою, переминаюсь с ноги на ногу и вдруг слышу, как хлопает входная дверь. Я мчусь на кухню и вижу: моя сестра одна, пожимает плечами и говорит: «Она ушла». Знаете, о чем я подумал в первый момент? Я решил, что мать обо мне забыла. Я ныряю под стол, выволакиваю этот гигантский ящик, бегу с ним по коридору, выбегаю из прихожей на улицу, пыхчу изо всех сил, волоку этот ящик. И я вижу: на другой стороне улицы стоит машина, мотор работает, за рулем сидит какой-то мужик, а моя мать уже в машину залезает. И я бегу что есть мочи со своим ящиком к машине и ору: «Эй, мам, подожди, подожди, мам!» Я уж и не знаю, каково это было со стороны видеть. И тут этот мужик за рулем дает полный газ, машина пулей срывается с места и скрывается за поворотом. И в этот момент, естественно, ящик раскрывается и все мое барахло рассыпается по земле. О Господи ты Боже мой, вот смеху-то!

— Вы, наверное, уже устали слушать про тюремные порядки — о чем мы позавчера говорили? Но когда у тебя большой срок, то ни о чем другом и не знаешь. Ты ведь этим живешь, целыми днями, все это вокруг тебя, так что ничего другого и быть не может. Познаешь беспросветность тюремной жизни — ведь сидишь тут взаперти с целой кодлой этих... И на что они там надеются? Отрезали тебя от нормальной жизни и думают, что этим тебя можно исправить? Но не может такого быть, да?

Когда я сюда пришел, у меня что было — отец и мать, хоть бы и разведенные, брат и сестра, подружка была, дядька в Дерби — и все. Это значит сколько — один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, и еще, может, пара родственников. Сначала они мне все писали, даже приезжали на свидания. В первый год я получил восемь открыток к Рождеству и ко дню рождения. На следующий год — шесть, еще через год — уже пять или шесть. Потом моей матери это, видать, надоело — или тому мужику, с кем она живет. У отца инфаркт, он потом так и не оклемался — и тоже перестал писать. Сестра замуж вышла, брат уехал за границу. Девчонка моя, ясное дело, с другим закрутилась. Потом прислала мне открытку: «Извини, дорогой, я замуж выхожу». Я ее не осуждаю. Да только больно было читать в той открытке: «Знаешь, я попросила одну свою подругу написать тебе. Она хорошая девушка и говорит, что будет рада с тобой переписываться». Вишь ты, роман по переписке. В довершение ко всему, все время переводят из одной тюрьмы в другую и письма теряются, уж тут никто не станет разбираться, где ты. У нас во всех тюрьмах, знаете, сколько? Пятьдесят тысяч зеков, и, естественно, поди найди меня в этой куче. Ежели кто-то спрашивает у начальства твой адрес, так они не могут точно сказать, потому как сами не знают, где теперь тебя искать. Да и сам-то порой не разберешь, где сидишь. Розовые стены в блоке Б — значит, это Льюис, да? Спрашиваешь надзирателя — а он: нет, приятель, Льюис теперь ударился в экологию — весь перекрашен в зеленый цвет... А это — Кингстон Портсмут. Ты ему: хорошо, так Кингстон или Портсмут? В газетах писали, что Лондон разрастается, но не до такой же степени! Да, в прошлом году мне было два письма и открытка, а на свидания ко мне никто не приезжал с позапрошлого июня.

[1] Футбольная команда «Вест Хэм юнайтед».

О, звонок к обеду. Ну, увидимся в два. Интересно, что они подадут сегодня — опять бобы с чижами или тушеного фазана с красносмородиновым желе, спаржей и молодой картошкой?

— Ну, нас сегодня надули. Сегодня ведь четверг, я так думаю? Знаете, что дали? Треску с вареной картошкой. Мы даже решили, что сегодня пятница. У нас пятница рыбный день. Или завтрашнего дня не будет — может, отменили его за ненадобностью? Не знаю, откуда у меня эта присказка — то ли прочитал где-то, то ли услыхал. А вы чем обедали, куда ходили-то?

Интересно, правда? Вы каждый день узнаете что-то новенькое. Бутерброд с ветчиной и пиво в пабе через дорогу, да? А я и не знал, что там паб есть — вы расширили мои познания в географии. Надо же, бутерброд с ветчиной и пиво. Ну, теперь, ежели меня спросят, чего бы я хотел для разнообразия, я им скажу: а дайте-ка я схожу в тот паб через дорогу и возьму бутерброд с ветчиной и пива. Отпустите меня на часок, ну, на часок с четвертью — мне достаточно. Позвольте мне прогуляться на воле. Я не убегу, я вернусь — честно! Но только дайте мне хоть на часок с четвертью вырваться отсюда! Самое смешное, слышите, я бы точно вернулся, точно! Мне сейчас на воле-то было бы так не по себе, что я бы вернулся, чтобы только быть в безопасности — честно!

Одиннадцать лет в тюрьме уже отсидел и еще больше предстоит — ничего себе срок, а? Да как же это выдержать, как же это пережить, что со мной будет в конце-то? Да, да, вы правы. Я эти вопросы задаю, мне на них и отвечать. Ну, перво-наперво, надо быть двужильным — надо им доказать, что им тебя не сломать, надо держать себя в руках, сохранять достоинство, не гнуть перед ними спину. Это я и делаю всю дорогу — лет пять или шесть я держался. Это не потерянное время, в тюрьме время вообще не теряешь, а — проводишь.

Как-то подходит ко мне один мужик — замначальника тюрьмы,— было это в Престоне, а может, и в Паркхерсте. Он пришел ко мне в карцер, сел рядом и говорит: «Ну, Робинсон, расскажи-ка мне, зачем ты это все вытворяешь». Я такие подколки не люблю, знаете — корчит из себя шибко рассудительного. Все это подозрительно. Я говорю ему: «Катись-ка ты к такой-то матери, а не то я тебе вмажу пару раз и надзиратель не поможет». Он говорит: «А надзирателя нет — можешь выйти проверить». Я сходил посмотрел — и точно: не было. Я ему говорю: «Мужик, ты сильно рискуешь — приходишь сюда один, а я-то падла известная. Чего ты добиваешься: хочешь получить Орден Британской империи за мужество, проявленное в поединке с опасным преступником, а?» Смешной мужичок был — лысый, пожилой. Я говорю: «Слушай, мужик, ежели хочешь поговорить по душам, обращайся, вон, к стенам!» Он отвечает: «Нет, я не собираюсь тебе проповеди читать. Но разве ты хочешь так и остаться, как ты выразился, «известной падлой»? Ты, говорит, что, хочешь тут проторчать всю жизнь? Ведь, говорит,— тихо так, спокойно говорит,— ведь коль ты хочешь, то ладно, мы тебя тут можем продержать всю жизнь — не сомневайся. Встал, повернулся и ушел.

Я стоял там и, знаете что — хохотал! Да, хохотал. Думал: ах, сукин сын, ты меня пугнуть захотел. А я что? Схватил тебя за шиворот да об стену трахнул, как сделал бы, ежели бы ты был надзирателем? Нет. Или шарахнул столом об стену и кровать к двери подтащил и забаррикадировался, как я обычно в таких случаях делал? Тоже нет. Мне просто было смешно — и я хохотал.

Не хочу сказать, что после того случая все пошло по-другому, нет. Я не стал пай-мальчиком. Более того, после того я стал вести себя еще хуже. Пару месяцев буянил вовсю. Словно пытался ему назло сделать и словно говорил ему: да, да, да, я хочу быть падлой, да! Я сам себе это доказать пытался. Но все же иногда, побуянив и «накидавшись», я сам над собой начинал подсмеиваться. Вот тогда-то я и утихомирился. Не то что бы очень, то есть я и сейчас могу так разгуляться, что ого-го! — только задень меня. Да не шибко и не часто — понимаете, да? Внешне я такой крутой — или делаю вид. А внутри не то что бы тихоня, но все ж таки стараюсь больше не вести себя как пацан.

Вот что я вам скажу. Сейчас, с мыслями соберусь и скажу. Не просто это, не просто сказать, особенно мне, кто считает себя крепким мужиком. Ведь это как проявление слабости, что ли... Как ни крути, как ни глянь, а — слабость. Может, потому, что так оно и есть — слабость. Я скажу, скажу, но это охренительно тяжело, правда, вот что я вам скажу.

Это здесь глубоко внутри и — ноет. Глубоко в душе, на самом донышке сердца — ноет. Выхожу я из камеры, иду по коридору, в буфет за чаем — и никто меня не видит. Они, знаете, кого видят — здоровенного жирного мужика с улыбочкой на роже, который идет и размахивает ручищами. «Привет, Алан!».— «Привет, Чарли». «Все путем, Алан!» — «А то, мужик! Сам-то как!» Это — внешне, а внутри — вот здесь — пустота, огромная дыра — и ноет. Нет оправдания тому, что я наделал, и переделать уж тут ничего нельзя. Но, Господи ты Боже мой, сколько раз я про себя молил, чтобы нашелся хоть кто-нибудь, кто помог бы мне все это перечеркнуть — как будто не было ничего. Общество воздало мне по заслугам — так оно и должно быть, но уж очень это тяжко и никто даже представить себе не может, насколько тяжко — да и думает ли кто об этом? Я взял чью-то жизнь, да — и в отместку они со мной проделывают то же самое. Только они это делают медленно, изо дня в день, по кусочку жрут тебя, отрывают от тебя по кусочку, дюйм за дюймом, лишая

тебя мыслей, чувств, ин-ди-ви-ду-аль-ности. Если бы только общество мне сказало: в один прекрасный день, в определенный день, мы тебя выпустим — все, мне больше ничего не нужно, пусть только скажут. Только, ради Бога, пусть поторопятся, пока еще от меня что-то осталось.

Ну вот, здоровый мужик, а выставил себя посмешищем — плачет тут, да? Тоже мне — здоровый мужик...

— Э, так мы и не вспомнили о вашем брате писателе, давайте-ка хоть в конце. Я хотел у вас много о чем порасспросить, ну да ладно. Письма? Спрашивать в письмах? А что, почему бы и нет, вот здорово! Я сейчас не много писем получаю, да и не пишу почти, так что я с удовольствием.

* * *

Через полгода он записался в заочный семинар литературного творчества и до сих пор там занимается, а недавно подал заявку на сдачу вступительного теста в тюремный колледж.

У книжной витрины

ДЖ. Г. БАЛЛАРД. «Доброта женщин»

J. G. Ballard. The Kindness of Women. «Harper Collins»

В 1991 году в серии «Библиотека журнала «ИЛ» вышел сборник рассказов «Утонувший великан» английского прозаика Джеймса Грэма Балларда, чье имя пока знакомо у нас разве что любителям фантастики. Однако творчество Балларда более многогранно, и известен он не только как фантаст.

Читатели и критики хорошо приняли его во многом автобиографический роман «Империя солнца» (1984 г.), где описаны злоключения главного героя по имени Джим, попавшего во время второй мировой войны в японский лагерь для перемещенных лиц. И вот продолжение, где рассказывается о жестокости послевоенных лет.

Воспоминания об ужасах, пережитых в концентрационном лагере, преследуют Джима: он не в состоянии перейти к спокойному, естественному образу жизни и уже сам жаждет острых ощущений. Он пробует заняться медициной и увлеченно вскрывает трупы; затем, устав от однообразия будней, уезжает в Канаду, одержимый навязчивой идеей стать летчиком и служить в войсках НАТО. В североамериканской тундре, куда Джима направили после окончания учебы, его дважды едва не настигла смерть. Лишь в конце романа беспокойный герой обретает душевную гармонию. В символическом эпизоде из заключительной главы Баллард как бы встречается со своим героем на съемках фильма «Империя солнца» (экранизацию романа осуществил Стивен Спилберг), и тот говорит ему: «Я — это ты».

ДЖУЛИАН БАРНС. «Все обговорить»

Julian Barnes. Talking It Over. «Cape»

Для своего шестого романа известный английский писатель Джулиан Барнс избрал довольно простой сюжет, в основе которого лежит типичный «любовный треугольник». Двое старых друзей — скучноватый, невзрачный банковский служащий Стюарт и остроумный богемный литератор Оливер, обоим чуть больше тридцати — оказываются на свадьбе, где Стюарт выступает в роли жениха, а Оливер — посаженого отца, причем последний тут же влюбляется в невесту, молодую художницу-реставратора Джиллиан. Она вскоре уступает настойчивому Оливеру, и за медовым месяцем следует развод и новая свадьба; однако, как выясняется ближе к финалу, и этот брак едва ли можно назвать счастливым.

Джулиан Барнс использует прием «тройного рассказчика»: трое главных действующих лиц по очереди описывают все события. Речь каждого выдержана в соответствии с его характером. Стюарт нейтрален и не слишком красноречив; Оливер, напротив, эмоционален и выразителен; что касается Джиллиан, то поначалу она неохотно раскрывается перед читателем и лишь постепенно приходит к выводу, что нет смысла «затыкать себе рот». Оживляет ситуацию Вэл — отвергнутая бывшая подружка обоих друзей. Она высказывает предположение, что Оливер женился на Джиллиан, чтобы таким образом осуществить мечту о максимальной близости со Стюартом.

Как отмечают критики, роман Дж. Барнса превосходно сделан и читается с удовольствием, однако не глубок: «все обговорить», обсуждая его, не составляет особого труда.

ЭРВЕ ГИБЕР. «Мой слуга и я»

Hervé Guibert. Mon valet et moi. «Seuil»

По-прежнему активно работает Эрве Гибер, несмотря на снедающий его недуг, о котором он рассказал в книгах «Другу, который не спас мне жизнь» (читайте в «ИЛ», 1991, № 8—9) и «Последний церемониал» (см. о ней «ИЛ», 1991, № 8). Свидетельство тому — новая книга. Это повесть «Мой слуга и я», где писатель внешне отходит от автобиографичности, присущей последним его произведениям. Главный герой — восьмидесятилетний старик, чудаковатый богач, одержимый идеей нанять себе слугу. В каком-то второсортном фильме он находит подходящего кандидата — двадцатилетнего актера, парня дерзкого и своевольного. Их непростые отношения, когда порой непонятно, кто же из них хозяин, составляют основу сюжета. Сочетание молодости и старости, противоречивых желаний, ироничной беспощадности характерно не только для этой пары, но и для самого Гибера, который задумал воплотить в двух столь разнящихся друг от друга персонажах свои личные черты.

Почти одновременно с этой повестью, в конце 1991 года, вышло два сборника произведений прошлых лет.

Одной из главных своих страстей — фотографии — писатель отдает должное в сборнике «Порок», составленном из небольших заметок того периода, когда Гибер-литератор дополнял Гибера-фотохудожника. Заявленная в названии «порочность» заключается в пристальном, насмешливом внимании к самым обыденным вещам, связанным главным образом с человеческим телом. В другой сборник «Пропаганда смерти» и другие ранние произведения», как и следует из заглавия, включены первые сочинения Эрве Гибера.

НАДИН ГОРДИМЕР. «Прыжок» и другие рассказы»

Nadin Gordimer. Jump and Other Stories. «Bloomsbury»

«Говоря образно, рассказ *случается*. Написать его — значит попытаться извлечь из внутреннего или внешнего мира некую животворную каплю, которая заполнит собой страницу, прожжет в ней дыру». Эти слова южноафриканской писательницы Надин Гордимер предваряют сборник рассказов, вышедший в Англии в октябре 1991 года, буквально через неделю после присуждения ей Нобелевской премии. Ее имя значилось в списках кандидатов несколько лет, «так давно, — говорит Н. Гордимер,— что я оставила саму мысль когда-либо получить эту премию».

Журнал «Иностранная литература» не раз публиковал рассказы Надин Гордимер и писал о ее творчестве (о последнем романе «Рассказ моего сына» см. «ИЛ», 1991, № 4). Ее творчество посвящено Южной Африке, о которой писательница рассказывает с любовью и горечью. Правда, в рассказах действие происходит не только в богатых пригородах или негритянских кварталах Йоханнесбурга, но и в черных трущобах Лондона и военных лагерях Мозамбика. Со страниц книги звучит множество голосов: это и ребенок, спасающийся бегством от гражданской войны, и беззаботный подросток, влюбляющийся в террористку, и белый, арестованный за шпионаж, и еврей-часовщик, уехавший от одних погромов, но увидевший другие.

Соотечественник Н. Гордимер и собрат по перу Андре Бринк расценил ее победу как «наступление эры южноафриканских писателей». Может, сказано несколько громко, но то, что Надин Гордимер — один из самых ярких современных прозаиков, несомненно.

РАФАЭЛЬ КОНФЬЯН. «Кофейная вода»

Raphaël Confiant. Eau de café. «Grasset»

Рафаэль Конфьян — автор нескольких книг, написанных на креольском языке, и романа «Негр и адмирал», открывшего счет его франкоязычным произведениям (см. о нем «ИЛ», 1989, № 5). И вот новый роман, написанный по-французски, в котором автор закрепил литературный успех, создав гимн своей родине — Мартинике.

Название книге дало прозвище одной из героинь, во многом схожей с брехтовской мамашей Кураж: все свои жизненные силы она щедро тратит на окружающих — кого выслушает, кому поможет, пожалеет или выбранит. Если «Кофейная вода» самое земное действующее лицо, то другая героиня, Антилия,— самое загадочное создание. Словно птица-феникс она растворяется во мраке и вновь возвращается на бренную землю Антильских островов, воплощая в себе их дух и тайну.

Судьбой Антилии, как и судьбами остальных двух десятков персонажей, незримо управляет Конфьян-рассказчик. Он с пристрастием относится к своим героям, подводя к славе одних и готовя поражение другим...

Роман получил высокую оценку критиков, полагающих, что, благодаря творчеству Р. Конфьяна, к двум франкоязычным литературным столицам — Парижу и Монреалю — прибавится теперь и главный город Мартиники — Фор-де-Франс.

РЕЙНОЛЬДС ПРАЙС. «Предсказуемое будущее»

Reynolds Price. The Foreseeable Future. «Atheneum»

Три новеллы, составившие новую книгу английского прозаика Рейнольдса Прайса, имеют нечто общее: в каждой из них главный герой находится на духовном перепутье; у ка-

ждого из героев есть хорошо воспитанный, любящий ребенок; каждая новелла (что вообще характерно для произведений Р. Прайса) изобилует размышлениями о Боге, ангелах, душе и божественном свете, а персонажи преодолевают трудности земного бытия.

В повести, давшей название сборнику, действие происходит в мае 1945 года: Уит Уэйд возвращается из Нормандии, где он буквально воскрес из мертвых. Потрясенный случившимся, он не может приспособиться к обычной жизни, но неделя, богатая на различные происшествия, события и встречи, исцеляет его душевные раны, приносит мир и надежду на преображение. А вот Дин Уокер («Вернуться до рассвета»), ревнивый до бешенства муж, близкий к отчаянию от мысли, что он — «ниже среднего уровня», научился быть благодарным судьбе лишь в роковую ночь, когда у него на глазах погибли двое молодых людей. Герой новеллы «Поездка на Луну» менее удачлив в разрешении своих проблем: он уходит в армию, разорвав тем самым любовную связь с негритянкой и бросив ее на произвол судьбы, ломает жизнь жене и сыну-подростку...

МАРГАРЕТ ЭТВУД. «Как выжить в дебрях»

Margaret Atwood. Wilderness Tips. «Bloomsbury»

«Как выжить в дебрях» — так называется руководство по выживанию в лесах Канады. Именно это заглавие Маргарет Этвуд позаимствовала для вышедшего в сентябре прошлого года сборника рассказов. Проблема выживания (причем не только с географической точки зрения, но и в профессиональном, психологическом отношении) давно интересовала писательницу и даже стала объектом ее исследования в канадской литературе. Теперь же М. Этвуд обращается к этой теме на художественном материале.

Многие персонажи страдают от обмана, лжи, вероломства близких; одни отступают под ударами судьбы, другие мстят своим обидчикам, третьи ищут утешение в самообмане и мечтах. Так, в рассказе, давшем название сборнику, речь идет об антиподах: брате и сестре. В детстве брат зачитывался книгами о благородных индейцах, верил в силу добра и самопожертвования, но едва стал старше, как легко отказался от этих убеждений. Сестра же, страдая от неудачного замужества, сохраняла веру в единственного человека, но он-то ее и предал. Героиня другого рассказа («Клубок шерсти») не желает оставаться жертвой: она жестоко мстит обидчику. А вот в рассказе «Тяжесть» чудовищную жестокость проявляет к своей жене муж: ненавидя ее за независимый характер и радикальные взгляды, он убивает ее.

Писательница представляет на страницах книги много человеческих судеб, но не дает прямого ответа на вопрос «как выжить» — и это понятно, ибо каждый должен решать за себя сам.

РОБЕРТ КОНКВЕСТ. «Сталин. Губитель народов»

Robert Conguest. Stalin. Breaker of Nations. «Weidenfeld and Nicolson»

Новая работа английского советолога Роберта Конквеста, известного своей нашумевшей и столь долго запретной у нас книгой «Большой террор», вопреки гневному подзаголовку не является исследованием преступлений тирана против народов Советского Союза. Это подробная, подкрепленная фактами биография. На фоне широкого культурно-исторического полотна вырисовывается многоплановый портрет «отца народов»: опасное сочетание посредственности и сильной воли, умение расположить к себе собеседника и неуверенность в собственной безопасности, удивительная способность бесконечно лгать себе и другим и на этом строить политику в стране и за ее пределами. Историк подчеркивает, что именно такой «лидер» смог повести за собой полуграмотные, агрессивные «массы», готовые любой ценой достичь своих абсурдных целей. Однако, по мнению Конквеста, бред мессианства постепенно покидает этот народ, а «вожди» захлебнулись в своей безграничной власти и присвоенных привилегиях.

Авторы этого номера

АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ (ANDRZEJ SZCZYPIORSKI; род. в 1924 г.) — польский прозаик, драматург, публицист. После поражения Варшавского восстания 1944 года был узником немецкого концлагеря. Дебютировал как публицист в 1946 году. Автор повестей, посвященных проблемам польско-немецких отношений «Прошедшее время» («Czas przeszły», 1961), «Час ноль» («Godzina zero», 1961), «Бегство Авеля» («Ucieczka Abla», 1962), «За стенами Содома» («Za murami Sodomy», 1963), романов «Зеркала» («Lustra», 1963), «Месса по городу Аррасу» («Msza za miasto Arras», 1971), сборников фельетонов, репортажей, радиопьес «Издалека и вблизи» («Z daleka i z bliska», 1957), «Портрет знакомого» («Portret znajomego», 1962), «Воскресенье, 21 час 10 минут» («Niedziela, godzina 21.10», 1968), киносценариев и др. произведений.

Роман «Начало» впервые был опубликован во Франции в 1986 году («Początek». Paryż, Instytut literacki), затем трижды издавался в Польше и переведен во многих странах под названием «Прекрасная госпожа Зайденман», отмечен литературными премиями в Австрии и ФРГ. Печатается по польскому изданию Poznan, SAWW, 1990.

АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS; 1913—1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии (1957). Родился и провел детство в Алжире. Получил философское образование. В годы второй мировой войны был участником французского Сопротивления. На русский язык переведены многие его произведения, в том числе роман «Чума», повесть «Падение», пьеса «Калигула». В «Иностранной литературе» напечатаны повесть «Посторонний» (1968, № 9), главы из книги «Человек бунтующий» (1990, № 5—6), пьесы «Осадное положение» (1990, № 10), У. Фолкнера и А. Камю «Реквием по монахине» (1970, № 9).

Роман «Счастливая смерть» был издан во Франции в 1971 г. («La mort heureuse». Paris, Gallimard, 1971).

«Записные книжки» печатаются с сокращениями по изданию «Carnets» (posth, 1962).

ТОНИ ПАРКЕР (TONY PARKER; род. в 1923 г.) — английский писатель. Автор около двадцати книг, написанных в жанре «устных историй», в том числе «Неизвестный гражданин» («Unknown Citizen»), «Маяк» («Lighthouse»), «Солдат, солдат» («Soldier Soldier»), «Местечко под названием Бёрд» («A Place Called Bird»), «Русские голоса» («Russian Voices»).

Книга «Жизнь после жизни» вышла в Англии в 1990 году («Life After Life». London, Secker Warburg, 1990).

САВИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1930 г.) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий сектором проблем правосудия Института государства и права АН СССР, эксперт парламентской Комиссии по подготовке Конституции Российской Федерации. Автор более 350 печатных работ.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — советский переводчик с польского и немецкого языков. Им переведены пьесы С. Мрожека «Эмигранты», «Стриптиз» (поставлены в театре-студии «Человек»), «Портрет», «Летний день», И. Иредыньского «Мария», Г. Мюллера «Тихая ночь» (поставлена во МХАТе), «Большой волк», повесть Я. Гловацкого «Мой милый Раскольников» и др.

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт, прозаик, переводчик с французского. В его переводах публиковались стихи А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, Ф. Вийона, А. Боске, Ф. Лорки, Я. Сейферта, романы М. Бетти «Помни Рубена», С. Бадиана «Кровоточащие маски», повесть Вольтера «Белый бык», роман-репортаж Р. Мерля «Солнце встает не для нас» («ИЛ», 1988, № 10), А. Камю «Человек бунтующий» (главы из книги, «ИЛ», 1990, № 5—6) и др.

БОГДАНОВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1958 г.) — специалист по французской литературе, кандидат филологических наук, переводчик. Переводил произведения А. Мальро, А. Камю, М. Пруста, в «ИЛ» (1991, № 1) напечатан его перевод романа Андре Жида «Тесные врата».

Цена по подписке 3 руб. 75 коп.

ИНДЕКС 70394

Уважаемые читатели!

Следующий номер нашего журнала будет необычным.
Этот специальный выпуск — первый среди тех,
которые получат подписчики «ИЛ»
в нынешнем году,—
называется

«ЕСТЬ МНОГОЕ НА СВЕТЕ...»

Мистическое, инфернальное и сверхъестественное в литературе XX века

Вас ждут встречи — страшные и не очень —
с целым сонмищем призраков, ведьм и вурдалаков,
увлекательное погружение в богатый традициями
жанр литературы о нечистой силе,
дань которому отдали многие
знаменитые писатели столетия.

Читайте в спецномере произведения
Г. МЕЙРИНКА, Х. Л. БОРХЕСА, М. ЭЛИАДЕ, Ж. РЭЯ,
Х. ЛАВКРАФТА, Э. ДЖОНГ,
исповедь настоящего ЛОНДОНСКОГО ВАМПИРА,
мистическую поэзию,
статью А. ЛУКИНА и В. РЫНКЕВИЧА
«В магическом лабиринте сознания»

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1992, № 2 1—256